ВАСИЛИЙ

АКСЕНОВ

ЗВЕЗДНЫЙ БИЛЕТ

НОВЫЙ СЛАДОСТНЫЙ СТИЛЬ

ПРОЗА

ВАСИЛИЯ АКСЕНОВА

ВАСИЛИЙ

АКСЕНОВ

ЗВЕЗДНЫЙ БИЛЕТ

ЭКСМО
МОСКВА
2014

УДК 82-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-4
А 42

Оформление серии *Сергея Власова*

Фотография на переплете *Валерия Плотникова*

Аксенов, Василий Павлович.

А 42 Звездный билет : сборник / Василий Аксенов. — Москва : Эксмо, 2014. — 640 с. — (Новый сладостный стиль. Проза Василия Аксенова).

ISBN 978-5-699-74991-1

Врач по образованию, «антисоветчик» по духу и самый яркий новатор в русской прозе XX века, Аксенов уже в самом начале своего пути наметил темы и проблемы, которые будут волновать его и в период зрелого творчества.

Первые повести Аксенова положили начало так называемой «молодежной прозе» СССР. Именно тогда впервые появилось выражение «шестидесятники», которое стало обозначением целого поколения и эпохи.

Проблема конформизма и лояльности режиму, готовность ради дружбы поступиться принципами и служебными перспективами — все это будет в прозе Аксенова и годы спустя. Но никто не напишет обо всем этом лучше, чем тот, кто столкнулся с этим впервые, был молод и отчаянно верил в справедливость.

УДК 82-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-4

ISBN 978-5-699-74991-1

© Аксенов В., наследники, текст, 2014
© Бондаренко А., оригинал-макет, 2014
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Коллеги 5
Звездный билет 257
Апельсины из Марокко 477

КОЛЛЕГИ

Глава 1
Кто они такие?

В анкетах они писали: год рождения — 1932-й, происхождение — из служащих; партийность — член ВЛКСМ с 1947 года; участие в войнах — не участвовал; судимость — нет; имеет ли родственников за границей — нет; и еще несколько «нет» до графы «семейное положение», в которой все они писали — холост. Автобиографии их умещались на половине странички, а рассказывали они о себе так.

Алексей Максимов. Как говорят, когда-то мы все были ребенками. Мама у меня учительница. Папы нет. Где жил? Мы часто переезжали с места на место. Родился-то в Новгороде. В школе учился хорошо. Любимый предмет? Чистописание. В школе играл в футбол, а в институте — в волейбол. Я и сейчас играю в волейбол и всегда буду в него играть. Почему в медицинский пошел? Вам это интересно? Ах, интересно! Ну, по недоразумению. Медицина? Я жить без нее не могу. А какого черта вы меня все расспрашиваете, словно начальник отдела кадров. Я грубиян? Идите вы знаете куда!

Владислав Карпов. Мальчик, если вы не видели Черного моря, вы ничего не видели. Мой папа — рыбак. Любите копченую скумбрию? Знаете, есть такая песенка:

Поцелуй, поцелуй, Перепетуя,
Я тебя так безумно люблю,
Если любишь копченую скумбрию,
Я тебе ее достану хоть вагон.

Да, конечно, я спортсмен. Разве не видно? Всеми видами спорта. Больше всего люблю бильярд. А вы? Сыграем как-нибудь? Вы сами откуда? Любите танцевать? Вы мне нравитесь, чтоб я так жил. Приезжайте к нам — не пожалеете. Черное море — это что? Значит, до скорого.

Александр Зеленин. Да, я коренной ленинградец. Пройдите сюда, в столовую. Видите на стене эти старинные дагерротипы? Это мои предки. Вот магистр философии Петербургского университета, а этот известный путешественник, а этот в Шлиссельбурге сидел по делу о покушении. Ничего, что я ими немножко горжусь? Потом у нас пошли все врачи. И папа мой врач, и мама тоже, и я, как известно, врач без пяти минут. Да, я не только люблю медицину, но считаю профессию врача самой нужной на свете. А какой она дает кругозор! Вы знаете, я чувствую, что с каждым годом начинаю лучше понимать людей и с физиологической и с психологической стороны. Я очень доволен своей профессией. Жалко только, что скоро придется уезжать из Ленинграда. Не могу представить, что больше не буду бродить по Большому проспекту и по набережной, любоваться закатом, когда, знаете, все окна в Эрмитаже вспыхивают малиновым светом… Но что делать? Ведь это же, как говорится, наш долг. Ну что ты смеешься, Алексей? Всегда он, знаете ли, вот так.

От автора. Алексей Максимов — мрачный и резкий. Вечно он что-то такое изображает. Владислав Карпов — из тех, кого характеризуют двумя словами: «Свой парень». Иногда добавляют: «Свой в доску». Любимец девочек, гитарист. Александр Зеленин — немного смешной, порывистый, очень вежливый, очень прямой, очень приятный человек.

Их дружба началась на первом курсе. Иногда удивляются дружбе совершенно разных людей, но по-настоящему дружить могут только разные люди. Между людьми сходных характеров и темпераментов неизбежны резкие столкновения и неизбежен разрыв. У этой троицы вдумчивость Зеленина и его пылкая искренность как бы уравновешивали довольно наигранный цинизм Максимова и легковесность Владьки Карпова.

Вот они какие. И сейчас, весной 1956 года, они идут втроем против ветра и думают все об одном.

Их мысли о распределении

— Откуда это, Сашка, в тебе такая идейность? — сердито спросил Алексей Максимов. — Тоже мне загнул — экзамен наших душ!

— Так оно и есть! — воскликнул Зеленин.

— Черта с два! Распределение — это принудительный акт. И каждый культурный человек, естественно, рассчитывает, как бы увильнуть от жизни в глуши и не превратиться в животное.

— Чушь! Геологи годами бродят в тайге и не превращаются в животных.

— Геологи! Геологам лафа. Они уходят партиями, все молодежь, весело. А нас что ждет? Думаешь, я бо-

юсь отсутствия электричества и теплого клозета? Ерунда все это! Я готов… А вот представь себе участковую больницу. Деревенька, степь или лес, ветер свищет, и ты один, совершенно один. Кончил работу, поел, послонялся из угла в угол — и спать. Проходят годы, ты толстеешь, глупеешь, начинаешь принимать приношения благодарных пациентов, мысли твои заняты курочками, свинюшками, и тебе уже больше ничего не надо, и ты уже со снисходительной улыбкой вспоминаешь об этом разговоре.

— Брр! — передернулся Владька Карпов. — Ну тебя к бесу, Макс! Страшно.

— И ты, сын рыбака, боишься деревни? — спросил Зеленин.

— Страшней войны, — засмеялся Карпов. — Но что делать — таков наш скорбный удел. Хочешь не хочешь, а надо идти, как поется, собирать свой тощий чемодан.

— А чего ты, собственно, хочешь? — резко спросил Максимов.

— Я? Мальчики, я хочу всегда видеть наших девочек и ваши опостылевшие физиономии, по-прежнему попирать камни этого исторического города, и ходить на эстрадные концерты и в цирк, и сам хочу выступать в цирке. «Соло-клоун и музыкальный эксцентрик Владислав Карпов…» Между прочим, не отказался бы от места ординатора в клинике Круглова.

— А ты чего хочешь, Алексей? — спросил Зеленин.

— Я хочу жить взволнованно! — с вызовом ответил Максимов. — Все равно где, но так, чтобы все выжимать из своей молодости. А будущее сулит сплошную серость. Судьба сельского лекаря. Надо быть честным. Нас теперь научили смотреть правде в глаза. Пускай Тарханов и иже с ними поют нам о высоком призва-

нии, о патриотическом долге, пускай Чивилихин кричит, что трудности не страшат нас, молодых романтиков. Все знают, что он-то обеспечил себе местечко в клинической ординатуре. Какая нас ждет романтика? Вот если бы мне сказали: лезь в эту ракету, и тобой выстрелят в космос, и ты наверняка рассыплешься в прах во имя науки, — я бы только «ура» закричал. А когда мне толкуют, что мое призвание и мой долг — превратиться в Ионыча, тут уж нет, пожалуйста, не надо красивых слов! Приму как неизбежность!

— А о больных, которые тебя ждут, ты думаешь? — спросил Зеленин.

— О больных? — опешил Максимов.

Владька вставил:

— Помните, как Гущин на обходе говорил: «Нда-с, батеньки, несмотря на все наши усилия, больные поправляются».

— А о других ты ни о ком не думаешь, Алексей? — спросил Зеленин.

— А ты только о других и думаешь?! — крикнул Максимов. — Эх, Сашка, Сашка, трудно тебе будет!

— Не волнуйся за меня, рыцарь, умоляю тебя, не волнуйся!

— Пошли в кино, хлопцы, — предложил Карпов.

Распределение

Этот день помнят всю жизнь. Это день массовых прогулов, побегов с лекций, валерьяновых капель, хохота, слез… Распределяются в первый день десятки, а болельщиков сотни. Родители, жены, невесты, знакомые и просто любопытствующие с младших курсов.

Максимов, Карпов и Зеленин сидят на диване в коридоре второго этажа. Максимов и Карпов ждут своей очереди, а Зеленин ждет их. Сам он распределяется завтра. За стеклянной дверью патофизиологической лаборатории видны спокойные фигуры в белых колпаках и халатах. Людям за дверью этот день не кажется необычным. Для них это просто четверг, 29 марта. Впрочем, не для всех.

— Владька, серьезно, что делать? — с глухой тревогой спрашивает Максимов.

Карпов сегодня мрачен.

— Я не подпишу! — выпаливает он.

— Ты что, того? — Максимов крутит пальцем у виска. — Диплома не выдадут.

— Пойми, Макс, как я уеду куда-то к чертям, когда она останется здесь!

— Она? — Максимов изумленно глядит на друга. — Неужели ты даже сейчас… — Он отворачивается, вздрагивает и шепчет: — Легка на помине.

По коридору, звонко отстукивая каблучками, идет высокая девушка. Улыбается, сияет. Идет немного вызывающе — может быть, оттого, что старается не потерять самообладания под взглядами десятков глаз. Открывает дверь лаборатории — и вдруг, увидев друзей, останавливается.

— Не обращай внимания, — быстро говорит Максимов.

Вытаскивает газету, углубляется в чтение.

Девушка медленно, точно ее подтягивают на канате, подходит к дивану.

— Привет, мальчишки, — говорит она с сердечностью. Посторонний не уловил бы в ее голосе ни малейшего оттенка фальши.

— Наше вашим, — отвечает Карпов.

— Хелло, — бурчит Максимов.

— Добрый день, Верочка! — приветствует Зеленин.

Вера смотрит на высокомерного Владьку, на независимого Алексея (Зеленина она почти не замечает) с ласковым пренебрежением. Но что все-таки тянет ее к ним? Прежняя дружба или то старое, тайное, от чего, оказывается, нет никаких лекарств? Ах, все это отголоски детства! Она смотрит по сторонам, блуждающие по коридору студенты поглядывают с любопытством. Курс отлично помнит, как она неожиданно дала отставку Владьке Карпову и вышла замуж за доцента кафедры патофизиологии Веселина. Это была сенсация. Вера улыбается:

— Вам неинтересно, как я распределилась?..

Максимов насмешливо щурится:

— А мы знаем. Действие развивалось примерно так: она вошла, грациозная и свежая, как дуновение… м-м-м… словом, как некое дуновение. «Это наша лучшая студентка Вера Веселина», — сказал декан. «Веселина? — удивился Тарханов. — А не жена ли она нашего уважаемого?.. Ах так! Чудесно! Думаю, что все ясно с Веселиной. Путь добрый вам в науку, толкайте ее, голубушку, в бок вместе с уважаемым…»

Вере больно. Все действительно проходило примерно так. Она не знает, что делать, — вспылить, или обратить все в шутку, или заплакать. Положение спасает тот, кто выручал ее всегда, — муж. Он появляется из лаборатории и уводит Веру.

Петр Столбов, здоровенный парнище, игриво кричит:

— Вла-адька! Любимую «любить увели», а?

Подходят в обнимку Эдик Амбарцумян и любимец курса поэт Игорь Пироговский.

— Ребята, послушайте, — говорит Пироговский. — Решили мы с Эдькой соседями стать. Я — в Оймякон, а он — в Оротукан. Шашлычком из медвежатины обещал угостить. Привезу, думаю, оттуда чемодан стихов. И вот на тебе — распределяют меня в аспирантуру на терапию. Вот тебе и стихи, вот тебе и медвежатина!.. Человек предполагает, а комиссия распределяет.

— Я, пожалуй, тоже в Якутию попрошусь, — говорит Максимов, — там хоть льготы и чумы разные, аэросани…

— Аэросани, спиритус вини, — подхватывает Карпов. — Правильно, Макс, уедем к чертям отсюда.

К дивану подходит пожилой человек в потертом драпвелюровом пальто и велюровой шляпе.

— Ну, орлы, а вы куда собираетесь?

— В Рио-де-Жанейро, — острит Карпов.

Незнакомец спокойно говорит:

— Что ж тут смешного? Можно и в Рио-де-Жанейро. Мне нужны судовые врачи. Есть желающие? Разъяснить? Я начальник медуправления Балтийского морского пароходства. Набираем врачей на суда. Условиями будете довольны. В рейсах двойной оклад плюс валюта. Стол бесплатный. Для ознакомления поработаете несколько месяцев в порту, а потом в путь.

— Куда?! — восклицает Максимов.

— Рейсы самые разные — Индия, Аргентина, есть и поближе — Лондон, Антверпен, Гавр. Ну?

— Согласен! — одновременно выпаливают Максимов и Карпов. Остальные задумываются.

— Полная деквалификация, — говорит Зеленин, — это же полная деквалификация, ребята!

— Ошибаетесь, — обидчиво возражает человек. — На судне надо быть знающим и решительным врачом.

Возможны всякие случайности. Недавно один наш врач оперировал ущемленную грыжу в штормовых условиях, в Атлантике. Представляете? Можно и научной работой заниматься. Не удивляйтесь. Чем, например, не тема для диссертации — физиология труда моряков в условиях резкой смены климатических зон? Дело непочатое. Возьметесь за него с огоньком — обещаю всестороннюю поддержку.

— Квартиру даете? — спрашивает Петр Столбов.

— На первых порах общежитие. Прописка постоянная в Ленинграде. Но в перспективе и квартира…

— Ясно. Я согласен.

Незнакомец открывает блокнот.

— Ваши фамилии, орлы? Итак, Максимов, Карпов, Столбов и… Нужен еще один.

— Зеленина запишите! — кричит Максимов и показывает кулак молчащему Сашке.

Человек уходит. Студенты молчат. Зеленин молчит и дымит. Столбов молчит, прикидывает. Максимов и Карпов молчат и остолбенело смотрят перед собой. Все! Где она, судьба Ионыча? Где сытое прозябание в деревенской глуши? Человек в драпвелюровом пальто, словно волшебник в детском спектакле, отдернул шторку, за которой открылась сверкающая водная гладь. Проплыл мираж — пальмы, небоскребы, купола, пирамиды. Вы мечтали о жизни необычайной, насыщенной, интересной? Вы думали, мечты не осуществляются? Напрасно. Получайте входные билеты и бегите в будущее, увлекательное и легкое, как кинофильм. Индия! Аргентина! Двойной оклад! Диссертация! Штормовые условия!

Вдумчивый Сема Фишер с сомнением качает головой. Он не представляет себе жизни вне больничных стен, без утренних обходов и ночных дежурств, без

мучительных раздумий над историей болезни. Игорь Пироговский завидует. Амбарцумян не знает, завидовать или не стоит. «Светский человек» Генька Бондарь иронически улыбается. Костя Горькушин возмущается: дурни, полезли в экзотику. Несерьезный народ. Владька Карпов и Леха Максимов — чудилы и стиляги, Столбов только о бизнесе думает, а Сашка-то Зеленин хорош — молчит!

Наконец Карпов произносит программную фразу:

— Мальчики, должен же кто-то бороздить мировой океан!..

Ветреный вечер

Натиск весны в этом году был сокрушительным. С середины марта все потекло. Пошла работа для треста очистки. С утра до вечера улицы скоблили и подметали разные самодвижущиеся механизмы. А дворники дедовским способом ухали снег с крыш, бомбардировали тротуары. Веселая бомбежка в Ленинграде! Вечером солнце, клонясь к частоколу зданий Васильевского острова, пробивало лучами вереницу троллейбусов и автомашин на Большом проспекте Петроградской. Потом небо над закатом начинало зеленеть, напоминая о лете, о пионерском лагере, о мечтах про далекие страны и странствия. В мокрых скверах появлялись парочки и шумные группы с гитарами. Начиналась весенняя ночь с треньканьем струн, с тихими возгласами, с шорохом, с хохотом, с поцелуями.

Вечером после распределения Максимов и Зеленин шли по Кировскому проспекту к Неве. Карпов исчез: видимо, побежал оповещать о радостном событии знакомых девочек.

Вот она, Нева! Над Ростральными колоннами, над Военно-морским музеем стояла золотая, предзакатная пыль. По Дворцовой набережной, как по желобу, катились сверкающие шарики автомобилей. Приходило привычное настроение. Они любили молчаливые прогулки по Ленинграду. Кто-то сказал, что дружба — это умение молчать вдвоем. Слова были неуместны в такие минуты, когда город раскрывался перед ними, когда наступал еле уловимый миг, сближавший их с давно умершими строителями и мечтателями. Они пересекли Неву и пошли по набережной. Зеленин задумчиво засвистел. Алексей взглянул на его худое лицо под широкополой шляпой и разозлился. Молчит Сашка, насвистывает. Это зеленинское свойство всегда раздражало Алексея. Вдруг Зеленин начинает отчужденно улыбаться и насвистывать что-то свое, какой-то идиотский мотивчик. Мысль его в эти минуты блуждает по неведомым для Максимова путям.

— Все-таки это самый лучший вариант?! — громко сказал Максимов.

— Что? — вздрогнул Зеленин.

— Самый лучший вариант распределения. И для тебя тоже. Я же вижу, что тебе до смерти не хочется покидать Питер. А так между рейсами будешь бывать здесь. Не забудь завтра напомнить о себе начальнику.

— Да-да, — отозвался Зеленин, — непременно, обязательно, бесповоротно.

«Вот тебе и экзамен наших душ», — удовлетворенно подумал Максимов.

— Постоим?

— Давай.

Они оперлись на парапет и стали смотреть на реку, во многих местах которой возникали сейчас багровые

сияния. Ветер с Балтики пахал воду. Спустя некоторое время Максимов стал оборачиваться на проходящих девушек.

— Черт побери, сколько хорошеньких!

— Да-да, — весело воскликнул Зеленин, — хочется танцевать со всеми!

— Это нетрудно сделать. Хлопнем по бутылочке «777», и тебе покажется, что ты танцуешь с женщинами всего мира. Гарантирую полный фестиваль! Так пойдем, выпьем?

— За океан, за паруса, наполненные ветром? — спросил Зеленин.

— За котлы и турбины, — усмехнулся Максимов.

— Нет, именно за паруса. Знаешь, когда я думаю о море, я слышу увертюру к «Детям капитана Гранта». Какая гениальная музыка!

— Довольно, хватит! — оборвал его Максимов. — Пошли.

Они повернулись и увидели, что на них смотрят двое: кругленький, толстенький инвалид с костылем в правой руке и высокий обтрепанный мужчина. Оба основательно навеселе.

— Подожди, Миша, — сказал инвалид и обратился к ребятам: — Молодые люди, разрешите нарушить ваше уединение?

— Пожалуйста. Что вам угодно? — сказал Зеленин.

Инвалид скользнул нетвердым взглядом, и на его лице появилась добрая пьяная улыбка.

— Мне угодно задать вам ряд вопросов. Вы на вид культурные ребята — по одежде и вообще. Студенты? А я человек с незаконченным высшим образованием. Война помешала закончить. Егоров моя фамилия. Сер-

гей Егоров. — Зажав костыль под мышкой, он протянул Максимову руку и воскликнул: — Чем вы живете? Вот вы, молодежь? Куда клонится индекс, точнее, индифферент ваших посягательств? Мы в вашем возрасте знали, что делать, мы насмерть стояли.

— А сейчас больше по этому делу? — Алексей щелкнул себя по горлу.

Инвалид вскинул голову и неожиданно ясным взглядом впился ему в глаза.

— Мы, фронтовики, и сейчас знаем, что делать, а вы, видно, только по Невскому можете шмалять, и ничего больше.

— Это мы-то?

— Ну да, вот такие, как вы, типчики!

— Отваливайте, Егоров, гуляйте. Мы вас не знаем.

Максимова разобрала злость. Он взял инвалида за плечи и стал осторожно поворачивать.

— Руки прочь! — раздался грозный окрик высокого мужчины.

У него было костлявое лицо, скошенное кислой гримасой, словно во рту он держал ломтик лимона. Он обнял Егорова и зашептал:

— Сережа, с кем ты связался, это же мразь, пижонство! А еще оскорбляют героя войны. Вот, друзья, полюбуйтесь, — обратился он к остановившимся прохожим. — Два ничтожных пижона оскорбляют инвалида войны…

— Мы не пижоны! — воскликнул Зеленин. — И мы не оскорбляли его.

— …Инвалида войны, который за них кровь проливал, отдал свою правую ногу. При мне ему миной оторвало ногу в сорок первом под Ростовом. Помнишь,

Серега, друг ты мой тяжкий, помнишь окопчик тот? Ты с ПТР лежал, а я с автоматами шагах в десяти. Тут как раз и ахнуло. Потом танки пошли.

— Танков я уже не помню, — сказал Егоров.

Вокруг молча стояли люди. Максимов подмигнул Зеленину и делано рассмеялся:

— Бойцы вспоминают минувшие дни, а ногу, наверное, отрезало трамваем. Заснул в пьяном виде на рельсах…

Он осекся. Высокий молча смотрел на него. Он словно проглотил наконец свой ломтик лимона — лицо пересекли большие спокойные морщины, и только в глазах Алексей увидел презрение. Жгучее незабываемое презрение. Алексей выдвинул плечо вперед. Неожиданно сзади кто-то взял его под локоть: полковник авиации.

— Вы, ребята, не глумитесь над этим. Бойцам не грех вспомнить минувшие дни. И ты, друг, зря так: не знаешь людей, а называешь пижонами.

— Мы не пижоны, мы врачи. — Зеленин попытался сказать это с достоинством, но голос его дрогнул.

— Что ты оправдываешься? — резко бросил Максимов. — Пойдем.

Они ходили по набережной до темноты, дошли до моста лейтенанта Шмидта и вернулись обратно. Сильный ветер устроил на воде пляску световых пятен. Пятна плясали каждое что-то свое, прыгали вдоль берега, словно боялись рвануться в сплошную мглу, к темному массиву Петропавловки. Максимов и Зеленин подняли воротники.

— В этой истории, конечно, виноват я, — сказал Максимов. — Зря я подковырнул инвалида. Алкоголики на такие шутки реагируют остро.

— Почему ты решил, что они алкоголики? Может быть, просто отмечали какое-нибудь событие.

— Нормальные люди не лезут в душу к незнакомым.

— А помнишь у Уолта Уитмена? «Если в толпе ты увидишь человека и тебе захочется остановиться и поговорить с ним, почему бы тебе не остановиться и не поговорить с ним?» Знаешь, я очень ярко представил себе, как они лежали в этом окопчике под Ростовом. Им тогда было столько же лет, сколько нам сейчас, им хотелось жить, не хотелось терять конечности, а они лежали и стреляли — и не помышляли о бегстве. Не думаю я, что эта стойкость шла у них только от храбрости или подчинения дисциплине. Должно быть, они чувствовали свой долг перед всеми поколениями русских людей и свою ответственность за грядущие поколения. А наше поколение, как ты думаешь, способно на подвиг, на жертвы?

— Жертвенность? Вздор! Дикое слово! Что мы, язычники?

— Ну не жертвенность, так долг. Это тебе понятно?

— Обязанность?

— Нет, братец, именно долг, наш гражданский долг. Чувство своего окопчика.

У Максимова погасла сигарета. Никак не мог раскурить ее на ветру. Возился со спичками и говорил сквозь зубы:

— Ух, как мне это надоело! Вся эта трепология, все эти высокие словеса. Их произносит великое множество идеалистов вроде тебя, но и тысячи мерзавцев тоже. Наверное, и Берия пользовался ими. Сейчас, когда нам многое стало известно, они стали мишурой. Давай обойдемся без трепотни. Я люблю свою страну, свой строй и, не задумываясь, отдам за это руку, ногу,

жизнь, но я в ответе только перед своей совестью, а не перед какими-то словесными фетишами. Они только мешают видеть реальную жизнь. Понятно?

Зеленин с силой ударил кулаком по граниту и вроде не почувствовал боли.

— Ты не прав, Алешка! Мы в ответе не только перед своей совестью, но и перед всеми людьми, перед теми с Сенатской площади, и перед теми с Марсова поля, и перед современниками, и перед будущими особенно. А высокие слова? Нам открыли глаза на то, что мешало идти вперед, — так надо радоваться этому, а не нудить, как ты. Теперь мы смотрим ясно на вещи и никому не позволим спекулировать тем, что для нас свято.

Максимов наконец сделал глубокую затяжку и сказал непонятно:

— Да, рыцарь, ты мудр!

* * *

…Двое стоят, подняв воротники, на ветру. Им пока не много лет, и временами они чувствуют себя совсем мальчишками, но временами в хаосе весеннего разлива они оглядываются назад и смотрят по сторонам и вперед, смотрят вперед, выискивая тропу.

Глава 2
Последние каникулы

— Дикари!

— Голуба, врежь длинного!

— Сделай из него клоуна! Да сделай же клоуна из него! Эх, мазила!

Крики болельщиков не помогали. Команда «дикарей» — Лешка Максимов, Саша Зеленин и другие — с позорным счетом обыгрывала волейболистов дома отдыха «Обувщик». Максимов откинул мяч Зеленину. Тот взмыл в воздух и сильно ударил в первую линию. Удар закончил игру. Конечно, у Сашки упали очки. Они падали у него почти после каждого прыжка, но сейчас ему казалось, что так и должно быть после столь блестящего удара — и лица расплывчаты, и кроны лип слегка набекрень.

Максимов хлопнул его по спине:

— Молодец, Сашка!

— Где, где, где? — забормотал Зеленин.

— Эта блондиночка?

— Да. Где же она?

— Собери свои диоптрии и увидишь.

Стройная девушка в узких серых брючках стояла под елкой. Поймав растерянный Сашкин взгляд, она расхохоталась и пошла прочь, ведя сбоку гоночный велосипед. Максимов печально пропел:

— Средь шумного матча случайно…

— Верно! — воскликнул Саша. — Ты угадал мое настроение. Это она, она!..

— Но ты, к сожалению, не во фраке и грязноват, — проворчал Максимов. — Идем купаться.

Пляж был пуст. Даже самые одержимые ныряльщики разошлись по дачам. Друзья прошли на самый край мола и постояли там, не в силах оторвать взгляда от заката. Солнце, как купол сказочного дворца, возвышалось над сверкающим горизонтом. Через все море, словно след от удара бичом, тянулась красная дрожащая полоса.

— Вредное зрелище — закат, — сказал Максимов.

— А по-моему, прекрасное.

— А по-моему, вредное. Утрачивается уверенность — вот в чем штука. Кажется, что за горизонтом раскинулась прекрасная неведомая страна, где говорят на высоких тонах и все взволнованны и очень счастливы. Но на самом-то деле ее нет.

— Поплыли, проверим?

Они разом бросились в воду. Плыли кролем по солнечной полосе. Брызги, слетавшие с рук, казались каплями вишневого сиропа. Максимов оглянулся и обвел глазами хвойную дугу Карельского перешейка, окаймленную снизу желтой полоской пляжей. Это был Теплый берег, где в этот час тысячи людей готовили ужин.

— Ого-го! О, радость бытия! — заголосил Алексей.

Рядом вынырнул Сашка с вытаращенными глазами и открытым ртом.

— Рубины из сказочной страны! — крикнул он, ударяя ладонью по воде.

Они вернулись к молу и уселись на железной лестнице.

— Через два дня выходить на работу, а Владька еще не вернулся, — сказал Алексей.

Саша вздохнул:

— А мне послезавтра двигаться в свою тьмутаракань. Последние каникулы, прощайте. Грустно!..

— Да не езди ты туда.

— Как это так?

— А так. Папа Зеленин надевает черную тройку, идет в горздравотдел, идет туда, звонит сюда — и дело в шляпе. Неделя угрызений совести в высокоидейном семействе, а потом жизнь продолжается. Вот и все.

— Не пори чепухи, Алешка.

— Тебе очень хочется ехать?

— Нет! — сердито отрезал Зеленин.

— Еще бы! Ведь ты горожанин до мозга костей, потомственный интеллигентик. Вот Косте Горькушину везде будет хорошо…

— Костя мечтал о своей Волге, а уехал в Якутию.

— Потому что в Якутии двойные оклады и надбавка.

— Нет, не поэтому, — твердо сказал Зеленин.

Максимов повернулся к другу. Тот сидел на железной ступеньке, по пояс высовываясь из воды, белесый, тощий и вдохновенный.

— Мальчик, вернись на землю. Да-да, на земле существуют оклады, простые и двойные, и, кроме того, прописка. Уезжающим в Якутию хоть прописка бронируется. Ты говоришь, что место судового врача перехватили, но Якутия-то осталась!

— Прописка — не приписка. Почему я должен дрожать над ней? Это меня унижает.

— Ну хорошо. Ты же знаешь, что я не только это имел в виду. Ты же будешь в медвежьей дыре, в глухомани, хотя и недалеко от Ленинграда. Якутия все-таки экзотика, просторы…

— Я тебе правду скажу. Никто у меня места не перехватывал. Просто на распределении я услышал, что в этом поселке два года не было врача, и попросил туда назначение.

— Браво! — воскликнул Максимов. — Твое имя запишут золотом в анналах…

— Сутки езды от Ленинграда, и нет врача — позор! Поехать туда — это мой гражданский долг.

Максимов не понимал, зачем это он затеял такой разговор напоследок, но что-то его подмывало перечить Сашке.

— Иди к черту! — сказал он. — Противно слушать! Тоже мне ортодокс нашелся!

— Не глумись, Алешка. Помнишь, мы с тобой говорили о цене высоких слов? Я много думал об этом и…

— Я тоже думал и понял, что все блеф. Есть жизнь, сложенная из полированных словесных булыжников, и есть настоящая, где герои скандалят на улицах, а романтически настроенные девицы ложатся в постели к преуспевающим джентльменам. А сколько вокруг жуликов и пролаз! Они будут хихикать за твоей спиной и делать свои дела. Мое кредо — быть честным, но и не давать себя облапошить, не попадаться на удочку идеализма.

— А ведь когда-то, Алешка, ты мечтал о настоящей жизни, о борьбе!

— Это и есть борьба, борьба за свое место под солнцем.

— А о других ты не думаешь?

— Опять ты за свое? Опять о предках и потомках?

— Да, о них.

— А что я, Алексей Максимов, могу для них сделать?

— Продолжать дело предков во имя потомков. Мы все — звенья одной цепи.

— А самому сейчас не жить? Я не знаю вообще, что будет после моей смерти. Может быть, ни черта? Может, этот мир только мой сон?

— Дурак! Позор! — отчаянно закричал Зеленин. — Твой солипсизм гроша ломаного не стоит.

В этот момент им показалось, что в море, в метре от них врезался метеорит. Обрушился столб воды. Когда разошлись круги, в глубине они увидели извивающееся тело.

— Морду надо бить за такие штучки! — сказал Максимов. Показалась красная шапочка, лицо, бронзовые плечи.

— Владька! — ахнули оба.

Владька подплыл и вылез на мол. Он был красив, мулатоподобный южанин Карпов. Мускулы его играли под глянцевитой кожей, как рыбы. От ослепительной улыбки веяло плакатной свежестью.

— Спорт и джем полезны всем! — крикнул Максимов.

— Ф-фу, коллеги, вы все такие же, — шумно дыша, сказал Владька.

— Как отдохнул?

— Железно. А вы?

— Неплохо.

— Сашка что-то бледный.

— Забыл? Сашка у нас всегда бледный. Тревожная душа, высокие порывы! А тут еще любовь поразила его накануне свершения гражданского подвига.

— Любовь?! — воскликнул Карпов. — Эх, братцы, что за встреча была у меня в Одессе с одной актрисой!

Максимов охнул и умоляюще воздел руки. Нельзя же сразу начинать все сначала! Эти рассказики о Владькиных «встречах» сидят у Алексея вот где! Карпов сказал «ша» и попросил Зеленина рассказать о его «встрече». Но Саша, ворча, искал очки в куче одежды. Максимов мечтательно повел рукой:

— Встреча была мимолетна, как дуновение… м-м… вечно у меня осечка с этими дуновениями.

— Как дуновение летнего ветерка, — буркнул Зеленин.

— Вот-вот, очень свежее сравнение. Она приехала на гоночном велосипеде посмотреть нашу богатырскую

схватку с обувщиками. А потом уехала. Не горюй, рыцарь, сегодня мы увидим ее на танцах.

— Ее на танцах? Лопух!

— Пари?

— Давай разниму! — воскликнул Владька.

В сумерках они шагают по шоссе. Как всегда, в ногу. Над курортным районом динамики разносят ухарский голос и торопливое бормотание гитары. В то лето по всему побережью победоносно, как эпидемия, прошел «Мишка, где твоя улыбка?».

Максимов орет:

— Я сойду с ума! Автора бы мне, автора бы!

— Шире шаг! — командует Карпов. — Шумно в строю!

«Все в порядке, — думает Максимов. — Мы шутим. Мы вместе идем на танцы. Нам девятнадцать лет. Эге, уже не то: каждому по двадцать четыре. И в последний раз так, вместе…»

По сторонам, где редеет лес, мелькают огни дач. Трое идут, как всегда, как и раньше, оставляя за спиной картинки постороннего тихого быта. Какая-то решимость сквозит в их движениях. Откуда она? Да нет, просто они идут на танцульки, просто приподнятое настроение, просто каждому всего двадцать четыре года.

Четыре лампы освещали центр танцплощадки и делали ее похожей на боксерский ринг. Ребята остановились в углу, у входа. Неожиданно сзади близко послышалось урчание мотора. Вплотную к площадке подъехала «Победа». Из нее вылезли Генька Бондарь и та самая блондинка, «мимолетное виденье». Поднялись на танцплощадку.

— Батюшки, — ахнул Максимов, — вот тебе и дуновение!

«Светский человек» засмеялся и помахал рукой:

— Пардон за серость. Привет, мушкетеры! Зеленин, привет!

— Вот они, твои иллюзии, — сказал Максимов Зеленину.

— Да-да, — прошептал Зеленин, — что ж…

— Как заиграют вальс, сразу же приглашай. Генька вальсов не танцует принципиально, — зашептал Карпов.

— Не буду, не хочу, — буркнул Саша, сошел с площадки и сел рядом в тени. Посмотрел на звезды и закурил. «Мимолетное виденье», — подумал он. — Приехала с Генькой. Конечно, у него машина — это много значит. Владька красавец, Алешка тоже недурен. А я? Рыцарь печального образа. Но там, на матче, она смотрела как-то особенно. Не обольщайся. Ты слишком несуразен. «Очкарик».

Когда он вернулся, все было так, как он и предполагал. Карпов с девушкой кружился в вальсе, а Максимов стоял у перил и издевался над помрачневшим Бондарем:

— Еще все впереди, мальчик. Выше голову. «Мерседес» урчит у подъезда.

Музыка смолкла. Сквозь толпу к ним пробирались смеющаяся девушка и Карпов. На девушке было светлое платье, узкое в талии, а книзу колоколом. Зеленин впервые видел такое платье.

— Инна, знакомься с моими друзьями.

Вот ведь что за парень! Уже узнал имя, уже на «ты». Даже неприятно. Ведь любит-то он только Веру Веселину.

— Алексей Максимов.

— Александр Зеленин.

— А меня зовут Евгений, — сказал Бондарь.

— Это еще что? Разве вы незнакомы? Разве вы в детстве не строили вместе песочные башни?

— Нет, — сказала Инна, — просто Евгений предложил меня подвезти!

— Великолепно! — захохотал Максимов. — Бондарь на пути к исправлению. Доверие — это все.

— Разве я рисковала? — улыбнулась Инна.

В репродукторе что-то загудело, что-то лопнуло, и потекла изломанная мелодия танго «Кумпарсита».

— Пойдем, что ли? — с жалкой развязностью сказал Бондарь.

Владька многозначительно улыбнулся, Максимов щелкнул каблуками.

— Нет уж, простите, — сказал Зеленин и решительно взял девушку под локоть. Она подняла на него изумленные глаза и пошла вперед, в гущу танцующих. «Что со мной? — подумал Зеленин. — Что со мной происходит?» Синие, темные, как весенние сумерки, глаза смотрели на него вопросительно и ободряюще, смотрели хорошо. Он начал говорить и говорил без умолку, словно боялся, что молчание спугнет девушку. Они кружились, топтались в толпе, смотрели друг на друга, и лишь иногда в поле их зрения попадали громадные ели, уходящие в звездное небо, и лишь иногда сквозь парфюмерные испарения толпы прорывался к ним таинственный ветер залива, и лишь иногда они понимали особое значение этих минут. Они танцевали танец за танцем, а потом спустились с площадки и исчезли.

— Все в порядке у Саши. Каков рыцарь, а? — удовлетворенно сказал Алексей.

Они с Владькой сидели на перилах танцплощадки. Максимов развлекался, представляя себе Зеленина в этот момент.

— Пироговский еще в Комарове? — спросил Владька.

— Да, там еще. Мы к нему ездили несколько раз.

— Ну и как? — взволновался Карпов.

— А что? Играли в пинг-понг.

Жалко Владьку. Ни юг, ни «встреча» с актрисой не помогли ему забыть Веру. И сейчас эти жалкие маневры. Хочет спросить и не решается.

— Да, там была Вера. С мужем, конечно… Нет, не болтал… Ну ее!

— А тебе-то что? — сухо сказал Владька.

Правда, ему-то что? Какое дело Максимову до того, что Вера ушла из Владькиной жизни? Он-то ведь к ней равнодушен. Есть девчонки и красивее, и искреннее. Какое ему до всего до этого дело?

— Как ты думаешь, — спросил Владька тоскливо, — неужели она вышла замуж только из-за распределения?

— Не думаю.

— Может быть, ты думаешь, что она любит этого?

— Все может быть. Или увлекла идея научного содружества. Мария Склодовская и Пьер Кюри… Верочка способна на такие параллели. А ведь ты в этом смысле бесперспективный.

— Ты так думаешь?! — воскликнул Карпов.

— Это она так думает. Вернее, я думаю, что она так думает.

— Э, тебе бы только…

В первом часу ночи они лежали на даче в темноте и курили, когда воровато заскрипела лестница под окном и на фоне глубокого прозрачного неба поя-

вился контур Зеленина. Звездный свет блестел в его очках.

— Те же и Дон-Жуан! — проворчал Максимов.

— Какая девушка! Ах, какая девушка! — сказал Зеленин, не слезая с окна.

— Ложись спать, Паниковский!

— Целовались? — спросил Владька, пытаясь скрыть зависть.

— С ума сошел! В день первой встречи? Мы говорили. О многом, обо всем. Но, увы, она москвичка и учится в МГУ, а я уезжаю в Круглогорье. Увы!

Проводы

Папа и мама Зеленины стояли возле своего сына. Чрезмерно вежливые и несколько чопорные, они были не к месту здесь, на дебаркадере речной пристани, в суматошной толпе.

— Помни, сын… — сказал папа.

— Да-да…

— Сашенька, сразу же сообщи, как устроишь свой быт. Быт — это все-таки очень важно, — с апломбом, маскирующим смятение, сказала мама.

Чуть поодаль стояли друзья. Молчали, грустные.

Инна появилась уже на палубе теплохода.

Зеленин с бессознательным интересом смотрел, как лавирует в толпе стройная девушка в синем свитере. Вдруг в глазах у нее метнулись искорки радости, она разлетелась к Саше и остановилась в замешательстве при виде родителей. Владька и Алексей поспешили ей на выручку.

— Сейчас Саша подойдет, — сказал Владька, — только выслушает последние наставления.

— И получит пузырек с бальзамом, — сказал Максимов.

— И энное количество экю, — подхватила Инна.

Ребята невесело рассмеялись. Инна почувствовала, что они приняли ее в свою компанию. Ей нравились эти ребята, и она отлично понимала их юмор и грусть. Но сейчас они грустят, а она радуется. Для нее проводы — только начало истории с этим смешным Сашей.

— Как видите, ребята, — сказал, подойдя, Зеленин, — я раньше вас всех ухожу в плавание.

— Мы к тебе приедем кататься на лыжах, — сказал Карпов. — Говорят, там прекрасные места для катания на лыжах.

— Ой, верно! — обрадовалась Инна. — Давайте поедем туда на каникулы!

— У нас уже не будет каникул, — сказал Максимов, — а в это время мы будем в штормовых условиях писать диссертации.

— Инна, я позвоню вам в Москву, — сказал Зеленин.

Раздался первый утробный гудок теплохода.

Дебаркадер покачивался, и оставшимся казалось, что они сейчас тоже тронутся в путь в кильватере теплохода.

— Сашенька, питайся рационально! — кричала мама. — Умоляю тебя, питайся рационально!

Она разрыдалась. Папа, смущенный, тронул ее за плечо.

— Помнишь, как сказано: мальчик создан, чтобы плавать, мама — чтобы ждать.

Инна смотрела во все глаза, а ребята пели институтский гимн. Они были уверены, что Зеленин на корме сейчас поет то же самое.

Зеленин на корме пел и думал: «Она все-таки пришла на пристань, хотя и обещала так, вскользь. Прощайте, ребята, прощайте! Какие вы хорошие, ребята! Да, мамочка, я буду питаться рационально. Да, папа, да…»

Теплоход, словно высеченный из глыбы белого мрамора, постоял немного на середине реки, а потом быстро ушел на восток, в сумерки.

За спиной у Инны смущенно кашлянули.

— Простите, — сказал папа Зеленин, — мы бы хотели познакомиться с вами.

В этот вечер предстояли еще одни проводы. С Московского вокзала отбывала группа «якутян». Они стояли возле вагона, Клара, Костя Горькушин, Амбарцумян, Сема Фишер и другие, все в прорезиненных куртках и тяжелых ботинках, члены туристской секции, мало похожие на докторов. Пели институтский гимн. Думали о дороге и о том, что ждет их там, где дорога кончится. Кричали провожающим:

— Эй, мы все в кадре? Я в кадре?

— Смешно, — сказал Максимов, — всех провожаем мы, уезжающие дальше всех.

В Фонтанке расплывались маслянистые световые пятна. Шум с Невского долетал сюда то сплошным нарастающим гулом, то рвался частыми нелепыми синкопами. Карпов сплюнул в Фонтанку.

— Ох, жалко Сашку, — вздохнул он.

— Эх, хрыч! — прикрикнул Максимов. — Перестань его отпевать! Эка невидаль — поехал человек по распределению! Вернется скоро. Наберется ума, чертяка длинный.

— А мы?

— Что мы? Мы тоже по распределению. Только нам повезло, и все.

— Ты уверен, что мы не струсили?

— Давай-ка без загибов, Владька.

— Понимаешь… — Карпов был серьезен. — Как будто все в порядке, и совесть, и логика, но иногда мне кажется, что я прошмыгнул в кино по билету с оторванным контролем. Что-то очень уж у нас ослепительно выходит.

— Посмотри, какие девочки, — сказал Максимов.

— Где? — встрепенулся Владька. — Ого! Вот это да! Блеск! Привет, девочки! Вы куда? И мы туда же. Пошли, Макс.

Фанфары молчали

Первый день работы. Первый день трудовой деятельности. Первый день самостоятельной жизни. Обычный жаркий августовский день. Не гремели фанфары с небес, и даже тучные, усталые деревья не шелохнулись. Начался этот день с аудиенции у начальника.

Максимов, Карпов и Петр Столбов сидят на диване. Черное клеенчатое великолепие кабинета несколько подавляет их. Начальник за столом выглядит иначе, чем на распределении. Он строг, суховат.

— Трудности неизбежны, — говорит он. — Я говорю это вам для того, чтобы вы не настраивались на легкую жизнь, а потом не хныкали и не помышляли об уходе. Нам нужен крепкий кадровый костяк, а не гастролеры.

Начальник вырывает лист из блокнота, что-то пишет.

— Пока я откомандировываю вас в распоряжение санитарно-карантинного отдела. Там у меня опытные

специалисты. Они познакомят вас с санитарной техникой судов и с нашими гигиеническими установками. Что? Хотите заниматься хирургией? Никаких совместительств! Это мне не нравится, товарищ Карпов.

Как лечебники вы не снизите квалификацию. Вы сможете периодически повышать ее в нашей клинической больнице. Но главное в морской медицине — про-фи-лак-тика. Ясно? Ну, вот. Сейчас идите в отдел кадров заполнять выездные дела. Анкеты, пожалуйста, пишите четко — папа, мама и тэдэ. Бабушек сейчас вспоминать не нужно. Жить будете в порту, на Карантинной станции. Отправляйтесь, друзья, и за работу.

Анкеты, автобиографии, справки и характеристики, разговоры в бухгалтерии, звонки по телефону, знакомства, рукопожатия, и вот рабочий день кончается. Максимов, Карпов и Петр Столбов идут к порту. Жарко. В середине августа всегда жарко.

Порт

Возле главных ворот боец охраны объяснил им:

— Идите, сынки, все время прямо до холодильника. Свернете налево, в Лесную гавань. Дойдете до Частой Пилы и топайте по ней все время прямо до самого до желтого дома. Это и есть «карантинка». Далеко ли? Да километров пять с гаком будет.

— Весело было нам! — крякнул Петя Столбов. — Ну, пошли.

— Идите, сынки, идите, — хихикнул старый боец. — Протрясетесь как следует, аппетит будет отменный, правда, жрать-то там нечего.

— Не ехидничай, папаша Цербер, — хлопнул по плечу Максимов. — Оревуар!

— Гуд бай, — неожиданно сказал старик.

Максимов и Карпов переглянулись. Заморское слово в устах усатого сторожа как бы возвестило о том, что в эту минуту они вступают в особенный уголок земли, доступный голосам фантастически далеких стран, что сейчас они пойдут по последним бетонированным выступам суши, пойдут по территории порта, где хлопают флаги разных наций, где всерьез звучат слова из детских книжек: «Трави конец! Самый малый! Вира! Майна! Кар-рамба! Доннерветтер!»

Навстречу идут люди в кителях, спецовках, пиджаках. Нет ли среди них кого-нибудь в ботфортах, с кортиком и с пистолетами за поясом? Нет, обычный рабочий люд идет вдоль серых складских строений. И вдруг над крышей возникают мачты парусного корабля. За складами, оказывается, скрываются причалы. А дальше уже небо повисает на высоких распорках портальных кранов и мачт. Все гуще закипает вокруг портовая жизнь. Здесь нет светофоров — посматривай! В метре от ребят с бешеным жестоким грохотом проходит железнодорожный состав. «Эй, с дороги, так вашу и не так!» Крутятся коротышки-автопогрузчики, бегают мужчины в кителях, неторопливо, но так же сокрушительно, как паровозы, передвигаются фигуры грузчиков. Максимов, Карпов и Столбов оказались в самом центре погрузочных работ. Из-за угла холодильника выдвигается и растет белоснежная громадина.

— Что за пароход? — спрашивает Максимов проходящего грузчика.

— Пароход! — ухмыляется тот. — Це дизель-электроход «Балтика», юноша. Регулярный лайнер: Ленинград — Лондон.

«Балтика» идет мимо них, посвечивая зеркальным стеклом, чуть-чуть дымя конической трубой, гудя непонятным на расстоянии радиоголосом. На палубе стоят заграничные люди в темных очках, помахивают. Прямо из Лондона, из туманного Лондона!

Мыс Частая Пила назван так потому, что он весь, с обеих сторон изрезан геометрически правильными пожарными водоемами. Здесь просторно и свежо, в воздухе бродят волны приятных запахов. То пахнет соснами от штабелей досок, то прелью от песка, покрытого зеленой морской плесенью. Вокруг расстилается темно-голубой морщинистый плац Малого Баржевого бассейна. Визгливо галдят чайки, кружащие над плотами.

На конце мыса стоит желтый трехэтажный дом с башней. Это «карантинка». Периодически здание это используется как гостиница для репатриантов и экипажей судов, встающих на дезобработку, но большую часть года постоянными его обитателями являются голуби на чердаке, сквозняки и шорохи на всех трех этажах. В четырех комнатах башни находится дежурная карантинная служба. Ночью дом высится, покинутый и одинокий. Огни порта проплывают в его темных окнах, страшновато гремит под взмахами ветра одряхлевшая кровля.

Максимов и Карпов поселились в угловой комнате. Одно громадное окно смотрело на запад, два других на юг. Только узкие простенки прерывали сплошную линию стекла. Не вставая с постели, можно было наблюдать работу кранов на Западной дамбе и Кирпичном молу, движение судов на рейде. Столбов пре-

зрительно заявил, что это не комната, а бутылка. Без пробки к тому же.

— Тут же ветер гуляет. Вот посмеюсь, когда услышу стук ваших костей!

— Идем на жертвы, Петечка, ради природной тяги к водному пространству, — сказал Карпов.

— Если ты за сероводород, Столб, то мы за озон, — добавил Максимов.

Столбов чертыхнулся и отправился искать себе теплую комнату. Мало кто в институте понимал этого парня, Петю Столбова. Он был расчетлив, давал деньги взаймы и строго взыскивал долги в назначенный срок, аккуратно записывал все лекции, прилично сдавал экзамены, горделиво отрыгивал после еды, оглушительно храпел, временами напивался и грубо приставал к девочкам.

— Зачем тебе, Столб, вторая сигнальная система? — допытывался в такие моменты Максимов. — Тебе бы лапы подлинней, шерсти побольше, и качался бы ты спокойно в джунглях, не испытывая потребности в высшем образовании.

Столбов лениво отругивался.

Максимов пошел в кладовую за чайником. Кладовщица сидела за столом. К уху ее опереточным соблазнителем склонился Карпов. Он небрежно кивнул Максимову:

— Забирай обстановку, Макс.

«Бутылка» приобрела обжитой вид. Два письменных стола, отделанных полированной фанерой, и приемник «Нева» придавали ей комфорт. Роскошное Владькино одеяло и настольная лампа создавали уют. Картина «Мишки в лесу» вносила в быт успокоительное ощущение близких перемен. На стены были брошены

текущие лозунги: «Больше Баха, меньше джаза» и «Работай над обменом своих веществ».

По ночам в комнате ходили пятна света. Луна, прожекторы, топовые огни судов, зарницы электросварки, багровый султан завода сплетали свои лучи и создавали таинственное брожение портовой ночи. В окно густым клином входил пахучий портовый воздух. Мерный далекий гул, отрывистые гудки, переплеск волн — это был звуковой фон ночи. Алексей обычно долго лежал на спине и созерцал звезды. Сейчас он чуть иронически относился к своему страху перед этим зрелищем, когда начинала кружиться голова и терялось ощущение своего «я». Это началось еще давно, в детстве. Когда лежишь на крыше или в траве лицом к звездам, внезапно содрогаешься от ощущения, что вот-вот, еще миг, и ты превратишься в пылинку, растворишься в ошеломляющем звездном мире, перестанешь существовать. Уже тогда он нашел уловку — тряхнуть головой и вспомнить о чем-нибудь простом (о задачках по арифметике или о Рыжем с «того двора») — и смутно догадался, что в этом и заключается высокое мужество человека. А сейчас? Сейчас не было страха. Ясно, не все пойдет гладко, но ночью, глядя на звезды, он улыбался, и ему казалось, что койка, тихо покачиваясь, летит в какие-то теплые, жизнетворные глубины.

Утро. Ишачьи вопли «грязнух», паровых шаланд, вывозящих донный ил, добытый землечерпалкой. Грохот и скрежет земснаряда. Вот это марш! Максимов и Карпов вскакивают. Начинается работа над обменом веществ. Пол содрогается от прыжков. В воздухе вращаются гантели и утюги. Свежие, выбритые друзья поднимаются в служебные помещения. Карпов сразу бросается с биноклем на балкон.

— Кто сегодня на подходе, Тамарочка? — кричит он телефонистке.

— На подходе германский «Хапаранда», польский «Гливице», один англичанин, очень трудное название, и два наших: «Белосток» и буксир «Котельщик» с лихтером «Двина», — будничной скороговоркой отвечает Тамара, не подозревая, какой музыкой отдаются эти слова в ушах ребят. Все здесь нравится Карпову: и панорама, и чайки, прорезающие воздух, и сам воздух, настоянный на водорослях, на угле, на сосне и железе. Владька вырос в рыбачьем поселке на берегу моря. Сейчас в нем всколыхнулось забытое ощущение беспричинного счастья. И Максимову тоже здесь нравится. Катер летит прямо в слепящий солнечный блеск, словно стремится расплавиться, лавирует у подножия гигантов, пришедших из дальних морей. И мы будем плавать на них!

Работа. Обследование судов, проверка камбуза и санитарных книжек, акт под копирку — скучная процедура. Но зато потом снова на катер!

К причалу бегут женщины. Бегут молча в одном темпе, как взвод солдат на учении. Бегут встречать теплоход, который не был на родине полгода. Приближается борт теплохода, и женщины стоят на причале, толстые тетки и изящные модницы, разные женщины, связанные одной судьбой, — морячки. А на борту теплохода мужья только молча, странновато улыбаются. Кажется, они не верят, что это реальность, что вон там, в двадцати метрах, стоят женщины, народившие им детей, подарившие им любовь. Это неизбежные минуты смутного анализа нахлынувших чувств, а потом уже начинаются крики, смех, беготня по трапу, поцелуи.

За пять дней теплоход разгрузился, погрузился снова и вечером ушел в Индию. Наблюдая его темную массу, растворяющуюся в сумерках, Максимов представил себе женщин на причале с платочками у горестных глаз, подернутых пеленой похмелья.

— Верное средство от пресыщения, — сказал он Владьке. — Вот как надо жениться, чтобы чувства были натянуты, как струна, чтоб о встрече мечтать полгода, чтоб о жене думать, как о прекрасной любовнице…

— А по-моему, — тихо сказал Карпов, — это единственное, что может отпугнуть от моря. Если бы я… если бы мы с ней… Как ты думаешь, был бы я здесь?

Максимов твердо посмотрел ему в глаза и промолчал. Лишний раз он понял, что образ Веры прочно связан для Владьки с сентиментальным понятием о «настоящей любви». Удивительное дело! Владька — легкий, веселый малый, красавец, атлет. Кажется, несется человек по жизни, хохоча от удовольствия. Собственно, так оно и есть. Может, раньше чахли из-за обманутой любви, а Владька по-прежнему наращивает мускулы, носит яркие галстуки, целует девушек. Мало кто относится к нему серьезно, мало кто знает о двух его страстях. Вера и Хирургия. Владька давно мечтает о Большой Хирургии, о работе в знаменитой на весь мир клинике. Все это кончилось нелепым провалом. Он потерял все сразу.

Максимов тряхнул головой. Ему было неприятно вспоминать подробности, потому что Владька был ему дорог. Ладно, что было, то прошло. Кажется, сейчас хирургия вытесняется морскими путешествиями, а Вера… что ж, время залечит и это. Время все лечит. Понял, Максимов?

Они стояли возле окна в коридоре «карантинки». Немного неприятно было чувствовать за спиной скрипучую пустоту большого дома. Вдруг на лестнице затопали шаги, и в коридоре появился невысокий человек в синем макинтоше, морской фуражке и с чемоданом.

— Хелло! — сказал он. — Мальчики, где здесь свободная каюта?

— Все судно к вашим услугам, — вежливо ответил Карпов. Человек подошел поближе.

— Будем знакомы. Капелькин Вениамин. Летучий Голландец.

Явственно запахло водочкой. Вошедший был круглолиц, плотен. Улыбался довольно игриво и очень располагал к себе. Он пошел с ребятами в «бутылку», достал из чемодана французский коньяк «Мартель» и разлил в два имеющихся стакана и в чашку для бритья.

— Будем сами здоровы, чего желают нам наши мамы, — сказал он.

Элегантный напиток, предназначенный для смакования и причмокивания, он опрокинул залпом, по-русски, и закусил «мануфактуркой», то есть понюхал рукав своего пальто. Потом он понес. Максимов и Карпов ловили каждое его слово. Капелькин поучал, делился своей житейской мудростью, рассказывал о женщинах, пароходах, спиртных напитках, коврах, отрезах, о Гамбурге, Лондоне, Бомбее, ругал нехорошими словами старпома с парохода, на котором плавал последнее время:

— Это серый человек, мальчики, серый, как штаны пожарника. Он не мог понять высокого парения моей души.

Капелькин понравился Алексею и Владьке. Им было приятно, что по соседству поселился этот «заводной»

малый, оморячившийся врач, списанный с судна за то, что во время участившихся «воспарений» стал достигать недозволенных высот.

Кончался август, но солнце продолжало безраздельно царить над Финским заливом Балтийского моря. Лишь по ночам ехидный ветерок намекал на то, что по его стопам движутся передовые отряды осени. Максимов писал письмо Зеленину:

«…Иногда я просыпаюсь с чувством, что мимо меня проходит какой-то массивный сгусток энергии. Поднимаюсь на локте и вижу: прямо под нашими окнами скользит в темноте тяжело груженное судно. Два-три огонька горят на нем, бредет по палубе какая-то фигура. Судно поворачивается кормой, кто-то чиркнул спичкой, кто-то бросил окурок в воду. Прощай, земля, до новой встречи! Никогда я не перестану считать тебя лопухом, дорогой Сашок. Почему не сообщаешь о своих подвигах на сельской ниве? Сеешь ли разумное, доброе, вечное? Сей, милый, засевай квадратно-гнездовым методом! Серьезно, черт, пиши. Мы по тебе скучаем».

Глава 3

Вдвоем с Генрихом IV

Райздравский «Москвич» выбрался на дорогу, несколько раз моргнул красными огоньками, словно прощаясь, рванулся и сразу исчез за поворотом. В лесу, вероятно, было уже совсем темно: шофер зажег фары. Дымящееся световое облако поплыло по елкам. Вскоре скрылось и оно. Зеленин некоторое время еще смотрел на дорогу. Она белела в густых сумерках и казалась

ровной и удобной. Но Зеленин уже испытал на себе ее качества и сейчас с тоской подумал, что зимой эта безобразно разбитая колея станет единственной жилкой, соединяющей Круглогорье с внешним миром, со станцией железной дороги, с районным центром, с Ленинградом. Шоссе что надо — зимой заносы, весной разливы, только летом можно благополучно отбить себе печень.

По озеру в темноте бродила электрическая жизнь: слабые светлячки барж, прожектора буксиров, сигнальные огни тральщиков. Суда торопились уйти на север, к каналу. Темные домишки Круглогорья были для них лишь мимолетной картинкой, промелькнувшим кадром киноленты на пути из Ленинграда в Белое море. Зеленин спустился с крыльца и побрел через больничный двор к флигелю, где находилась его докторская квартира. Квартира была непомерно велика и пустынна. Долгие годы до революции ее занимал земский врач с многочисленными чадами и домочадцами. Как уже узнал Зеленин, врач этот поддерживал связь с революционными организациями Петербурга, а в Гражданскую войну вместе с другими членами сельского совета был расстрелян белыми. Последние два года комнаты пустовали. Перед приездом Зеленина кто-то попытался придать им жилой вид — в столовой на окнах трогательно белели бязевые занавесочки.

Зеленин осмотрел дубовые панели в столовой и попытался представить себе прежних владельцев квартиры. За этим монументальным столом, вероятно, рассаживались на чаепития, читали вслух Короленко, спорили о судьбах России. Приезжали из Петербурга бородатые вдохновенные конспираторы, из сапога в сапог передавались листовки. Потом он вздохнул, от-

крыл свой чемодан и, чувствуя, что совершает кощунство, брякнул на стол похожую на палицу твердокопченую колбасу, батон и нож. Он ел, глядя перед собой в стену, но знал, что за спиной у него есть дверь, которая ведет в такую же обширную комнату, а там тоже дверь и опять комната, такая же пустая, как и две первых. Никогда он не думал, что ему будет неприятно из-за избытка жилплощади. Что он будет делать здесь один? Надежды на прибавление семейства никакой: Инна в Москве. Ха, приедет она сюда, как же! Из Москвы сюда? Из Москвы, где столько интересных ребят, артисты, художники, поэты, где будущим летом будет всемирный фестиваль? Нет, брат Зеленин, ищи-ка ты себе северную красавицу.

Сегодня, когда он вылез из райздравской машины, на крыльцо больницы вышла очень молоденькая девушка с удивительными льняными волосами, медсестра Даша Гурьянова.

«Да ведь это же Любава! — подумал склонный к подобным параллелям Зеленин. — Такие женщины снаряжали челны новгородцев, ткали лен, тянули в голос грустные песни, а в лихую беду волокли на башни камни и кипящую смолу».

Вечером, когда Даша сдала дежурство и сняла халат, он заметил у нее на груди черный клеенчатый цветок из тех, что несколько лет назад были модны в Ленинграде.

«Цивилизация порой принимает кошмарные формы», — подумал он сейчас, но все же улыбнулся, смахнул со стола крошки, встал, прошелся по скрипучим половицам и выглянул в окно. Должно же, черт возьми, хоть что-нибудь виднеться! Он бросился к выключателю и повернул его. Теперь окно выступило из мра-

ка серым четырехугольником. Зато за спиной послышался тихий шорох. Саша вздрогнул и вызывающе заорал:

Жил-был Анри Четвертый…

Ночь в их ленинградской квартире — это всегда приятно: за стенкой скрипит пером папа, а на полу дрожат уличные огни. А тут… Почему это темнота так подозрительно сгущается там, в углу? Кто-нибудь вышел из той комнаты? Кто-то совсем не такой, как все… Ха-ха, рыцарь, вы, кажется, начали бояться темноты? Зеленин сжал кулаки и запел еще громче:

Еще любил он женщин,
Имел у них успех,
Победами увенчан,
Он был счастливей всех.
Ля-ля-ля бум-бум, ля-ля-ля бум-бум…

«Бум! Бум!» — перекатывалось под потолком. Когда вспоминаешь о женщинах, сразу становится не так страшно.

Он не зажег огня до тех пор, пока не допел до конца песенку о французском короле. Потом он, громко стуча каблуками, прошел в спальню.

Саша долго лежал в темноте с открытыми глазами, и ему казалось, что он о чем-то напряженно думает. О чем же? На самом деле перед ним просто возникали очень непоследовательно картины двух последних суток. Речная пристань и райздравский «Москвич» на высоком шасси, огоньки на берегу, и он сам, Зеленин, стоит один на длинной палубе теплохода, мама и папа, такие стойкие, что сердце рвется, и друзья — поют, черти! — и Даша. Инна улыбается и поправляет воло-

сы. Даша улыбается и поправляет черный цветок на груди. Лешка Максимов стоит на молу, весь красный, как индеец, и разглагольствует о неведомой стране. И не видит вокруг себя этой страны. А он, Зеленин? Вот приехал сюда, хотя мог… Ну, уж Ионычем-то он никогда не станет. Гражданский долг… Смешно? Инна, ты тоже будешь смеяться? Вот ведь какие девушки ходят по земле! А Даша? Тоже ничего. Любава. Лен. Челны. Цветы. Долой черные цветы! В окнах черно. Долой! «Завтра начну с историй болезней», — отчетливо подумал он и заснул.

Первый блин

Зеленин не собирался отступать от своих городских привычек. Утром он открыл все окна и приступил к гимнастике. Во время «прыжков на месте» вдруг молниеносно налетели легкие шаги, распахнулась дверь, и на пороге появилась Даша.

— Ой! — вскрикнула она, увидев застывшего в нелепой позе доктора.

Секунду они смотрели друг на друга, вытаращив глаза. Потом Зеленин начал делать суетливые, дурацкие движения, а Даша юркнула за дверь. Саша почувствовал тоскливый стыд, увидев себя глазами Даши. Застывший в журавлиной позе, очкастый, тощий верзила в длинных неспортивных трусах. Как назло, сегодня он раздумал надеть голубые волейбольные трусики. Пытаясь унять дрожь в коленях, он крикнул:

— В чем дело?

— Больного привезли, доктор, — слабо ответили из-за двери.

— Сейчас иду.

Торопливо натягивая брюки, он смотрел в окно. Даша, пробегая по двору, все-таки прыснула в ладошку.

Больной, вернее, раненый лежал на кушетке в предоперационной. Лицо его, белое, как лист бумаги, было покрыто капельками пота. Тяжелая узловатая кисть свисала на пол. Зеленин схватил пульс — нитевидный! — поднял веко: зрачки слабо реагируют на свет; выпрямился и только тогда увидел огромную, всю пропитанную кровью повязку на правом бедре. Шок!

— Что с ним случилось?

— Электропилой зацепило. Это Петя Ишанин с лесозавода.

— Камфару, кофеин! И готовьте систему для переливания крови. Рану сейчас начнем обрабатывать.

Когда Зеленин вымыл руки и вошел в операционную, повязка с ноги пострадавшего была снята. Огромная, все еще кровоточащая рана зияла на бедре. В одном месте свисали аккуратно вырезанные пилой лохмотья кожи. Даша, сосредоточенная, со сжатыми губами, протянула шприц.

— Вы сможете проверить группу крови? — шепотом спросил ее Зеленин.

— Да, нас учили, — так же шепотом ответила она.

— Сделайте и покажите мне, а я пока попытаюсь остановить кровотечение.

Он наспех обколол рану новокаином и стал накладывать зажимы. Краем глаза он следил за точными движениями сестры. Группа крови оказалась третьей. Даша придвинула к столу систему для переливания и протянула Зеленину иглу. Он ввел ее в вену и взглянул в лицо больному. Глаза того были открыты и устремлены в потолок.

— Ну как, брат? — бодреньким докторским тоном спросил Зеленин.

— В порядке, — тихо ответил парень.

Зеленин начал иссекать скальпелем края раны и совсем успокоился. Собственно говоря, он и не волновался: у него не было ни секунды для того, чтобы поволноваться. Но теперь, когда раненый выходил из шокового состояния и обработка шла успешно, появилось такое чувство, словно его, как станок, перевели на меньшее число оборотов. Про себя он даже начал что-то насвистывать. Чуть рисуясь перед Дашей, он лихо наложил последние швы, выпрямился и глубоко вздохнул. Только сейчас он понял, что действовал почти с автоматической четкостью, ни на секунду не усомнился в своем умении. Все-таки институт крепко вбил в него врачебные навыки и инстинкты.

— Я вернусь через двадцать минут, — сказал он сестре.

С радостным чувством вышел на крыльцо и вздрогнул, словно от удара током. Противостолбнячная сыворотка! Ее же надо ввести в первую очередь! Сколько раз им повторяли это на цикле травматологии. Он бросился назад, распахнул дверь в дежурку и уставился в спокойные глаза Даши.

— Я… я… я говорил вам, чтобы вы ввели противостолбнячную сыворотку? — Первая часть этой фразы прозвучала жалко, а конец сурово. Тут же он почувствовал отвращение к самому себе: «Подлец, хочешь свалить вину на эту девочку?» Он открыл было рот…

— Да, Александр Дмитриевич, вы говорили, — сказала Даша. — Я ввела. Вот и серия записана.

Зеленин прислонился к притолоке. Они понимающе улыбнулись друг другу, и он понял, что она нико-

му не расскажет, в каком смешном виде застала его сегодня утром. И вообще на нее можно положиться.

Волноваться Зеленин начал во время обхода больных. Было несколько чрезвычайно сложных случаев. Без лабораторных данных невозможно разобраться, а лаборатория не работает за неимением лаборанта. Значит, придется самому осваивать лабораторную технику, а ведь он даже забыл, как считать лейкоцитарную формулу. Сколько придется читать! И с кем посоветоваться? Не с фельдшером же!

Зеленин испытывал страх. Как он будет лечить этих людей? Стремясь заглушить беспокойство, он стал увлекаться новокаиновыми блокадами. Во время работы шприцем или скальпелем он всегда успокаивался. Есть под рукой что-то осязаемое, и сразу можно видеть результат. Но терапия без анализов… На третьем курсе профессор Гущин как-то сказал студентам: «Chirurgia est obscura, terapia — obscurissima»[1]. Слова этого старого, чуточку циничного врача тогда изумили их. Томографы, электрокардиографы, аппараты для исследования основного обмена, самое сложное и самое современное оборудование было у них на вооружении. Им казалось, что достаточно только овладеть этой блестящей техникой, и все тайны будут раскрыты. Но сейчас Зеленин чувствовал себя словно древний мореплаватель, только что миновавший Геркулесовы столбы. Безбрежный, неведомый океан колыхался перед ним. И его надо было пересечь. Здесь, в Круглогорье, он как будто переселился в прошлое, трансформировался на несколько десятилетий назад.

[1] Хирургия — темна, терапия — еще темнее (*лат.*).

Вот уже больше трех лет фельдшер Макар Иванович благополучно обходился без рентгена и лаборатории. К нему стекались больные из дальних лесных командировок, с лесозавода, из деревень, приходили матросы с проходящих судов. Макар Иванович врачевал без страха и сомнения. В райздраве он славился лихостью своих диагнозов. Перебирая старые истории болезней, Зеленин то и дело натыкался на такие, например, перлы: «Общее сотрясение организма при падении с телеги».

…В конце недели Зеленин собрал производственное совещание. Пришли все: пять медсестер, фельдшер, санитарки, бухгалтер, завхоз и кучер Филимон. Все эти люди, тесно переплетенные родственными и кумовскими связями, со скрытой насмешкой, с любопытством и недоверием поглядывали на чужака, на беспокойного худого юношу, который теперь стал их начальником. За те два года, что прошли со смерти Клавдии Никитичны, последней докторши, проработавшей в Круглогорье несколько лет, персонал привык к тишине и спокойствию. Больных было мало, потому что всех мало-мальски серьезных отправляли за сорок километров, в район. Для того чтобы выполнить план койко-дней, Макар Иванович клал в больницу знакомых старушек и упражнялся на них в диагностике. Даша Гурьянова и Зина Петухова, вернувшись весной с сестринских курсов, написали письмо в райздравотдел: «Или давайте нам врача, или закрывайте больницу, а работать так — это не по-советски».

Зеленин еще по рассказам в райздраве о делах больницы знал, что опираться надо только на сестер-комсомолок, а что остальной коллектив — это «шарашки-

на контора». Однако сейчас, спустя неделю, он сидел за своим столом, разглядывал сгрудившихся в тесной комнате людей и думал, что все это, может быть, совсем не так. Он думал о том, что этого старого медведя, Макара Ивановича, нужно только слегка раскачать, задеть в нем живую жилку, о том, что облупленная сине-багровая от пьянства физиономия кучера Филимона становится нежной и углубленной, когда он трет скребком круп больничного жеребчика, о том, что надменное и подозрительное величие бухгалтера вызвано боязнью того, что в нем не распознают интеллигентного человека, о том, что у девушек открытые, приятные лица, а у Даши так просто красивое… Эй, об этом не стоит думать на производственном совещании. Он постучал авторучкой по столу и неожиданно густым голосом сказал:

— Тише, товарищи! — «Р-р-руководитель», — подумал он и представил, как бы комментировали эту сцену его друзья. Стало совсем весело. — Товарищи! Наша больница является самым крупным лечебным учреждением на всем пространстве Круглогорского куста. Поселок Круглогорье, пристань, лесозавод, пять колхозов, лесные командировки — все это находится в районе нашей деятельности. Кроме того, как мне рассказали, в шести километрах от нас, у Стеклянного мыса, начинаются крупные гидротехнические работы. Пока там построят больницу, пока приедут врачи, мы должны наладить обслуживание этой стройки. Как видите, задачи перед нами стоят большие, и мы, как единственное лечебное заведение со стационаром на двадцать пять коек, должны быть на высоте. Но на текущий момент мы не на высоте, товарищи! — «Как быстро усваиваются эти словечки!» — Больше того, не в обиду

будь сказано, мы представляем из себя совершенно невероятный экспонат прошлого столетия. — «Попроще, сэр, попроще!» — В наш век телевидения и электроники мы работаем вслепую, без лаборатории, без рентгена. А между тем у нас есть и рентгеновский аппарат, и лабораторное оборудование. Я смотрел — все поломанное, грязное. В чем дело? Некому было заняться? Нет, товарищи, дело в равнодушии и косности. Вот вы, Макар Иванович…

Макар Иванович слегка вздрогнул и пошевелил сцепленными на животе пальцами. Полчаса назад он отобедал, и сейчас по голове его под белым колпаком, семеня ножками, бегали крохотные человечки, предвестники мягкой дремоты. Взволнованные восклицания молодого доктора с шипением, как ракеты-шутихи, летели из далекого далека. Все расплывалось перед его стекленеющим взором.

«Фу, нехорошо получилось, — подумал Зеленин. — Еще обидится старик». Но отступать было поздно.

— Вот вы, Макар Иванович, расскажите, как вы лечите, что вы назначаете больным на приеме?

— Как что?

— Ну что все-таки, что?

— В зависимости от индивидуальных реакций организма, — ответил Макар Иванович и привычно напыжился. — От головы даю пирамидон, от живота бесалол…

— Клистиром еще Макар Иванович увлекается, — лукаво улыбнулась Даша.

— Макар Иванович! — воскликнул Зеленин. — Это недопустимо. Ведь так, наверное, во времена Чехова уже не врачевали. «От головы, от живота…» Скажите, вы вот эту книжку давно перечитывали?

Он протянул ему толстый том «Пособия для сельских фельдшеров».

Это была замечательная книга старого знаменитого профессора, великого гуманиста. В Ленинграде Зеленину настоятельно советовали всегда иметь ее под рукой как незаменимое практическое пособие и в то же время как лекарство против пресловутого «фельдшеризма». Макар Иванович протер очки, отставил книжку на длину вытянутой руки и прочел название.

— Мол-лодой человек, — сказал он после этого дрожащим голосом, — я тридцать лет здесь практикую, я… я… — он встал и неловко стал стаскивать с плеч халат, — я на фронте… знаете… Эх… постыдились бы!..

Толстый и неловкий, он боком выбрался из дежурки. Минуту спустя Зеленин, чувствуя острую щемящую жалость, увидел в окне и проводил взглядом нелепую бочкообразную фигуру в полувоенном костюме на тонких ножках в хромовых сапогах. Александр несмело обвел взглядом оставшихся и так и не смог понять, как они относятся к инциденту. Только Даша смотрела весело и одобряюще. Он подумал, что она довольно безжалостная особа. Тут же он понял, что эта мысль появилась у него из соображений предосторожности — слишком уж симпатична ему девушка. Слишком у нее яркие глаза, слишком правильная линия шеи. Он отвернулся, и перед ним проплыл прекрасный, но словно наспех набросанный карандашом образ Инны. Что же теперь сказать? Ему было жалко Макара Ивановича, хотелось оправдаться перед людьми, но, боясь «подорвать авторитет», он продолжал свою речь, словно ничего не случилось:

— Итак, товарищи, значит, мы должны наладить работу своими руками, и начать придется с рентгенов-

ского кабинета и лаборатории. Правда, для ремонта аппарата придется вызвать техника из района. Григорий Савельевич, работу оплатим?

— Средства изыщем.

— Потом мы командируем кого-нибудь из сестер на курсы рентгенолаборантов. — «Только не Дашу!» — Снимки будем делать, товарищи! В лаборатории займусь я сам вместе с Дарьей Ивановной. Вы согласны, Дарья Ивановна?

«Доктор Зеленин»

На следующий день, в обед, Зеленин сидел в чайной и смотрел в окно на бескрайнюю ширь озера. Было ветрено, мрачно, ходуном ходил темно-серый взлохмаченный горизонт. Чайки, хохлясь, прятались на берегу за перевернутые лодки.

«Настоящий морской шторм», — подумал Саша, и в это время вид в окне стал быстро и бесшумно размазываться косыми тонкими струйками дождя.

— Александр Дмитриевич, дождик начался, — крикнула буфетчица, — посидите полчасика, может, пройдет.

Она поднесла к его столику кружку пива с тяжелой, свисающей, как парик, пеной.

— Скучно вам у нас, Александр Дмитриевич? После Ленинграда-то? Я бы, чай, заболела.

— Некогда, тетя Люба, скучать, работы много.

— А что же вы тогда печальный такой, тонкий с лица?

Он поднял глаза от кружки, скользнул взглядом по круглой фигуре буфетчицы.

— Неспокойно на душе, тетя Люба.

— Неспокойно? Это молодая кровь в вас бродит. Это лучше, чем скука.

Зеленин не только обедал в чайной, он заходил сюда почти каждый вечер. Сам себе он объяснял это «познавательным интересом», но понимал, что его влечет по вечерам в чайную что-то другое. Этот домик, почти ничем не отличающийся от остальных домишек Круглогорья, светился до полуночи. Колыхался сизыми спиралями табачный дым. Беспрерывно хлопали двери, гудели голоса, раскатывался могучий хохот, вскрикивала гармошка. Здесь вели степенные разговоры, балагурили, ссорились. Но главное — здесь собирались шоферы, веселые люди. Вчера они были в Петрозаводске, завтра укатят в Вологду, Архангельск, Беломорск, Ленинград. Александр подолгу простаивал возле заляпанных грязью машин, проходил в чайную, садился поближе к шоферам, жадно прислушивался к их рассказам о городах, словно хотел убедиться, что кроме Круглогорья существуют на свете и другие населенные пункты. Но признаться себе в том, что галдящая забегаловка стала для него неким окном в мир, он не смог.

«В стеклах дождинки серые свились, гримасу громадили…» Пиво невкусное, водянистое. Неужели тетка Люба разбавляет? Вряд ли, должно быть, снабженцы. Сегодня Макар Иванович не вышел на работу. Филимон говорил, что старик лежит на сундуке с полотенцем на лбу и молчит. Какая я сволочь! Эгоист. Надо пойти к нему, попробовать поговорить по душам. Нет, я должен быть тверд. Что из того, что он стар? Если работаешь — изволь работать добросовестно. Ого, как вы непримиримы, рыцарь! От дру-

гих вы требуете кристальной ясности, а сами скулите по ночам, как хлюпик. Или вот с Инной. Почему я не звоню до сих пор в Москву? Робость или что-то другое? Вдруг она скажет: «Саша? Простите, какой Саша? Ах Са-а-ша!..» Москва, Москва! Круглогорье вызывает. Потеха! Интересно, долго ли я продержусь здесь? Оказывается, это пострашней, чем думалось. Как ни заполняй свой день, как ни мечись, неизбежно наступает час, когда остаешься совсем один и только черные глазища — окна. И завтра, и послезавтра, и послепослезавтра… Правда, не будь того матча с обувщиками, того вечера, танцев, сейчас мне было бы не так тоскливо, и вечера уже были бы заполнены Дашей, ею самой или бесконтрольными мыслями о ней. Неужели я жалею, что встретил Инну? Это уже просто мерзко».

Он со страхом почувствовал, что не может вспомнить Инниного лица. Образ девушки, мелькнувшей залетной птицей на рубеже его прежней жизни, теперь стал расплывчатым и отдаленным, как персонаж очень давно прочитанной милой книжки. Не может вспомнить лица друзей. «Кумпарсита»… Трампа-па-па… Ага, стоило промычать несколько тактов вычурного танго, как ясно выступили в памяти синие, словно весенние сумерки, глаза, полуоткрытые, будто готовые к поцелую, губы, чуть растрепанные светлые волосы. Но как удержать мелькнувший образ? Даже нет фотокарточки. А Даша здесь, каждый день рядом, и его тянет к ней, и он чувствует, что она тоже тянется к нему. Утешаться видением девушки, которая наверняка уже о нем забыла? Что ему мешает броситься с головой в эту волну сочувствия? Ведь так тяжело смотреть одному в слепые глаза ночи!..

Зеленин вздохнул, посмотрел на часы. До приема оставалось еще сорок минут. Выходить в дождь не хотелось. Он решил написать письмо Максимову.

На озере буря разыгралась вовсю, но сюда, в поселок, из-за Стеклянного мыса долетали только самые сильные и самые верткие струи ветра. Через ровные промежутки начинал дико скрежетать отставший лист железа на крыше чайной. В окне уже почти ничего не было видно.

«…В первый день мне предложили гордость здешней кухни — «гуляш со сбоем». Несмотря на известную тебе любовь к экзотике, я все же осторожно уклонился и попросил честную котлетку. Котлетка оказалась действительно честной — в ней было больше мяса, чем хлеба. Сюда бы наших институтских поваров для обмена опытом. Я влюблен в здешних людей. Мужики все рыболовы и охотники, суровые, кряжистые. Женщины, ну, женщины самые обыкновенные, но есть и удивительные. Но дети, Макс! Я раз шел мимо детского садика, заглянул через забор и ахнул: спелая рожь с васильками! Как мне кажется, народ здесь удивительно честный. Правда, говорят, что пьют по праздникам зверски, но я пока ничего из ряда вон выходящего не видел. Любопытный факт. Я живу в огромной трехкомнатной квартире один. Предложил потесниться, отдать кому-нибудь две комнаты — что мне, мышей разводить, что ли? — все встали на дыбы. Это квартира докторская, неприкосновенная. Вроде Белого дома — президенты меняются, а дом остается.

Алексей, ни ты, ни Владька до сих пор не удосужились мне написать. Между тем ваши письма мне сейчас очень нужны, и ты сам понимаешь почему. Пиши обо всем: о работе, о спорте, что читаешь, о чем дума-

ешь, за кем ухаживаешь (Вика?). Заходил ли к моим старикам?

Я ничем сейчас не занят, кроме работы. Ежедневно на приеме до сорока человек. Округа гудит слухами о «ленинградском докторе». Стекаются болящие и неболящие — провериться. Восстанавливаю лабораторию и рентген. Все это было запущено, заброшено до омерзения. В общем, работы столько, что не остается времени для студенческих сомнений, для грусти…»

В дверь бухнули сапогом, и появился Филимон, больничный кучер. Он откинул капюшон, вытер мокрое лупящееся лицо, весело подмигнул буфетчице и протопал к столику Зеленина.

С Филимоном у Александра за неделю уже установились простецкие, дружеские отношения. Легкий был человек Филимон. Находясь частенько под хмельком, он считал, что весь мир населен такими же, как он сам, покладистыми мужиками, не дураками выпить и подзакусить. За сорок лет жизни он так и не разубедился в этом.

— Слышь, Митрич, — сказал он Зеленину, — председатель наш тебя вызывает.

— Какой председатель? — удивился Зеленин.

— Ну, Самсоныч — председатель совета. Сейчас в больницу телефонил. Прошу, говорит, доктора прибыть в пятнадцать ноль-ноль. Поехали?

Через пять минут они подкатили к бревенчатому двухэтажному дому, на крыше которого щелкал выцветший флаг Российской Федерации. На первом этаже этого дома помещался народный суд, на втором — библиотека-читальня и поселковый совет. Зеленин еще ни разу не был здесь. Собственно говоря, он вообще еще не видел поселка: утром обход, работа в стацио-

наре, днем прием больных в амбулатории, а после работы возня в рентгеновском кабинете и лаборатории. Иногда ему казалось, что, чрезмерно загружая себя, он поддается панике, стараясь не думать ни о чем постороннем, стараясь оттянуть как можно дальше знакомство с этим маленьким серым поселком, ставшим теперь всем его внешним миром.

За дверью с надписью «Председатель поссовета» шумели голоса. Зеленин дважды постучал и, не дождавшись приглашения, вошел. В большой низкой комнате стояли несколько мужчин в таких же, как у Филимона, брезентовых плащах. Они громко разговаривали и махали шапками на человека, сидящего за письменным столом. Человек этот, в темно-зеленом френче, черноволосый и широколицый, барабанил пальцами по столу и исподлобья смешливо на всех поглядывал. Заметив Зеленина, он хлопнул ладонью по столу:

— Тише, граждане! — И, быстро улыбнувшись: — Доктор Зеленин? — протянул руку.

Зеленин пожал эту широкую руку — ему не нравилось жать широкие руки, — шлепнулся, не дожидаясь приглашения, в клеенчатое кресло и вяло подумал: «Обычный гигант районного масштаба. Даже не удосужился приподнять свой ответственный зад». Он еще раз искоса взглянул в узкие, какие-то оскорбительно смешливые глаза председателя и совершенно отчетливо почувствовал, что где-то уже встречал этого человека.

Детины в брезентовых плащах один за другим покидали кабинет. Последний остановился в дверях и чуть ли не угрожающе буркнул:

— Понял, Самсоныч, нашу позицию?

— Понял, понял, Иван, чего же не понять, — весело ответил председатель. — Вот в райкоме и потолкуем обо всем.

Он покрутил головой, сокрушенно сказал:

— Народ, я вам доложу… Сплавщики. Вы еще столкнетесь, — и протянул Зеленину коробку «Казбека».

— Спасибо, я сигареты курю, — сухо сказал Александр и полез в карман за пачкой «Авроры».

— А я вот, знаете, не могу сигареты курить: табак в рот лезет. Вот мои коронные, — он показал пачку «Прибоя», — а «Казбек» — это так, для посетителей.

Председатель захохотал, как будто это было очень смешно, и сразу расположил к себе Зеленина.

— Я, доктор, собственно говоря, просто хотел с вами познакомиться. Вы уже больше недели здесь, а к нам не зашли.

— Работы очень много, — сказал Зеленин.

— Да-да, работы у вас много, я знаю. И вот по части вашей работы у меня есть к вам дело. Поступил, так сказать, сигнал. — Он посерьезнел и застучал пальцами по столу. — Прошу правильно меня понять. Речь идет о фельдшере Завидонове.

Зеленин вздрогнул:

— Да, и что?

— Я говорю с вами совершенно неофициально, прошу понять. В порядке дружеского совета. Зря вы обидели старика. При всех. Негуманно это.

Александр сидел, задрав подбородок, сжав ручки кресла, и медленно краснел.

— Вы еще мало знакомы с нашей жизнью, — продолжал председатель. — Макара Ивановича тут по меньшей мере треть детей крестным зовет. А сколь-

ким он, извиняюсь, пуповину перевязывал! Вы не знаете? А здесь все знают, и все его любят.

Зеленин резко повернулся в кресле.

— А вы знаете, как он лечил своих благодарных земляков?! — воскликнул он. — Неправильно, нелепо, по старинке! Я сам вижу, что Макар Иванович хороший человек. Поверьте, хорошего человека сразу видно. Но закостенел, застыл, работает на авось. Понимаете? А я не могу этого допустить. Вы говорите о гуманизме, но я по-другому понимаю это слово. Да, я обидел, оскорбил этого старика, но я думал о десятках и сотнях больных.

— Да, гуманизм… — протянул председатель, — сложное понятие.

Он смотрел на собеседника внимательно и весело. Зеленин загасил сигарету.

— Да, конечно, — сказал он, успокаиваясь, — в чем-то вы правы.

Спускаясь по лестнице, он мучительно пытался вспомнить, где же он встречал этого человека.

Весь мир

В восемь часов вечера Саша пришел на почту и заказал разговор с Москвой.

— Скажите, здесь можно курить? — спросил он телефонистку.

— Пожалуйста, курите.

Он сел в неосвещенной, пустой комнате и стал смотреть, как телефонистка втыкает и вынимает из коммутатора вилочки. «Вероятно, это очень древняя машина», — подумал он.

Для того чтобы дозвониться до Москвы, потребовалось прежде всего вызвать район, у района попросить Ленинград, а у Ленинграда уже Москву. И в довершение всего подойдет к телефону Иннина мама и скажет: «Ах, как жаль, Инночка ушла в театр!» А с кем ушла — неизвестно.

За окном ветер гнал уже разорванные волокнистые клочья туч. К озеру уходила шеренга стройных елей с пригнутыми верхушками. Ближайшая ель тихо шуршала по стеклу своей широкой мохнатой лапой. Быстро сгущался мрак, тускнели редкие головешки заката. Саша курил уже седьмую сигарету. Волнение медленно охватывало его с ног до головы. За фанерной стенкой неумело ругалась телефонистка. Вдруг она стукнула в стенку:

— Снимите трубку!

Трубка рычала, свистела, пела, кашляла. Издалека, как сквозь шум моря, доносились раскаты рояля, диктор по слогам читал статью для районной печати, скороговоркой, словно дразня друг друга, что-то бубнили непонятные голоса, раздавались удары, похожие на метроном, нарастая, летел в ухо какой-то далекий космический вой. И вдруг среди этого хаоса послышался слабый, будто с другой планеты голос:

— Алло, алло, Саша, Саша!

С минуту Александр, чуть не задыхаясь, орал в трубку. Потом замолчал. Голос невероятно далекой девушки сначала ощупью, потом все уверенней и уверенней пробирался сквозь путаницу проводов: «Саша, алло, Саша…» И когда он понял, что можно уже не кричать, он вполголоса сказал:

— Элио утара, Аэлита.

— Саша? — изумленно вздохнул возле самого уха родной голос. — Ну конечно. — Инна с хрипотцой рассмеялась. — У меня тоже было такое чувство, словно я лечу с Марса. Почему ты не звонил? Я все время сижу и жду…

Зеленин заплатил тридцать пять рублей, с грохотом слетел с крыльца и выскочил на середину улицы. Он поднял голову и раскинул руки, словно хотел заключить в объятия ночное небо. Он шатался, как пьяный, и смотрел на созвездия, весело горящие в разрыве туч. Над головой его ровно гудели под ветром провода. Великие металлические нити, связывающие всех людей на земле! Провода, электромагнитные сигналы, бороздящие эфир, раскаты рояля, голос диктора, голос Инны…

По озеру тянулась цепочка огней, и вдруг с буксира соскользнул голубой дымный луч и вырвал из мрака сигнальную вышку пристани. Зеленин дышал полной грудью. В этот миг он почувствовал, что его мир не замыкается бревенчатыми домиками Круглогорья, что он живет во второй половине двадцатого века, во всем огромном современном мире. Люди оплели мир сетями для связи друг с другом и для помощи. Транспортная сеть, телеграфная, сеть обучения, лечебная сеть, в которой он является составной частью. Упади здесь случайный самолет из Москвы, Игарки или Гваделупы, об этом будет немедленно сообщено куда следует, а летчикам и пассажирам окажет помощь он, Александр Зеленин.

Он размашисто шагал по дощатому настилу, гудя под нос какой-то свой мотивчик. Он мчался мимо заборов, мимо крохотных садиков, за листвой которых светились слабые огни, и вдруг впереди возникла не-

подвижная темная фигура. Зеленин зажужжал карманным фонариком, увидел короткий седой бобрик и пучки бровей. Это был Макар Иванович.

— Александр Дмитриевич, — глухо пробормотал старик, — ты, брат, того… дал бы мне книженцию эту почитать, пособие это самое…

Глава 4
Все флаги в гости

Максимов стоял на причале возле нефтебаков. Рядом попрыгивал шофер Петров со своей странной улыбкой, обнажающей десны. Эта улыбка делала его лицо зловещим, но на деле Петров был безобидным суетливым мужичком, самым бойким шофером санитарного отдела.

— Видать, Леша, по штормтрапу тебе лезть придется, — сказал он.

Они смотрели на приближающийся черный, облупленный борт теплохода «Новатор», пришедшего с острова Кубы с грузом сахара. На причал полетели швартовы, и чей-то голос прогудел в мегафон:

— Доктор, по штормтрапу влезете?

Максимов махнул рукой: давай, давай! Он подошел к краю причала и заглянул вниз. Там, между бортом судна и сваями, тяжело качалась маслянистая вода. А наверху ухмылялись краснокожие матросы.

«Уверены, что я не полезу, пока теплоход не встанет вплотную к стенке. Наверно, думают: «Сухопутный хлюпик, карантинщик». Эх, где наша не пропадала!»

Он с силой оттолкнулся от причала и, пролетев метра три в воздухе, вцепился в веревочную лестницу.

Позади слабо ахнул Петров. Максимов на миг опустил глаза, увидел черную щель и содрогнулся, представив, как он барахтался бы в холодной грязной воде, как его сплющило бы в лепешку.

«Идиот я, самый последний идиот. Чего ради?»

Он перелез через борт и прочитал на лицах моряков насмешку.

— Где чиф? — спросил он сурово.

— Я здесь, доктор. — С палубы спардека спускался высокий молодой человек в синей тужурке. Он приветливо улыбнулся и протянул руку: — Перов.

— С благополучным прибытием! Есть на судне больные? — произнес Максимов две первые стандартные фразы и удивился, услышав ответ:

— Двух больных привезли.

— Да ну? Что с ними?

— Понимаете, доктор, стрела сорвалась и шарахнула одного парня по ноге. Кажется, перелом. А что со вторым, не знаю — температура высокая. Хотите, пройдем в лазарет?

Они полезли вверх. Сзади кто-то тихо сказал:

— Тарзан.

Максимов резко обернулся. Моряки молча улыбались. Старпом взял Алексея под руку и повел по декам, переходам и коридорчикам, по дороге оживленно рассказывая. Видимо, был рад свежему человеку.

— Рейс был не из приятных. В океане штивало подикому, да и на Балтике у нас осенью, сами знаете. Вы, кажется, плавали на «Ползунове»?

— Я еще только собираюсь плавать.

— Вот как? Тогда милости просим к нам. Наш старик скоро на пенсию уходит. Серьезно, доктор, проситесь на наш дубок. Народ у нас классный.

— На этой железной скорлупе дубовые люди живут? — съехидничал Максимов и тут же испугался, что старпом обидится. Но тот отпарировал:

— Зрелище было необычайное — такой резвый доктор…

Он открыл какую-то дверь и пропустил Максимова вперед.

Это был лазарет. Вдоль переборки в два яруса стояли четыре койки. Напротив, у наклонной стенки, была еще одна, на которой лежал человек с подтянутой на вытяжение ногой. Стоявший спиной к дверям человек в белом халате обернулся. В руках у него шприц. «Пенициллин, должно быть, колет», — подумал Максимов. Он удивленно отметил, что с удовольствием вдыхает привычный больничный запах и что ему приятно видеть застекленный шкафчик с медикаментами, биксы, кипящий стерилизатор. Судовой врач, жилистый, загорелый старик, смотрел на него нудно и боязливо.

— Вот вытяжение соорудил, — сказал он виновато, показывая на больного с поднятой ногой. — Не знаю, правильно или нет. На курсах давно не был, забывается все, знаете ли. А вы, коллега, кажется, в Бассейновой клинике работали?

«Один меня принимает за моряка, другой за клинициста, а я всего лишь жалкий пошляк. А может быть, издеваются?» Алексей подошел к койке, для отвода глаз потрогал ногу и сказал баском:

— Правильное вытяжение.

Старик явно повеселел.

— Может быть, и второго заодно посмотрите? Я диагностировал пневмонию справа, но, знаете, в наших условиях, без рентгена…

«Удивительно, до чего он не уверен в себе! Старый врач, стаж, должно быть, лет сорок, и заискивает передо мной, молокососом. Про клинику, должно быть, ввернул только для подхалимажа».

Со вторым больным было проще: в трубочке явственно трещали хрипы.

— Нужно немедленно обоих отправить в больницу, — сказал Максимов.

После лазарета он в сопровождении старпома и судового врача обошел все судно, осмотрел каюты, машинное отделение, кладовые, камбуз. Здесь он долго и придирчиво изучал колоду для рубки мяса. У каждого карантинного врача был свой конек. Старый доктор Дампфер, наставник Максимова и Карпова, особенно был пристрастен к колодам для рубки мяса. Обычно он самым тщательным образом выискивал на них трещины, дико орал на кока, если колода не была засыпана солью, а те суда, которые не обзавелись этим полезным инвентарем, просто не выпускал в рейс. Считая себя представителем школы Дампфера, Максимов тоже наорал на повара, приказал заменить колоду. Потом он прошел в каюту старпома для составления и заполнения многочисленных бумаг. Старпом поскучнел. Он подписывал листочки, протягиваемые Максимовым, и вздыхал:

— Придешь в порт, прямо рука отваливается.

— Когда последний раз хлорировали питьевые танки? — нудно бубнил Алексей. — Где в последний раз забирали воду? Сколько на борту пассажиров и пилигримов?

— Что? — встревожился старпом. — Ну, вы шутник, доктор. Ха-ха-ха! Пассажир у нас один — щенок Билли. Забежал на палубу в Гулле. Может быть, он и пи-

лигрим, в Москву на Собачью площадку пробирается, кто знает. Показать вам его?

— Потом. Не заметили ли вы во время плавания пляски крыс?

Старпом беспомощно посмотрел на судового врача, потом заглянул в глаза Максимову и угрожающе прошептал:

— Я все-таки прошу относиться ко мне серьезно.

— Да вы что? — удивился Максимов. — Это же обычные вопросы опросного листа. Понимаете, чумные крысы прыгают так, вроде пляшут.

Старпом расхохотался. Он хохотал при каждом удобном случае.

— Извините, доктор, первый рейс делаю старпомом, не знал этих вопросов. Значит, пляшут? Умора. Что же, рок-н-ролл они, что ли, пляшут?

— Что за рок-н-ролл?

— Не знаете? Это новый танец. В Англии все с ума посходили.

— Нечто вроде буги-вуги?

— Устарело. Вы бы видели рок-н-ролл — психиатричка настоящая.

Старпом открыл ящичек стола и достал пузатую бутылку, оклеенную яркими ярлыками.

— Скотч-виски! — торжественно сказал он.

— Э, нет, пить я не буду.

— Не нарушайте традицию, доктор. Просто для порядка одну рюмку.

— Ну, пока, Сергей. Очень было приятно познакомиться.

— Пока, Леша. Значит, так и скажешь в кадрах: сажайте, мол, на «Новатора», и все.

— Будь спок.

У Максимова позванивало в голове. Он размашисто прошел по палубе, помахал рукой краснолицым матросам и скрылся за бортом.

Отсюда он на машине поехал на Карантинную станцию, рассчитывал выпить там чаю и отдохнуть до вечера, до прихода большого каравана судов. Однако, когда он открыл дверь, телефонистка сразу же передала телефонограмму: в Морской канал вошел английский пароход «Дюк оф Норманди». Нужно идти на катере встречать. И снова перед ним вырос борт, на этот раз шаровой окраски, на этот раз движущийся — лезть по штормтрапу нужно было на ходу. Мотнулось тело, снова появилось ощущение пустоты и чужеродной среды под ногами, и Максимов подумал: «Приличные люди сидят в чистых, теплых амбулаториях, выслушивают больных и умственно хмурят лобики, а ты тут болтаешься, как сосиска, между небом и водой». Это были мысли из писем «бедной морщинистой мамы», над которыми посмеивались, но которые веским грузом все же оседали в душе.

На палубе «Герцога Нормандского» так же, как и на «Новаторе», болтались свободные от вахты матросы. Стройный негр, от щиколоток до горла покрытый «молниями», сверкнул снежной улыбкой и приложил два пальца к непокрытой голове. Максимов объяснил ему, что он хочет видеть капитана. Негр щелкнул пальцами, предложил следовать за ним. Вместе с негром пошли еще два каких-то парня. Они показывали друг другу на Максимова, легонько похлопывали его по плечу и приговаривали:

— О, стьюдент, стьюдент — хорошо!

Максимов строго сказал, что он не студент, а доктор, что он уже давно окончил медицинский институт. Ребята, кажется, ничего не поняли, бешено захохотали, хлопнули его посильнее: «О, стьюдент! Вери велл!» Сухопарый кэптен поднялся ему навстречу, протянул руку, довольно долго что-то говорил. Максимов различил только «садитесь, пожалуйста» и несколько раз повторенное слово «сэр». Это он-то, Леха Максимов, сэр? Набравшись духа, он прополоскал рот двумя десятками английских слов. Капитан, сморщив лицо, слушал, а потом спросил:

— Ду ю спик инглиш? Френч? Джерман?

Вот когда Алексей начинал жалеть о тех временах, когда манкировал занятиями по иностранному и нагло переписывал у девочек словари «внеаудиторки».

Наступил вечер. В свете прожекторов катер мотался по акватории. Максимов ползал по штормтрапам, вдыхал чадный воздух камбузов, строчил акты, воздавал дань морским традициям. То тут, то там, в мигающей пестрой мгле возникали массивы подходящих судов. Редкие мгновения, когда попадались на глаза неподвижные звезды и контуры портовых строений, напоминали Алексею, что он не всегда жил такой жизнью, и вселяли курьезную мысль, что все это происходит с кем-то другим.

Утром следующего дня Максимов передал дежурство доктору Козлову, спустился вниз и заснул как убитый. После суточного дежурства карантинным врачам полагалось трое суток отдыха. Первые сутки — он уже смирился с этим — проходили во сне почти полностью. На сей раз он проспал часов десять. Открыл глаза в мягком сизом сумраке, секунду размышлял: «Где это я?» — потом бессознательным движением до-

стал с подоконника сигарету. Кровать напротив была пуста. Они уже несколько дней не виделись с Карповым. Владьку окончательно засосала цивилизация. Он запутался в своей телефонной книжке, в таинственных инициалах, забытых именах, начертанных неверной рукой при свете уличного фонаря. Максимову приходилось одному убивать свободное время. Первые вечера после дежурства он пристрастился проводить в Публичной библиотеке, до одури копаясь в периодике.

Снова осень

По коридору прогуливались очкастые эффектные парни, худенькие девицы. Как всегда, несколько парочек стояли у окон, будто вглядываясь в цепочки огней, протянутые сквозь осеннюю темень. Немало студенческих романов началось здесь, в здании Публичной библиотеки.

Максимов вышел в коридор, держа под мышкой кипу ярких журналов. Он иронически взглянул на парочки у окон и вспомнил, как несколько лет назад помальчишески мечтал встретить здесь тоненькую девочку с большими глазами и с томиком стихов Блока в руке. Позднее он пришел к выводу, что гораздо легче и приятней знакомиться с девушками на танцевальных вечерах, где не надо придумывать предлогов и умных фраз.

«Воображаю, что сейчас бубнит гривастый субъект своей блондинке. Наверное, что-нибудь насчет Пикассо заворачивает, а сам думает, как бы встретиться с ней в интимной обстановке». Блондинка повернулась, и

Максимов узнал Веру. Сворачивать было поздно — он пошел вперед на ватных ногах.

— Привет! — мимоходом бросил он, но Вера улыбнулась и протянула руку. Пришлось подойти, и пожать руку, и смотреть в эти глаза и на смеющийся, что-то быстро говорящий рот.

— …Думала, что ты уже где-нибудь в Атлантическом океане. Познакомься, это Фома Бах.

— Приятно, — глухо буркнул гривастый, всем своим видом показывая, что ему на все наплевать.

— Что это за тип? — спросил Максимов, когда они остались вдвоем. — Интересная как будто личность.

— Очень интересная. Он студент Художественного училища. Мы болтали о постимпрессионистах.

Максимов хихикнул. Вера удивленно подняла брови:

— Ты что?

— Да так. Не думал я тебя здесь встретить.

— Почему?

— Трудно здесь наукой заниматься.

— А я не наукой, я сюда хожу для…

— Понятно, для общей культуры. Как на абонементные концерты в филармонию, да? Доцент не боится, что ты одна? Тут ведь много всяких постимпрессионистов шатается.

Вера посмотрела на него исподлобья и тихо, с какой-то беспросветной горечью спросила:

— Почему ты всегда ехидничаешь, Лешка? Почему ты надо мной издеваешься?

«А почему ты не пошлешь меня к черту? Почему не ударишь по щеке? Почему ты стала такой противно беззащитной, как раскаявшаяся блудница?» — думал Алексей. Вдруг, увидев ее горькие глаза, он наконец почувствовал, что Вера уже не та девчонка, с ко-

торой он ехал на возу сена как-то во время работы в подшефном колхозе, с которой на первом курсе ходил на каток, с которой играл в капустниках. Он понял, что та Вера закончила свое существование и на него сейчас смотрит незнакомая женщина с неизвестными ему запросами.

Вера подняла голову, поправила волосы и улыбнулась, словно освобождаясь от тягостных мыслей сама и освобождая его.

— Который час?

— Восемь.

— Я ухожу. Может быть… проводишь меня?

— Момент, — неожиданно для самого себя заторопился Максимов, — только сдам журналы.

…Мокрый асфальт был усеян широкими кленовыми листьями. В зыбком свете фонарей казалось, что по тротуару недавно прошло бестолковое стадо гусей. Максимов и Вера медленно шли по гусиным следам осени. Алексей опустил голову и будто с большой высоты наблюдал взмахи своих тяжелых ботинок и частое мелькание Вериных замшевых туфелек. На Вере было новое пальто: суженный книзу мешок. Непокрытые волосы ее шевелил мокрый ветер. Дождя не было, но воздух был густо пропитан влагой. Казалось, его можно было пить, цедить сквозь зубы. Вопреки здравому смыслу Алексей любил такую погоду и знал, что Вера тоже ее любит.

— …Наверное, не раньше весны. Скучно? Это тебе только так кажется. Да, сплошная санитария и гигиена, но зато морские традиции… Что это такое? Этого нельзя объяснить словами. Да, все наши там же. Столбов-мудрец в пищевом секторе пристроился, обеспечил себе булку с маслом, а Владька так же, как я, на де-

журствах. Чувствует себя прекрасно, развлекается. Черт его знает, где он сейчас. Да, друзья, ну и что? Очень уж он общительный. Сашка? Верно, с ним-то мы были как сиамские близнецы. Он сейчас в Круглогорье. Где-то на Онежском озере. Одно письмо получил большое. Вкалывает по-страшному, скучать некогда. Да, нам хорошо рассуждать здесь, а у него девушка в Москве. Именно у Зеленина. Что же в этом смешного? Девушка как девушка, на тебя немного похожа, только…

— Что только? — заглянув ему в глаза, спросила Вера.

— Ну, помоложе года на три.

— Нет, ты не то хотел сказать.

— Правильно.

Они молчаливо согласились не развивать эту тему.

До Садовой, где они должны расстаться, было совсем близко. Они остановились, разглядывая консервные горки за витриной Елисеевского магазина. Вера вздохнула.

— Ты что? — спросил Максимов. Почему-то в этот момент она показалась ему какой-то удивительно близкой. Захотелось положить ей руку на плечо, вместе войти в магазин и взять чего-нибудь на ужин.

— Ничего, просто так, — ответила Вера и, помолчав, полуутвердительно сказала: — В общем, ты доволен своей теперешней жизнью?

— Доволен ли? Не знаю, еще не разобрался. Вчера мне показалось, что я скучаю по лечебной работе. Но зато передо мной перспектива — море!

— Насколько я понимаю, лечебной работы в плавании тоже будет маловато.

— Зато будет другое. Ты представляешь себе: увидеть весь мир? Я в детстве марки собирал, грезил даль-

ними странами. Остров Тасмания! Марки, разноцветные кусочки карты, цифры, слова… Иногда появлялась шальная мысль: вдруг все это кем-то придумано просто так, для интереса! Ну, а теперь мне представляется возможность самому увидеть, понюхать и попробовать на вкус.

— А дальше что? Не будешь же ты весь свой век путешествовать?

— Не знаю. А почему бы и нет?

— Наскучит, потянет к настоящей работе.

— А это разве не работа?

— Какая же это работа! — сказала она убежденно. Он махнул рукой:

— Все равно. У меня нет пятилетних планов. Я человек, а не государство, а человек в наше время должен жить сегодняшним днем.

— Чушь! — резко сказала Вера.

Максимов усмехнулся:

— Ты, как и все другие, тешишься самообманом. Ах, ах, планы на будущее, творческий труд… Ты произносишь слово «работа» с каким-то священным трепетом. Для чего люди работают? Работа для работы? Ерунда! Одни для того, чтобы есть, пить, защищать тело от холода, развлекаться, у других более высокие мотивы: ученая степень, известность, слава. Найдется только сотня-другая людей, какие-нибудь поэты-бессребреники, которые работают ради сокровенных минут созидания. Конечно, хорошо, когда работа интересная, но не она главное в жизни человека.

— Я не согласна с тобой, Лешка, — сердито сказала Вера. — Что же, главное — еда?

— К сожалению, для многих.

— А для тебя?

— Для меня? А! — Он махнул рукой. — Не хочу, чтобы ты считала меня позером.

— Мое мнение для тебя что-то значит? — быстро спросила она.

Он с изумлением взглянул на нее. Вот это переходики! Но тут же он забыл все свои рассуждения, заметив странный, слепящий блеск в глазах Веры.

«Не может быть. Но почему не может? Что я, урод, кретин? Да нет, ведь мы шесть лет были друзьями, и она не знает, что я ее люблю. Но почему она так странно смотрит?»

— Пошли, — сказал он, вынул сигарету и закурил.

Только когда они подошли к автобусной остановке, он решился взглянуть Вере в лицо. Оно было печальным и изучающим. Алексею стало не по себе. Неожиданно она тряхнула головой, будто снова освобождаясь от чего-то тягостного, и улыбнулась своей спокойной, ласковой улыбкой.

— Послушай, Лешка, почему ты к нам никогда не зайдешь? Папа о тебе несколько раз спрашивал. Что из того, что я вышла замуж? Я знаю, Владька обижен, он ведь ухаживал за мной. Но мы же с тобой просто друзья. Не так ли?

— Совершенно верно, — холодно заметил Максимов. — Вот твой автобус. Я зайду как друг дома. Привет папе и… Доцент не рассердится?

Верино спокойное лукавство выбило Алексея из колеи. Он понял, что сегодня между ними произошло что-то такое, что помогло ей прочно захватить инициативу. И действительно, она рассмеялась, похлопала его на прощание по щеке и вспрыгнула на подножку.

Максимов остался стоять, провожая взглядом тяжелый горб автобуса, увозящего на Петроградскую сторону его любимую девушку. Потом он прицелился, метко бросил окурок в урну и отправился ужинать в кафе-автомат.

Это их дом

Порт не казался им теперь хаотическим, странным миром. Пройдя через главные ворота, они как бы отрешались от городской суетливой жизни, где все так сложно, и попадали в другой, стопроцентно мужской мир, где властвуют точные понятия: топливо, груз, спирт. В ночной тишине иногда отрывисто, как во сне, вскрикивали маневровые паровозы, долетали обрывки музыкальных фраз из репродукторов жилого поселка, гулко стучали по асфальту шаги. Максимов и Карпов шли в ногу очень энергично. Молчали и думали. Каждый о своем.

Алексей Максимов: «Я трепач, что ли? Перед Верой позирую нигилистом, а ведь люблю ее. Где логика? Завтра же пойду к Вере и скажу ей обо всем, пусть знает. А вдруг она начнет смеяться? Что ж, тогда все будет кончено. Рассказать Владьке? Нет. Нельзя лишаться друга. Вдвоем идти легче в такую темень. Как солдаты, как в песенке Монтана. Позвякивает фляжка на боку, и весело шагается в полку. А что сделал бы Сашка? Да, Сашка! Как он там, в своем Круглогорье? Чертов идеалист, придумал тоже… чувство своего окопчика… ответственность перед поколениями… Словеса… словеса. Посмотрим, как он взвоет через год. Как бы не запил. Ну, хорошо, предположим, окопчик. Почему мой окопчик должен быть там, где скучно, нудно, паскудно? На

фронте тоже — одни копались в земле, а другие взмывали в небо. Вот и буду взмывать и лезть туда, куда я сам захочу. В конце концов, мы всего лишь несчастные, маленькие людишки. Как это сказано в каких-то стихах: «…гости земли, мы пришли на один только вечер…» Так стоит ли вообще драться? Скорей бы в море. Там будет проще — только волны и небо. Разберусь».

Владислав Карпов: «Стеклянные стены операционной, треск электрокоагуляторов, отрывистые слова… Возятся белые шапочки, мелькают проворные пальцы. Все это совсем недалеко от ее дома, каких-нибудь триста метров по набережной. Вода отражает берега с исключительной точностью, удваивает этажи, деревья растут вниз, люди стоят вверх и вниз головой, как карты. Я бубновый король, она бубновая дама. Так было. Сейчас она уже дама червей. А я все тот же, но живу в другом краю. Фактически в одном городе, а кажется — за тридевять земель. Все, что было, прошло, прыгнуло в далекое прошлое. Она меня никогда не любила, не верила в меня. Может быть, мы столкнемся случайно лет через пять — десять. Располневшая ученая дама и морской бродяга. Скорей бы в море. Представляю, какой поднимется шум среди знакомых, когда я вернусь из первого рейса. Наверное, и до Веры дойдет. Макс, дружище! Что-то он сегодня какой-то странный, то веселый, то мрачный, возбужденный какой-то. Ишь вышагивает, как солдат! «Раз-два, раз-два! Бьет барабан, красотки смотрят вслед, в душе весна, солдатам двадцать лет…» Он запел вслух. Максимов вздрогнул и с изумлением взглянул на него. То, что он мычал про себя, Владька запел вслух.

Такие случаи бывали у них раньше с Сашкой Зелениным, когда мелодию, вертящуюся в голове у одного, начинал напевать другой.

— Видно, наши мозги на одну волну настроены.

— Ты мистик, Леха.

— А как ты это объяснишь?

— Мир полон загадочных явлений, — вздохнул Карпов.

Блуждающие огоньки третьего района порта остались сзади. Впереди очень темно. И тихо, как дома. Вот начали проступать из мрака очертания «карантинки». Единственное освещенное окно висело в ночи, как батисфера в больших глубинах. Это их дом. Огромный, пустой, скрипучий, страшноватый, нетопленый, но это их дом. «Мой дом — моя крепость», — говорят англичане. Максимов стал вспоминать все свои временные жилища. Он каждое из них любил, и из каждого ему хотелось поскорей убраться. Куда?

Через все небо гигантским циркулем прошел луч прожектора. Упал и вырвал из мрака профиль порта. А там, далеко-далеко, сверкнула линия горизонта. Как хорошо жить на земле, когда всегда перед глазами линия горизонта! Как хорошо, что земля — шар!

Глава 5
Даша

— Ну, что вы, мам, какие несуразности говорите!

— Я тебе, Дарья, все точно передаю, сама видела: бегает твой доктор в исподнем вдоль озера и с мальчишками, со школьниками, мяч гоняет.

— Какое же это исподнее? Это тренировочный костюм. Александр Дмитриевич решил волейбольную команду организовать. И очень хорошо: спортивная работа у нас не на высоте.

Мать сердито брякнула на стол перед Дашей сковородку с яичницей.

— Не на высоте-е? Умная ты больно стала, Дашка. Смотри, поднимет он тебя на высоту.

— Что вы имеете в виду?

— То, что вижу.

Она повернулась и ушла в сени. Вернувшись через минуту с миской малосольных огурчиков, присела возле Даши, погладила ее по голове:

— Боязно мне, дочка. Бабы болтают: обхаживает он тебя. А ведь в Москве у него вроде невеста. Чуть ли не каждый день по телефону с ней калякает. Зойка с почты говорила: надысь полсотни рублей отдал за пустяковый переговор.

Даша зарумянилась.

— Перестаньте, мама, это уж слишком! У нас с Александром Дмитриевичем чисто служебные отношения.

Она схватила пальто, портфельчик и выбежала на крыльцо.

«Вот, значит, как, — подумала она, глубоко вдыхая холодный воздух, — вот, значит, как: я стала соперницей. И кого — москвички!»

Ей захотелось пуститься бегом, но, помня о своем медицинском звании, Даша высоко подняла голову, степенно пошла по мосткам, быстро, не в такт размахивая портфельчиком.

«Я красивая. Да-да, не просто симпатичная, а красивая. А она, интересно, какая? Худенькая, должно быть, москвичка, они все худенькие, бегают по эскалаторам».

Мать, сама не ведая того, направила Дашины мысли в определенное русло. Ее недовольство маминими разговорами было притворным. Наоборот, она испытывала безотчетную радость и непоседливое ожидание, как в кино перед новой картиной. Мать расставила все по своим местам. Доктор ее обхаживает, а в Москве имеется соперница. Ой, да ведь Даша совсем уже взрослая!

«Да что это я, — вдруг смутилась она, — ведь не влюбилась же я в него? Просто он работает с душой и, как видно, хороший общественник. Поэтому он мне и приятен. Ведь он же совершенно некрасивый, не то что Федор. А Федор красивый, но неприятен. Значит, я не люблю ни того, ни другого. Уж если я полюблю, то как Ванина Ванини. Кто же это будет? Но уж, конечно, не Александр Дмитриевич. Он мне просто приятен по служебной линии».

Погруженная в такие мысли, она дошла до больницы и, войдя в ворота, увидела, что через двор, на ходу что-то дожевывая, бежит Зеленин в одной рубашке.

«Сумасшедший! — мысленно вскрикнула она. — Простудишься. Какой же он смешной! Разве в такого можно влюбиться?»

Стеклянный мыс

Зеленин выбежал из дому, не накинув даже пиджака, потому что его позвали к телефону. «Неужели Инна в такую рань?» — подумал он. Они звонили друг другу теперь по очереди, чтобы расходы пришлись пополам.

В дежурке возле телефона сидел бухгалтер. Каждое утро он приносил Зеленину кипу бумаг, «присланных с центра» или сочиненных им самим. Зеленин вскрывал

объемистые пакеты, читал длинные инструктивные указания, методические письма, запросы и с грустной покорностью засовывал их в ящик стола. С еще большей грустью он просматривал умопомрачительные вычисления бухгалтера.

— Подпишите, Александр Дмитриевич, расчеты по кредиторской задолженности, — говорил бухгалтер.

— Засадишь ты меня, Григорий Савельевич.

Тот посмеивался, довольный своей таинственной силой. Сейчас, когда на столе лежала телефонная трубка, в которой, возможно, был заключен голос Инны, Зеленину стало неприятно присутствие этого претенциозного сухаря с его нудными, как головная боль, бумажками.

— Кто звонит? — спросил он, ожидая увидеть в ответ многозначительную улыбочку.

— Вас спрашивает председатель поселкового совета.

Зеленин взял трубку:

— Я слушаю.

— Привет, товарищ Зеленин. Неприятные новости. На Стеклянном грипп людей косит, пятьдесят процентов бульдозерного парка из-за этого простаивает.

— Да-да, я знаю. Как раз сегодня туда собирался.

— Я тоже сегодня туда еду по вопросу жилищного строительства. Могу вас подбросить.

— Очень хорошо.

— Подходите сейчас к чайной.

Прогуливаясь по берегу возле чайной, Зеленин поднял воротник и потуже закрутил шарф. Он все еще ходил без шапки, вызывая удивление местных жителей. Здесь, на берегу, было видно, как близка зима. Тяжелый ход снеговых туч с севера, из Карелии, волну-

ющаяся масса темной воды, голый, как проволочные заграждения, кустарник — одна эта картина вызывала неприятное познабливание. Зеленин обернулся к улице. Она была пустынна, только вдалеке по мосткам двигалась фигура какого-то инвалида с костылем. Над трубами домиков трепались сбиваемые к земле сивые клочья дыма. Инвалид в синем плаще энергично приближался. Увидев его красное широкое лицо, Александр вздрогнул. Два образа этого человека мгновенно соединились в памяти. Дворцовая набережная. Круглое лицо инвалида, затуманенные глазки… «Куда клонится индекс, точнее, индифферент ваших посягательств?»

«Вот мои коронные», — дружелюбно посмеивается человек в зеленом френче, сидящий за письменным столом.

«Поэтому он не привстал со стула, пожимая руку. Как это я сразу не догадался? Занятно. А может быть, это все-таки не тот? Как он нам тогда представился? Сергей Егоров, правильно. Ну, попробую».

— Привет, товарищ Егоров!

— Здравствуйте, доктор, еще раз. Машина на заправке, сейчас подойдет. Подышим пока свежим воздухом. — Он глубоко, будто выполняя процедуру, несколько раз вздохнул, посмотрел в сторону озера и сказал: — Полюбил я этот край, будто я родился здесь.

— Я думал, вы здешний, — отозвался Зеленин.

— Нет, я воронежский. После войны с женой приехал к себе на пепелище, даже могил родительских не отыскал. Ну, жена сюда меня сманила, на свою родину. Приехали, а здесь тоже одни трубы торчат. Сильные бои были, финны из минометов жарили. У них неподалеку подземный форт находился.

Подкатила машина, новенький «ГАЗ-69», с брезентовым верхом. Они поместились рядом, на задних сиденьях. Егоров объяснил, что прямой дороги на Стеклянный мыс пока нет, ехать придется кружным путем, километров за двадцать.

Машина легко шла по размытой грунтовой дороге. Прозрачный осенний лес мелькал по сторонам. Проехали одну за другой три деревеньки. Ветхие избенки кособочились вдоль кюветов. В окошках, как бельма, торчали фанерные заплаты. Иные окна крест-накрест были заколочены досками. Раза два из-под колес порскнули поджарые, как щенки, поросята. Зеленин был поражен.

— Какое убожество! — прошептал он. — В чем дело?

Егоров сопнул натужливо, по-стариковски:

— Оскудели тут у нас колхозы. Что вы, не знаете?

Откуда ему было знать? В простоте душевной он считал сельской местностью дачный поселок Комарово. Два или три выезда на картошку не открыли ему лица деревни. Очень уж было на картошке весело и многолюдно, как на студии «Ленфильм» среди фанерных декораций. Мелькавшие в газетах статьи о тревожном положении в сельском хозяйстве он просматривал равнодушно: в ленинградских магазинах последние годы было изобилие продуктов. Сейчас Александр чувствовал неловкость, словно совершил бестактность. Ему казалось, что своим вопросом он затронул в соседе что-то наболевшее. Но Егоров уже смотрел по-прежнему весело и чуть насмешливо.

— Слышали, анекдот такой ходил? Собрались колхозники на совещание решать вопрос, как лучше помочь студентам в уборке урожая. Ха-ха-ха! А ведь почти так оно и было: не шефы помогали нам, а мы шефам,

от худосочия своего. Народ весь по городам разбегался. Ну, а сейчас возвращаться начинают, кое-кто строится даже.

Действительно, за первым рядом чахлых избушек кое-где желтели горбыли новостроек.

— Ишь ты, на дачный манер братья Ферапонтовы виллу себе грохают, — помолодевшим голосом сказал Егоров. — Погодите год-другой — пойдет у нас жизнь!

«Газик» напористо лез в гору. Вдруг открылась панорама строительства. Стеклянный мыс зеленым хвойным треугольником врезался в озеро. У самой воды под защитой лесистого горба притулились несколько бараков и десяток финских домиков. Тянулись встречные цепочки самосвалов. В котловане ворочались и будто раскланивались друг с другом два экскаватора.

Шофер развил на спуске бешеную скорость. Чуть не свалившись в кювет, он вильнул в сторону от буксующего на подъеме звероподобного «МАЗа».

— Петька, очумел! — крикнул Егоров.

— Не трухай, Сергей Самсонович! — весело гаркнул шофер. — Финиш как-никак.

Возле одного из бараков машина остановилась. Егоров и Зеленин вошли в контору главного инженера. Здесь вдоль стен сидели люди в ватниках и брезентовых плащах. Из-за стола взглянул на вошедших человек с огромным желтым лбом. Узкий клинышек редких волос еще спасал его от причисления к лысым.

— Привет Советской власти! — сказал он. — Здорово, Егоров!

— Здравствуйте, товарищи! — как маршал на параде, гаркнул Егоров, проковылял к столу и пожал руку главному инженеру. — Молитесь Богу: доктора вам привез.

Народ вдоль стен загудел. Зеленина покоробило. Благодетель, доктора им привез. Как будто доктор сам не пришел бы. Демонстративно, словно желая досадить ему, он стал пожимать руки подряд всем присутствующим. Должно быть, это понравилось.

— Ученый, видать, мальчонка, — услышал он за спиной.

Главный инженер провел ребром ладони по горлу:

— Вот так горим, доктор. Процентов сорок народу свалил этот нежелательный иностранец — господин Грипп. Но, между прочим, подозреваю, что часть людей просто симулирует под этим флагом. Понимаете, фельдшер у нас очень уж робкий.

— Чего там, Юрий Петрович!.. — обиженно прогудели из угла.

— Точно я говорю: робеешь. Парнюги у нас, доктор, тут есть задорные, из числа бывших заключенных несколько позатесались. Обстановка сложная, что и говорить.

Главный инженер понравился Зеленину. Это был знакомый по литературе и кино тип капитана стройки, человека очень усталого, решительного и иронического, словно все людские слабости перед ним как на ладошке. Александр снял пальто, достал из чемоданчика халат.

— Если не возражаете, я пойду по баракам, посмотрю больных.

— Прошу вас, доктор, обратите особое внимание на третий барак. Там у нас теплые ребята подобрались. Кузьмич, проводишь доктора?

— Странный вопрос, Юрий Петрович, — прогудел обиженный голос, и из угла вышел скучный, висло-

носый гражданин в пушистой ленинградской кепке и черном пальто.

— Тимоша, — позвал главный инженер, и возле стола вырос огромный детина, — ты тоже сопроводи.

Зеленин понял, что третий барак — дело нешуточное.

Они вышли из конторы и направились к жилым баракам. Тимоша шагал впереди, несколько округлив руки и согнув бычью шею. Видно было, что парень недавно демобилизовался с флота.

— Простите, вы не в Кронштадте служили? — спросил Зеленин.

— Так точно! — изумленно рявкнул Тимоша. — Бывали там?

— Приходилось. Мы там были на практике. Как будто я вас видел.

Тимоша улыбнулся:

— И я смотрю, личность мне ваша вроде знакомая.

Они посмотрели друг на друга, и оба решили: хорошо, пусть будет так, будем считать, что мы действительно встречались в Кронштадте.

В третьем бараке стояло по меньшей мере сорок коек. Часть из них была аккуратно застелена и светилась белыми отворотами простынь, а другая часть была покрыта скомканными одеялами. Синие спирали табачного дыма медленно плыли под низким потолком. После свежего воздуха здесь было трудно дышать. Пахло потом, сивушным духом, паленым тряпьем. При стуке двери кучка парней, сидевших на полу возле печки, прыснула по койкам. Наступило молчание. Зеленин, Тимоша и фельдшер пошли по проходу.

— Здравствуйте, товарищи, — сказал Зеленин.

— Куда же делась эта сука, хотелось бы знать? — послышался громкий ленивый голос.

— За папиросами, видно, побег.

— Вот и ставь таких на хипиш.

Из дальнего угла крикнули:

— Тимофей, профессора, что ль, привел? Ну, пацаны, даст он нам сейчас прикурить!

В бараке начался гвалт. Парни бесцеремонно переговаривались, что-то орали, бросали с койки на койку папиросы. Кто-то засвистел.

— Тих-а! — громко раскатился Тимоша, и все сразу замолчали. — Ну, орелики, как протекает ваша болезнь? Федор, много грошей насшибал? А ты, Ибрагим?

— Ничего не знаю, не понимаю. Голова шибко болит, — быстро ответил Ибрагим и закрыл глаза.

— Сейчас вот мы разберемся, кто из вас порядочный человек, а кто скотина. Командуйте, доктор.

— Что это, товарищи, вы тут закупорились? — сказал Зеленин. — У вас тут не воздух, а прямо бурда какая-то.

В углу гыкнули.

— Эдуард Кузьмич, раздайте всем термометры.

— Бесполезно, — шепнул фельдшер, — подгоняют, черти.

— А вы проследите. Товарищи, прошу немедленно прекратить курение и открыть форточки. Гриппозный вирус боится свежего воздуха.

— Какой там вирус, — сказал Тимоша, — симулянты они все!

— Этого я не знаю.

Он подошел к крайней койке, по всем клиническим правилам расспросил больного, заставил его снять рубашку, выслушал, осмотрел горло. Парни под бдитель-

ным оком Тимоши заскучали, смирно поставили градусники под мышки. Худой и смуглый Ибрагим сидел на койке, натянув одеяло до подбородка, раскачивался и что-то мычал, заунывно пел, явно импровизировал. Зеленин прислушался.

— М-м-м-м… — тянул Ибрагим. —

Зовут меня в ударники,
Чтоб я в бригаду к ним ходил…
Зачем мне ваши кубики,
Я свободный Ибрагим.

Этот человек с печальными глазами, Ибрагим Еналеев, последние годы жил как бы в полусне. В пятьдесят третьем, когда амнистированные уголовники разлились по стране, он вместе с другими испытывал только дикую радость. Они бродили в толпах свободных людей, приглядывались к нормальной человеческой жизни и не знали, куда себя деть. Многие нашли свое место, начали новую жизнь, многие вернулись назад, не достигнув даже теплых земель, а некоторые, вроде Ибрагима, слонялись со стройки на стройку, с завода на завод, из города в город, не возвращаясь на прежнюю преступную дорогу, но и не решаясь избавиться от лагерных привычек и взглядов. Вербовались в отъезд и исчезали, получив подъемные, в общежитиях пили спирт и чифирь, по крупной играли в карты, на работе придуривались.

Фельдшер сказал на ухо Зеленину:

— Этот здесь главный заводила. Он да три его дружка из амнистированных. Один местный, из Круглогорья. Дикая личность, я вам скажу. Посмотрите.

Зеленин повел взглядом в сторону кивка фельдшера и вздрогнул. У него давно уже было такое ощуще-

ние, словно кто-то стоит за спиной, готовый сжать так, что хрястнут кости. Теперь он понял, чем это вызвано: в упор на него, не мигая, смотрели серые страшные глаза. Они принадлежали парню атлетического сложения, который лежал поверх одеяла, скрестив на груди голые руки. Могучие эти татуированные руки с вяло перекатывающимися под кожей шарами бицепсов напоминали нажравшегося питона. Вообще казалось, что парень только потому не крушит все вокруг себя, что в эту минуту он дьявольски сыт. Странная, очень странная усмешка блуждала на губах.

«Убийца!» — вдруг понял Александр, и у него ослабели ноги. Отвратительное ощущение слабости и беззащитности охватило его. Словно в гипнозе, он подошел к парню и сказал:

— Давайте градусник.

— Пожалуйста, доктор, — ответил парень неожиданно приятным, вежливым голосом, и Зеленин заметил, что он очень красив, у него правильные черты лица, вьющиеся длинные волосы льняного цвета.

Температура была нормальная. Зеленин послушал сердце, оно стучало в ритме мощного мотора. Легкие дышали, как мехи.

— Что у вас болит? — спросил он.

— Ничего, — широко улыбнулся парень.

— Голова, горло, живот?

— Все нормально. Душа немного болит.

— Отчего же?

— Влюбленный я.

Зеленин прочел на ногах парня надпись: «Они устали». Стало смешно. Он скрутил фонендоскоп и сунул его в карман. Странное, стыдливое чувство прошло — откуда оно взялось? — он снова обрел уверенность.

— Бюллетенчик надо продлить, — вдруг тихо и отчетливо проговорил парень.

— Это на каком же основании?

— По-свойски. Мы ведь с вами вроде бы сродственники.

— То есть? — опешил Зеленин.

— Предмет у нас один — Дашутка Гурьянова. — И вдруг рыкнул: — Понял, лепила?

— Перестаньте болтать чушь! — резко сказал Зеленин и пошел прочь, выпятив подбородок. «Вот оно что! Даша и этот сытый громила? Дико, непостижимо. Милая чистая девушка и… Значит, и обо мне болтают. Разве я давал повод?»

— Ну как, познакомились? — спросил фельдшер.

— Кто это?

— Федор Бугров.

Осмотр продолжался. Внезапно скрипнули двери, и в барак, пошатываясь, вошел человек в заляпанной глиной спецовке. Как слепой, он прошел по проходу и свалился на койку. Тимоша бросился к нему, потряс его за плечо:

— Витька, друг, что с тобой?

— Я еще вчера велел ему соблюдать постельный режим, — сказал фельдшер, — а он, видите, опять на площадку уперся. Вчера еще температура была тридцать девять и три.

Тимоша хлопотливо и аккуратно раздел Витьку, сунул ему под мышку градусник, укутал одеялом. После этого он выпрямился, метнул взгляд в сторону Ибрагима и Федора и тихо, но внятно сказал:

— Сволочи!

Из двенадцати человек у четырех была повышенная температура, у остальных нормальная, но все, кро-

ме Бугрова, жаловались на головную боль, ломоту и дурноту.

Зеленин сказал:

— Грипп сейчас принимает необычные, атипические формы. Он может протекать и без температуры. Поэтому я не могу точно сказать, кто из вас действительно болен, а кто симулянт. Правда, один, — он взглянул в сторону Федора, тот, улыбаясь, показал ему огромный кулак, — правда, один явный симулянт. Я говорю о Федоре Бугрове. Он пытался меня шантажировать. А остальные… Это уже дело вашей совести.

— Почему нам резиновые сапоги не выдают? — вдруг крикнул Ибрагим.

Какой-то парень поднял над головой башмаки:

— Попробуйте, доктор, в таких штиблетах в воде поработать. В самом деле заболеть можно.

Тимоша поднял руку:

— Тихо! Эх вы, шпана, смотрите, Витька до чего себя довел! А потому, что настоящий комсомолец, за дело у него душа горит. А вы… — он махнул рукой, — кусочники. Ну вас к черту! Будут сапоги, завтра баржа придет.

Ибрагим соскочил с койки и босиком, в одном нижнем белье подбежал к Тимоше.

— Кусочник, ты говоришь? Раз лагерник, значит, не человек? Доктор, почему они меня презирают? Зовет на собрание, а сам за карман держится.

Тимоша усмехнулся:

— Что ты мелешь? Меня твое прошлое не интересует. Работал бы честно, и тебя бы считали человеком. Скажи вот, Ибрагим, болен ты?

— Здоров! — заорал Ибрагим. — Работать пошел, ну вас к черту!

Он бешено пронесся назад к койке и стал одеваться.

— Пошли, — сказал Александр и открыл дверь. Невольно он в последний раз взглянул на Федора, тот снова показал ему кулак. И опять на какое-то мгновение панический страх налетел на Зеленина.

На крыльце Тимоша сунул в рот тоненькую папироску и сказал сквозь зубы:

— Федьку Бугрова на собрании почистим. Завтра же поставлю вопрос.

— Вот она, современная молодежь, — вздохнул фельдшер.

— «Современна-а-я», — передразнил его Тимоша. Он был очень возбужден. Сказав, что в остальных бараках народ сознательный, попрощался с Зелениным и прыгнул на подножку проходящего самосвала.

Зеленин работал вместе с фельдшером несколько часов. Он назначил лечение всем больным, наиболее тяжелых распорядился отправить в больницу. Закончив обход, они пошли в контору.

— Ну как там, в третьем? — спросил главный инженер. — Есть симулянты?

— Есть, конечно, но…

— Не знаю, что кадровики смотрели… Набрали бывших уголовников, вроде этого Еналеева.

— Мне кажется, — тихо сказал Александр, — что этот Еналеев, по сути, неплохой человек. Может быть, если к нему подойти без оглядки на его прошлое…

— Пробовали. Таких не отмоешь и святой водой.

— Неправильно, — вмешался Егоров, — сам знаешь, Юрий Петрович, что это неверно. У нас часто не хватает времени, а иногда и желания разобраться в человеке. Забываем, друзья, что каждая человеко-единица имеет свой собственный внутренний мир.

Зеленин с удивлением взглянул на Егорова. Главный инженер тоже посмотрел на него, усмехнулся и спросил Зеленина, не нуждается ли больница в помощи в смысле ремонта или подвозки топлива.

— Запомните, доктор, что у вас теперь есть богатый дядя.

Вдруг за дверью послышался громкий сердитый голос, и в комнату ворвался парень в кожаной куртке.

— Юрий Петрович, что же это получается с цементом? — заорал он.

Главный инженер вскочил, и несколько минут они кричали друг на друга остервенело, но без злости. Фигура парня в кожаной куртке, его лицо и жесты показались Зеленину очень знакомыми. Главный подписал какую-то бумажку, парень схватил ее, сунул в карман, повернулся, изумленно присвистнул и протянул Зеленину руку:

— Привет!

— Привет, — неуверенно пожал руку Александр.

— Не узнаешь? Неудивительно: ты ведь меня только в клеточку видел. А помнишь, как я тебе блок поставил? Ты даже очки потерял.

— ЛИСИ! — радостно воскликнул Александр и вскочил.

Теперь он узнал этого волейболиста из команды строительного института. Они обнялись. В громадных сверкающих залах они посылали друг в друга пушечные удары, а после игры расходились незнакомыми. Но здесь, на берегу холодного озера, в затоптанной комнатке, они встретились как члены единого братства ленинградских студентов, тем более студентов-спортсменов. Саша ликовал. Подумать только: ехал сюда, как в пустыню, а встречает знакомых волейбо-

листов! Даже встретив здесь Лешку Максимова, он обрадовался бы не намного больше.

— Команда у вас была ничего себе. Особенно один защитник, сердитый такой малый.

— Максимов?

— Кажется. Где он сейчас?

— У, брат, он скоро в дальнее плавание уйдет, в торговый флот распределился! Слушай, а что, если нам здесь организовать тренировочки?

— Доктор, выпей валерьянки. На дне озера, что ли?

— Подожди, что-нибудь придумаем.

Парня звали Борисом. Он проводил Зеленина на крыльцо и договорился, что на днях к нему заскочит. Зеленин и Егоров пошли к своей машине.

— Ну, а как с жилищным строительством, Сергей Самсонович?

Егоров уперся костылем в глину, повел левой рукой и весело сказал:

— Здесь будет город заложен назло надменному соседу.

— Какому же соседу?

— Есть тут у нас городишко неподалеку, чуть побольше Круглогорья. С гонором городишко.

Егоров

Ранние сумерки легли на строительство, на озеро, стерли линию горизонта. Из темно-серых глубин неба опускались редкие снежинки. Попадая в свет фар, они искрились, как звезды, и ложились на дорогу, чтобы сразу же погибнуть под колесами. Машина медленно идет вверх: сейчас, в темноте, Петька стал осторожнее. Ма-

шина идет, как слепец, вытянув вперед длинные желтые руки, перебирая ими тонкие стволы осин.

— Закурим, доктор.

— Благодарю, у меня свои.

— Ну, как вам понравился Стеклянный мыс?

— Знаете, я просто воодушевился. Оказывается, жизнь кипит совсем рядом с нашим Круглогорьем.

— Да-да, — с энтузиазмом подхватил Егоров, — и в Круглогорье скоро тоже наступят перемены! Проложим шоссе по берегу озера, вдоль него построим дома, пустим автобус. Поселок и стройка сольются, и будет город Круглогорск.

— А может быть, лучше Нью-Москва? — не удержался Зеленин и тут же подумал: «Зачем это я? Человек мечтает».

Посмеявшись и помолчав, Егоров вдруг без какой-либо связи сказал:

— Народ у нас здесь очень хороший.

Он словно хотел задать Зеленину вопрос, но, подумав, высказал его в форме непреложной истины.

— Все хорошие? — спросил Александр.

— Плохих я не знаю.

— А Федора Бугрова вы знаете? Что он за человек?

— А вы откуда его знаете? — быстро спросил Егоров.

— Это симулянт из третьего барака.

— Ах вот оно что! Значит, он здесь. Я думал, он снова отбыл в странствие. — Чиркнул спичкой, снова помолчал. — Федька — это выродок какой-то. Он здесь у нас появляется раз в году, большие деньги приносит. Говорит, на стройках работает, но я чувствую — врет. Охальник, безобразник, пьяница. Народ стонет, когда он тут.

— Семья у него здесь?

— Нет. Мать умерла еще в позапрошлом году. Да он с ней и не жил почти. С десяти лет воспитывался у бабки в Гатчине. А бабка, знаете, известная травница, богатющая, ведьма. Мне в милиции говорили, что за ней помимо торговли зельем и шарлатанства еще кое-какие делишки подозревались, но уж очень ловко она концы в воду прятала. Так по сей день и благоденствует в Гатчине.

— Зачем же он сюда теперь приехал?

Егоров искоса взглянул на Зеленина:

— Ну, во-первых, дом у него тут остался, а во-вторых, зазноба.

— Даша Гурьянова? — смело спросил Зеленин.

— Та-ак… — сказал Егоров и выразительно взглянул на спину шофера. — Да, ваша медсестра, блондиночка эта самая.

— А она его тоже любит?

Егоров даже крякнул от смущения. Вот дурачина доктор, ведет себя, как в такси, да еще волнуется!

— Как ты думаешь, Петя, — крикнул он, — любит Даша Федьку Бугрова?

Шофер вздрогнул. Видно было, что он всю дорогу держал ушки на макушке.

— Дашка? — хрипло рассмеялся он. — Маленькая она, не расчухала еще, что к чему.

Зеленин понял, что Егоров дружески предостерег его. Довольно и того, что по поселку ходят глухие слухи. Но что за чепуха? В последние недели ему казалось, что установилась близость с Инной. Телефонные разговоры не реже чем через день, длинные письма, обмен фотокарточками. Теперь одна Инна стояла у него на столике. Смеющееся лицо, длинная шея, чуть обозначенные ключицы. Другая, поменьше — шесть на

девять, смотрела расширенным, пытливым взглядом прямо ему в сердце. Зеленин убедил себя в том, что влюблен, что эта хриплая телефонная трубка, эти голубые листочки мелко исписанной бумаги, эти мастерски сделанные позитивы — все это в сумме и есть та самая девушка, которая когда-то в толпе положила ему руку на плечо и посмотрела снизу вверх, но так, как смотрят на ребенка, забравшегося на стол. На самом деле их письма и телефонные звонки были только судорожными попытками спасти тот единственный вечер, ухватить за хвост мелькнувшую на танцплощадке синюю птицу. Как «Отче наш», он повторял перед сном несколько тайных слов, смотрел на фото и засыпал успокоенный. С Дашей Гурьяновой он старался держаться посуше, поофициальнее. Подчас ему удавалось увидеть в ней только «товарища по работе». Но сегодняшняя история почему-то нарушила его покой. Содрогаясь, он представлял Дашу в объятиях сыто отрыгивающего красавца.

— Федор — сукин сын, — услышал он голос шофера.

— А что же ты с ним водку пьешь? — спросил Егоров.

— А чего ж не пить, коли подносят? Вообще он парень веселый, народ умеет приваживать.

— Слышите, доктор, вот ведь что за публика. Помани его стаканом, прибежит, хоть и сукиным сыном тебя считает. Ты небось, Петр, и с неприятелем бы на брудершафт выпил, а?

— Это вы зря, — сухо сказал шофер. Плечи его, обтянутые ватником, и голова со сдвинутой на затылок кепчонкой четким, залихватским силуэтом маячили

впереди на фоне клубящегося света. — К совету или домой? — спросил он.

— Домой, Петя. — Егоров шепнул Александру: — Обиделся, смотрите, надулся как мышь на крупу. Хороший парень. Но, между прочим, вопрос этот важный. Пьют у нас мужчины крепко. Понимаешь, Александр Дмитриевич, искони все это тянется, от пращуров. Причем считается, что здоровей водки ничего на свете нет, лучшее лекарство. Я и сам порой смотрю: может, действительно есть в ней какой-нибудь витамин? Деды косматые по сто годов водку пьют и в ус не дуют, на охоту ходят.

— А если бы не пили, жили бы по сто пятьдесят, — сказал Зеленин.

— Вот и я тоже так думаю. Тут комсомольцы ко мне приходили, хотят повести решительную борьбу с пьянством. Неплохо было бы и вам подключиться, осветить вопрос, так сказать, с научной стороны.

— Лекцию прочесть?

— Да уж это сами как-нибудь придумайте.

На главной улице Круглогорья машина остановилась возле маленького домика. В свет фар попали окна с затейливо изузоренными наличниками, которым странно противоречила видневшаяся за стеклом деловая настольная лампа с зеленым абажуром. За тюлевыми шторками угадывались тепло, чистота и приветливость. Очень не хотелось тащиться на больничный двор, к своей пустынной квартире.

— Может, зайдете, доктор, с супругой моей познакомитесь? — спросил Егоров каким-то неестественным, насмешливым голосом.

— С удовольствием, Сергей Самсонович.

Егоров вдруг с силой хлопнул Сашу по плечу:

— Ну вот и молодец! Поужинаешь хоть раз по-человечески. Надоело небось плавлеными сырками баловаться?

— Откуда вы знаете? — изумился Александр.

— Э, брат, тут все друг о друге знают.

Екатерина Ильинична, жена председателя, была в платке, повязанном по-деревенски, и в элегантной шерстяной кофточке из Чехословакии.

— Круглогорской запеканочки, Александр Дмитриевич? Копченый гарьюз, очень рекомендую.

— Хариус, Катюша, — поправил Егоров.

— Ну, Бог с ним. Кушайте, пожалуйста. Полагайте в чай сахар, что же вы его не полагаете?

— Кладите, Катюша! Не полагайте, а кладите. Вот, Александр Дмитриевич, не поддается женщина воспитанию. Эх ты, Круглогорье! — Он любовно и горделиво притянул ее к себе.

Екатерина Ильинична погладила его по голове.

— Он ведь у меня вроде вас, ученый. До трех часов каждую ночь читает. А я вот темная. — Она улыбнулась, но в глазах ее, как показалось Саше, мелькнуло горькое выражение. — Сережа мне говорил, у немцев есть «четыре К»[1] для женщин. Верно это?

— Ну что ты, Катя! Ведь ты общественница.

— Вот моя общественность расшумелась, — уже весело улыбнулась она, показывая на дверь, за которой слышалась возня ребятишек, — пойду к ним, извините.

Егоров проводил ее взглядом, вздохнул и сказал:

1. «Четыре К» — Kinder, Kleider, Kirche, Küche (дети, платье, церковь, кухня).

— Сижу я иногда дома, читаю, жена вяжет, ребята мирно что-то строят из кубиков, и вдруг мне становится как-то зыбко и нестерпимо страшно: вдруг все это сейчас пропадет? Думаю, что и с другими бывает такое же, с теми, кто счастлив в семейной жизни. Видно, оттого это происходит, что слишком много горя, чтобы сразу забыть о нем. Понимаете?

— Конечно, понимаю. Может быть, все-таки с генами передается из старины это неверие в прочность своего счастья, ожидание налета темных, разрушительных сил? У наших потомков этого уже не будет.

Егоров задумчиво покрутил рюмку, улыбнулся несколько раз молча и вдруг расхохотался:

— Я сейчас подумал, доктор, что, будь у меня обе ноги целы, я вряд ли имел бы сейчас семейную жизнь. До войны я очень любил танцы и был большим трепачом. А на танцах, знаете…

— Иногда и на танцах… — тихо начал Александр, но не договорил.

Егоров разлил вино по рюмкам.

— Давайте, доктор, выпьем за стопроцентное искоренение алкоголизма на всем пространстве Круглогорского куста.

Зеленин опрокинул рюмку крепчайшей настойки, жмурясь, поискал вилкой, глотнул плотную слизь маринованного грибка и полез за сигаретой. В голове установился далекий праздничный гул, кровь прилила к глазам, и из табачного облака выплыла багровая луна — круглый лик с доброжелательными глазами-щелками.

— А я ведь вас знаю, — с дешевым лукавством сказал Александр.

Багровая луна подпрыгнула, расширились сверкающие глазки.

— Что, в голову ударило?

— Нет, все в порядке. Попробуйте вспомнить. Дворцовая набережная, два мерзких пижона оскорбляют ветерана.

— Ой! — вскричал Егоров и закрыл лицо рукой. — Значит, это были вы? — проговорил он глухо. — То-то я сначала голову ломал, где я вас видел. Черт побери, как стыдно!

— Мне тоже, — сказал Зеленин.

— Вам-то что? Это ведь я к вам пристал. Верите ли, первый раз в жизни потерял над собой контроль. И все Мишка Сазонов, старая кочерга. Четырнадцать лет не виделись, и вдруг, понимаете, выхожу из Дома книги и сталкиваюсь с ним. Тяжело сложилась жизнь у парня. Пятно на нем есть, и отмыть его трудно.

— Какое же пятно? — спросил Александр, хотя его интересовало совсем другое.

— Понимаете, в бою Михаил вел себя отлично, а вот казни испугался. В плену. Согнали их в березовую рощицу, стали сортировать. Евреев и коммунистов, как известно, в яму. Ну, Мишка и зарыл свой партбилет под березой. Ужас на него нагнала эта яма. Вот рассудите: подлец он или нет?

— Я не знаю, — медленно ответил Зеленин, — такой страшный выбор… Может быть, он и не подлец, но не коммунист. Просто человек…

— Да-а-а. Словом, после войны Михаил отправился в ту рощицу. По ночам целую неделю там копал.

Зеленин передернулся:

— Ну и что же?

— Костей накопал много и металлических предметов: пуговиц, пряжек, штыков. Тогда он вроде немного тронулся. А отношение к нему было в те годы, как к последнему мерзавцу и предателю.

Егоров налил себе рюмку, медленно выпил. Взгляд его скользил мимо Александра, куда-то в угол.

— Вот какую повесть рассказал мне этот мой друг. Думаю перетащить его сюда. Место присмотрел: капитаном рейда, по сплаву в основном работенка. Мы ведь с ним из Института водного хозяйства на фронт ушли…

Какими мелкими показались Зеленину сомнения и проблемы его и его друзей по сравнению с тем, что стояло за спиной этих сорокалетних мужчин! Их как будто каждого проверяли на прочность, щипцами протаскивали сквозь огонь, били кувалдой, совали раскаленных в холодную воду. «А наше поколение? Вопрос: выдержим ли мы такой экзамен на мужество и верность? Постой, что ты говоришь? Наше поколение… Тимоша, Виктор, вот они. Разве с первого взгляда не видно их силы? А мы, городские парни, настроенные иронически ко всему на свете, любители джаза, спорта, модного тряпья, мы, которые временами корчим из себя черт знает что, но не ловчим, не влезаем в доверие, не подличаем, не паразитируем и, пугаясь высоких слов, стараемся сохранить в чистоте свои души, мы способны на что-нибудь подобное? Да, способны! Пусть Лешка корчит из себя усталого циника, уверен, что и он способен. И Владька тоже…»

— Сергей Самсонович, вы помните хоть немного тогдашний наш разговор?

Егоров поморщился и досадливо махнул рукой:

— Какое там! Была сплошная пьяная склока.

Странно, он ничего не помнит. Для него это досадный и нелепый эпизод, а между тем именно эта стычка привела Зеленина в Круглогорье.

— Впрочем, кажется, что-то припоминаю. Я увидел двух парней… Вспомнил! Мне показалось, что вы похожи на стиляг, и я направился выяснить ряд вопросов. Что я бормотал, этого уже не помню.

— Вы хотели выяснить, куда клонится индекс, точнее, индифферент наших посягательств.

Егоров изумленно выпучил глаза и захохотал:

— Что вы! Серьезно? Это же была наша институтская острота. Видно, для подхода ее ввернул.

— А я решил, что это из вас культура прет.

— Видите, как сложно людям понять друг друга.

— Но что вас все-таки волновало? Простите за назойливость, мне это важно знать.

— Что волновало? — Егоров обвел взглядом стены, окна и потолок своего дома. — Это был странный вечер с самого начала, и странные чувства во мне взыграли. Понимаешь, я много лет не был в большом городе. Как после войны забрался сюда, так и не вылезал. И вот ранним вечером я попадаю на Невский, стою у стены, чувствую себя жалким, провинциальным, одноногим. А мимо толпа течет. Здоровые, веселые люди, молодежь, девушки, стройные, смелые, ну и вульгарите, конечно, попадаются, юнцы какие-то развинченные косяками ходят. Музыка из кафе… А я думаю, вернее, не думаю, а ощущаю какой-то дополнительной селезенкой: Егоров, ты глупец и идеалист. Кто из этих людей узнает о твоих «великих деяниях» на сельской ниве? Какая девушка подарит тебя улыбкой? Ты не видел жизни, не знал молодости. Смотри теперь и грызи локти. И тут сердце мое, ошарашенное

и испуганное, заорало: «Неправда! Щенки! Вы никогда не узнаете сладости поцелуев, каждый из которых кажется последним, никогда при жизни не почувствуете, какие жесткие пальцы у смерти, никогда не затуманит ваши головы и не стеснит вашу грудь молодая гроза внутри! Помните, «нас водила молодость в сабельный поход, нас бросала молодость на кронштадтский лед»? А вас куда она бросала, жалкое племя панельных шаркунов?» Но мозг мой вмешивался и приказывал: «Стоп, Егоров! Что ты, не видел нынешней молодежи? Не знаешь, как она может работать? Они веселы, шатаются по Невскому, целуются, но они же в теплушках уезжают на восток, как ты когда-то ехал на запад, они же бродят по тайге и лазают по домнам. А эти развинченные пижоны… Во-первых, их не так уж и много, а во-вторых, что у них за душой, ты знаешь?» Вот так и бились во мне мозг, сердце и селезенка эта дополнительная. Извините, доктор, за кощунство над нормальной анатомией и физиологией. Потом я встретил Михаила.

Зеленин слушал Егорова и курил частыми нервными затяжками. Значит, он был прав, он понял, что за бормотанием подвыпившего добряка кроется какой-то большой смысл. А Лешка этого не понял.

— Сейчас вы нашли ответ, Сергей Самсонович?

— Не совсем, — ответил Егоров.

Он повернулся на стуле и включил приемник, стоявший на тумбочке за его спиной. Александр посмотрел на его мощный, высоко постриженный затылок и подумал, что такие вечера делают людей друзьями. Ровный гул приемника заполнил комнату. Егоров защелкал переключателем диапазонов и побежал по шкале. Стали лопаться атмосферные разряды, вскрикнула скрипка, забормотал раздраженный торопливый голос

на незнакомом языке; раздались мощные тревожные раскаты симфонического оркестра. Вдруг в ткань симфонии вплелось и постепенно вытеснило ее разухабистое кудахтанье джаза: «А нам наплевать, пусть все идет к черту, нам наплева-а-а…»

— Сергей Самсонович, вы верите в коммунизм? — спросил Зеленин.

Егоров повернулся к нему, посмотрел внимательно и сказал:

— Я ведь член партии.

Зеленин смешался:

— Простите, я не так хотел поставить вопрос. То, что вы разделяете марксистские идеи, мне ясно. Я хотел спросить, вы представляете себе коммунизм реально? Вот у нас, знаете, многие кричали: вперед, к сияющим вершинам! Но я уверен, что далеко не все полностью осознавали, что работают для коммунизма. Что такое сияющие вершины? Абстракция! Мне кажется, что сейчас больше людей стали задумываться над этим.

— Я понял вас, — сказал Егоров. — Правильно, некоторые представляли себе коммунизм какой-то аркадской идиллией, а некоторые просто горлопанили, не задумываясь над значением слова. Сейчас массы людей становятся строже, внимательней к словам и поступкам, ищут черты коммунизма в окружающей среде и в самих себе. А он ведь рядом, он простой, теплый. Может быть, я представляю себе его чересчур заземленно, я переношу мечту на местную действительность. Вот было сельцо Круглогорье, ходил народ на зверя, рыбку ловил, сделал революцию, прогнал белых, построил пристань, завод, новые дома, электричество провел, радио — стал поселок Круглогорье. Люди работали, умирали, другие рождались уже при электри-

ческом освещении. Мы сейчас работаем… здесь и на Стеклянном. Будет город Круглогорск. А наши дети тут атомную энергию в ход пустят. Эта непрерывная цепь уходит вперед, в грядущие годы, и я вижу: светлые, глазастые дома отражаются в теплой воде, пальмы качаются, по бетонированным магистралям стеклянные автомобили летят. Круглогорье! А что ты думаешь? Так и будет.

— Я, кажется, понял. Главное — в этой непрерывной цепи. Мой прадед сидел в Шлиссельбурге. Разве он надеялся на свержение царизма при его жизни? И весь наш мир стоит на том, что большинство людей имеют свойство работать и жить не только для живота своего…

Они засиделись допоздна. Головы их были ясны, мысли чисты, и каждый радовался, что нашел друга.

Когда Зеленин вышел на крыльцо, его поразило странное свечение ночи. Только спустя несколько секунд он сообразил, что это снег. Тучи, накрывшие поселок белой пеленой, раздавшие пушистые одеяла и шапки улице, крышам и трубам, надевшие на боярскую шубу старенькой церквушки горностаевый ворот, ушли далеко на юг. Полная луна стояла в темно-синем небе. Началась зима.

Глава 6

Порт — это тихая гавань

В конце ноября в одну ночь льды сковали акваторию порта. С моря к городу потянулись плотные сизые пласты тумана. Из глубины их доносились отрывистые гудки, завывание сирен, треск сокрушаемого льда.

В залив выходили мощные буксиры. Там формировались караваны грузовозов. По проломанной буксирами дымящейся дорожке они шли в порт. Лихой карантинный катер уже неделю стоял на берегу, на слипе, стыдливо демонстрируя свое ободранное красное днище. Врачи выходили на прием судов в трюмах буксиров вместе с таможенниками, пограничниками, диспетчерами «Инфлота» и инспекторами по сельхозпродуктам. Жизнь стала какой-то хриплой, дымной, топочущей, зажатой туманом и льдом в тесные рамки практической необходимости. Но кроме метеорологических факторов было еще кое-что, что не позволяло отвлекаться.

В один из отвратительных предзарплатных вечеров Владька Карпов раздраженно махнул рукой и в знак полной капитуляции пришпилил кнопкой к стене последний «неразменный» рубль. После этого полез под кровать и выкатил оттуда свой знаменитый чугунок.

Если бы институтское начальство решило создать музей, чугунок товарища Карпова должен был бы занять в нем достойное место. Когда шесть с лишним лет назад вихрастый напуганный увалень ввалился в общежитие на Драгунской, в руках он держал огромный деревянный чемодан с висячим замочком (впоследствии чемодан этот был назван «шаланда, полная кефали»), гитару и чугунок в пластмассовой авоське. Прошло время. Владька изучил медицинские науки и бальные танцы, приобрел внешний лоск, но все так же неизменно в конце каждого месяца на громадной кухне общежития появлялся его чугунок. Любой мог подойти и бросить в трескучие пузыри то, что имел: пачку горохового концентрата, картофелину, кусок колбасы, кусочек сахара, огурец или листок фикуса. Любой мог подойти и налить себе тарелку «супчика» (так

называл это варево Карпов). Котел стоял на малом огне с утра до глубокой ночи. Кому-то нравился этот способ кормежки, кто-то считал его экстравагантным, а для некоторых дымящаяся черная уродина на газовой плите была символом студенческого братства.

В то время, когда Владька занимался кулинарией, Максимов в умывальной комнате стирал под краном свою любимицу — голубую китайскую рубашку. Из чайника поливал ее кипятком, нежно, задумчиво тер, выкручивал, полоскал, что-то мычал. Неожиданно выпрямился, выпучил глаза и, глядя в зеркало, продекламировал экспромт:

Прислали мне мои друзья китайцы
Рубашку из своей большой страны,
И я купил ее в универмаге
И заправляю каждый день в штаны.

Дверь была приоткрыта, и слова гулко покатились по длинному коридору, в конце которого всегда царила сплошная мгла. Где-то скрипнула дверь, послышалось клацанье подкованных каблуков по паркету. Максимов выглянул и увидел Столбова, важно идущего в новом синем костюме и ярко-красных ботинках.

— Столб, спички есть? — миролюбиво спросил Максимов.

Столбов сунул прямо под нос Алексею зажигалку в виде пистолета.

— Ну, как жизнь? — спросил снисходительно. Максимов прикурил, вернулся к умывальнику и буркнул:

— Бьет ключом, и все по голове.

Только лишь с Петей, этим толстеющим жеребцом, и стоило разговаривать о жизни!

Столбов, несколько обескураженный тем, что зажигалка не произвела на Максимова особого впечатления, пошел к Владьке. Карпов сидел боком к электроплитке, помешивал в чугунке, а в правой руке держал журнал «Польша». Жестом министра он показал Столбову: садитесь. Столбов взгромоздился на письменный стол Максимова и уставился на Владьку, который продолжал читать, не обращая на него никакого внимания. Столбов не мог понять этих двух парней, Лешку и Владьку, как, впрочем, и всю их компанию, но что-то иногда тянуло его к ним. Они способны целый вечер просидеть в комнате, напевая под гитару или бубня стихи, за девочками бегают напропалую, но как-то без толку. Столбов любит порядок, чтобы все было как положено. Любит здравый смысл. Любит рентабельность. Он тоже может проболтать с девчонкой пару часиков и даже стишок ей ввернуть («Любовью дорожить умейте, с годами дорожить вдвойне…»), но только если уверен, что игра стоит свеч. А эти? Зарплату рассчитать не могут. Опять сидят на бобах. Столбов этого не любит. Он любит расчет, уют, тепло, любит хорошую пищу.

— Ну, как жизнь молодая? — спросил он у Владьки.

— Жизнь моя, иль ты приснилась мне? — вздохнул Карпов и, посмотрев на часы, стал бросать в чугунок картофелины.

В дверях показался Максимов. Бодро крикнул:

— Маша, готов супчик?

«Машей» в общежитии называли дежурных по комнате. Карпов засуетился, расставляя на столе тарелки.

— Я сервирую на две персоны, — сказал он Столбову. — Думаю, что вы, сэр, после обхода своих владений вряд ли окажете честь нашему скромному столу.

— А что ты думаешь? — горделиво пробасил Столбов. — Сегодня в четвертой меня таким эскалопчиком угощали — прелесть! Сплошное сало. И пива полдюжины с заведующим раздавили.

— И все бесплатно? — спросил Максимов.

— Мой милый, да ты, я смотрю, страшный наив. Кто же начальников за деньги угощает? А я как-никак нача-а-а-альник!

Страшно довольный, он расхохотался. Никогда Петя Столбов не думал, что после окончания института попадет на такое теплое место.

— Я и смотрю, что ты разжирел, — сказал Максимов, — но это тебе нужно. При таком росте хорошенькое пузо — и сразу начнешь продвигаться по службе.

— Но-но, без хамства! — буркнул Столбов.

Алексею хотелось есть, а не ругаться с Петей. Он принялся за «супчик».

— Ну как? — спросил Карпов не без волнения.

— Похоже на харчо, — серьезно ответил Лешка.

Владька просиял:

— Оно так и задумано. Дорогой Макс, я счастлив, что у тебя тонкий вкус гурмана.

Пока ребята ели, Столбов истуканом сидел на столе. К концу трапезы в комнате появился гладко выбритый и прилизанный Веня Капелькин.

— Хелло, комрадс! Можно к вам?

Капелькин приходил в «бутылку» почти каждый вечер. Он называл ее по-своему — «каютой ППР», что означало «посидели, потрепались, разошлись». Рассказывал старые анекдоты и новейшие портовые сплетни. Работал он сейчас в секторе санпросветработы карантинно-санитарного отдела и все делал для того, чтобы вернуть потерянное доверие. В горячке обществен-

ной работы метался из комнаты в комнату, на каждом собрании выступал с пламенными речами, в каждую стенгазету писал статьи, в основном о борьбе за трудовую дисциплину. Он стал смирным и теперь уже почти не вспоминал о «высоком паренье своей души».

— Что у вас слышно о визах, мальчики? — спросил Капелькин.

Максимов пожал плечами:

— Ровным счетом ничего. Молчат — и крышка. Наверное, до весны.

— И с тех пор с весенними ветрами… — заголосил Карпов. — Звучит?

— Владя, ты не ты — Карузо. Да, честно говоря, надоело заниматься санитарией. Скорей бы в море.

Карпов снял со стены гитару, стал ее настраивать, потом ударил по струнам:

Одесса, мне не пить твое вино
И не утюжить клешем мостовые…

— А мне все равно, — сказал Столбов, — мне и тут неплохо. Плевать я хотел на море! Сам посуди, — обратился он к Капелькину, — прописочка у меня постоянная, питание бесплатное, зарплата целиком остается. На кой черт мне еще отрываться от цивилизации?

— Действительно, зачем тебе море, Петечка? — ехидно сказал Максимов. — Ты теперь дорвался до сладкого пирога и жрешь, как видно, с упоением. Смотри только не подавись.

— Знаешь что… — Столбов угрожающе выпрямился. — Знаешь, Лешка, ты когда-нибудь у меня напросишься! Ты-то сам не за сладким ли пирогом кинулся, не за легкой ли жизнью? Корчит из себя святого, демагог!

— Мне легкая жизнь не нужна, — крикнул Максимов, — мне нужна интересная, опасная!

— Опасная! — захохотал Столбов. — Так тебе на каравеллу надо какую-нибудь. Спроси-ка лучше у Веньки, какая у нас будет опасная жизнь. Качайся себе, как в гамаке, дрыхни и жри. Вот и все. Это тебе не то что на сельском участке где-нибудь вкалывать, вроде кореша твоего Сашки Зеленина. — Он слез со стола, подошел к Максимову и похлопал его по плечу. — Так что, брат, заткнись. Мы с тобой одного поля ягоды! Оба любим рябчиков в сметане.

Максимов с силой оттолкнул его от себя:

— Столб, я не переношу тебя. Ты знаешь? Ну вот и убирайся, пока не подавился эскалопчиком из собственного языка.

— Может быть, устроим бокс? — мрачно спросил Столбов.

— Охотно. — Максимов стал засучивать рукава.

— А молодого коногона несут с разбитой головой… — меланхолически пропел Карпов.

— Публика! Интеллигенция! Чтоб вас!.. — заорал Столбов и зашагал к двери. Вдогонку ему зарокотали струны:

Не уходи, еще не спето столько песен,
Еще дрожит в гитаре каждая струна…

Капелькин следил за этой сценой, словно за возней ребятишек. После ухода Столбова он сказал:

— Да, мальчики, Петя Столбов — человек серый, как штаны пожарника. Между прочим, говорят, он закрутил роман с заведующей одной столовой. Она и деньжатами его снабжает и всем прочим. Словом, как

у Маяковского. Дурню снится сон: де в раю живет и галушки лопает тыщами.

— Орангутанг, — сказал Максимов, успокаиваясь, — что с него возьмешь? Меня возмущает только то, что он и всех других считает созданными по своему образу и подобию. Но, между прочим, Веня, мне еще кто-то недавно говорил, что к врачу на судне относятся, как к бесплатному пассажиру. Правда это?

— Ерунда. Работы маловато, но что за беда? Дело не в этом, мой друг. Легкая жизнь! Ты боишься этих слов? Напрасно. Ведь жизнь-то у тебя одна, одна-единственная, такая короткая. Понимаешь? Пусть она будет легкой. Только люди по-разному понимают это. Для Петечки это одно, а для нас с тобой легкая, красивая, увлекательная жизнь — это другое. Плавание, ребята, — это знаете, что такое? Эх, ребята! — Он вскочил, зажмурил глаза, щелкнул пальцами и потянулся. — Для меня это идеальный образ жизни. Представьте: две недели изнуряющей качки, тоски, но вот ночью небо на горизонте начинает светлеть, и медленно из воды встает сверкающий порт. А возвращение на родину, в Питер? Год болтался черт знает где, приходишь… Здорово сказано: «И дым отечества нам сладок и приятен…» А тут, на причале, — цветы, улыбки, друзья, женщины… И ты в центре внимания, ты живешь в сотни раз ускоренным темпом, горишь, как пакля. А после снова сонная качка, волны, чайки, весь этот скудный реквизит. Впрочем, на первых порах и это приятно.

— Ну, а случаи у тебя какие-нибудь были? — спросил Карпов.

Капелькин хохотнул:

— Еще какие! Однажды в Риге выходим мы со вторым помощником из ресторана «Луна»…

— Ну тебя к черту! — засмеялся Карпов. — Я имею в виду медицинские случаи.

— А! Были, конечно. Но мне везло: всех тяжелых удавалось сразу же сдать в порты. Конечно, риск есть, но зато… Эх, — он ударил кулаком о ладонь, — вырвусь и снова в море! Не могу, ребята, на службу ходить и высиживать положенное время.

— Я недавно твою статью читал о трудовой дисциплине, — сказал Максимов. — Иль это не ты писал?

— Тактика, брат. Должен же я поднять наконец свои акции!

Максимову стало противно. Писать одно, а думать другое? Этого он все-таки не мог принять. А все остальные Венькины рассуждения? Далеко ли они ушли от взглядов Столбова? Максимов вкладывал в свое понятие о «напряженной, счастливой, взволнованной жизни» что-то другое. Да, конечно, труд. Необходимый компонент. Но труд, который только приятен, который только интересен, и никакой другой. Эге, малый, ты хочешь сразу оказаться в коммунизме? Наше время для тебя грязновато? Был бы здесь Сашка, он бы сейчас развернул свою философию о взаимной ответственности поколений. А может быть, он и прав?

Скажем, если бы декабристам не захотелось погибать на Сенатской площади, свободолюбивые идеи медленнее распространялись бы в России, и революция, может быть, задержалась бы на несколько десятков лет. По Сашке, и перед декабристами мы в ответе и обязаны двигать дело дальше. Черт знает что! Значит, жить для потомков ради предков? А самим? «Ведь жизнь-то у тебя одна-единственная, такая короткая…» Какой странный тон был у Веньки, когда он произнес

эти слова! Словно перед ним приоткрылось то, чего никто не хочет видеть.

Значит, не нужно усложнять этот свой короткий отпуск из небытия? Жить себе в свое удовольствие, гореть, наслаждаться? Огибать камешки?

Такие смутные мысли блуждали в голове Алексея, когда он, развалясь на койке, отстукивал на подоконнике ритм Владькиной песенки. Капелькин углубился в журнал «Польша». Карпов тихо перебирал струны. Вдруг гитара возмущенно загудела и задребезжала, будто ее разбудили грубым пинком.

Поговори-ка ты со мной,
Гитара семиструнная, —

отчаянно завопил Владька, —

Вся душа полна тобой,
А ночь такая лунная!..

В коридоре раздался телефонный звонок. Максимов, точно в нем развернулась пружина, сиганул с койки и в два прыжка оказался за дверью.

— Странно, — проговорил Карпов, — с Максом что-то происходит. Часто стал исчезать, к телефону прыгает, как блоха. Влюблен?

— Неужели он тебе не говорит? — спросил Капелькин.

— Он скрытный, черт.

Алексей в это время, прикрыв ладонью трубку, стоял у телефона.

— Можно попросить доктора Максимова?

«Напрасно она пытается изменить голос, Владька узнал бы ее так же легко, как и я».

— Мадам? — сказал он.

— Лешка, это ты, — засмеялась Вера. — Я говорю из библиотеки.

— Из Публичной? Хорошо, я буду ждать около подъезда через час.

Он вбежал в комнату, схватился за рубашку. Сырая, а все остальные в грязном.

— Владька, дай-ка мне свою рубашку.

Карпов вздрогнул и умоляюще взглянул на него:

— Макс, две недели я хранил ее под подушкой. Неужели ты… Хочешь, возьми мой свитер?

«Как будто Вера не знает твоих свитеров».

— У меня есть чистая рубаха, — сказал Капелькин. — Только нужно погладить. Принести?

— Не надо, я пойду в своем свитере. Слушай, Вениамин, раз уж ты сегодня такой добрый, может быть, одолжишь на один вечер свой экзотический шарфик и пятьдесят рублей?

Алексей заметался, вытаскивая из чемодана свежие носки, освобождая от газетной оболочки висевший на стене костюм и одновременно пытаясь взболтать пену в мыльнице.

— Интересно, — проговорил Карпов, — что это находят девушки в таких суетливых и напуганных парнишках?

Максимов запнулся и взглянул на друга. Тот стоял в одних трусах у стола и гладил брюки. На его стройных ляжках пружинились мускулы.

— Не все же вам, гусарам, — смущенно проворчал Алексей.

«Кажется, Владька предлагает раскрыть карты. Нет, это невозможно».

Через двадцать минут друзья выскочили на шоссе. Вокруг шеи Максимова был обмотан шикарный нор-

вежский шарф. Капелькин на прощание поразил его, сказав:

— Дарю. Не надо слез. У меня есть еще один.

— Отразим ли я? — спросил Максимов у Карпова.

— Что ты, Макс! Ты первый парень на Частой Пиле.

Они пустились бегом. Теперь они уже знали все ходы и выходы порта и научились сокращать расстояние, пробираясь через путаницу железнодорожных путей. Сегодня особенно повезло: они прицепились к медленно идущему составу, который за десять минут довез их до главных ворот. Здесь Карпов сел в трамвай, а Максимов в автобус.

Осень, весна?

Зябко поеживаясь, Максимов прохаживался возле Публичной библиотеки. Туман значительно поредел, и в высоте даже различались холодные, как снежинки, звезды. Однако помпезные фонари все еще были окружены оранжевыми кольцами и высились вокруг, как обалдевшие полководцы древности. Массивные двери библиотеки ни на минуту не оставались в покое. Здесь публика была иной, чем в студенческом филиале на Фонтанке: солидные мужи с тяжелыми портфелями, деловые, быстрые женщины, заморенные аспиранты в цигейковых шапках. «Сплошные преподаватели», — усмехнулся Максимов, подавляя в себе оставшееся от школы инстинктивное желание спрятать окурок в рукав.

Наконец дверь открылась в тридцать девятый раз, и появилась Вера. Она подбежала к нему и сунула в руки свою папку.

— Подержи. Я не успела даже надеть платок.

— До скольких ты свободна сегодня?

— Хотя бы до двенадцати! — сказала она с вызовом.

— Ого! Большой прогресс, — усмехнулся Максимов. Они пошли через сквер в сторону Фонтанки. Вера молчала.

Ее смелый и веселый голос по телефону неприятно удивил Максимова. Молчание было более естественным.

Сегодняшняя их встреча была четвертой после того, как Максимов решил «рассказать все». В первый раз Алексей пришел прямо к ней домой, увидел, что мужа нет, обрадовался, испугался, разозлился и нелепейшим образом пригласил ее в кино. Весь вечер Вере пришлось выслушивать нахальные шуточки, глупые каламбуры и мрачные размышления. На большее у него не хватило пороха. Второй раз он позвонил ей в воскресенье, и они провели вместе странный день, тянувшийся без конца. Они блуждали по сырым улицам и оказались на Крестовском острове. В парке Победы деревья гордо сражались с морским ветром. Они гнулись, как мачты, но неизменно держали на своих ветвях сигнал, составленный из уцелевших листьев: «Погибаю, но не сдаюсь!» «Погибаю, сдаюсь», — думал Алексей, глядя в ставшие вдруг озорными Верины глаза. Она вела себя, как девчонка, как первокурсница Вера, баскетболистка и егоза. Правда, когда они оказались на самом верху бетонного холма стадиона, в эпицентре ветряной оргии, она посерьезнела, взяла Максимова за руку и стала что-то говорить с явным расчетом на то, что услышать ее трудно. Каждое слово в тот день было подобно заголовку книги: интриговало, но не раскрывало смысла. Максимов не мог поверить ни-

чему. Его убедила в догадках только последняя фраза Веры. Не доходя двух кварталов до дома, она остановилась и сказала:

— Дальше не ходи.

Значит, он не просто друг! И она, кажется, тоже поняла все. В третий раз они остановились там же, и тогда Алексей взял ее за руку, увел в какой-то подъезд и молча стал целовать. Кто-то прошел мимо, оглушительно лязгнула дверь лифта. Вера беспомощно сгорбилась и вышла из подъезда. Он смотрел ей вслед с ликующим чувством, к которому примешивалось немного жалости и капля злорадства. Она в его руках, это ясно. После этого прошло больше двух недель. На телефонные звонки она отвечала сухо, от встреч отказывалась, а сама позвонила в первый раз только сегодня.

— У тебя сегодня довольно импозантный вид. Красивое кашне.

— Его подарил мне чиф с парохода «Новатор», старый татуированный морской бродяга.

— С серьгой?

— Что?

— В ухе у него серьга?

— Ну, конечно. А на боку кортик. И деревянная нога. Настоящий Джон Сильвер.

Туман рассеялся окончательно. Оказалось, что над шпилем Инженерного замка висит новенькая, словно протертая песочком, луна. В путанице стволов и ветвей Летнего сада, в лунных пятнах белели статуи. Казалось, что по саду бродят весенние призраки. Перелетевший через Неву неожиданно теплый ветер усилил это весеннее ощущение. Темно-синее небо было

настолько глубоким и пронизанным невидимым светом, что стало ясно: звезды — это небесные тела, а не просто блестки, рассыпанные по бархату.

— Ну… как твоя работа?

— Спасибо. Подвигается.

— Я даже не знаю, что у тебя за тема.

— Рассказать?

— Не надо.

Максимов прислонился к парапету и закурил. Он никак не мог отделаться от чувства неловкости. Странно, раньше этого не было. Раньше была другая Вера. Стыдясь самого себя, он рисовал в воображении романтические сцены с ее участием. Сейчас присоединилось нечто другое. Каждый миг он ощущал, что рядом с ним находится женщина, любимая женщина, которую он уже держал в объятиях и целовал.

— Лешенька, — вздохнула Вера и прижалась к нему.

Сигарета полетела в Фонтанку. В десяти сантиметрах от своего лица он видел большие дрожащие глаза. Он стал целовать их. Скрипнула ось земли, и планета отлетела куда-то в сторону. Мир изменился, замелькал. В центре Вселенной, пронизывая Млечный Путь, выросла и зашаталась гигантская тень влюбленной пары. Попробуйте осудить! Попробуйте осквернить! Попробуйте оклеветать!

…Они прошли по мосту через Фонтанку и углубились в густонаселенные кварталы. Моховая, Гагаринская… В сотнях окон под оранжевыми, голубыми, зелеными абажурами шевелились умиротворенные люди, у которых все идет как по маслу, которые не путались, не дичились, а вовремя нашли друг друга и спокойно заселили эти дома.

— Что же, пойдем в кафе?

— Нет.

— Боишься, что нас увидят вместе?

— Ничего я не боюсь. Хочу быть только с тобой.

— Все равно, зайдем хотя бы сюда. Здесь никого нет.

Они остановились возле крохотного магазинчика, над дверью которого светились красные буквы: «Соки. Мороженое». Внутри действительно не было никого, кроме продавщицы. Застекленный прилавок представлял собой груду не нашедшей употребления роскоши. Здесь были ликерные бутылки в виде пингвинов, громадные, как древние фолианты, коробки ассорти с изображением витязей, фарфоровые статуэтки. Слева от этой выставки размещались разноцветные конусы соков. В углу заведения стоял один-единственный мраморный столик на железных неуклюжих ногах. Под столиком демонстративно, этикеткой вверх, валялась пустая поллитровка.

Вера села, сняла с головы платок и медленным движением поправила волосы. У нее был отсутствующий, будто пьяный вид.

— Что у вас есть выпить? — спросил Алексей у буфетчицы.

— Только шампанское, — сильно подмигивая, ответила буфетчица. Максимов непонимающе поднял брови. Тогда она прельстительно улыбнулась и, сохраняя лишь видимость конспирации, показала ему бутылку «Московской особой». — Для хорошего человека найдется и покрепче…

Максимов отрицательно покачал головой. Он взял бутылку шампанского, две порции мороженого, два

пузатых фужера, расставил все это на столе, взглянул на Веру, и сердце его захлестнула неслыханная волна нежности к этой умнице, чистюле, профессорской дочке, которая сидит сейчас напротив него, касаясь туфелькой поллитровки, не замечая свалявшейся уличной грязи на кафельном полу случайной забегаловки.

— Шампанское, — сказал он. — Очень глупо?

— Почему же? Наоборот, — улыбнулась она.

И, не отрывая глаз друг от друга, они сделали первый глоток. В этот момент буфетчица включила радио. Возможно, она сделала это из деликатности, чтобы влюбленные говорили, не боясь быть услышанными. Возможно, равнодушно повернула рычажок, от нечего делать. Но так или иначе, в заведение влетели и заметались от стены к стене тревожные звуки Двенадцатого этюда Скрябина. Алексей вздрогнул. Он вспомнил, как несколько лет назад в Большом зале филармонии он впервые услышал это, как впился в колонну, оставив на ее целомудренном мраморе чернильные следы от своих студенческих пальцев. Почему могут звуки, которые суть не что иное, как колебание воздуха, проникать так глубоко в человека, властвовать над ним, намекать, напоминать и звать? Как мог сотворить такие звуки обыкновенный человек, существо, физиологически однотипное сотням миллионов своих собратьев? Почему вообще одни люди сочиняют музыку, раскрывают сердца своих братьев для любви, героизма, верности, а другие с тупым равнодушием поднимают автоматы и, соревнуясь в меткости, истребляют своих братьев, своих безоружных братьев?

— Интересно, кто это: Рихтер или Гилельс? — сказала Вера. Алексей приподнял бокал и накрыл ладонью ее руку:

— Давай выпьем за что-нибудь, провозгласим тост!

— За что?

— Ну… за наше будущее. И потом… Я еще не сказал тебе, что я тебя люблю.

— Ой, Лешка, — рассмеялась Вера, — а я-то весь этот вечер подозревала тебя!

— Скажи, Вера, а раньше ты не знала?

— К сожалению, нет, — печально произнесла она. — А почему ты сам?..

— Потому что у тебя были разные ребята, а потом и Владька.

— Это потому, что у тебя была Вика и прочие.

— Это правда?

— Да.

Они смотрели друг на друга и вспоминали прошедшие годы, в течение которых почти ежедневно встречались, но не так, как хотелось обоим. Вера удивлялась, как это она, обычно чуткая на такие вещи, не смогла понять, что грубовато-приятельское обращение Максимова — это только маскировка, и Алексей клял себя за то, что не смог разгадать ее быстрых, удивительных взглядов. А теперь, когда они, блуждавшие окольными путями, вдруг увидели друг друга так близко, так доступно и бросились навстречу, задыхаясь, сбивая все на пути, им минутами чудилось, что расстояние не сокращается, что все это похоже на бег по деревянному барабану.

— Слушай, Вера, я тебя сейчас удивлю.

Максимов, волнуясь, чиркнул спичкой, закурил и неестественным, насмешливым голосом стал читать:

В столовке грохот и рокот,
Запах борщей и каш.
Здесь я увидел локоны,
Облик увидел ваш.
В бульоне плавал картофель,
Искрился томатный сок.
Я видел в борще ваш профиль,
И съесть я борща не смог.
Быть может, вот так же где-то
В буфетах Парижа, Бордо
Стояли за винегретом Тургенев и Виардо.
«Тефтели с болгарским перцем», —
Вы скажете свысока.
Хотите бифштекс из сердца
Влюбленного в вас чудака?

Вера смеялась, но глаза ее дрожали.

— Это на первом курсе, я помню, — сказала она, — ты тогда страшно хамил, а я думала: откуда такой смешной? Так, значит, ты пишешь? Конечно, никто в мире об этом не знает? Это на тебя похоже. Прочти еще что-нибудь.

Максимов злился. К чему это мальчишество, эти стихи? Еще не поймет, вообразит, что он любил ее, как какой-то Пьеро, как тайный воздыхатель. Все-таки он стал читать.

В магазинчик со смехом ввалились четверо парней. Один за веревочку нес волейбольный мяч, в руках у других были спортивные чемоданчики. Сразу стало тесно, шумно и неуютно. Шуршали синие плащи; здоровые глотки работали на полную мощность: уровень абрикосового сока стремительно падал.

Вера вопросительно улыбнулась. Алексей пожал плечами.

— Плебей, я же говорил тебе, что Моню надо подстраховывать! — вдруг заорал один из парней.

Максимов и Вера встали. Вслед им понеслись восклицания:

— Ребята, мы спугнули пару голубков!

— Не чутко, товарищи, не чутко!

— А девочка ничего-о! Я бы не отказался.

Вера была уже на улице, но Максимов все-таки обернулся.

— Это ты сказал? — обратился он к тощему высокому блондину.

Тот хихикнул и оглянулся на товарищей.

— Ну я. А что?

— А то, что я тебе уши могу оборвать за нахальство.

— Это ты-то?

— Вот именно.

— Да я на тебя начхать хотел.

— Сию же минуту извинись. Ну!

Двое парней угрожающе придвинулись, но четвертый отодвинул блондинчика и сказал:

— Спокойно, мальчики, этот играл за «Медика». Ты слышишь, не обижайся, Кешка у нас запасной. Кешка, извинись. Не дорос еще задевать игроков основного состава.

— Ну, ладно, — буркнул Кешка.

Удовлетворенный, Максимов вышел на улицу, Вера, посмотрев ему в лицо, расхохоталась и погладила по щеке:

— Ерш! Что ты полез? Ведь они могли тебя избить.

— Это еще как сказать! — усмехнулся Максимов. — Да ты испугалась?

— Конечно, испугалась. Еще бы, ведь ты был один.

Она взяла его под руку и взглянула сбоку на его лицо, которое не стало мягким от добродушной усмешки. Уже давно она заметила, что его лицо часто становится похожим на лицо боксера, выходящего из своего угла. Она знала, что в ситуациях, сходных с сегодняшней, Алексей никогда не уступит. Но она знала еще и другое. Знала, как доверчив Алексей, как предан своим друзьям, с какой почти ребяческой готовностью он откликается на привет и искренность. В последнее время он грустный и говорит мрачно. Может быть, в этом часть и ее вины? Или это все поза? Ах, не все ли равно? Она его любит таким, какой он есть. Трепач, позер, задира, бука? Ну и прекрасно. Ей надоели добродетели Веселина. Тот, вероятно, сделал бы вид, что не расслышал, а может быть, даже сказал бы: «Какие нравы, Верочка, подумать только!» Но что же делать? Бросить Олега? Значит, бросить и работу? Нельзя же будет оставаться с ним на одной кафедре. А! Ведь она женщина, а не синий чулок. «Лешка, дорогой мой, стриженый грубиян! Какая у него рука — будто опираешься на металл…» А все-таки трудно, невозможно представить его в роли мужа. Лешка в их чинной квартире. Забавно до чертиков. Но какой ужас! Олег съезжает… Дрожащими руками упаковывает чемодан, что-то шепчет под нос, смотрит виновато глазами побитой собаки… Ой! Верочка, зачем ты лезешь в эту путаницу? Ведь все у тебя шло так гладко, и папа был доволен. Ты работала с увлечением и удовлетворяла «общие культурные запросы». Сними же свою руку с этой железяки! Беги! Вон едет такси. Трусиха, посмотри на его лицо. Боксер устал. Любимый парень! Она пойдет с ним куда угодно, в любую трущобу, и будет принадлежать только ему. А как же аспирантура? Диссертация? Веселин?

— Почему это мне кажется, что сейчас март? — сказал Максимов.

— Потому что сейчас действительно март.

— Значит, зима в этом году не состоится?

— Отменяется! — воскликнула Вера. В голосе ее прозвучала отчаянная решимость.

— Прощай. Встретимся в воскресенье.

— Хорошо, в воскресенье так в воскресенье.

Вера быстро поцеловала Алексея и пошла прочь. Пройдя несколько шагов, она обернулась и пошла обратно.

— Ты злишься, Лешка?

— Это не имеет значения.

— Не злись. Ты должен понять… Ты понимаешь?

— Ну конечно. Иди.

Через минуту ее фигура стала только темным пятном. Потом на ярко освещенном углу проспекта мелькнуло синее пальто, белый платок, и Вера исчезла. Алексей медленно пошел по еле заметным на асфальте следам ее туфелек. Да, он все понимает. И ничего не может понять. Снова он один. Это дико! А она уходит к другому, к своему мужу. «Это я ее муж! Только я, и никто другой. Но как она ушла? Сохраняла полное спокойствие, словно прощалась с любовником, с партнером по тайному греху… Мерзавец, как ты смеешь так думать о ней? Просто она не хочет рвать сразу, боится за отца. Старик уже перенес один инфаркт. Но не только это. Вере очень трудно: ведь Веселин не только муж, он и ее научный руководитель. Жутко умный парень, а благообразный до чего, прелесть! Вероятно, сидит сейчас в шлафроке за письменным столом, готовится к лекциям. Входит Вера. «Мой друг, где ты была

так поздно?» — «Мы прогулялись с Зиной. А что?» — «Нет-нет, ничего, просто я уже стал беспокоиться. Прогулки в такое время чреваты…» — Максимов помчался по тротуару, неистово размахивая руками. — … Потом он подходит к Вере и целует ее. Мою Веру!»

Максимов выскочил на проспект и понесся к ее дому, словно собираясь разнести его на кирпичики.

Вот он, этот дом. «Ущербленный и узкий, безумным строителем влитый в пейзаж». Спокойно. Ничего в нем нет безумного. Типичный дом для этой части города. Верин отец как-то объяснил, что подобная эклектика была в моде у архитекторов в начале века. Окна широкие, как в современных домах, а по фасаду разбросаны добротные излишества, над парадным возлежит гранитная наяда. Седьмой этаж мансардный, там крутые скаты крыши, какие-то мелкие башенки. Немного готики, и романский стиль, и даже барокко. Смешной дом, и все. Алексей стоял, закинув голову, и смотрел на освещенные окна.

Как бы ни было высоко,
В полдень, в полночь, все равно,
С тротуара в сотнях окон
Ты найдешь ее окно… —

вспомнил он.

«Как я ее люблю! Пусть будет тоска, пусть будет разлука, пусть любовь начинается с ревности… Это вот и есть то самое, из-за чего стоит жить. Люблю ее глаза, волосы, губы, ее тело, ее слова и ее костюмы, привычки, смех, ошибки, печаль, ее дом, ее улицу, весь этот район, люблю и доброжелательно отношусь к милиционеру, который в третий раз проходит мимо».

— Привет, сержант!

— В чем дело?

— Просто приветствую вас.

— Между прочим, документики при вас?

— Нету.

— А чем тут занимаетесь?

— Хочу прыгнуть в небо.

— Пройдемте.

— Бросьте, старшина. Я влюбленный. Разве нельзя смотреть по ночам на окна любимой?

Постовой густо захохотал, козырнул и сказал:

— Не одобряется, но и не возбраняется. Желаю успеха.

Глава 7
Вечером в клубе

«Таким образом, суммируя все сказанное, можно сказать, что алкоголь неблагоприятно действует на все органы и системы организма».

Сегодня Зеленин за все время пребывания в Круглогорье впервые надел белую, накрахмаленную еще в ленинградской прачечной рубашку и новый галстук с горизонтальными полосками. Он выступал с докладом «Алкоголь — разрушитель здоровья» в устном журнале, который ежемесячно устраивался в клубе. Доклад никуда не годился. Это был тот тяжелый случай, когда, как говорится, нет контакта между лектором и аудиторией. Слушатели сначала добродушно похихикали, а потом застыли в вежливом оцепенении. Даже Егоров, сидевший в первом ряду, несколько раз подносил руку к лицу, пытаясь скрыть зевоту. Зеленин бубнил по

бумажке все быстрее и быстрее. Скорей бы кончить это позорище.

— В борьбу с алкоголизмом должна активно включаться общественность! — с жалким пафосом выкрикнул он последнюю фразу, вытер платком горевшее лицо и спросил: — Вопросы будут?

— Сам-то, доктор, совсем не употребляешь? — пробасили из зала.

Послышался смех. Зеленин растерялся. Зачем-то снял очки и, близоруко щурясь, пролепетал:

— Я… умеренно… и если повод, так сказать.

Зал загрохотал. Люди смеялись беззлобно, даже как-то облегченно, словно радуясь, что вот человек выполнил скучную обязанность, отбарабанил что-то по бумажке и снова стал самим собой.

— Повод найти можно, — прогудел бас, — заходи, пунчику тяпнем.

В третьем ряду вскочила сухопарая женщина, жена больничного кучера Филимона.

— Извиняюсь, конечно. Вы говорили, излечимый он, алкоголь-то?

— Да-да, алкоголизм излечим.

— Полечили бы вы, Александр Дмитриевич, мужика моего. Совсем совести лишился, ни мне, ни детям жизни не дает. Я уж ему говорю: стыдись, ирод, хоть ты и при коняге, а ведь тоже медицинский работник!

— Тут нужно добровольное согласие, Анна Ивановна. Я со своей стороны гарантирую успех.

Зеленин сошел с эстрады и сел в первом ряду около Егорова.

— Жалко я выглядел, Сергей Самсонович? Да брось, не утешай.

— Суховато, Саша. Ну ничего, первый блин… Лиха беда начало и так далее. Не унывай.

Он вдруг захохотал:

— А вот бы Филимона вылечить! Посильнее любого доклада подействует.

— А что? Надо попробовать.

— Вряд ли получится. Он мужик идейный.

В последней «странице журнала» выступала самодеятельность. Даша Гурьянова слабеньким голосом довольно нахально спела под гармонь несколько песенок: «Едем мы, друзья…», «Ой цветет калина» и «Говорят, я некрасива…». Последнее уж было явным кокетством. Весь зал прекрасно видел, что она красива в своем новом платье цвета перванш, сшитом в Петрозаводске по последней, рижского журнала, моде.

«Сегодня обязательно скажу ей, — думал Зеленин, — чтобы она выбросила этот идиотский цветок, похожий на расплющенную муху. Нельзя же так себя уродовать. А платье красивое, и сама прелесть…»

— На этом мы закрываем последнюю страницу нашего журнала. Приступаем к танцам, — светским тоном объявила с эстрады редактор устного журнала, учительница средней школы.

— Вот это дело! — опять прогудел знакомый Зеленину бас.

В зале воцарился невероятный шум. Старички пробирались к выходу, молодежь валила из буфета и курилки. С грохотом отодвигались стулья. К Зеленину подбежала Даша, взволнованная, с блестящими глазами, с резким румянцем во всю щеку. Кажется, она чувствовала себя в этот вечер царицей бала. Что за грех? В девятнадцать лет ничего не стоит раздвинуть

стены зала, украсить их мрамором и зеркалами, уводящими в сверкающую бесконечность, выпрямить и уложить паркетом волнообразный дощатый пол, одеть мужчин во фраки или мушкетерские костюмы и вообразить себя… Да кем угодно можно себя вообразить в девятнадцать лет! Все это можно сделать в одну секунду.

— Александр Дмитриевич, вы, конечно, останетесь танцевать? — спросила она.

— Не знаю, право… Я не собирался. Да ведь тут одна молодежь, — ответил он лицемерно.

— А вы себя уже в старики записали?

Ух ты, как у нее блестят глазки! И какие они голубые!

«У северян удивительно голубые глаза. Видимо, они так редко видят голубое небо, что память о нем оставляют у себя в глазах», — так витиевато писал на днях Зеленин Максимову.

— Сейчас выкурю сигарету и решу. Ах, черт, отсюда не выберешься!

— Пойдемте за кулисы?

— Хорошо. Сергей Самсонович, хочешь курить?

Егоров стоял рядом с женой, смотрел на Зеленина и Дашу, улыбался немного грустной и доброй улыбкой, которая появлялась у него в какие-то особенно хорошие минуты.

Сегодня он надел ненавистный, тяжелый протез.

В светло-сером костюме, с тростью в руке, он был похож на довоенного франта.

— Нет, Саша, мы, пожалуй, пойдем. Завтра заглянешь?

— Обязательно.

Екатерина Ильинична улыбнулась молодым людям, взяла мужа под руку, и они пошли к выходу. У Зеленина вздрогнуло сердце, когда он увидел, как сразу налилось кровью лицо Егорова и плечи ссутулились от напряжения.

— Пойдемте, Даша, покурим. Пожарников тут у вас нет?

Они пристроились в полутьме за грубо размалеванной холстиной, изображающей рассвет на реке. Даша сидела в профиль к Зеленину, сложив на коленях руки. Поза была строгой, но на губах мелькала улыбка. Казалось, Даша ждет: ну и что же будет дальше?

«Будь на моем месте Владька, он просто начал бы ее целовать».

— Даша!

— Да, Александр Дмитриевич?

— Вы можете не на работе называть меня Сашей?

— Очень даже охотно.

— Вот и хорошо. Знаете… я хотел вам сказать…

— Да?

— Подарите мне этот цветок. Вам не жалко?

Она повернула к нему лицо с расширенными, удивленными, как у маленькой девочки, глазами. Машинально подняла руку к груди:

— Этот цветок? Разве можно дарить такие вещи? Ведь он некрасивый.

— Зачем же вы его носите?

— Ну, модно же.

— Это уже не модно. Никто не носит! — радостно воскликнул Зеленин.

— Правда? — Она засмеялась. — Тогда пожалуйста, дарю его вам.

Ее непосредственность сразу расставила все по своим местам. Он сунул цветок в карман, просто и дружески взял ее за руку и сказал:

— Пойдемте танцевать.

С эстрады они увидели, что весь зал уже вращается в вальсе.

…Как берег крутой
С бурливой рекой,
Так мы неразлучны с тобой.

Александр слушал этот вальс и вспоминал какой-то из институтских балов, подмигивающие из толпы лица друзей, ленты серпантина, разноцветный снегопад конфетти… Воспоминание это не вызвало грусти, и маленький зал круглогорского клуба с развешанными по стенам диаграммами надоя и опороса не показался жалким, потому что этот зал подмигивал и улыбался ему так же дружелюбно. Ведь в толпе кружат знакомые парни со Стеклянного мыса, с лесозавода, с пристани. За эти несколько месяцев он узнал их почти всех. Одних по имени, других в лицо, третьих по хрипам в грудной клетке. А этот маленький мрачный зал? Что ж, уже заложен фундамент нового клуба будущего города Круглогорска.

Дашина рука легла на его плечо. Он обнял ее за талию, но вальс кончился.

— Как жалко, — сказала Даша, — я так люблю этот вальс!

— Ничего, он еще повторится.

В это время в толпе у дверей послышался грохот. Даша вздрогнула и быстро просунула свою руку под локоть Зеленину. Пальцы ее судорожно сжались. Раздвинув толпу, на середину зала вышел в сопровожде-

нии товарищей Федька Бугров. Он расставил ноги в хромовых сапогах, смятых в гармошку, и повел мутным взглядом вдоль стен. Из-под низко натянутой на глаза кепочки-«лондонки» набок свисала золотистая челка. Шевелилась гладко выбритая, юношески округленная челюсть, елозила в зубах мокрая папироска. На Федьке был синий костюм отличного бостона. Распущенная «молния» голубой «бобочки» открывала ключицы и грязноватую тельняшку. Все эти детали Зеленин заметил отчетливо, потому что Федька довольно долго стоял на месте, молча созерцая толпу и покачиваясь. Давно уже играла музыка, но никто не танцевал. Наконец Федька улыбнулся и медленно направился прямо к Зеленину.

— Здорово, врач, — сказал он, прикладывая два пальца к козырьку кепочки, — давно не видались. С того самого моменту, как меня по твоему указанию в симулянты записали.

Зеленин молчал, с ужасом чувствуя, что его вновь охватывает отвратительное ощущение трепещущей жертвы перед лицом палача.

— А ты, я смотрю, стильный малый, — хохотнул Федька и легонько подбросил пальцем зеленинский галстук. Затем он улыбнулся Даше. — Дашутка, парле ву франсе, сбацаем танго?

— Нет, — сказала Даша, крепче вцепляясь в руку Зеленина.

— Чего там! — заорал Федька, схватил ее за плечи и, оторвав от Зеленина, потащил в центр зала.

Здесь он облапил ее правой рукой за спину, левую оттянул предельно вниз и назад и пошел мелкими, томными шажками. Так танцует шпана на ленинградских и загородных площадках. Девушка рванулась бы-

ло, но Федька держал ее цепко. Его согнутая громадная фигура с широченными плечами и похабно раздвинутыми ногами напоминала паука, поймавшего ненароком бабочку.

Зеленин, потрясенный, оглянулся и поймал взгляды многих людей. Вот Виктор, Петя Ишанин, Петька-шофер, Тимоша, Борис…

Все они смотрят на него. Они могут в два счета навести порядок и вытряхнуть отсюда бугровскую шайку, но пока они не сдвинутся с места.

Потому что они друзья Зеленина, потому что они верят в него. Федька выплюнул на пол папиросу и весело заорал:

Я иду по Уругваю,
Ночь — хоть выколи глаза,
Слышу крики попугаев
И мартышек голоса.

— Дашутка, любовь моя! Моя навечная маруха!

Зеленин поправил очки, отчетливо прошагал через весь зал и сильно хлопнул Федьку Бугрова по плечу. Тот мгновенно выпустил девушку и резко обернулся.

— Прошу вас немедленно удалиться, — сказал Зеленин. — Вы пьяны и безобразны.

Федька сделал шаг вперед. Александр невольно отступил.

— Я тебя бить не буду, сука! — процедил Федька. — Чего тебя бить? Загнешься еще. Я тебе шмазь сотворю.

Боже мой, это еще что? Шмазь! Что за ужас! Как сон дурной. Зеленин, теряя голову от страха перед чудовищным унижением, отступал. Растопыренная Федькина пятерня надвигалась, тянулась к его лицу. В эти доли секунды, бьющие молотом внутри головы, он с

мельчайшими подробностями вспомнил эпизод из далекого прошлого.

Это было в эвакуации, в Ульяновске. Саша, тощий, тихий мальчик, закутанный в мамин платок так, что трудно было понять, мальчик это или девочка, явился на городской каток. В руках он нес коньки-«снегурочки». Вдруг со скрежетом подъехал к нему на «ножах» подросток в дубленом полушубке. Из тех, что торговали на углах махоркой и папиросами «Ява» по два рубля штука. На румяной морде подростка оловянными пуговицами вращались глаза, в зубах, как фонарь большого автомобиля, мерцала цигарка. Он молча отобрал у Саши коньки, щипнул его за нос и поехал прочь, выписывая вензеля. Когда же Саша побежал за ним, плача и умоляя вернуть папин подарок, драгоценные «снегурочки», подросток деловито хлестнул его по лицу железным прутом. Потом постоял над упавшим мальчиком, ожидая ответных действий. Но ответных действий не последовало. Саша, лежа на льду, в ужасе сжался в комочек. Он боялся встать: как бы снова не обрушился на него железный прут. Он боялся поднять голову: как бы не наехали на него сверкающие «ножи».

— Гад!

Мускулы Зеленина напряглись. Так, как когда-то учил его Лешка Максимов, он шагнул в сторону, сделал «нырок» и правым боковым ударил Федьку в челюсть.

Такого исхода не ожидал никто. Бугров рухнул на пол. Беспомощно раскинулись по доскам могучие татуированные руки и хромовые сапоги. Кепочка упала рядом безобразно жалким, сморщенным комочком. А над телом поверженного врага встал в заправской боксерской позе длинный доктор из Ленинграда.

Опомнившись, бросились вперед бугровские дружки, но тут уже вмешался в дело Тимоша с компанией. Подгулявшие молодчики бережно и с прибаутками были выставлены на крыльцо. Туда же вынесли обмякшего, бормотавшего что-то несвязное Федьку.

Зеленина окружили.

Подбежала сияющая Даша. Казалось, вот-вот бросится ему на шею. Знакомый бас сказал из толпы:

— Чистый нокаут. Хотя и разные весовые категории.

Кто-то крикнул:

— Какой разряд имеешь, доктор? Вот так, ребята, нарвешься на боксера…

Зеленин усмехнулся:

— Это иллюстрация к моему докладу. Человека в состоянии алкогольного опьянения нокаутировать нетрудно. Теряется чувство равновесия, мозг утрачивает власть над мышцами…

Он усмехался и прибеднялся, но постепенно в нем росло ликование. Существо, закутанное в мамин платок, оказывается, превратилось в настоящего мужчину.

Мужчина может постоять за себя и за кого угодно, он может по-хозяйски ходить по земле, танцевать, петь и весело хлопать по спинам окружающих, таких же, как он, здоровенных мужчин.

— Пойдемте, Дашенька! Вальс!

…А в это время в снежной мгле гуськом по глубокой колее двигалась группа людей с поднятыми воротниками. Федька скрипел зубами, цыкал тонкой струйкой набок кровавую жижу.

Вдруг он гаркнул:

— Молчим, звери?

Сзади кто-то матюкнулся. Ибрагим ткнул его в спину.

— Ходи-ходи.

— У-ых! — с тяжкой ненавистью выдохнул Бугров. — Осточертело мне это дупло гнилое. Всякий тут порядки наводит. Слышь, Ибрагим?

— Ходи-ходи.

— Я говорю, в Питер нам пора. За дело браться.

— Не пойду в Питер. Завязал.

— Что-о-о? Ссучился? Купили тебя за резиновые сапоги?

— Ходи-ходи! — уже угрожающе буркнул Ибрагим.

— Так и есть. Скоро Тимошкиным подголоском станешь. Тьфу! Идите вы все… Вот окручу девку и двину с ней в Питер, в Гатчину, к настоящим ребятам.

— Так тебе доктор ее и отдаст! — издевательски крикнули сзади.

Раздался хохот. Федьку охватила паника: он утрачивает свою власть даже над этим дерьмом. Но он сжал челюсти, а когда смех утих, задумчиво и зло сказал:

— Пришью я его.

И этим ледяным словом и вспыхнувшим в ночи видением финки, зажатой в кулак, он как бы приоткрыл завесу своей холодной, жестокой души и сразу же властно одернул смутьянов.

Филимон лечится

— Да ну ее, видеть не могу! Поимей совесть, Александр Дмитриевич!

— Нюхай!

— Господи! За версту теперь чайнуху буду обегать. Чтоб мне век к коню не подойти! Убери с глаз долой проклятое зелье.

— Не думал я, Филимон, что ты такой слабохарактерный. Раз дал согласие — значит, надо лечиться. Нюхай, пей!

Вот уже неделю Зеленин лечил Филимона, вырабатывая у него по методу академика Павлова условный рефлекс отвращения к алкоголю. Филимон, посмеиваясь, лег в больницу. Однако вскоре он надулся важностью, видя, что к нему приковано внимание многих людей. На первом сеансе, когда Филимона после инъекции апоморфина[1] пригласили в дежурку, Зеленин усомнился было в успехе своего предприятия.

При виде стоявшей на столе бутылки у кучера загорелись глаза, губы расползлись в блаженной улыбке.

— Александр Дмитриевич, чего ж ты мне подносишь, а сам ни-ни? Давай за компанию? По методу академика, а? Ну, как хошь.

Он бережно, щепотью, взял стопку, зажмурил глаза и хлестнул в рот сладостной влагой. Но апоморфин сработал безотказно.

Сейчас Филимон, одетый в чистую пижаму, розовый и благообразный, канючил над стопкой водки, как малое дитя над касторкой. Зеленин, олицетворяя собой железную стойкость науки, сидел в прямой позе, отсвечивал очками. Тоскливым оком Филимон поглядывал на стоящий на полу тазик, куда обычно низвергалась высшая фаза его отвращения к алкоголю. Посмотрел в окно. К больнице с озера мчалась подвода с бочкой. На бочке, строго поджав губы, сидела Филимонова женка, Анна Ивановна. На время лечения мужа она осталась «при коняге» и работала самоотверженно.

[1] Апоморфин — средство, вызывающее рвоту.

«Эхма! — подумал Филимон. — Кончил пить, начал обарахляться. Скоплю деньгу — куплю телевизор. Будем с женкой просвещаться. Эх, жизнь степенная!»

А Зеленин в это время обдумывал маршрут лыжной прогулки на Стеклянный. Недавно с оказией родители переслали ему лыжи. Тогда он только усмехнулся: чудят старики, есть тут у него время для променадов! Но вот сейчас, вспомнив о лыжах, он почувствовал радость. В самом деле — лыжи! Потренироваться как следует, поучиться слалому. Можно и на вызовы в дальние пункты ходить на лыжах. Непроизвольно, по старой тайной привычке, он представил себе кадры кинофильма. По горе вниз, крутя между сосен, летит гибкая фигура. Это он, Зеленин. Вот он исчезает из виду и через секунду взлетает на бугор. Снежная пыль веером из-под лыж! «Это наш доктор, — с гордостью говорят эскимосы прилетевшей из Москвы синеглазой учительнице русского языка, — добрый и храбрый человек». Учительница взволнованно комкает в руках беличью шапку, всматриваясь в молодого атлета с черной окладистой бородой. Хижины оглашаются веселыми голосами.

Смуглые полуобнаженные девушки подбрасывают вверх гирлянды цветов, а юноши несут на плечах пироги к полосе прибоя, готовясь… Стоп, еще минута, и появится марсианский корабль. Эскимосы, цветы и пироги уже есть.

В последние дни Зеленин все чаще стал предаваться праздным мыслям. Сказывалось обилие свободного времени. Почему-то резко сократилось количество вызовов, в два раза короче стали очереди в амбулатории. Бухгалтер уже «поднял вопрос» о невыполнении плана койко-дней. Отчасти эта передышка была вызвана

затуханием волны вирусного гриппа, улучшением погоды. Но чем объяснить отсутствие экстренных случаев? Раньше редкую ночь удавалось поспать спокойно. Травмы, осложнения при родах, инфаркты, аппендициты сыпались как из рога изобилия. Сейчас в больнице тишь и благодать. В березовой аллейке топчутся хроники. Операционная под замком. Но операционная сестра Даша Гурьянова не скучает: она с увлечением и редкой сообразительностью работает в лаборатории. Воцарилось благополучие. Производятся довольно сложные анализы, неплохие снимки, налажен график работы. Кое-какие основания для гордости были у Зеленина, когда он, выходя утром на крыльцо, окидывал родственно-пренебрежительным взглядом низкое кирпичное здание больницы. Но в следующую секунду он пугался своего успокоения и начинал придирчиво выискивать недостатки, раздумывал, что еще можно сделать. Заменить центрифугу и микроскоп, кое-какие детали рентгеновского аппарата. Вырвать у снабженцев новый комплект белья и пижам. Обязательно достать бестеневую лампу. Или это слишком нахально? Но электрокардиограф-то действительно необходим.

Может быть, стоит взять командировку в Ленинград? Эта мысль вызывала боязливую радость. Увидеть стариков, съездить в порт к ребятам, сходить в Комедию (Максимов пишет: Акимов там развернулся), в Эрмитаж (Максимов пишет: выставка польской живописи там открылась), в Публичку (Максимов пишет…) … Наверно, трудно будет возвращаться назад, в Круглогорье. А может быть, и нет? Сейчас Зеленин прочно вошел в жизнь поселка, редко приходится скучать. Максимов и Инна в больших, подробных письмах сообщают ему о выставках, концертах, вечерах, состяза-

ниях. Инне больше не о чем писать: у них ведь не было общего прошлого, а мечты о будущем… О них и говорить-то трудно, не то что писать. Но Леха описывает городские соблазны с подозрительно эпическим размахом. Может быть, его рукой водит желание развлечь друга, прозябающего в глуши, но временами Зеленину кажется, что он угадывает подсознательно желание Максимова доказать ему свою правоту. Смотри, как бурно бьет жизнь! Смотри, какие дискуссии, какой накал! А ты там…

Зеленин писал только о работе. Ему не хотелось сообщать насмешливому Лехе о том, что он стал активным членом правления клуба и редколлегии устного журнала, о том, что декламирует стихи на концертах самодеятельности и собирается поставить «Деревья умирают стоя», о том, что они с Борисом сколачивают волейбольную команду и раз в неделю тренируются на пристани в складе, оборудованном под спортзал, о том, что можно интенсивно жить и в «глуши», если только не хныкать и не подвергать себя мучительному психоанализу. Всего этого он Лешке не сообщал, подробно расписывая зато свою практику. Может быть, он считал это самым мощным аргументом в их споре — в споре, который был начат на Дворцовой набережной. Зеленина поразили тогда слова Максимова. Трудно было приписать это только стремлению встать в модную позу современного Чайльд-Гарольда. Не так-то просто раскусить таких парней, как Лешка Максимов. Но спор — это уже хорошо. Хорошо, что возникают споры. Года три назад, когда Зеленин пытался перевести разговор в общую плоскость, следовали взрыв хохмочек и предложение пойти выпить. Времена меняются, и мы меняемся с ними. Мы — поколение людей,

идущих с открытыми глазами. Мы смотрим вперед, и назад, и себе под ноги.

Остальное зависит от силы зрения. Одни отчетливо видят цель, а другим нужно подбирать оптические стекла.

— Ну, я пошел, Александр Дмитриевич, — мрачно сказал кучер Филимон. Он стоял в дверях, держа в руках тазик, утлый сосуд, несущий его в новую жизнь.

Зеленин накинул пальто и вышел во двор, в безмолвную суматоху несущихся вкривь-вкось, вниз и даже вверх снежинок, в серый уютный зимний день. Компактным слежавшимся спокойствием веяло от берез, свесивших белые космы, от домиков, по окна погруженных в снег, как в послеобеденную дрему, и только к юго-западу от больницы, очень далеко над темной зубчатой полосой леса тучи начинали темно синеть, и между ними еле-еле проглядывала длинная золотисто-оранжевая прожилка. Она напоминала, что в мире далеко не все так ясно и спокойно, как этот серый день. Например, любовь…

Прикованный к месту неясным, но мощным предчувствием, Зеленин стоял, не в силах оторвать взгляда от золотой нити, таинственной рукой протянутой над лесом. И именно с той стороны появилась неторопливая коняга, запряженная в санки. Приехала почта.

Телеграмма и письмо

Из Москвы, от Инны. Лежат на столе, и пальцы Зеленина выбивают дробь рядом. Зеленин достает сигарету и смотрит на сокровище, лежащее на столе. Происходит борьба. Письмо послано на неделю раньше телеграммы. Значит, прежде нужно читать его.

Но в телеграмме заключена новость. Страшно даже подумать, какая новость может быть заключена в телеграмме. Словно бросаясь в воду, Зеленин хватает ее.

«Выехала мурманским поездом вагон пять Инна».

Так и есть. Именно то, о чем он не мог и думать. К нему едет незнакомая девушка по имени Инна. Совершенно незнакомая. Чужая. Несколько слов, переданных азбукой Морзе и отпечатанных на бумажных полосках, обдали его волной холода и зябкой неловкости. Как они встретятся? О чем будут говорить? Где она будет спать? Образ, надуманный при помощи писем и телефонных разговоров, исчез. Словно к спасательному кругу, Зеленин протянул руку к письму.

«…Я измучилась. Ты стал уплывать от меня, стираться в памяти. Может быть, я сумасшедшая и нахалка, но я твердо решила: сдаю последний экзамен досрочно и выезжаю к тебе. Учти — просто кататься на лыжах. Не выгонишь?»

Милая! Милая сумасбродка. Да, это пострашнее, чем сесть в машину к незнакомому парню. Каким числом датирована телеграмма? Сегодня ночью мурманский экспресс пройдет через их станцию. А до станции семь часов на автобусе. Никак не успеть. Нужно звонить Егорову…

— Ну, поздравляю тебя! — кричал в трубку Егоров. — Не трусь. Все будет прекрасно. Она молодец. О чем разговор! Конечно, бери машину.

Итак, все в порядке. Зеленин снова перебежал через двор в свой флигель. Черт побери, в квартире прохладно! В столовой определенно гуляет ветерок. И вообще, омерзительно холостяцкое запустение. Ей будет противно и скучно. Надо купить приемник! В сельпо, кажется, был симпатичный «Рекорд» с радиолой. Он

стоит рублей четыреста — пятьсот. Деньги есть — целая тысяча! Схватив пальто и нахлобучив малахай, Зеленин выскочил из дома, рысью пустился по аллейке. Перегнал Дашу, идущую домой. Та, услышав за спиной тяжелый топот, ступила с тропинки и прямо в снег. Не так давно она забросила на печку растоптанные валенки и ходила теперь в черных войлочных ботинках с кожаной отделкой. Она провалилась почти по колено, и жгучий холод, обложив ногу, колол иголочками сквозь капрон, словно издевался над этим смехотворным продуктом цивилизации. А доктор уже скрылся из глаз. И Даша знала, в чем дело. «Ну и беги себе, голенастый журавль, встречай свою столичную селедку!» Даше все это глубоко безразлично. Ты ей совершенно безразличен. Полностью и навсегда. Но все-таки надо же наконец вытянуть ногу из снега.

…Зеленин поставил маленький приемник в столовой и забросил антенну на печку. В центре исторического стола оказалась бутылка шампанского. Вокруг с трогательной симметрией разместились коробки конфет, баночки шпрот. Коньяк яростный борец с алкоголизмом поставил на подоконник, за шторку. Потом он стал крутиться по квартире, смахивая пыль, выгребая из углов свалявшийся мусор, стараясь суетливыми движениями отогнать тревожные мысли.

За окном синели сумерки. Скоро должна была прийти машина. И вдруг Александр, пробегая с веником через столовую, краем глаза заметил, что березы и елки заливает жидкий красный свет. Они становятся похожи на декорации в театре. Он ахнул, и подошел к окну, и увидел, что плотные теплые тучи уже занимают только три четверти неба, а над ощетинившимся лесом го-

рит быстротечный зимний закат. Мгновенно Зеленин представил картину: в огромном снежном пространстве летит неистовый стоглазый организм — экспресс «Полярная стрела». Может быть, это он освобождает небо, невидимой рукой стягивая тяжелое одеяло?

Он надел белую рубашку, синий джемпер с орнаментом, посмотрел в зеркало и остался доволен собой. Похож на аспиранта первого года обучения. Повеселев, он прошелся по комнате и остановился у дверей.

Двери открылись. На пороге стоял Макар Иванович.

— Проходите, Макар Иванович. Стряслось что-нибудь?

Старик взглянул на него виновато:

— Мальчонка на лыжах прибежал с Шум-озера. Словом… — Он раздраженно махнул рукой. — Эх, дурак я, право! Вы уж извините, Александр Дмитриевич. Понимаю, что не вовремя.

— А что там все-таки случилось, на Шум-озере? Вы можете сказать?

— Лесника медведь задрал. Сын говорит, крови много потерял и раны ужасные. Я бы сам поехал не раздумывая, да боюсь, не справлюсь. По хирургии у меня малый навык.

Он моргнул и взглянул прямо в глаза Зеленину. Тот понял, что эти слова нелегко ему дались. Может быть, вспомнил старый фельдшер, сколько раз, грозно насупившись, он бросал сакраментальную фразу: «Медицина бессильна!» — и не думал даже о том, что бессильна не медицина, а он сам.

Зеленин без пальто выскочил из дома и в несколько прыжков пересек двор. Парнишка лет двенадцати, прибежавший с Шум-озера, сидел в дежурке. Санитарка отпаивала его чаем. Зубы мелко-мелко стучали по фаянсу.

— Помирает папка, — безучастно сказал парнишка. Полдня он гнал по лесным тропам, случайным проселкам, кубарем летел с крутых склонов, цепляясь за кусты, на бегу совал в рот комки обжигающего снега. Сейчас сонливое безразличие овладевало им.

В дежурку боком влез Филимон, огромный в своем дубленом тулупе.

— Я готов. Поедем, что ли, Митрич?

— С ума сошел? Ты больной. Понятно? Немедленно в постель!

Зеленин схватил себя за подбородок, что-то замычал и растерянно повернулся к фельдшеру:

— Что делать, Макар Иванович? Санки нам не подмога. Пока доберемся, будет поздно.

— Надо звонить Самсонычу, — решительно сказал фельдшер.

— А что толку? Машина туда все равно не пройдет. Правда, парень?

— Не, — сказал сын лесника, — не пройдет машина. Куда там!

— Все-таки позвоните Самсонычу, — упорствовал Макар Иванович.

Зеленин снял трубку.

— Глупости, — спокойно сказал Егоров. — Забыл, Саша, что мы живем в двадцатом веке? На вертолете вы будете там через полчаса.

— Неостроумно! — рявкнул Зеленин.

— Я не шучу. Сейчас созвонюсь с летчиками. У нас тут неподалеку аэродром.

— Думаешь, они дадут вертолет?

— Уверен. Стой, а как же быть с Инной?

Зеленин ахнул. Он совсем забыл об Инне. Хорошенькое дело! Как же быть с ней? Ах, как отвратитель-

но все у него получается! Он просто законченный неудачник. В трубке снова послышалось оптимистическое похохатывание.

— Ерунда, — сказал Егоров, — не волнуйся, не волнуйся. Я сам съезжу за ней.

— Ну что ты, Сергей Самсонович!

Егоров помолчал и сказал сухо:

— Я все-таки думал, что ты считаешь меня своим товарищем.

— Конечно, но…

— Никаких «но»! Какая она? Да Инна же, Господи!

— Красивая. У нее будут лыжи.

Полет

Через пятнадцать минут Егоров сообщил, что вертолет сейчас вылетит и опустится на лед недалеко от пристани. Через пятнадцать минут Зеленин уже шагал по темной улице поселка. Снег скрипел под его ногами. Мелкая россыпь звезд усеяла небо. Многоцветные кольца окружали усеченный круг луны.

Зеленин шел за Дашей. Одному трудно будет оперировать.

В это время в Дашином доме происходила весьма важная церемония. Церемония сватовства. Вокруг стола сидели Дашина мать, Федор Бугров и два свата. Вчера Бугров сорвался. Он подстерег Дашу, когда она возвращалась из кино, пошел рядом. «Дашка, — говорил он, — пропал я совсем. Люблю. Пожалей. У меня много денег. Все твое будет. Хозяйство заведем». — «Оставьте, — отвечала Даша, — я не хочу иметь с вами ничего общего». Тогда Бугрову пришла в голову безумная

мысль: посватать ее законно, по старому обряду. В сваты он взял Сергея Сидоровича Полякова, своего дядю с материнской стороны, и безответного мужичка Луконю, сторожа пристанских складов. Для верности сам пошел вместе с ними, хотя это и было нарушением обычаев. Решил подействовать на Дашину мать смирением и добротностью одежд. Сейчас они все сидели вокруг стола и, как положено, для начала вели околичный разговор. Дашиной матери очень все это было не по душе. Она и в мыслях не допускала отдать дочь за «охальника Федьку».

Проще всего было бы указать непрошеным гостям на дверь, но вековое уважение к важнейшему обряду мешало ей это сделать. Какие-никакие, а все же первые сваты. Поджав губы, она бросала сердитые, но со скрытой смешинкой взгляды на ширму. За ней сидела Даша и демонстративно со злостью крутила патефон.

Парней так много холостых,
А я люблю женатого… —

летел с пластинки голос, полный вечерней девчачьей тоски.

Даша уронила голову на руки. В этот миг ей показалось, что она действительно полюбила смешного долговязого Сашу Зеленина, что жизни больше нет, а дальше пойдет навеки только жалкое прозябание.

Кто-то бухнул в дверь, застучали торопливые шажки матери, послышался глуховатый басок:

— Дарья Ивановна дома? Простите, срочный случай. Операция. Нужно лететь на Шум-озеро.

Даша выскочила из-за ширмы и сжала пальцы в кулаки. В дверях стоял Зеленин, но глядел он не на нее, а на Федьку. Несколько секунд в мирной комнате

под оранжевым абажуром все было недвижимо. Только трассирующие полеты взглядов пересекали теплый воздух. Чувствовалось, что сейчас все полетит к чертям. Федька начал медленно подниматься со стула.

Зеленин тоже медленно, безотчетно спускал с плеча сумку.

— Я сейчас, Александр Дмитриевич! — отчаянно воскликнула Даша и кинулась в спальню между столом и дверью, словно пытаясь рассечь тяжелую волну ненависти.

Бугров швырнул в сторону стул.

— Выйдем отсюда, — сказал Зеленин. Никогда, нигде, ни при каких обстоятельствах он не отступит перед Бугровым. Что бы ни было.

— Падло! — прошептал еле слышно Федька, и по искре, мелькнувшей в глазах, видно было, что он даже доволен создавшейся ситуацией.

Вдруг Сергей Сидорович грузно насел на него сзади. Даша выбежала уже в валенках, полушубке и шапке-ушанке и потянула Зеленина за руку:

— Пойдемте! Да пойдемте же!

Достойно ли покинуть поле боя сейчас, когда противник бессилен?

— Ведь нас же больной ждет, Александр Дмитриевич!

Не торопясь, Зеленин вышел. За ним выскочила Даша.

Опомнившись, она сразу почувствовала, что в ночном безмолвии Круглогорья сегодня есть что-то необычное. Слышался дальний, но отчетливый шум.

— Это за нами, — сказал Зеленин. — Вертолет.

Девушка ахнула:

— Вертолет?!

— Ну конечно, — с напускным спокойствием ответил Зеленин, — дело-то ведь крайне срочное.

Они побежали к озеру по тропинке через огороды. Перевалились через плетень и, увязая в снежной целине, спустились на лед.

А в это время Бугров молча боролся со своим дядей. Наконец он стряхнул его и отбросил в угол. Дашина мать встала в дверях со щеткой:

— Не подходи, ирод, порешу!

Бугров вырвал щетку, сломал ее о колено и, обведя взглядом комнату, сказал раздельно:

— Все. Привет, граждане.

Ринулся вон. С крыльца увидел на озере две фигурки. Лед местами был оголен от снега и мертвенно серебрился под луной. В этом слабом блеске неподвижно стояли двое. Федька перемахнул через плетень, помчался к обрыву, остановился на самом краю, проверил за голенищем нож, поднял голову — и остолбенел.

В небе в густой темной синеве быстро двигалось какое-то инородное тело. Он не сразу сообразил, что это вертолет.

Зеленин и Даша уже не помнили о Федьке. За несколько минут они очутились страшно далеко от него, в особом ночном мире, где действуют только люди, идущие на помощь. В необозримую даль уходило ледяное пространство.

Зеленину на миг показалось, что они стоят на белом песке на дне океана, в какой-то Марракотовой бездне.

Вертолет уже висел над ними, трепеща винтами, как диковинная глубоководная рыба. Потом он пошел прямо вниз и раскорячился на снегу своими тремя колесиками. Открылась дверца, из нее махнула громадная лапа.

У пилота были южные глаза и круглые щеки. Ясно, что, знакомясь в другой обстановке, парень неминуе-

мо разразился бы шуточками. В тесной кабинке пришлось прижаться друг к другу, и Александр даже забросил руку за плечи девушки. Пилот захлопнул дверцу. Взревел мотор — машина вертикально пошла вверх. Ощущение было настолько необычным, что Зеленин закрыл глаза. С закрытыми глазами он вспомнил, что нечто подобное, такие взмывания вверх уже происходили с ним раньше, в детских снах.

Вертолет перешел на горизонтальный полет.

— Ой, вот наш дом! — воскликнула Даша. — И кто-то стоит на обрыве. Мама, наверно.

Не будь в кабине так тесно, Даша, безусловно, вся бы извертелась.

Она первый раз в жизни поднялась в воздух, да еще на вертолете!

Она то взглядывала сияющими, благодарными глазами на спутников, то восторженно смотрела вниз, на снежные бугорки крыш, и вдаль, на огни Стеклянного мыса.

— Какая красивая у нас земля! — Эти слова вырвались у нее, как вздох.

Правда, красиво.

Темные массивы леса клиньями, полукружиями, островками окружали ледяной простор, посылающий в небо лунные лучики.

— Какой марки машина? — заорал Зеленин пилоту.

Узнать это было совершенно необходимо, чтобы в письмах небрежно сообщить: «Летаю на вертолетах марки…»

— «МИ-1», — ответил пилот. Он снял рукавицу, почесал за ухом, вытащил папироску, закурил и углубился в карту.

Может быть, он чуть-чуть рисовался, а может быть, нисколько, но, так или иначе, его будничные движения подействовали на Зеленина. До чего же странное существо человек! Каких-нибудь шестьдесят лет назад только самым дерзким мечтателям приходила идея взлететь в воздух с помощью мотора. Дед этого пилота, вероятно, сидел на арбе, цукал волов и так же вот почесывался. А внук его, может быть, почесываясь, будет высматривать посадочную площадку на Луне.

Двадцатый век! Сидим внутри вибрирующей железяки, под ногами пустота, а попробуй кому-нибудь сказать о невероятности происходящего — засмеют.

Через двадцать минут, когда уже утихли Дашины восторги и улеглось зеленинское возбуждение, пилот громко сказал:

— Вот, между прочим, эта хата.

Зеленин взглянул вниз и увидел маленькое светлое пятно огорода и двускатную крышу. Он с сомнением посмотрел на пилота.

— Сядете тут?

— Даже не знаю. Снег глубокий и деревья, чего доброго, винт поломаю, — сказал пилот. — Что ж, надо попробовать.

В кинохронике Зеленин видел, как спускались из вертолета по веревочной лестнице. У него даже захватило дух от восторга.

— Может быть, мы по веревочной лестнице спустимся?

Теперь уже пилот взглянул на него с сомнением:

— А девушка как же?

— Подумаешь! — воскликнула Даша. — Я тоже смогу.

— Ну, валяйте! — Пилот повеселел и пошел на снижение. Вертолет повис метрах в двадцати над землей.

Казалось, можно дотронуться до верхушек елей. Открыли дверцу. Тугой морозный воздух ударил в лицо. Пилот, встав на колени, пошарил на дне и выбросил за борт лестницу. Стараясь не смотреть вниз, Зеленин завязал тесемки малахая и протянул руку пилоту:

— Ну, пока. Спасибо, товарищ.

— Чего там. Счастливо.

«Абсолютно не страшно», — думал Зеленин, болтаясь в воздухе и щупая ногой пустоту.

Последняя ступенька плясала метрах в пяти над землей. Он разжал руки и сразу же врезался по грудь в снег.

Могучий рокот и свист над лесом. Зеленин поднял голову. Сверху бесформенным кулечком быстро катилась Даша. Она упала чуть ли не на шею Зеленину. Оба весело забарахтались в снегу. Отменное приключение!

Лешка Максимов просто окочурился бы от зависти.

— Ну, — сказал Зеленин, — что же, поползем теперь до дома?

— Смотрите, — толкнула его Даша, — вон жена лесника.

От дома, ожесточенно махая лопатой, двигалась к ним темная фигура.

Ночью в лесу

— Ну вот, пока все, — сказал Зеленин, стягивая шелк на последнем шве. — Утром в больницу, там проведем второй этап.

— Жить-то будет кормилец? — глухо спросила из угла женщина.

Зеленин вздрогнул и посмотрел на нее. Сколько извечного, даже первобытного было в этом простом слове «кормилец»! Видно, и сейчас, в век вертолетов и пенициллина, во всех без исключения женщинах живет древний страх перед потерей мужчины, кормильца, водителя малого человеческого отряда — семьи.

Не важно, кто он — банковский служащий, судья по футболу или охотник-лесник.

Зеленин смотрел на женщину и молчал. Она подошла ближе к столу, на котором лежал ее муж.

— Будет жить! — убежденно воскликнула Даша.

Они перенесли тяжеленное тело лесника со стола и уложили его на кровати в соседней комнате.

Лесничиха собрала ужин. Громадная сковорода с жареным мясом, графин настойки, банка консервированного компота. Аппетит волчий. Даша и Зеленин набросились на еду.

Они ели и вели себя, как люди, довольные своим трудом, прожитым днем, и друг другом, и всем миром. С набитыми ртами они переглядывались и вспоминали, как прыгали с вертолета в сугроб. Лесничиха, подпершись, смотрела на них.

— Дай вам Бог счастья! — вдруг сказала она.

Даша быстро взглянула на Александра и покраснела. Зеленин только спустя минуту понял особый смысл сказанной лесничихой фразы. Женщина, видя их смущение, смутилась сама.

— Ндравится медвежатинка-то? — спросила она.

Зеленин поперхнулся.

— Как?! — воскликнул он. — Так это… Может быть, это тот самый? — Он неловко поежился от своей мрачной шутки.

— Он самый и есть, — вздохнула лесничиха. — Виктор Петрович его ножом закончил.

После ужина Зеленин сел на кушетку, закурил и стал наблюдать, как ходят в длинной клетке взволнованные куры. Ему было чертовски приятно. Он наслаждался простотой и ясностью этой ночи.

Хороший труд, хорошая еда, хорошая усталость и сигарета.

Вошла Даша.

— Александр Дмитриевич, я ввела ему камфару. Сейчас лягу спать.

— Даша, — сказал он.

— Что?

Она стояла перед ним золотистая, румяная и пушистая, с переброшенной на грудь косой. Коса была настолько толстой, что ее переплетения напомнили Зеленину булку-халу. В колеблющемся свете керосиновой лампы лицо девушки казалось совсем детским.

— Может быть, вы посидите со мной?

Она подошла и села рядом на кушетку. Как все просто и прекрасно в жизни: лететь на вертолетах, оперировать людей, пить настойку, любоваться красивыми девушками! Целовать красивых девушек. Даша резко встала и посмотрела исподлобья. Повернулась, ушла.

Зеленин подошел вплотную к окну. Искрился снег, искрилось небо. Вот лес — это действительно мрак, это ночь. Лес кругом.

По лесу бродят волки, медведи, охотники. Люди дерутся с дикими зверями. Потом кто-нибудь кого-нибудь ест. А кто-нибудь стонет один в лесу. Но в небе летят вертолеты. Летят на помощь врачи и сестры, хорошие друзья, понимающие друг друга.

Эта ночь, наполненная жизнью. Такие ночи не забываются.

Они остаются в памяти и освещают прошлое, как фонари.

Хочется спать.

Глава 8
Иди, иди…

С окончанием навигации открылись новые пути — пешеходные тропинки, проложенные по льду. В солнечный день на такой тропе радостно и чуть-чуть страшновато. Такого блеска ты не видел никогда. Вокруг ослепительно серебряный снег, ослепительно золотое солнце, ослепительно голубое небо. Но вот ты ступаешь там, где работал ветер. Скользишь по матовому стеклу, под которым угрожающая глубина, какие-то смутные очертания. Скользишь, подавляешь тревогу и радуешься, что ты на поверхности, в солнечном мире, что тебе хочется петь, что каждый зимний день приближает весну. Зато ночью и в непогоду, в слепящем снежном потоке кажется, что все черти морского дна, вся нечисть выбралась из коряг и студенистого ила, воет и поджидает твой неверный шаг. Замечаешь, как мало стало огней, как пустынны причалы; глядя на застывшие портальные краны, понимаешь древнюю печаль ящеров в ледниковый период. Ты одинок в центре бешеной снежной спирали. Зачем тебе куда-то идти, качаясь и скользя, зачем тебе о чем-то мечтать, зачем гнать тоску? Разве есть в мире что-то, кроме тебя и метели? Разве существуют друзья, теплый свет из окон, телефон, говорящий голосом любимой,

и сама любимая? Разве есть в мире столовые, пароходы, библиотеки и операционные, книги и фильмы, вино и волейбольные мячи, телевизоры, песни, весна, счастье? Есть только холод, тоска и вой. Зачем же ты идешь? Звери сворачиваются в клубок, скулят, и слабо защищаются, и готовятся подохнуть. А ты идешь, потому что ты человек, потому что пурге не выбить из тебя уверенности в том, что все перечисленное существует, потому что ты знаешь, что снова будет солнце. Не важно, сколько ты идешь по льду — полчаса или тридцать дней, не важно куда — на свидание с любимой или к Южному полюсу. Важно, что ты идешь. Солнечный день и ненастье. День и ночь. Уныние и надежда. А ты все идешь и идешь.

В отделе шел обычный трудовой процесс: стучали пишущие машинки, звонили телефоны, кричали и смеялись сотрудники. В коридоре стоял Владька и курил. Максимов подошел к нему:

— Ну, чем порадуешь?

— А! Все то же. Был в управлении. В клинику не отпускают. Приказали продолжать освоение гигиенических установок. «Вы оцените это в плавании, доктор Карпов».

После навигации Максимова перевели с карантинной станции в коммунальный сектор, а Карпова — в промышленный. Кончились бессонные ночи, штормтрапы и морские традиции. Стало скучно. Ходили слухи, что, прежде чем отправиться на суда, молодые врачи должны будут пройти через секторы отдела. Не смешно. Скорее мрачно.

Открылась одна из дверей, и в коридор вышел доктор Дампфер, высокий, сухой старик в морском кителе.

— Алексей Петрович, — позвал он, — хотите немного поработать?

Максимов бросил окурок и вошел вслед за ним в кабинет. Дампфер корпел над годовым отчетом. Приставленные друг к другу столы были завалены папками, справочниками и кипами пустографок.

— Я ведь ничего в этом не понимаю, — сказал Максимов.

— Ничего, разберетесь. Вы сообразительный, — усмехнулся старик.

— А что нужно делать?

— Для начала посчитайте тараканов.

— То есть? — опешил Максимов.

— Ну вы же сами писали в актах, когда обследовали суда: инсекты обнаружены или не обнаружены. Вот вам папка актов, вот списки судов. Просматривайте и отмечайте: где есть тараканы, ставьте крестик, где нет…

— Нулик?

— Правильно. Я же говорю, вы сообразительный.

— Вся премудрость?

— Да.

«Крестики и нулики, — думал Максимов. — Замечательно! Значит, я учил физиологию, биохимию, диалектический материализм, проникался павловскими идеями нервизма для того, чтобы считать тараканов? Здорово! Итак…» Паровая шаланда «Зея» — крестик, буксир «Каменщик» — нулик, водолей «Ветер» — нулик, теплоход «Ставрополь» — крестик…

— Ну как, дело идет? — спросил Дампфер, не поднимая головы от бумаг.

— Просто здорово! — воскликнул Максимов. Все клокотало в нем, хотя он спокойно сидел в кресле и

перелистывал акты. «Проклятый старик, канцелярская крыса, знаешь ли ты, что я умею читать рентгенограммы и анализы, что я уже сделал самостоятельно три операции аппендэктомии и даже один раз ассистировал при резекции желудка? Знаешь ли ты, что профессор Гущин нашел у меня задатки клинического мышления? Наконец, знаешь ли ты, что я волнуюсь, когда слушаю музыку или читаю стихи, что я и сам немного пишу? Впрочем, если бы даже ты и знал все это, ты не постеснялся бы заставить меня считать тараканов. Что ты понимаешь в жизни? Что ты видел в жизни, кроме своих бумажек да колоды для рубки мяса?»

— Кажется, вам не особенно нравится эта работа? — вдруг спросил Дампфер.

— Я, между прочим, врач-лечебник, — ответил Алексей, последними усилиями сдерживая бешенство. Вдруг он вспомнил, что точно такое же, как сейчас, чувство было у него, когда тренер предложил ему поиграть во второй команде.

— Да-да, — рассеянно проговорил Дампфер и углубился в бумаги. Через некоторое время он снова спросил: — Вы знаете задачи карантинной службы?

— Чистота! — выпалил Максимов. — Борьба с грызунами, насекомыми и старшими помощниками капитанов. Правильно?

— Задачи карантинной службы — это охрана санитарной границы Советского Союза, — раздельно и торжественно проговорил Дампфер. — Мы пограничники, вы понимаете? Здесь мелочей нет. Одна чумная крыса может нанести больший урон, чем сотня шпионов, переброшенных через рубеж.

— А тараканы к какому количеству шпионов приравниваются? — съехидничал Максимов.

Дампфер коротко, автоматически хохотнул, как человек, которому рассказали очень старый анекдот.

— Я все понимаю, — поспешно сказал Максимов. — Конечно, это важно — карантинная служба. Мне она даже нравится, но…

— Вам нравится носиться на катере по порту и с риском для жизни прыгать по штормтрапам.

— Откуда вы знаете?

— А черновая работа вам не по душе. Зачем же вы тогда пошли на суда?

— Надеюсь, на судне не нужно будет ставить крестики и нулики.

— Вы так думаете? Там вам придется лично гоняться за каждым тараканом. Боюсь, что у вас превратное представление о работе на судах. Некоторые, я знаю, считают эту работу сплошной парти де плезир. Такие люди плохо кончают. А в море, Алексей Петрович, на нас, врачах, лежит полная ответственность за жизнь и здоровье пятидесяти или шестидесяти человек, занятых тяжелым трудом, оторванных от Родины, от своих семей. Вы понимаете эту простую истину? Именно для этого мы поставлены на свой участок советским обществом. На иностранных судах аналогичных классов врачей нет. Здоровье моряков? Профилактика? Нонсенс! Вместо одного заболевшего в любом порту десяток на выбор. Вы не думайте, что это у меня только теоретические рассуждения. Я сам восемнадцать лет провел в море, шарик наш знаю неплохо.

Он закурил и уставился в окно, словно пытаясь что-то в нем разглядеть. Максимов впервые услышал от него столько слов сразу. Сейчас Дампфер как будто колебался, стоит ли продолжать. Наконец он посмотрел прямо на Алексея и сказал:

— Человеку очень важно понять простейшую вещь — свое значение и назначение в обществе. Тогда у него появится настоящее отношение к труду. Тогда он будет жить полной жизнью. Поясню свою мысль. Все человечество разделено на две части. Для одних день жизни — это полный день, день целиком. Для других из дня вычеркиваются шесть или восемь часов работы. Такие люди начинают ощущать себя только после того, как повесят номерок или распишутся в книге ухода. Прибавьте сюда часы сна. Сколько остается? А жизнь ведь у нас одна-единственная, такая короткая… Молодые часто этого не понимают.

— Молодые понимают, — сказал Максимов, — понимают, что короткая.

Неужели Дампфер позвал его сюда специально для душеспасительных бесед? Похоже на то. Что ж, поговорим!

— На мой взгляд, дело не в продолжительности, а в интенсивности жизни. Спринтер на стометровке расходует энергии и жизненной силы не меньше, чем бегун на дальние дистанции. И если человек, прозябающий на скучной работе…

— Скучной работы у нас нет, — перебил его Дампфер, — есть скучные, или недалекие, или еще не разобравшиеся люди. Разберитесь во всем, поймите свое назначение, проследите до конца цепочку, и любая работа станет вам по душе. Мы все в этом мире связаны и делаем сообща одно дело.

— Дайте мне папироску, — сказал Максимов. Он уже больше не чувствовал скованности, словно забыл о возрасте Дампфера. Закурив, он усмехнулся, как бывало в спорах с Сашкой Зелениным или с кем-нибудь еще. — Очень просто все у вас получается. Пойми, что

ты звено в цепочке, и будешь радостно трудиться. Но ведь большинство людей не нашли себя. Ведь это так трудно, и это такое счастье, когда сразу вступаешь на свой единственный, жизненный путь! Вот сидит скучный счетовод, шуршит, как мышь, считает дни до зарплаты, мечтает новый костюм справить, а кто его знает: если бы в детстве его обучали нотной грамоте, может быть, он стал бы замечательным композитором. Вот и получается, что люди работают только для жратвы. А спасение для них — это так называемые посторонние мысли, чувства, ощущения в свободное время. Разве жизнь только работа? Это ханжество — так говорить. Есть другие великолепные вещи: музыка, стихи, вино, спорт, одежда, автомобили…

— Все это создано трудом, — спокойно вставил Дампфер.

— …горы, море, закаты, женщины, — продолжал Максимов.

— Все это недоступно бездельникам, — сказал старик. — Таково мое твердое убеждение. Им только кажется, что они живут на полную катушку, а в конце никто из них не избежит ужасающего холода пустоты.

— А кто вообще его избежит? — выкрикнул Максимов. — Человек подходит к концу и думает: ну, вот и все. И зачем все это было? Что это я делал здесь? Мы философствуем, боремся за передовые идеи, лепечем о пользе общественного труда, строим теории, а в конечном итоге разлагаемся на химические элементы, как растения и животные, которые не строят никаких теорий. Трагикомедия, да и только. В народе говорят: все там будем. Все! И передовики производства, и бездельники, и благородные люди, и подлецы. А где это «там»? Нет этого «там». Тьма. И тьмы нет, тьма — это

тоже жизнь. Какое мне дело до всего на свете, если я каждую минуту чувствую, что когда-то я исчезну навсегда?!

— Замолчите! — закричал Дампфер и ударил кулаком по столу. — Мальчишка, хлюпик!

Он вскочил, подошел к окну, встал спиной к Максимову. Видно было, что он что-то ломает в руках. Повернулся и поразил Алексея выражением своих неожиданно ставших громадными глаз.

— Простите меня. Я старик. У меня стенокардия. Я как раз, как вы сказали, смотрю назад. Что это я делал здесь? Я был в частях, штурмовавших Кронштадт, работал в море и на берегу — вот и все. Мне не страшно! Понимаете вы? Я работал для своих детей, и для вас, и для ваших будущих детей. В этом-то и есть наше спасение. Вы представляете, что случилось бы, если бы человечество поддалось панике, какой поддаетесь вы? Дикость, разгул животных инстинктов, алкоголизм, маразм. Я знаю, Алексей Петрович, такие минуты бывают у каждого, особенно в молодости, но человек на то он и человек…

Дверь распахнулась, и появилась сияющая физиономия Карпова.

— А, вот ты где! — воскликнул он. — Иди скорей получай зарплату. Не забыл, что у нас в четыре часа матч с судоремонтниками?

— А ты захватил мои тапочки? — спросил Максимов, торопливо вскочил и скрылся за дверью.

Минут через десять Дампфер увидел в окне обоих друзей. Они промчались, как два рысака, закусивших удила.

«Поговорили, — подумал Дампфер. — Так вот у них всегда, у молодых. Побежал на волейбол и все забыл».

…Дампфер ошибался. Алексей ничего не забыл. Разговор со старым врачом был для него большой неожиданностью, тем более что были затронуты вопросы, волновавшие его все последние дни. Внешне в жизни не изменилось ничего. По-прежнему они болтались с Владькой по малолюдному обледенелому порту, курили в коридорах отдела и иронизировали, по-прежнему играли в волейбол, ходили в Публичку, на танцы, в кино, по-прежнему мало спали, мало ели, спорили об архитектуре, о джазе, об Олимпийских играх, об операциях на сердце, о пароходах, о ракетах, о женщинах, о том, у кого лучше развита мускулатура, но, когда Алексей оставался один, что-то страшное поднималось в нем и начинало свой безжалостный рев. Именно то, о чем он нечаянно проговорился Дампферу. Смешон в наши дни молодой человек, охваченный «мировой скорбью», но что делать, если есть такой молодой человек? Посмеяться над ним? Вряд ли насмешка ему поможет. Алексей пытался искать причины, вызывавшие в нем такое состояние. Может быть, панорама порта, еще недавно кипевшего натруженной, хриплой жизнью, а теперь погруженного в зябкий сон ледяной блокады? Может быть, отчуждение, вставшее в последние дни между ним и Верой? Поведение Веры бесило его. Он обвинял ее в трусости, в мещанской косности, в боязни лишиться комфорта и спокойствия. Он бросал ей в лицо: «Тебя, может быть, устраивает такое положение? Ведь это же так фешене-е-бельно». Вера страдала, плакала, дурнела. Что-что, но спокойствие уже исчезло из ее жизни. Уже две недели они не встречались.

А может быть, еще одной причиной были письма Зеленина, полные идиотского задорчика, полные описания «трудовых будней» и совершенно определенного

подтекста. Вот, мол, мы как, живем взахлеб. А вы? Попрежнему мечтаете о море и таскаетесь по выставкам? Или причиной были собственные «трудовые будни», бесконечные перекуры, от которых дубенело и саднило горло? Черт его знает! Была мрачная полоса. Алексей крутился на койке под черным зимним небом, на котором так мало звезд.

После разговора с Дампфером ему стало легче, хотя они оба не сказали всего, что хотели сказать. Он стал ждать весны, мечтать о теплых днях, когда защелкают у причалов флаги, когда он взойдет на борт парохода, и в день прощания прибежит Вера, и все сразу выяснится, и он будет знать. Ведь должен же кончиться когда-то путь через лед и тоску!

Амбарный вредитель

Максимов и Карпов зашли к главному врачу отдела поговорить «о жизни». Главный врач, рослая, до ужаса волевая и до восторга оперативная женщина, всегда находила время для проявления чуткости к подчиненным. Молодых врачей она называла почему-то «бедными мальчиками».

— Ну, бедные мальчики, что же мне с вами делать?

Карпов сразу же стал хныкать и просить, чтобы его отпустили куда-нибудь, хоть в самый плохонький хирургический стационар. Максимов, улучив момент, тактично спросил:

— Ирина Павловна, вы не располагаете сведениями относительно нашей отправки на суда?

— Раньше весны и не думайте об этом, мальчики. Зато когда откроется навигация, вы попадете на самые лучшие плавединицы. Уж я об этом позабочусь.

— Я деквалифицируюсь! — горестно воскликнул Владька.

— Перестань, Владислав! — сказал Максимов. — Руководство само знает, когда мы начнем деквалифицироваться. В нужный момент о нас позаботятся.

— А вы, оказывается, ехидный мальчик, — улыбнулась главный врач.

Аудиенция закончилась тем, что их опять «перебросили»: Максимова в пищевой сектор, а Карпова — в коммунальный. На следующий день Максимов приступил к новой работе. Завсектором, пожилой врач Лидия Аполлоновна, сразу засадила его за чтение бумаг.

— Возьмите вот эту папку и познакомьтесь с опытом работы доктора Столбова. Петр Леонидович прекрасно освоил нащу специфику.

Акты, копии протоколов о санитарном нарушении, переписка, анализы пищевой лаборатории, расчеты калорийности… А-а-а-вуа-а-а-а…

— Что, Макс, и ты стал столоначальником? — спросил Карпов.

— А, Владька! Полюбуйся-ка на деятельность нашего гениального однокашника. Осваиваю опыт передовика.

Странички исписаны готическим почерком Столбова. Акт обследования одного из складов Торгмортранса. Указывается, что в партии муки высшего сорта, предназначенной для отправки на суда дальнего плавания, обнаружен клещ — амбарный вредитель. Предписывается муку немедленно уничтожить и об исполнении доложить. Знай наших!

— Лидия Аполлоновна, а какие последствия вызывает этот вредитель?

— Какой вредитель?

— Тот, о котором сообщается в акте Петра Леонидовича.

Лидия Аполлоновна прочла акт и недоуменно пожала плечами:

— Странно, я ничего об этом не знала. Или забыла? Алексей Петрович, Столбова сейчас нет, поезжайте-ка вы на этот склад и проверьте на месте документацию. А клещ этот вызывает желудочно-кишечные расстройства. Вы можете прочесть об этом в книге профессора…

Максимов вышел на улицу и направился к воротам порта. День выдался теплый и светлый. Влажные струи воздуха текли со стороны залива. Снег как будто собирался подтаивать. Маленькая площадь перед главными воротами кишела людьми. Возле отдела кадров, как всегда, паслась пестрая толпа «бичей» (так по старой привычке называли резерв плавсостава). Максимов подошел к «бичам», раскланялся со знакомыми, потолкался среди них несколько минут. Публика эта была осведомленная обо всем на свете, а особенно о делах в отделе кадров. Сегодня все внимательно слушали повара резерва Эдю Сарахана, который рассказывал о последних радиограммах. Вспоминали корешков, находящихся в плавании, толковали о судах.

За воротами грузовики превратили снег в грязную кашицу. Максимов голоснул и за пятнадцать минут на разболтанном «Язе» домчался до конца Западной дамбы. Здесь он спустился на лед, пересек бухту, взобрался на Кирпичный мол, прошел по нему до самого конца, вышел за пределы порта и проехал еще солидный кусок на трамвае. Склад находился у черта на рогах, на пустыре возле болота.

В сводчатом гулком помещении пахло сыростью. По проходу между ящиками и тюками блуждал маленький человечек в синем халате. Он метнул на Максимова быстрый взгляд и тут же поднял голову вверх, отвлеченно зашевелил губами, словно что-то подсчитывая. Максимов спросил на всякий случай:

— Вы заведующий?

— Врио, — бросил через плечо человечек. — А что, собственно?

— Я из санитарно-карантинного отдела.

Человечек быстро обернулся и пошел к Максимову с сияющей улыбкой на устах:

— Очень приятно, что не забываете. Ярчук.

Деликатно кружась вокруг, он провел Максимова в кабинет, усадил в кресло и сам сел напротив, не спуская с него любовного взора и быстро говоря:

— …Больше имел дело с Лидией Аполлоновной и с доктором Столбовым. Очень, очень талантливый молодой человек. А теперь, значит, вы, доктор Максимов, нами, грешными, будете заниматься? Очень хорошо. Чем больше интеллигентных людей, хе-хе, тем лучше. Наука, она теперь… — Он на мгновение замолчал, и глаза его налились строгой влагой чудовищного уважения к науке. — Наука в наше время… Ах, доктор, в какое время мы живем! — Он снова зашелся от восторга.

Максимов молчал и старался смотреть как можно неприятнее. Он чувствовал, что Ярчук почему-то испуган. Молниеносные оценивающие взгляды словно рвались сквозь пелену идиотского быстрословия. Вдруг врио оборвал какую-то фразу и замолчал. Минуту в кабинете стояла тишина. Два человека смотрели друг на друга. Потом Ярчук завозился, открыл ящик стола и положил перед Максимовым коробку «Тройки», шикар-

ных сигарет с золотым обрезом. Максимов хмыкнул и открыл свою пачку «Авроры».

— В настоящий момент вас что интересует? — легким тоном спросил Ярчук.

— Партия муки, в которой обнаружен амбарный вредитель, — ответил Максимов, не спуская с него глаз.

Остренькое лицо Ярчука мгновенно засияло, как пасхальное яичко.

— Списали, выполнили указание.

— Покажите документацию.

Читая акт о списании, Максимов почувствовал себя беспомощным. Почему-то ему казалось, что дело тут нечисто, но как добраться до истины сквозь чащу торговых терминов, оплетенную велеречивой паутиной Ярчука? Выглядит все законно: акт, отпечатанный на машинке, в конце три подписи. Максимов терпеть не мог неразборчивые подписи. Что это за люди, которые превращают свое имя в каракули усталого идиота?

— Тут есть и подпись вашего коллеги, — сказал Ярчук.

Максимову послышалась в его голосе насмешка. Он еще раз взглянул на акт. Что такое? Уж подпись Петечки-то он знает: готика! А здесь какой-то размотанный клубок ниток.

— Покажите мне накладные за тот месяц, — вдруг по какому-то наитию сказал он.

Ярчук всполошился:

— Зачем, доктор? Зачем вам накладные?

Максимов почувствовал, что нащупал в темноте твердую почву.

— Нет у меня здесь накладных. Они у бухгалтера, а он уехал в торг.

— Да нет, — теперь уже Максимов улыбнулся (он решил подчиняться только своей интуиции), — бросьте вы этот фарс! Они у вас в этом столе.

— Это что же, Лидия Аполлоновна, что ли, вас научила? — спросил Ярчук неожиданно тихим и враждебным голосом.

— Да, она.

— Ну что же, полюбопытствуйте, бдительный товарищ. Мне стыдно за вас. Пришли из нашего советского вуза, а доверия к честным тру…

— Помолчите-ка! — грубо оборвал его Максимов.

Он стал просматривать накладные на сахар, консервы, атлантическую и тихоокеанскую сельдь, сухофрукты, мороженую баранину, муку. Снова он ничего не понимал. «Глупишь, брат Максимов, ставишь себя в смешное положение». Вдруг ему пришла простая мысль: сверить даты в акте и в накладных. И вот среди накладных на муку, отправленную на разные суда, он натолкнулся на бумажку, в которой значилось, что такое-то количество муки высшего сорта отправлено на теплоход «Новатор».

— Значит, на «Новатор»?

— Это не та мука! — взвизгнул Ярчук. — Ту мы уничтожили, а взамен получили другую партию. Вы еще зелены, товарищ, ничего не понимаете! Смотрите. — Он стал сыпать бумажками и снабженческой абракадаброй.

Максимов действительно мало что понимал, но смутно догадывался, что попал в самую точку.

— Ничего, разберемся, — буркнул он, — радируем на «Новатор», врач там сам проверит.

Ярчук догнал его уже у выхода из склада.

— Послушайте, доктор Максимов, — сказал он и взял его под руку, — советую вам как старший товарищ, оставьте это дело. Тоже мне Нат Пинкертон — Нил Кручинин! Сами себе только повредите.

— Что это вы обо мне заботитесь? — сказал Алексей, освобождая руку.

— Ай-ай, какие у вас взгляды! Какие-то не наши. Все советские люди должны друг о друге заботиться, особенно мы, старшие товарищи, о молодежи. Но если не верите в мои намерения, я вам скажу другое, — он возвысил голос, — не хочу, чтобы трепали мое честное имя и пятнали репутацию, заслуженную долгим трудом.

Максимов молча открыл дверь, но Ярчук снова вцепился ему в локоть:

— Ваш товарищ, Петр Леонидович, вот он проявлял взаимопонимание. И вы, я уверен, тоже меня поймете.

Еле уловимым движением он коснулся кармана Максимова. Тот опустил руку в карман, и пальцы его нащупали плотный, гладкий сверточек. Не глядя, Алексей швырнул деньги на цементный пол и гаркнул:

— Я вам сейчас в морду дам!

Ярчук словно на пружинах прыгнул в сторону, схватил деньги и прошипел:

— Мы здесь одни. Доказательств у тебя нет, щенок, и не будет! Понятно? Пойдешь против меня — рога пообломаешь. Моря тебе не видать, разве что во сне. Пораскинь умишком!..

…Максимов вернулся в отдел, сел за стол и задумался. Ох и запутанное дело! Но, во всяком случае, страх Ярчука и его попытка дать ему взятку совершенно точно указывают, что он нашел верный след. Конечно, технически все это обставлено гораздо сложнее, чем сейчас ему представляется, но в этом уж пусть

разбирается эта организация, как ее… Обэхаэс! Нужно дождаться Лидии Аполлоновны и все ей рассказать. А Столбов? Подпись не его, это точно, но взаимопонимание он проявлял. Неужели взятки брал, скотина? Ярчук — опасный тип. Что это за странная угроза? Какая может быть связь между Ярчуком и моей работой в море? Нет, надо посоветоваться с кем-нибудь из ребят, прежде чем раскручивать катушку. Может быть, действительно плюнуть? От греха подальше.

В комнатах отдела было пусто, только из бухгалтерии доносился ровный перестук пишущей машинки. Максимов открыл книгу, где отмечались разъезды сотрудников. Так и есть — все на объектах. Лидия Аполлоновна в «Баскомфлоте», Карпов уехал на брандвахту 607. А где же Веня? Вот с ним-то стоит потолковать об этой истории: он-то наверняка даст ценный совет. В графе «Доктор Капелькин» Вениной скорописью значилось: «10 часов 06 минут — на Невский за плакатами». Максимов невольно улыбнулся, представив неутомимого общественника в толпе на Невском. В конце концов он твердо решил ничего не предпринимать, не посоветовавшись с Капелькиным.

«Опальный витязь» появился через полчаса, розовый, нахмуренный и деловитый. Увидев, что, кроме Максимова, в отделе никого нет, он швырнул в угол рулон плакатов и возбужденно заговорил о Невском, где ходят «черт знает какие чудаки». Максимов загнал его в угол, уселся рядом на стол и рассказал всю историю об акте Столбова, муке и Ярчуке.

— Веня, ты старая и мудрая портовая крыса, ты черепаха Тортила, посоветуй-ка, что делать.

— Да, я этого жука знаю, — медленно сказал Капелькин, — отпусти его, может руки попортить.

— Учти, я не из пугливых, — заметил Алексей.

— Все мы орлы, — усмехнулся Веня, — только я тебе советую. Дорогу в море действительно потеряешь. Он тут всех и вся знает. Демагог, собака и подхалим, а доверием пользуется.

— До поры до времени.

— Может быть, но пока он может такой грязью облить, что сам себя не узнаешь. Доказательств у тебя нет. Это факт. А Ярчук сейчас все подчистит, комар носа не подточит.

— Ну, до «Новатора»-то ему не добраться: он сейчас в Индийском океане.

— Почему ты уверен, что на «Новатор» муку сплавили? Может быть, на другое судно, а может быть, в городскую сеть. Зачем тебе, Лешка, жизнь портить и искать на свою шею приключений? Вреда особого от этого клеща нет: побегают ребята в гальюн, и все.

— А в следующий раз Ярчук настоящую отраву на суда сплавит? — хмуро спросил Максимов.

— Ну, как знаешь. Я бы ни за что не связался…

— А на что ты вообще способен? — махнул рукой Алексей, но решимости не было слышно в его голосе.

Что может случиться с этими парнями с «Новатора»? Они при надобности и мебель переварят. А он может испортить себе жизнь, лишиться того, о чем так упорно и зримо мечталось. Ярчук — тварь живучая, а доказательств нет никаких. Что же, значит, надо отступать перед ярчуками? Так и жить с ними бок о бок, врастать в коммунизм? Демагог. Это Венька правильно сказал. Как он сыпал словами: «Мы советские люди», «В какое время мы живем»! Именно этим и опасны такие типы. Шепнет кому-нибудь наверху: «Не наш человек», — и все.

Капелькин не обиделся на резкую фразу Максимова. Он ходил по комнате и снова болтал о чудачках с Невского.

— Давай-ка лучше подумаем, Алексей, как лучше убить субботний вечер.

Рабочее время вышло. Алексей и Веня спустились с лестницы. У входа на них налетел Карпов. Он сиял так, что казалось, у него над головой подпрыгивает нимб.

— Макс, я ищу тебя. Куда ты заховался?

— В чем дело? Выигрыш, посылка, перевод или просто ты наконец сошел с ума?

— Понимаешь, сейчас я забежал домой и как раз в это время зазвонил телефон. Ну и… Вера говорила. Ты, конечно, не помнишь, у нее сегодня день рождения. Очень приглашала. Тебя тоже, между прочим.

Максимову показалось, что здание попало в шторм. Он провел ладонью по лицу и крепко сжал щеки.

— И ты собираешься пойти… туда?

— А почему бы и нет?! — смущенно и заносчиво воскликнул Владька. — Там все будут. Интересная публика. Почему бы и не пойти?

— Ну что ж, желаю приятно поразвлечься. Поехали, что ли, Вениамин?

Они ушли к автобусной остановке.

— Чертов меланхолик! — крикнул вслед Владька.

Реализм или абстракция?

Ночь составлена из двух простейших цветов. Черный и белый. Черный неподвижен и величествен. Белый кружится, опускается на землю, на крыши, на деревья. Деревья тянут мягкие лапы, кусты топорщат су-

чья, похожие на оленьи панты. Где ты видел еще такой снегопад? В кино? В раннем детстве? Во сне? Как мирно, как тихо! Как легко идти, будто крылышки на ботинках! Пусто на улице. Который час? Молодой человек, выбежавший из сквера, не замечает уличных часов над головой, на которых стрелки соединились и вытянулись вверх, как штык часового. Молодой человек мчится по улице в распахнутом пальто. Он бежит и что-то бормочет. Где-то он потерял шарф, роскошный норвежский шарф, свою маленькую гордость. Теперь очередь за беретом — слишком уж лихо сбит он на ухо. Трудно понять: весел молодой человек, или одержим чем-то, или пьян до такой степени, что в голову уже приходят самые оригинальные мысли.

«…Мы все немножко лицемеры и крепко верим, крепко верим лишь в вино…» Да-да! Откуда эта фраза? Черт, мозг набит цитатами! Больше никогда не буду ничего читать. Надо учиться мыслить самостоятельно. Впрочем, неважно. «Мы все немножко лицемеры!» Э, да это песня! И не лицемеры, а суеверы. Раньше она пелась на такой мотив: «Мы все немножко суеверы…» Мне было тогда пятнадцать лет. Воображал себя взрослым мужчиной. Бал в женской школе. Головастый мальчик в отложном воротничке, а на заду две круглых, как очки, заплаты. Тогда никому и в голову бы не пришло потешаться над этим. Первые годы после войны. А сейчас у мальчика недостаточно модные башмаки. Крепкие башмаки, но — Боже! — не остроносые! Сложная проблема элегантности. Других проблем нет? Работа? Любовь? «Мы все немножко лицемеры». И даже наедине с собой? Ну, нет! Пьяным вход воспрещен. Сюда нельзя. Люблю! Или только внушил себе? Хм, что же тогда любовь, если не навязчивая идея?»

Не прекращается снегопад. Молодой человек уже что-то поет на ходу, что-то кричит:

— Пингвины! Эй, пингвины!

Впереди группа дворничих сгребает снег. Широкие книзу, в белых фартуках, они действительно сквозь кисею снегопада напоминают пингвинов.

Алексей с налету проскочил знакомый двор, одним прыжком взлетел на знакомое крыльцо и оказался в знакомом подъезде. Медленно стал подниматься по пожелтевшим мраморным ступеням. Осмотрел знакомый фонарь, свисающий с потолка, мозаику окон, выходящих на лестничную клетку, бронзовую решетку лифта. Подумал: «Добротно строили эклектики от архитектуры».

Жаль, хмель быстро выветривается. А ноги не слушаются, не хотят идти вверх. Спать хочется. Отсюда четверть часа ходьбы до общежития на Драгунской, а там в 120-й комнате сегодня пустует койка. Снять туфли, вытянуть ноги, закрыть глаза и… к черту, к черту все! Кора головного мозга отдыхает, как городская электростанция, гаснут очажки возбуждения. Блаженство! Ну, нет! Так проще всего — сон, смерть или тупая жвачка. Неужели он смел только тогда, когда по кровотоку бродит спирт? Бей в барабан! Не бойся! Третий, четвертый, пятый, шестой этаж. Звонить сильно, нахально, всех взбудоражить! Не отрывать пальца от звонка. Идут!

Дверь приоткрылась на цепочке. В темноте замаячило бледное лицо Веселина.

— Что такое? Кто там? Что случилось?

— Привет! — сказал Алексей. — Это я.

— Простите? — вопросительно произнес Веселин. Сейчас скажет: «Не имею чести знать». Должно быть,

и с налетчиками этот тип будет разговаривать с позиций врожденной культуры.

— Здесь находится мой друг Владислав Карпов, — пробормотал Алексей.

Послышался легкий полет каблучков по паркету.

— Ну, пусти же! Убирайся, Олежка! Чего ты испугался?

Когда же ты перестанешь заикаться, жалкая личность? Когда наконец ты сможешь спокойно смотреть в это лицо, спокойно брать эту руку, пожимать ее (лучше всего легковесно целовать) и говорить непринужденно что-нибудь, ну там: «Паду к ногам твоим, богиня», — или еще какую-нибудь пошлость?

— Привет! — хрипло сказал Алексей. — Это я.

— Алешка! Заходи же!

Удивительное самообладание. Легкий, веселый тон: встретила друга детства.

В темной передней он снял пальто, пошарил на шее шарф, усмехнулся. Вера зажгла свет, и он неожиданно увидел себя целиком отраженным в зеркале. Удовольствия это ему не доставило.

— Как я рада, Алешка, что ты вспомнил все-таки обо мне!

— Да? Я тоже рад, что ты рада. Владька здесь?

— Владька скис. Было весело, а сейчас все уже выдохлись, философствуют. Проходи же.

— Одну минуту.

Максимов, холодея от ужаса, зашарил в карманах. Неужели потерял и это? Нет, вот он, подарок. И смех и грех.

— Вера и вы… мм… Олег, не знаю, как отчество…

Веселин сделал протестующий жест:

— Помилуй, просто Олег.

— Ну, в общем, я извиняюсь за столь поздний визит, но я решил все-таки поздравить… Веру… и… вот ты, кажется… ну, помнишь… хотела иметь такую штуку.

— Алешка! Какая прелесть!

Вера подняла руки, притянула к себе голову Максимова и поцеловала его в щеку. Дружеский поцелуй, и только. Или слишком нежно для друга?

Вся мебель была сдвинута к стенам, в углу на полу стоял магнитофон.

Двадцать пальцев милых
Забыть нет сил, —

выкрикивал низкий женский голос. На паркете прыгали несколько пар. Среди танцующих был и Владька. Он держал в объятиях худенькую девушку и смотрел на нее, как самоуверенный хищник. Увидев Максимова, он остановился, махнул рукой и крикнул:

— Эй, кого я вижу! Макс, друг мой, брат мой, усталый страдающий брат! — Он подвел к Алексею девушку, погладил ее по голове и проговорил: — Видел ты в своей жизни что-нибудь подобное?

— Девушка, будьте бдительны, — сказал Алексей и пошел в соседнюю комнату, где собралась основная часть публики, вольно раскинувшаяся в креслах и на софе. Здесь были и знакомые лица: несколько аспирантов, преподаватели, какой-то известный актер. В центре в позе боевых петухов стояли Веселин и длинный гривастый субъект в мешковатом свитере.

— Чушь! — кричал Веселин. — Хулиганство! Никогда народ не примет такого искусства.

— Вы отрицаете эволюцию, прогресс и современность, — лениво прогудел гривастый субъект. — Жи-

вопись в наши дни должна приблизиться к музыке по эмоциональному воздействию на человека, должна стать вибрацией человеческого духа.

— Хорошо, а какая же это вибрация, когда на холст выливают ведро красок, а потом бегают по нему в сапогах?

— Это крайности. Экстаз. Обывателю не проникнуть в тайну творческого процесса. Говорят, один писатель во время работы ставил ноги в тазик с водой. Разве он был психом? Человек более сложная машина, чем это представляется физиологам.

«Занятные мысли вываливает этот курьезный тип!» — подумал Максимов.

Абстрактная живопись была притчей во языцех. На выставках о ней спорили студенты, пенсионеры, врачи, рабочие. Большинство ругались последними словами и возмущались. У Максимова были сбивчивые мысли на этот счет: «Черт его знает, а может быть, и есть тут какой-то непонятный еще мне смысл?»

— Итак, значит, эволюция? От тончайшего мастерства Репина и Поленова, от передвижников к мусорной яме?

— Пхе, всюду суют передвижников! У нас и своих достаточно натуралистов. Этот так называемый реализм безнадежно устарел в наш век кино и цветного фото. Пусть попробуют наши корифеи реализма подняться до фотографий Бальтерманца из «Огонька». Так нет, все равно сидит такой деятель и упорно списывает природу. — Потом он махнул рукой на растерянного Веселина. — Больше я с вами спорить не буду. Новое доступно только молодежи.

Все смущенно замолчали — какой удар нанесен молодящемуся доценту. Этого нельзя было не понять, гля-

дя на суетливые движения Веселина, на его дрожащие добрые щеки. Вера вскочила, очень сердитая.

— Фома! — крикнула она гривастому. — Не воображайте себя героем и не расписывайтесь за молодежь. Конечно, натурализм устарел, но не реализм! Врубель, Марке, Сезанн, Матисс — это что ж, по-вашему? Это — искусство! Не то что ваш пресловутый Брак или Поллак, которых вы, кстати, и не видели, ничего, кроме двух-трех плохих репродукций в «Крокодиле» под рубрикой «Дядя Сэм рисует сам». Тоже мне новатор!

Все засмеялись, и тут Максимов сказал:

— Очень трогателен, Верочка, твой порыв. Ты просто идеальная советская жена.

Фома обернулся к нему, и они вместе стали кричать и размахивать руками. Им возражали, их высмеивали, но они не слушали возражений. Дух противоречия овладел Алексеем. Ему казалось, что он бунтует против продуманной симметрии профессорской квартиры, против добропорядочности Веселина и ханжества его жены, своей возлюбленной, против зимы, против Ярчука, против своей скучной работы и даже против Дампфера, человека, которого он уважал и о словах которого думал все эти дни. Он старался не смотреть на Веру, он говорил все быстрее и горячее, словно боялся, что, если остановится, все сразу поймут то, о чем он не сказал ни слова. Осекся, когда встал отец Веры. Отец поставил на стол бокал с нарзаном, который держал в руках, и все замолчали. Профессор ничего не имел против споров, напротив, он всегда мечтал, чтобы в его квартире собиралась и горланила молодежь, но сейчас надо было вмешаться. Иначе Алексей, угрюмый и милый юноша, натворит Бог знает что. Он, кажется, немного влюблен в Веру и зол на нее.

— Леша, — сказал он, — и вы, товарищ, умоляю, не считайте себя пионерами нового искусства. Лет сорок назад я слышал такие же слова от таких же, как вы, юношей. Да чего греха таить, — он задорно вскинул бородку, — и сам я ходил в футуристах. Правда, правда! Могу даже сборник показать, где есть и мои опусы.

Корявые гиганты,
Ломайте глобус
И завывайте —
Ухао! Ухао!

Смешно? А мы тогда поднимали такие вирши на щит. Дело не в том, что вы кричите и петушитесь. На здоровье, друзья. Дело в том, что когда-то вы должны понять истинную цену вещей, людей и событий. И чем скорее это произойдет, тем будет лучше для вас. Тогда поймете и искусство. Не всевозможные измы, в этом вы и сейчас разбираетесь, а Искусство! — Он долго говорил, воодушевляясь с каждым словом, и даже сам начал махать руками. — Вечность, вечность смотрит на нас с картин Репина. А вы говорите — фотография! Я понимаю еще пейзажи, но жанровые сцены, тончайший психологизм разве можно заменить фото?

— А разве кадры кино лишены психологизма? — буркнул Максимов и, бесцеремонно повернувшись, ушел в соседнюю комнату.

Вслед за ним вышел Фома. Здесь все было проще. Бушевал джаз. Владька с худенькой девушкой танцевали. Фома предложил пойти на кухню и «хлопнуть по стопке».

— Славную мы с вами дали баталию этим обскурантам! — сказал он, разливая коньяк. — Я сразу понял, что вы тоже живая, ищущая натура.

Теперь уже Фома почему-то раздражал Максимова своим густым голосом, трясучей головой с распадающимися патлами и бледной мускулистой шеей, торчащей из нелепого свитера.

— У нас в училище тоже зажимают передовое искусство, — говорил он. — К счастью, есть люди с чуткой, восприимчивой душой. Вы знаете, этой осенью мне дали за одну мою картину неплохие деньги.

— Да ну? — хмуро сказал Максимов.

— Да-да, нашелся ценитель моего гротеска. Понимаете, в нем я изобразил в иррациональном аспекте своего соседа по квартире.

— Уж не «Меланхолическое адажио» ли?

— Как, вы видели?

— Вы не шизофреник? — полюбопытствовал Максимов.

— Да. А что? — Фома захохотал, но видно было, что он все-таки обиделся.

«Черт побери, — подумал Максимов, — опять я напорол глупостей. Зачем-то кричал, зачем-то обидел Веру, ее отца. В конце концов, я разбираюсь в живописи как свинья в апельсинах. Ну, хорошо, «Адажио» — это определенно глупость, услада пижончиков. А Пикассо и Матисс? Это — искусство, готов драться за это. Но не каждый проведет грань между этими вещами. Мне тоже трудно провести. Для того чтобы провести, нужно как следует разбираться в этом. Нужно знать все, а я всего не знаю. И кричу. А не все ли равно, раз Вера меня не любит? Не все ли равно? Делаю я глупости или только умные вещи, кричу или молчу, люблю

или ненавижу? Не все ли равно мне, которого никто не любит?»

Он тряхнул бутылку и огляделся. Он был один в кухне. Сидел на табурете возле стола, заваленного снедью, и кафельные стены с тихим звоном плыли вокруг. «Снова начинается. Прямо здесь и свалюсь», — с радостью подумал он и стал пить коньяк прямо из бутылки. Внезапно вращение стен прекратилось: в кухню вошла Вера. Она приблизилась к Алексею, прижала к себе его голову, на мгновение, на одно мгновение. Он посмотрел ей в лицо и увидел выражение жалости и какой-то странной, чуть ли не брезгливой любви.

«Вот как? Она, должно быть, думает: «Почему я полюбила это ничтожество, эту никчемную личность?» Понятно, она хочет покончить с этим, со всем, что у нас было».

— Итак, Вера, — сказал он твердо, — значит, всему конец?

— Ой, я не знаю, Лешка! — с отчаянием проговорила она и присела рядом с ним. — Налей мне вина.

Он обрадовался. Значит, она еще не решила. Может быть, она даже не считает его ничтожеством? Должна же она понять, отчего он так! И любовь, и зима, и эти мысли… Когда-нибудь это кончится. И даже очень скоро. Он поймет все, он тогда сможет чего-нибудь добиться.

— Сделать тебе бутерброд?

— Да, пожалуйста.

— Со шпротами?

— Нет, лучше с сыром.

Это он сидит на кухне со своей женой. Просто встретились после работы, закусывают и тихо разго-

варивают. В квартире тишина, даже слышно, как сопит во сне Кешка, малыш.

Из комнат долетел взрыв смеха, и снова голос той женщины:

Двадцать пальцев милых
Забыть нет сил…

Боже мой, миллионы мужчин и женщин встречаются по вечерам на своих кухнях, закусывают, переговариваются и не знают, какое это счастье!

— Значит, ты не знаешь? Но так, как сейчас, продолжаться не может, да?

— Да. Мы не должны больше встречаться так. Я не могу обманывать сразу двоих. Я не могу обманывать ни одного.

— Значит, конец, — сказал он.

— Нет! — воскликнула она. — Не могу от тебя отказаться! Но ты ведь понимаешь, Алексей, что, если я разведусь с Веселиным, мне придется уйти с кафедры. Не потому, что он будет меня травить — он для этого слишком чист, но…

— Понятно.

— И это значит — прощай аспирантура, моя тема, прощай, мой маленький Микки Маус…

— Что еще за Микки Маус?

— Разве я тебе не говорила? Ведь мне же выделили для экспериментальной части обезьянку. Я так обрадова…

— Значит, любовь и долг, — перебил он ее насмешливо. — Вернее, любовь и тема. Старая тема.

— Тебе легко иронизировать, ты будешь путешествовать, а я тебя ждать. Да?

Они замолчали, прислушиваясь к веселому топоту в комнатах. Спустя минуту Максимов спросил:

— Скажи, Вера, почему ты вышла за него замуж?

— Ты не знаешь, какой он хороший. У меня были тяжелые дни, и он помог, был всегда рядом. И потом, он так влюблен в свое дело и… — она запнулась, — и в меня.

— Значит, надо любить свое дело, и тогда нас девушки любить будут? — опять не удержался Максимов.

Вера безнадежно покачала головой, засмеялась и быстро чмокнула его в щеку.

— Идея! — воскликнул Максимов. — Ведь ты можешь уйти в другой институт. В тот же ВИЭМ, например.

— Я уже думала об этом. Наверное, я так и сделаю, но ведь это можно сделать только на следующий год.

— Значит, ждать еще…

— Шесть месяцев.

— И ты будешь ждать?

— Да.

— Ты проявляешь волю в своем безволии. Понятно?

— Пусть так, — ответила она твердо.

Максимов вскочил и стал запихивать в карманы сигареты и спички.

— К черту, к черту! — шептал он. Прошагал через кухню, остановился в дверях и ядовито процедил: — Желаю вам успехов! Тебе и твоему… Микки Маусу.

— Лешка! — тихо вскрикнула она.

Тогда он подбежал, запрокинул ей голову и долгим поцелуем впился в губы.

— Люблю, люблю, люблю тебя, — прошептал он и вышел, оставив Веру в состоянии, близком к обмороку.

В передней он увидел Владьку. Карпов надевал на свою девушку шубу, подобной которой никто никогда не видывал.

Он спросил, идет ли Алексей, и предложил проводить вместе «это дитя». При этом он смотрел так испытующе, что Максимову показалось, будто он все знает.

Только друг

Два друга и девушка вышли на набережную канала. Снегопад давно кончился. Стояла мягкая, пушистая ночь. Засыпанные снегом кроны подстриженных лип напоминали головки одуванчиков, и на секунду Максимову показалось, что стоит только как следует дунуть, и весь этот невесомый снежный покой взвихрится и полетит обратно в небо.

Девушка все время недоуменно и печально поглядывала на Владьку. Максимову даже стало жаль ее. А Владька упорно и довольно нудно острил, лепил снежки и метко бросал их в фонарные столбы.

— Что же ты даже телефончика не записал? — спросил Алексей, когда они остались одни.

— Мне это надоело! — резко ответил Владька, вставив в зубы сигарету, и щелкнул пальцами, требуя спичек. Закурив, он проговорил: — Староваты мы, должно быть, становимся, раз клонит к постоянству.

— Это называется зрелостью, — усмехнулся Алексей.

Ему очень хотелось узнать, о каком это постоянстве ведет речь Владька, но он боялся спросить, зная, что потребуется ответная откровенность.

Владька взял его за лацканы пальто и сказал прямо в лицо:

— Я сегодня очень доволен. Убедился, что то, старое, все во мне перегорело, остался только пепел. Я тих и светел, как пустая бутылка. Да-да, я говорю о Вере.

Теплая радость захлестнула сердце Алексея. Владька все знает о нем и о Вере! Знает и дает понять, что дружба не находится под угрозой. Значит, не нужно больше таиться от одного из самых близких людей. Да здравствует веселый и хитрый дружище Владька Карпов!

— Ну да, мы с Верой любим друг друга, — сказал Алексей. — Я только боялся, что ты…

— Тоже мне, сукин сын! — зашептал Владька. — Одинокий горный козел, медуза в океане! Забыл, сколько супчика вместе съели? Ну-ка вываливай, что там у тебя в торбе, которую ты называешь душой!

Они стояли у дома незнакомой девушки. Темный фасад нависал над ними, как скала. Хлопнули друг друга по плечу, рассмеялись и, не сговариваясь, пошли куда-то к Выборгской стороне. Возвращаться домой, в порт, было бессмысленно: они добрались бы туда только к утру.

…Воскресное утро застало Владьку и Алексея в зале ожидания Финляндского вокзала. Привалившись друг к другу, ребята дремали в ожидании открытия буфета. Когда буфет открылся, взяли несколько бутербродов, по стакану горячего кофе и позавтракали прямо на скамейке. Потом вокзал как-то сразу запрудила пестрая толпа лыжников.

— Слушай, Макс, а ведь мы собирались к Сашке поехать, на лыжах покататься, — сказал Карпов.

— Обязательно надо съездить, — отозвался Максимов, — думаю, что Ирина даст нам по недельке за свой счет.

— То-то обрадуется наш рыцарь!

— Кстати, мы давно не были у его стариков. Поедем сейчас?

Дверь им открыла мама Зеленина. Кухонный передник очень не вязался с ее строгим обликом.

— Мальчики! — радостно ахнула она. — Какая досада, какая досада!

— А в чем дело?

— Если бы вы пришли вчера, вы бы ее застали.

— Кого?

— Сашину жену.

— Лешка, держи меня! — завопил Карпов. — Да держи же, черт тебя подери!

— Это как же так? — пробормотал Максимов. — В порядке шутки?

— Нам не до шуток, — сказала мама. — Встает большая проблема. Саша теперь семейный человек. Возможно, будут дети. Внуки… — Лицо ее просияло.

Она провела ребят в столовую, где папа Зеленин сидел за утренним кофе.

— Здравствуйте, друзья, — сказал папа. — Как вам нравится наш мальчик? Вообразите, в один прекрасный день получаем телеграмму: «Молниируйте благословение целуем Инна Саша». Вот они, темпы двадцатого века.

— Дмитрий, согласись, что она прелесть, — сказала мама.

— Совершенно верно, — серьезно сказал папа. — А теперь взгляните сюда!

Это была районная газетка «Северная заря». На четвертой ее странице заголовок «Так поступают советские люди» был отчеркнут карандашом. Текст гласил: «Это случилось хмурой зимней ночью. Лесник Шумозерского лесничества Курочкин схватился с медведем. Хищник нанес ему серьезные ранения. Сигнал о беде поступил в Круглогорскую участковую больницу. Немедленно на помощь вылетели на вертолете комсомольцы — выпускник Ленинградского мединститута врач Александр Зеленин и медсестра Дарья Гурьянова. Вертолет не смог приземлиться возле домика лесника. Тогда молодые люди спустились вниз по веревочной лестнице. В лесной избушке при свете керосиновой лампы они произвели сложную операцию. Но испытания на этом не кончились. Утром у раненого началось кровотечение. Нужно было провести второй этап операции, но уже в больничных условиях. Не дожидаясь прихода транспорта, Зеленин и Гурьянова погрузили лесника на санки и, утопая по грудь в снегу, тронулись в обратный путь. Так они прошли четырнадцать километров, пока не встретили больничную упряжку. Жизнь раненого была спасена. Так поступает наша советская молодежь! Так поступают комсомольцы — молодые специалисты! Вот она, героика наших будней! Вот они…» — Может быть, это смешно, — сказала мама Зеленина, — но мы с Дмитрием…

Она сняла пенсне и отвернулась.

— Совершенно верно, — сказал папа Зеленин.

— Вот это да! — бросив на стол газету, воскликнул Владька.

— Да-а, вот это дела-а! — задумчиво протянул Максимов.

Глава 9
Инна Зеленина

Поезд грохотал в ночном пространстве где-то вблизи Бологого с таким неистовством, словно хотел рассыпаться в прах. В тамбуре носились острые сквознячки, но Инна уже десять минут стояла здесь, обхватив себя руками.

Через несколько часов она будет в Москве, где ждут ее родители, квартира на Гагаринском и двадцать лет прошлой жизни. Эти годы ждут ее настойчиво, хотя она подвела под ними черту. Беззаботные, добрые, веселые годы! Ей трудно сбежать от вас, ей трудно сбежать от ваших привычек. Но нужно бороться, нельзя забывать, что она уже не просто дочь своих родителей, спортсменка, красивая девушка, она теперь Инна Зеленина, жена смешного и одержимого, крепкого и беззащитного человека. Она главная в их союзе. Так уж получилось. Это было ясно с самого начала. Она быстра, решительна и на всех производит впечатление рассудительной девушки. Но все ошибаются. Да, да, ночью в тамбуре можно себе в этом признаться. Она совсем не рассудительна, ни на йоту. Сначала она совершает поступки, а потом начинает их обдумывать. Это рискованно, правда? Хорошо, что всегда попадались люди, способные прийти на помощь, исправить ошибки, поддержать ее. А теперь все будет по-другому, все пойдет иначе.

Инна прошлась по тамбуру, попрыгала на месте и уставилась в стекло наружной двери, за которым выла и стонала темнота. Почему она не возвращается в купе? Почему так тревожно? Что особенного случилось?

Вышла замуж — и все. В группе уже половина девочек сделали то же самое, а Ада Маргелян даже успела развестись. Это Сашка склонен драматизировать положение. Никакой драмы нет и не будет. Что из того, что они далеко друг от друга? Живут же люди — примеров масса. На следующий год она переведется в Ленинградский университет и будет ближе к нему. Зачем волноваться? «Ой, холодно! Даже сквозь свитер пробирает».

Она прошла в вагон. Все двери в купе были закрыты. Она рывком опустила боковое сиденье, села, уперла подбородок в кулачок. Одна за другой перед ее глазами поплыли круглогорские сцены.

Вот первая ее ночь в Круглогорье. Синяя ночь. Мороз. Тишина, показавшаяся ей невероятной после привычного московского шума и грохота поезда. Странная квартира со скрипучими половицами, с антикварным столом. Что-то подобное она видела в комиссионке на Арбате. Она стала ходить по комнате, и в голову полезли смешные, неловкие мысли: «Вот здесь мы поставим сервант, здесь пианино, здесь несколько кресел. Эту комнату можно перегородить и устроить детскую. Здесь…» Вдруг ей стало стыдно, и она впервые почувствовала всю неестественность своего прибытия сюда. Она словно очнулась от сна, во время которого кто-то перенес ее в неизвестную страну. Совсем недавно в Москве она лихорадочно собиралась в дорогу, не слушая криков родителей. Только сейчас она вспомнила, что отец даже назвал ее идиоткой. И вот… темный полустанок, веселый инвалид в тулупе и тулуп, которым ее закутали с головы до ног. Сумасшедшая гонка по невероятной дороге, невероятная тишина, тусклые огоньки в ночи, странная квартира. А этот человек, этот выдуманный ею человек, к которому она стремилась, ока-

зывается, улетел куда-то на вертолете. Сейчас уже никто не мог ее поправить, никто не мог помочь. Она была одна. Но самое страшное впереди — встреча с ним! Она знала, что он совсем не страшный, что он добрый, смешной, порывистый… А вдруг он совсем не такой? Вдруг он пустой и холодный, как эта квартира? Вдруг он скучный, сухарь?

Она бросилась в комнату, где стояла кровать, подбежала к заваленному книгами столу и открыла все ящики. К черту церемонии! Она должна увидеть его сию же минуту! Должен же у него быть какой-нибудь фотоальбом! Вместо альбома она нашла несколько туго набитых пакетов, в которых продают фотобумагу. Вынула наугад снимок большого формата. Трое парней скалили зубы, стояли обнявшись, видимо, на большом ветру, волосы их были растрепаны. Один в майке, один голый по пояс, и только Зеленин в рубашке с галстуком. Инна вспомнила их всех сразу. Этот голый, кажется, Лешка, насмешливый парень; весельчак Владька (такие мальчики всегда окружали Инну). Костлявое, словно вырезанное из дерева лицо Зеленина поднято вверх, глаза зажмурены, и даже без очков он выглядит как очень близорукий человек. Инна отодвинула локтем ворох бумаг — большие листы, исписанные мелким почерком, на полях каравеллы с распущенными парусами, рыцари, какие-то человечки-головастики — и увидела свою фотокарточку в простой полированной рамке. Достала из сумки Сашин портрет, поставила рядом со своим, положила голову на руки и заснула.

Зеленин появился только во втором часу дня. Он вошел, как слепой. Края его малахая и брови покрыты мохнатым инеем. Волоча ноги в огромных валенках,

он подошел к Инне, стащил с головы шапку и пробормотал:

— Здравствуйте, Инна. Простите меня.

Тяжело плюхнулся на койку. Инна вскрикнула, бросилась к нему, принялась стаскивать полушубок, валенки, растирать лицо, ноги, руки. Зеленин слабо стонал. Девушка побежала на кухню, разожгла керосинку, поставила на нее кастрюлю с водой. Когда она вернулась, Зеленин сидел. На лице его кривилась жалкая улыбочка. Инна приблизилась, он слегка отстранился, вытянул руку.

— Еще раз простите. Обстоятельства сложились… Не смог встретить… — Он встал и сказал уже почти нормальным голосом: — Я зашел только поздороваться. С больным придется повозиться. Очень тяжелое состояние.

Инна рассердилась и что-то закричала, нарочито обращаясь к нему на «ты». Зеленин, склонив голову набок, внимательно вслушивался в ее крик и постепенно светлел.

— У тебя же лапы совершенно обморожены! — воскликнула Инна и снова схватила его руки.

Зеленин растекся в блаженной улыбке и прогудел:

— Ничего подобного, не обморожены! Сейчас, я скоро приду, и мы будем пить шампанское.

Он пожал ее руки и зашагал к двери.

К вечеру собрались гости. Пришел Егоров с женой, прикатили на лыжах два парня — Тимофей и волейболист Борис. Егоровы принесли пирог, а ребята — бутылку водки и рюкзак с апельсинами. Стол получился шикарный.

— Прикажете рассматривать этот вечер как генеральную репетицию? — спросил Борис и подмигнул Тимоше.

Тот шепнул ему: «Перестань» — и смущенно взглянул на Инну, словно извиняясь за добродушную колкость друга.

Инна рассеянно улыбнулась, посмотрела на Сашу и встретила его взгляд. Они сидели за столом вместе с четырьмя другими людьми, слушали их разговоры, смеялись шуткам, но им было безразлично, что говорят эти люди. Они сидели на разных концах стола. Это расстояние было огромным, труднопреодолимым, но они чувствовали, что оно будет пройдено, потому им не было никакого дела до того, что происходит вокруг.

Борис включил приемник и нашел «Маяк». Стали танцевать под старомодные фокстроты, квикстепы и польки-бабочки.

Зеленин и Инна проводили гостей до почты. Егоров с женой бодро ковылял по обледенелым мосткам. По середине улицы медленно двигался эскорт лыжников — Борис и Тимоша. Над поселком, как китайский фонарик, висела в оранжевых кольцах луна.

Когда они вернулись домой, Инна убрала со стола и остановилась посредине комнаты. Она была в узком черном платье с большим вырезом. После двенадцати лампы горели вполнакала. Желтые пятна света и тени заострили лицо девушки. Зеленин присел на подоконник, трясущимися пальцами достал сигарету. Они не смотрели друг на друга. Их позы были скованны и неловки. Они молчали, и это молчание, нарастая, превращалось в непреодолимую преграду. Инна прошлась

к стене и от стены к печке. Несколько раз скрипнула половица. Стал слышен взволнованный бег ходиков.

— Бррр! — Инна натянуто рассмеялась.

— Что? — воскликнул Зеленин и вскочил.

— Зябко.

— Может быть, надо зажечь печь? Я уверен, что у меня имеется топливо, — пробормотал Саша и бросился в прихожую, где Филимон каждую неделю устанавливал штабель березовых чурок.

«Что со мной? — подумал он. — Я говорю, как идиот. Почему я сказал «зажечь печь» вместо «затопить» и вместо дрова — «топливо»?»

Но Инна даже не улыбнулась его странным словам и суетливым движениям. Она воскликнула: «Это идея!» — и бросилась вслед за ним в прихожую. Здесь они столкнулись. В темноте немудрено столкнуться. Зеленин выронил чурки — одна из них больно ударила его по ноге, — и положил руки на почти голые Иннины плечи. Она сразу с какой-то поразившей его готовностью прижалась к нему. Эта мгновенная готовность неприятно кольнула Зеленина, но он тут же понял, что это только для него, для него единственного. Он сразу понял это и знал, что не ошибся.

Он поцеловал ее уже много раз и все еще не выпускал из рук. Наконец Инна сильным движением освободилась, рванула дверь — пучок желтого света полоснул Зеленина по лицу — и исчезла в комнате. Зеленин заметался по тесной каморке, держа себя за голову, натыкаясь на поленницу, на косяки и причитая: «О счастье, о счастье!» Потом он присел на какой-то мешок, решив покурить и подумать. Он не допускал даже мысли, что снова боится увидеть ее, ту, что целовал минуту назад в темноте.

— Эй, где вы там, синьор? — раздался из комнаты резкий возглас.

Саша вскочил, нахватал охапку дров и вошел в столовую. Он увидел, что Инна сидит на полу и смотрит в раскрытую печку, не отрывая взгляда от серых холмиков пепла. Она не повернула головы в его сторону, у нее не дрогнул ни один мускул. Это было состояние оцепенения, когда глаза не в силах оторваться от какого-нибудь совершенно незначительного предмета, а тело не в силах двинуться. В таком состоянии люди обычно не думают и не чувствуют, но по изгибу Иннинного тела, по ее согнутым плечам было видно, что ей в эту минуту немного страшно. Зеленин встал на колени за ее спиной, положил чурки на пол и тоже заглянул в печку. Ему показалось, что оттуда несет холодом и вонью, как из беззубой пасти старика. Кажется, позавчера он так же сидел перед печкой, и в ней неистово трещали, щелкали и плясали зубы огня. А сейчас ему показалось, что Инна смотрит в печку, словно пытаясь в ней увидеть свое будущее. Его охватил мгновенный страх, но в двадцати сантиметрах от своего лица он увидел крупные завитки коротко подстриженных Иннинных волос, и через мгновение его нос утонул в этих золотистых волнах…

…Будущее будет сверкать, как пламя! Будет счастье для двух людей, сидящих в обнимку у печи! Оно уже пришло, окружило, сдавило им грудь, сжало сердце, затуманило мозг — самое высшее счастье любовного опьянения. Может быть, их будут осуждать за то, что они бежали только навстречу своему счастью, не сворачивая в сторону и не выжидая, за то, что они слишком быстро промчали путь, отделяющий их друг от друга? Судите, рассуждайте резонно, вспоминайте «до-

брое, старое время», когда объявляли помолвки, дарили кольца и ждали, ждали… Двум молодым людям, сидящим у печки, нет никакого дела до ваших рассуждений. Они блуждали, как молекулы в хаосе броуновского движения, столкнулись, узнали друг друга и сразу же протянули друг другу руки.

— Завтра же мы идем в загс! — решительно заявил Саша.

— Глупый! — рассмеялась Инна и погладила его по голове. — Разве это так важно?

— Все равно, завтра мы идем в загс.

— Ого! — Она опять засмеялась и чуть-чуть отодвинулась. — Знаешь, Сашка, ты все-таки очень переменился.

Докторша

Инна ходит по магазинам. В поселке три продовольственных магазинчика, называются они среди домохозяек по имени продавщиц: «У Стеши», «У Нины» и «У Полины Ивановны».

— Где вы брали, тетя Маня, эту замечательную рыбу?

— «У Нины», дочка.

— Я вам рекомендую зайти к «Полине Ивановне»: туда подбросили колбасу.

Инна — домашняя хозяйка. Она варит обеды для мужа. Она читает «Книгу о вкусной и здоровой пище». Она обеспечивает Сашке рациональное питание. И он ценит это. На каждую котлету, вышедшую из-под ее рук, он смотрит как на чудо. Он благоговейно поедает борщи. Инна гордится своей продукцией. Инна счастлива.

Инна нагибается, трогает крепления. Потом летит вниз по накатанному склону, наклоняя корпус то вправо, то влево, огибает кусты. По сторонам с восторженными

воплями несутся ребятишки, падают, катятся кувырком. Инна блестяще финиширует, делая резкий поворот. По тропинке с пилами и топорами на плечах идут лесорубы. Она слышит, как кто-то из них говорит:

— Ай да докторша! Хороша!

Над лесорубами плывут дымки: синие — табачные, белые — дыхание. Сверкает накатанный склон, сверкают покрытые ледком кустики. Кажется, что они мелодично звенят от малейших прикосновений, от еле заметного ветерка, от солнечных лучей. Инна счастлива.

…Инна знакомится со сторожем Луконей. Он бродит по льду возле самого берега, носит в руках здоровенный чурбан. Подо льдом, как за стеклом аквариума, ходит рыба, сильно работает хвостом. Луконя расставляет ноги, поднимает чурбан. Рыба идет прямо к нему. Р-раз! Луконя бьет чурбаном в лед.

— Ой! — вскрикивает Инна.

Из-под чурбана разбегаются в разные стороны белесые извилистые трещинки. Рыба недвижима. Луконя бежит за пешней.

— Во! — говорит он, поднимая над головой блестящую рыбу.

— А это не браконьерство? — спрашивает Инна.

Луконя озадаченно смотрит на нее, хлопает ресницами, прикидывает.

— На, — говорит он и протягивает ей рыбу. — С приветом Митричу.

Понятно, она теперь соучастница. Инна торжественно несет домой рыбу. Как будет хохотать Сашка, когда она ему расскажет! Инна счастлива.

Вот день. В лесу на синем снегу чуть дрожат солнечные пятна. Ели растопырили мохнатые крылья, вот-вот полетят. Инна сегодня особенно счастлива: Зеленин взял ее с собой на вызов. Шесть километров они пройдут по этому лесу, а потом, когда Саша закончит работу, покатаются вместе с гор. Мелькает впереди его синяя куртка, ритмично взмахивают палки. Инне приятно идти по проложенной им лыжне, приятно видеть впереди долговязую фигуру, которая на лыжах, как ни странно, кажется довольно складной. Да, у него очень уверенный вид, когда он идет на лыжах. Вообще он стал гораздо увереннее, чем казался ей тогда, в Комарове. Немного огрубел. Тогда это был юноша, беспредельно напуганный своей смелостью, будто умоляющий не судить о нем по первому впечатлению, спотыкающийся, неистово размахивающий руками, когда речь заходила о медицине или о стихах. Но почему-то и тогда казалось, что этот человек уже на что-то решился и не отступит от своего. Может быть, именно эта не совсем понятая нацеленность и привлекала в нем Инну? Ведь ей всегда нравились решительные и даже самоуверенные, веселые и скупые на проявления чувств ребята! Нет, письма свои она адресовала чудаку, мечтателю, человеку с избытком искренности, представителю определенного типа людей, которых раньше она считала рохлями. Но он ни тот и ни другой. Кто же он? А теперь уже поздно разбираться во всем этом. Теперь она бежит по его лыжне.

Задумавшись, Инна отстала. Она увидела, что Зеленин уже вышел из лесу и теперь стоит на голом пригорке, опершись на палки. Сейчас вид у него был действительно мечтательный. Вот за что она будет его лю-

бить! За то, что он постоянно меняется, ежеминутно, ежедневно. И остается в то же время самим собой.

— Ах, какая ерунда! — воскликнула она, и это означало: к черту смутный анализ и сомнения, она будет любить этого человека, каким бы он ни был, каким он ни станет!

Однако нужно захватить лидерство. Это еще что такое? Ведь она же все-таки главная, и потом, у нее как-никак второй разряд по лыжам, а у него несчастный третий!

Инна быстрее заработала руками и ногами, вылетела на пригорок и, царапнув Сашку лукавым взглядом, сразу же ухнулась вниз. Лыжи понесли ее по твердому насту в ложбину, где курились избушки Журавлиных выселок.

Когда они подъехали к избе, хозяйка вышла на крыльцо.

— Кто у вас болен? — спросил Зеленин, нагибаясь и расстегивая крепления.

Ответа не последовало. Он посмотрел на хозяйку, и ему показалось, что она немного смущена.

— Опять Ванюшка снегу наглотался? Я вас предупреждал, Мария Владимировна, у него очень тревожный хабитус… Или Ниночка?

— Здоровы ребята, — ответила хозяйка с явным смущением.

— Сами занедужили?

— Да нет же, Александр Дмитриевич! Да вы проходите. — И, только пропустив его вперед себя в сени, она тихо сказала: — Мужик мой приболел.

— Муж? — изумился Зеленин. — Позвольте…

Он знал, что эта полная, еще сравнительно молодая женщина — вдова. Его изумление возросло, когда он за цветастым пологом увидел Ибрагима Еналеева.

Тот лежал с закрытыми глазами, с гримасой боли на лице. Почувствовав, что на него смотрят, он вздрогнул, сел на кровати, увидел Зеленина и закричал на женщину:

— Вызвала все-таки? Почему не слушаешь, почему?

— Что с вами, Ибрагим? — спросил Зеленин.

— Животом он мучается, Александр Дмитриевич, — сказала Мария Владимировна, — а сегодня так схватило, прямо на крик.

Зеленин присел на кровать, расспросил Ибрагима, осмотрел его. После осмотра предложил лечь в больницу. Тот посмотрел на Марию Владимировну, потом снова на Зеленина:

— Живот резать будешь?

— Нет.

— Ну ладно, лягу в больницу.

В задумчивости Зеленин вышел из дома. «Похоже на язву, — думал он. — Нужно будет посадить его на диету. А выдержит ли он?» Еще больше, чем симптомы болезни, Зеленина занимала судьба Ибрагима. Тогда, во время осмотра симулянтов из третьего барака, он понял, что вспышка Еналеева была искренней. А это было для Александра пробой человека. Потом как-то Тимоша сказал, что Ибрагим стал неплохо работать и вроде понемногу отходит от Федькиной компании. И вот теперь, оказывается, он женился, да еще на женщине, которую все категорически считали самостоятельной. Такая не пойдет за трепача.

Зеленин сощурился на солнце и приложил ладонь к глазам. Он увидел, что Инна «лесенкой» лезет вверх по склону.

Они катались вместе до темноты и вернулись домой, еле волоча ноги.

Инна и Александр сидят с ногами на тахте. В комнате светятся только шкала приемника и сигарета Зеленина.

Инна положила голову на плечо мужа. Они сидят обнявшись и ждут. Напряженное ожидание большого зала прилетело к ним сюда по радиоволнам из Москвы.

И чудо свершается. Кажется, что кто-то нервный, прекрасный подсел к ним, положил им на плечи большие руки и смотрит в упор огромными, вбирающими весь мир, сводящими с ума глазами. Звучит рояль.

Удар, другой, пассаж, и сразу
В шаров молочный ореол
Шопена траурная фраза
Вплывает, как больной орел, —

вспоминает Саша.

— Да-да, — шепчет Инна.

И больше не нужно слов. Нужно молчать, но Сашка лепечет:

— Боже мой, какое счастье быть хотя бы причастным к искусству! Хотя бы таскать рояль!

— Помолчи! — обрывает она.

Тот, кто пришел сюда, встает, ходит по темной комнате, смотрит в окна, разводит руками в немом вопросе, потрясает кулаками в гневе, сжимает руки у себя на груди, словно задыхаясь от счастья, и, наконец, сделав торжественный прощальный жест, исчезает.

Через минуту Инна говорит:

— Понимаешь, Сашка, я играю…

Он понимает сразу, что она играет по-настоящему. Раз она осмелилась сказать это сейчас, значит, по-настоящему.

— Как бы я хотел послушать тебя!

Без улыбки

Ибрагим гулял по березовой роще, поджидая жену. Он признавался себе, что все еще смущается этих новых, неведомых для прежнего Ибрагима отношений с женщиной, стыдится перед людьми. Поэтому он и поджидал ее всегда в березовой роще возле больницы. Он топтался взад-вперед по тропинке и волновался, вспоминал, как много лет назад, в другой жизни, восемнадцатилетний юноша бродил по набережной в Баку и испытывал точно такое же волнение.

Неожиданно он увидел мужскую фигуру, приближающуюся к нему знакомой развалистой походкой. Это был Федька Бугров.

— Здорово, Ибрагим! — радостно заорал он и хлопнул его по плечу.

— Здравствуй, раз не шутишь, — осторожно ответил Ибрагим.

— Ну, как ты тут кантуешься?

— Оклемался маленько.

Федька подтолкнул его к скамейке, рукавицей смахнул снег, вытащил из кармана поллитровку, развернул газету, в которую были завернуты кусок сыра и соленые огурцы.

— За поправку, что ли, Ибрагим? Тяни!

Ибрагим отстранился:

— Ни-ни, диет соблюдаю, Федька.

— Чего-о-о?

— Диет. Ничего кушать нельзя: барашка нельзя, селедку нельзя, водку нельзя, ничего нельзя. Доктор запретил.

Федька перекосился:

— Слушай ты лепилу этого лопоухого!

— Ничего нельзя, — повторил Ибрагим и приосанился, — язва двенадцатиперстной кишки у меня.

— Во-он как! — с насмешкой протянул Федька. — Ну, как знаешь, будь здоров!

Он запрокинул голову. Заклокотала водочка. Сладостно хрустнул перекушенный пополам огурец. Ибрагим глотнул мучительную слюну и вырвал из Федькиных рук бутылку. Через пять минут они сидели обнявшись на скамейке и голосили мало кому известную песню «В кошмарном темном лесу». Ибрагим действительно опьянел, а Федька только притворился, вторил песне и хитро блестел глазами. Неожиданно они услышали голоса и смех. По тропинке со стороны озера шла парочка с лыжами на плечах. Спустя минуту они узнали доктора с женой. Инна что-то весело таратарила, а Зеленин хватался за живот, хохотал и задыхался. Он прошел бы мимо Ибрагима и Федьки, не заметив, если бы Инна не подтолкнула его. Тогда он остановился, протер очки и уставился на Ибрагима, который сидел не двигаясь.

— Та-ак, час коктейлей? — протянул Зеленин и воскликнул: — Как вам не стыдно, Ибрагим! Водка и соленые огурцы! Неплохая диета для язвенника! Я очень огорчен, но придется вас выписать за нарушение ре-

жима. А вас, — он обратился к Федьке, — я попрошу больше не появляться на территории больницы.

Он сказал это, как будто не было между ним и Федькой каких-то особых отношений, и Бугров промолчал, не трогаясь с места.

— Ух ты, какой строгий доктор! — засмеялась Инна, когда они отошли на несколько шагов. — Неужели ты его действительно выпишешь?

— Инна, — тихо проговорил Зеленин, — этот человек, тот, что был с Ибрагимом, мой самый страшный враг.

Что-то было в его голосе, от чего Инна сразу посерьезнела.

— Кто он, Саша?

— Он бандит.

— Что у тебя общего с ним?

— Не хотел я тебе об этом говорить…

Инна остановилась, схватила Александра за шарф и сказала взволнованно:

— Я должна знать все.

— Ну хорошо. Ты ведь уже знаешь Дашу Гурьянову? Федька в нее влюблен и вообразил, понимаешь ли, что я тоже… Стой, если уж говорить, то все.

— Ты действительно был в нее влюблен? — небрежным тоном спросила Инна.

— Нет, но одно время казалось, что между нами что-то возникло. Ты знаешь, человеку иногда трудно разобраться в своих чувствах и наклеить на них ярлыки: любовь, дружба, ненависть и так далее. Так вот и мне на какое-то короткое время показалось, что я испытываю к Даше не просто дружеское, теплое чувство.

— Это когда ты в письмах стал описывать природу? — перебила она.

— Да, примерно тогда.

— В последних письмах?

— Да. Пойми, ведь ты была так далеко! В сущности говоря, я тебя совсем не знал… — заскулил Зеленин, думая о том, рассказать ли про сцену в домике лесника. Нет, сейчас его на это не хватит. Расскажет после. Может быть, через год.

— Перестань! — оборвала его Инна. — Что я, дура!

— Ну вот, — продолжал Зеленин, — Федька возненавидел меня, во-первых, за это мнимое соперничество, во-вторых, за то, что я выявил его как симулянта, в-третьих, за то, что я однажды его ударил. А сейчас он ненавидит меня уже за все: за то, что я врач, за то, что ношу очки, за то, что народ меня тут полюбил.

— Тебе не страшно, Саша?

— Было страшно, а сейчас мне почему-то кажется, что Федька сам меня боится. Может быть, это слишком самонадеянно.

Они сбились с тропинки и молча прошли несколько шагов до крыльца, с трудом вытаскивая ноги из снега.

— Во всяком случае, я не отступлю перед ним ни на шаг! — пылко воскликнул Зеленин и посмотрел на Инну, ожидая увидеть улыбку. Но не увидел.

…Когда Зеленин и Инна скрылись из виду, Ибрагим вскочил и шепотом стал ругаться по-азербайджански.

— Чего всполошился-то? — процедил Федька.

Он сидел, нахохлившись, громоздкий, бесформенный и мрачный. И что-то было в нем прибитое. Исчез ловкий молодой парень. То ли своей позой, то ли чем-то иным Федька сейчас почему-то напоминал Ибрагиму соседа по нарам, старого «домушника» Сучка, от которого всегда несло каким-то противным жиром.

— Как чего?! — горестно воскликнул Ибрагим. — Пропал мой диет, ай, пропал диет совсем! Скорей бы жена приходил! Доктора просить будем! А ты, Федор, пожалуйста, не ходи сюда. Ну тебя к черту, понимаешь!

— Эх ты, хорек вонючий! — со злостью проговорил Федька, харкнул под ноги Ибрагиму и пошел прочь.

Он шел по пустынной улице, смотрел на теплые огоньки под нависшими белыми кровлями и впервые в жизни почувствовал себя одиноким и несчастным. Впервые он захотел куда-то побежать, уткнуться в чьи-то колени и навзрыд расплакаться. Он приехал сюда, на стройку, с двумя целями: для того, чтобы окрутить давнишнюю свою зазнобу и сколотить теплую компанию для настоящей работы в Питере. Дашка его видеть не желает. Парни все чистягами стали, даже те, кто рад был хлебнуть за его счет, отворачиваются сейчас вроде бы с насмешкой. Щипачи, мелкое племя! В передовики лезут, на красную доску. Хавальники откроют и слушают, как им лепила лекцию травит. А главное то, что сам Федор не чувствует себя таким, как прежде. Что-то сломалось в нем. Надо же, лепилу стал бояться! Посчитать ему не может за ту историю в клубе. Чего проще, развернуться да влепить ему по рубильнику — стекла вдрызг! Или пером пощекотать! Так нет же, дрожь его разбирает, страх. А мысли ночные, сумасшедшие покоя не дают, плакать хочется по ночам, вроде как сейчас. Будто шепчет кто: «Лопух ты, Федор, жизнь-то бортом мимо тебя идет! Останешься один, как сыч». Хочется сжаться, спрятаться в какой-то темный закуток и лежать там, пока не вытащит на свет добрая и большая рука.

Слабый шум долетел в поселок со Стеклянного мыса. Федор Бугров ссутулившись шел по промерзшим

мосткам. Он боялся поднять голову и взглянуть вверх, туда, где плавала безжалостная луна.

Придя к себе в нетопленую пустую избу, он выругался, достал почерневшую от копоти консервную банку, высыпал в нее две пачки чая и заварил чифирь. Чифирь всегда помогал ему даже больше, чем водка. Тело наливалось силой, сердце сжималось от восторга и ярости, хотелось драться. Пусть попадется ему сейчас кто-нибудь под руку, ого! Федор ходил из угла в угол, рычал, пел, сжимал кулаки.

Неделю назад ему исполнилось двадцать три года.

…Ибрагим говорит Инне:

— Инночка, скажи, пожалуйста, доктору спасибо. Больше водку пить не будем, диет соблюдать будем, лечиться будем. Человек я семейный, ребятишки на руках. Жить будем!

Ноктюрн Шопена

В воскресенье Зеленин потащил Инну в клуб.

— Сашка, иди один! — взмолилась она. — Я лучше почитаю — сегодня принесли свежий номер «Нового мира». Ей-богу, мне эти клубы в Москве надоели! Сегодня хочу только тихой, сельской жизни — пеньюар, лампада и вольнодумный роман. Хочу быть Татьяной.

— Поздно, — сказал Зеленин, — ты уж другому отдана и будешь век ему верна, а он закружит тебя сегодня в вихре светских развлечений.

— А что там за действо сегодня?

— Сначала будет лекция об умении красиво одеваться… Что с тобой?

Инна содрогнулась от беззвучного смеха.

— Сашенька, милый, все-таки, может быть, мне не ходить? Вдруг мне станет дурно?

Зеленин обиженно шмыгнул носом:

— Напрасно смеешься! Лекция интересная, чехословацкие моды через проектор будем показывать.

По дороге в клуб он не умолкал ни на минуту:

— Понимаешь ли, Инка, просто обидно за людей. У большинства есть врожденный вкус, чувство гармонии. Посмотришь на них на работе — все так ладно пригнано: спецовки, косыночки, даже телогрейки. А в выходной день, подчиняясь какой-то несусветной моде, напыжатся и выходят этакими чудовищами. Сапоги гармошкой, пальто колом и обязательно белый шелковый шарфик чуть ли не до земли. А у девушек платья со средневековыми оборочками, шляпища, черт знает, вроде пропеллера… Обидно. Вот мы и решили вести войну за хороший вкус.

— Кто это «мы»?

— Правление клуба.

— А ты тоже в правлении?

— А как же! Инна, посмотри-ка. Вот и этому мы объявили войну.

Он показал на окно одного дома, где за откинутой занавеской красовалась глиняная собачка с умильной и страшноватой мордочкой, расписанной белой, красной и синей красками.

В клубе было тесно, шумно и весело. Зеленина хлопали по плечу, пожимали ему руку, кричали: «Саша, привет!», «Здравствуйте, Александр Дмитриевич!» Подошли Борис и Тимоша.

— А свадьбу-то вы зажали, дети, — сурово сказал Борис.

— Ничего подобного, — сказала Инна, — свадьба будет одновременно с моими проводами.

Борис весело подмигнул Тимоше:

— Все сэкономить хотят. Учись, Тимка!

— А чего ж, люди семейные! — пробасил Тимофей.

Зеленин усадил жену в первом ряду и сказал, что ему сейчас нужно развить бурную деятельность за кулисами. Инна поинтересовалась, не дирижирует ли он танцами в клубе.

— Бутоньерку в петлицу, прямой пробор. Кавалеры, приглашайте дам! Первый тур! Какая прелесть, это тебе подойдет!

Зеленин нервно хихикнул и скрылся. Кто-то приоткрыл занавес, и Инна на долю секунды увидела мужа, оживленно беседующего с Дашей Гурьяновой, которая в широченном платье до пола и кокошнике была похожа на матрешку. Прыгнуло сердце, шевельнулось в душе что-то нехорошее, и Инна подумала: «Щеки у нее слишком уж румяные, мажет, конечно». Но тут же она мысленно посмеялась над собой, вздохнула: «Ох, какая ерунда!» — и стала смотреть на сцену.

Лекцию слушали с вежливым интересом, но, когда началась демонстрация фотографий через проектор, в зале послышались смешки.

— В жисть не надену я такой недомерок! — категорически заявил сидящий за спиной Инны бородатый мужчина, разглядывая появившегося на экране юношу в коротком, до колен пальто.

— Общая тенденция, — бесстрастно вещала со сцены лектор-учительница, — состоит в отказе от кричащих красок и в переходе к простым и удобным формам одежды.

— Не понимаешь ты, Тихон, тенденции! — с досадой прошептала женщина, видимо жена бородача.

Инна украдкой оглянулась и увидела ее серьезные, внимательные глаза.

После лекции начался концерт. Зеленин то и дело появлялся на сцене, участвовал в конферансе, прилепив бородку, играл в скетче роль профессора, отца беспутного сына, сольным номером читал стихи. Фигура его казалась непомерно длинной на маленькой сцене и была смешной сама по себе, но зрители, к удивлению Инны, смеялись, когда надо было смеяться, и замолкали, когда надо было молчать. Инна вдруг почувствовала гордость за своего мужа. Она только недавно узнала, что театр — тайная страсть Саши. Он рассказал ей, что с первого курса почему-то возомнил себя актером, стал шляться по театрам, был статистом, таскал декорации и даже одно время собирался бросить медицинский и поступить в театральный институт. Инна улыбнулась и подумала, что ее гордость вызвана отнюдь не актерскими удачами Зеленина.

Зеленин читал стихи, Тимофей играл на баяне задумчивые вальсы. Даша пела частушки, Борис с какой-то тоненькой девочкой, о которой сзади тихо сказали, что она бетонщица, показывали акробатический этюд. Вдруг Зеленин подошел к краю эстрады и громко сказал:

— Следующий номер — ноктюрн Шопена…

«Ого!» — подумала Инна.

— …Исполняет Инна Зеленина.

Она не сразу сообразила, о ком это он говорит, а когда поняла, ахнула, и сердце у нее задрожало. Секунду спустя она страшно разозлилась на Сашку, топнула ногой, отвернулась, но зал так дружелюбно заголосил,

что пришлось встать. Она не помнила, как поднялась на сцену, как села к инструменту. На мгновение мелькнула виноватая улыбочка Зеленина, и Инна сказала шепотом:

— Я тебе этого никогда не прощу.

Потом она видела только клавиши. Затем исчезли и клавиши, и она стала видеть то, чего не видел никто другой. Вокруг ожила страна, о которой знала только она одна. Инна совершенно забыла о том, что на нее смотрят две сотни чужих глаз, и совсем не видела высокого, худого человека в черном костюме, который стоял в толпе, побледнев от волнения и сжав кулаки. Очнулась она от плеска аплодисментов, неловко раскланялась и убежала за кулисы. Зеленин через всю сцену прошагал вслед.

— Ты сердишься? — пролепетал он. — Пойми, Инночка…

— Отстань! — сказала она и села на стул спиной к нему. Саша обошел вокруг и сел на пол напротив.

— Прости меня! — умоляюще сказал он. — Я очень хотел тебя послушать, а другого случая уж не представилось бы. И потом… — он помолчал и кивнул в сторону зала, — разве они не достойны Шопена?

— Иди сюда, — хрипло сказала Инна. Когда он подошел, она больно дернула его за ухо и рассмеялась.

— Я люблю тебя сейчас в сто раз больше! — воскликнул счастливый Зеленин.

Проводы… Как могут люди переносить такое? Как можно за пять минут до разлуки рассказывать анекдот и смеяться? Почему люди стали бояться слез? Ведь легче плакать, чем смеяться во время проводов. Проводы — это бесчеловечно. Фонарь мурманского экспресса нале-

тает из сумерек и рвет любовь пополам. Тебе и мне по половине монеты на память. Последние секунды, когда наконец перестают балагурить, — это самое страшное. Тут надо держаться вовсю.

— Смотри, обязательно зайди к моим старикам!

— Обязательно! Я дам телеграмму уже из Москвы.

— Хорошо, Инна!

— Что?

— Крепись, родная! Скоро мы!..

— Скоро?

— Время идет быстро.

— Это сейчас. Прощай!

Все. В проход свисают ноги в шерстяных носках и капроновых чулочках.

«Козыри — пики». Храп и чавканье. И мутную, застилающую весь белый свет тоску уже начинают прорывать другие слова: «Что? Постель? Да-да, обязательно. Мельче у меня нет. Дайте мне по две десятки, а я вам пятерку. Чай? Пожалуйста, один стаканчик».

За окном мрак. Кажется, что поезд грохочет и трясется на одном месте, но редкие огоньки появляются в ночи и стремительно улетают назад, как искры из паровозной трубы, как последние слова привета.

Глава 10
В марте решают

На комсомольском собрании Медико-санитарного управления обсуждалось персональное дело врача-комсомольца Столбова. В маленьком зале, набитом до отказа, сидели медицинские сестры, лаборантки, шоферы, дезинфекторы и молодые врачи. Только что

кончил говорить сам Столбов, обвиняемый в злоупотреблении служебным положением и взяточничестве. Стояло молчание: зал еще не мог оправиться от общего чувства брезгливой жалости. Этот огромный парень вел себя сейчас, как несовершеннолетний карманник: то юлил, то плакался, произносил фразы о чуткости, то вдруг словно под действием каких-то стихийных сил наглел и начинал вызывающе хохотать и орать. Когда же он не нашел больше слов и сел, вид у него был измученный, затравленный, а взгляд даже немного человечный. Во всяком случае, на него было тяжело смотреть. Особенно неприятно было Алексею и Владьке. Они-то его знали больше всех: ведь как-никак Столбов шесть лет был их товарищем по институту, а для всех остальных Петя Столбов был просто взяточником.

— Кто-нибудь будет еще говорить? — наконец послышалось из президиума.

Встал представитель партийного бюро доктор Дампфер. По привычке он прикрыл глаза, и его лицо стало похожим на маску аскета.

— Товарищи, — начал он, — вы разбирали сейчас дело комсомольца Столбова с пристрастием и принципиальностью. Вы выясняли детали, но не подумали, что не это главное. Детали — это дело ОБХСС. Важно другое: как дошел до такой жизни комсомолец, молодой специалист? Что же, он вдруг сразу испортился в нашем учреждении? Здесь присутствуют молодые врачи, товарищи Столбова по учебе в вузе. Вероятно, они сейчас вспоминают его поведение и пытаются подвести базу под этот чудовищный проступок. Не знаю, что они вспоминают, но вот я смотрел бумаги Столбова, различные его характеристики, и передо мной представал образ идеального героя современности: «Скромен,

инициативен, чуток, политически грамотен». В комсомоле он со второго курса института. Хотелось бы мне побывать на заседании комитета, где его принимали в организацию, услышать, о чем с ним говорили, какие вопросы ему задавали.

В зале кашлянул Карпов.

— Что? — сторожко приставил ладонь к уху Дампфер.

— Ничего, — смущенно пробурчал Владька, — погоняли по уставу — и все.

— Вот! — обрадованно воскликнул Дампфер и поднял палец вверх. — Вот, товарищи, что получается! Стоило человеку вызубрить устав, как перед ним открылись двери в организацию Коммунистического союза молодежи. И никого не заинтересовали тогда его подлинные чувства и мысли, его сокровенные взгляды на жизнь. Я не хочу навязывать вам решения сейчас. Я хочу призвать вас к искренности в ваших комсомольских делах.

Дампфер сел было, но сразу же встал снова и отыскал взглядом Максимова.

— Я хочу сказать несколько слов еще об одном комсомольце.

Максимов оцепенел и сжал кулаки.

— О враче Алексее Максимове. Партийная организация знает, что он в связи с этим делом подвергался шантажу и угрозам. И то, что он, именно он, а не кто другой, не побоялся этих угроз и выполнил свой комсомольский долг, меня глубоко, по-человечески обрадовало.

Глаза Дампфера вдруг засветились. На какую-то секунду он застыл в этом необычном для себя состоянии, и Максимов подумал: «Сашка будет таким в старости».

Потом Дампфер прикрыл глаза и загасил свет. Алексей усмехнулся и шепнул Владьке:

— Воображает, что на меня его проповедь подействовала!

Карпов ничего не ответил и протянул ему какую-то бумажку. Это была записка от Вали, секретаря начальника.

«Мальчики, вас обоих вызывают к пяти часам в отдел кадров. Будут решать вопрос».

…Почему это именно в марте люди любят решать вопросы? Воздух, что ли, на них действует, запах весны? В марте вздыхают и теребят листочки календаря. В марте готовятся к путине и штурмуют первый квартал. В марте подводят итоги и ждут перемен. В марте решают вопросы.

— Ну что ж, товарищ Максимов, даем вам «добро». Что скажете?

— Добро.

— Главный врач говорила, что вы хотите плавать на…

— Да, на теплоходе «Новатор», если можно.

— Понятно, это ведь ваш подопечный. Трофимов, глянь-ка, где у нас сейчас «Новатор».

— «Новатор»… «Новатор»… Так. Вот он. Снялся с Калькутты на Владивосток. Встанет там на малый ремонт.

— Ну, товарищ Максимов, оформляйтесь, получайте подъемные и счастливого плавания!

— Благодарю вас. До свидания.

Спускаясь по лестнице, Максимов вдруг закричал «Иго-го!» и сиганул вниз на площадку через пять ступенек. Кто-то шарахнулся в сторону, кто-то покрутил пальцем у виска, но Алексей, уже окончательно забыв

о своем «холодном спокойствии», мчался к выходу, подмываемый желанием перейти в галоп.

На крыльце здания пароходства на него, гикая, налетел Владька.

Оказалось, что Карпов должен сесть на судно в Мурманске.

На Север поедет один из вас,
На Дальний Восток другой, —

пропел Владька и смущенно посмотрел на друга.

И Максимов, взглянув на него, неожиданно почувствовал боль. Курение вредит здоровью, это верно, но зато как часто мужчин выручают сигареты. Спички, правда, гаснут безбожно.

— Как ты думаешь, дадут нам перед отъездом по недельке за свой счет?

— К Сашке слетаем, верно?! — восклицает Карпов.

Снова вместе

Максимов топтался возле вагона, поглядывая на часы и в толпу. Наконец в конце перрона замаячила знакомая атлетическая фигура с лыжами на плече. Владька весело шагал, напевая студенческий гимн.

Рюкзаки и лыжи свалили на третью полку, поезд тронулся. Максимов вышел в тамбур.

Открыл дверь вагона. Клубы морозного воздуха ворвались в тамбур, окутали его с головы до ног и словно на какое-то мгновение приподняли вверх. Как странно все изменяет скорость! Вот мелькает, уносится назад тонкий ряд осин и березок, а за ними висит солнце, как багровый глаз генерала, принимающего парад. Чуть переведешь взгляд — и уже осины и бе-

резки стоят на месте, а солнце, не отставая от поезда, стремительно рвется сквозь частокол, как свирепый раненый зверь. Поворот головы — в стекле открытой двери весь этот сполох красок: красной, белой, голубой, зеленой, оранжевой, — вся эта взбесившаяся палитра несется куда-то в сторону, влево. На миг кажется, что пространство расходится надвое, как разрываемый платок, а в середине остаешься только ты, неподвижный, грохочущий человек. Но все это только на миг. Человек устроен замечательно: в любую минуту он может увидеть предметы такими, какие они есть. Солнце — это не глаз и не зверь, а звезда средней величины. Земля вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси. Березы и осины стоят на месте, а эти краски, летящие в сторону, — это отражение зимнего заката, нечеткое потому, что стекло покрыто льдом и копотью. Вот поезд действительно перемещается в пространстве со средней скоростью пятьдесят километров в час, а среди четырехсот его пассажиров имеется субъект, размышляющий в этот момент, счастлив он или несчастлив?

Алексей никогда не был счастлив полностью. Все ему чего-то недоставало. Скоро он полетит во Владивосток, потом увидит море, тропики, будет работать (в соответствии с вашими заветами, дорогой отец и учитель Дампфер), писать стихи, заниматься фотографией, мечтать о встречах. Счастье? Да, но Вера… А если бы с Верой все было хорошо, был бы он тогда счастлив? Вряд ли. Нашлось бы еще что-нибудь. Человек не может быть полностью счастлив, потому что он должен идти вперед.

Максимов выбросил сигарету, захлопнул дверь, секунду постоял в красноватом сумраке тамбура и про-

шел в вагон. Он увидел, что возле их мест толпится народ. Слышался рокот гитары. Карпов пел «Парня с Петроградской стороны». Рядом с ним сидела проводница, толстая девушка с льняными волосами и голубыми глазами.

— Макс! — крикнул Владька. — Обрати внимание на это дитя фиордов. Поморка! Северная девушка! Сольвейг, а?

— Ой, да ну вас! — Девушка вспыхнула и убежала.

…На полустанке не было платформы, и ребята, навьюченные рюкзаками, с лыжами в руках, стали прыгать вниз, как десантники из самолета. Из вагона им махали и кричали новые приятели — шахтеры из Донбасса, завербованные на Шпицберген. Тут же стояла с желтым флажком проводница. С грустью она смотрела, как выпрыгивают, даже не обернувшись, веселые попутчики. Вот так всегда.

Поезд пролязгал, простучал, сунул голову в лес, вскрикнул на прощание, вильнул хвостом и исчез. Мела пороша. Друзья огляделись по сторонам. Близ бревенчатого станционного здания сгрудилось десятка три избушек, над трубами которых трепались сизые клочья дыма. Горизонт был зубчатым: вокруг во всем великолепии стоял хвойный лес. Накатанная колея пряталась в нем.

Друзья надвинули шапки, положили лыжи на плечи и пошли к станции, скользя в своих тяжелых ботинках. С грохотом они ввалились в буфет и разбудили продавца, дремавшего за прилавком. Из-под халата у него выглядывала засаленная телогрейка, в недельной щетине слабо мерцали глазки. Буфет был засижен му-

хами. За стеклом стояло несколько бутылок шампанского, валялись две-три банки консервов.

— Откуда и куда, люди хорошие? — подозрительно мигнул буфетчик.

— Мы, дед, с Частой Пилы, — ответил Максимов.

— А-а… Ну, как там?

— Чего?

— С промтоварами как там у вас?

— Блеск! Вот что, дед, вскипяти-ка нам чайку и отвесь полкило колбаски. Автобус на Круглогорье когда будет?

Буфетчик объяснил, что автобус будет не раньше чем через час, постоит здесь с полчасика и потом только тронется в обратный путь.

— Шассейка у нас никудышная. А в Круглогорье, граждане, хорошо. И масло вам, и сахар! Все через нас и мимо нас к ним идет. Строительство там.

Ребята решили идти на лыжах вдоль «шассейки» до тех пор, пока их не нагонит автобус.

…Они шли уже больше трех часов, а лесу все не было конца. Торжественно нависали над лыжней ветви елей. Ели, ели… Могущественное племя в богатых зеленых шубах с белыми выпушками, а среди них, как бедные родственники, зябкие осинки и березки. Временами в лесу попадались впадины, на дне которых угадывались замерзшие ручьи. Тогда лидер Владька Карпов усиливал темп, отклонялся в сторону и начинал крутить слалом.

Алексей, который ходил на лыжах гораздо хуже Карпова, уже порядком устал от бега, от тишины и заскучал от безлюдья, когда на фоне сплошной хвои

мелькнула красно-желтая табличка автобусной остановки — визитная карточка прогресса.

— Все! — сказал Максимов и воткнул палки в снег. — Пусть занесут меня метели. «А жене скажи слова прощальные». — С добрым чувством он облокотился о столб. Столб был срублен, обтесан и врыт в землю людьми. Они, наверное, галдели и дымили махоркой, когда проделывали это.

— Притомился, витязь? — спросил Карпов. — Ну, ладно, поищем жилья. Раз тут остановка, значит, должно где-нибудь быть жилье.

— Чую запах! — по-сусанински завопил Максимов и добавил деловито: — Дымком потягивает. Щами.

— Селедочкой! — простонал Карпов.

— Перцовкой! — гаркнул Максимов.

— А может, тут резиденция этого… знаешь, с рогами, с хвостиком?

— Душу заложу! — рявкнул Алексей.

Из-за поворота дороги показался грузовик с крытым кузовом. Он шел медленно, погружался в ухабы и выныривал из них, как катер в тяжелых волнах. Ребята замахали перчатками и палками. Поравнявшись с ними, водитель открыл дверцу и молча уставился.

— Вы не в Круглогорье? — спросил Максимов.

— На Стеклянный я. — По лицу водителя было видно, что в нем борется любопытство с мужской суровостью.

— Эх, жаль!

— А чего? Залазьте, подброшу.

Он вылез из кабины, потоптался в снегу и потом, когда ребята уже взгромоздились в кузов, равнодушно спросил:

— Агитпробег, что ли?

— Нет, мы врачи.

— Ага, — сказал шофер так, будто теперь для него все стало ясно, как будто он привык видеть врачей, передвигающихся попарно в лесу на лыжах.

Грузовик начал карабкаться по ухабам довольно резво. Ребята катались на каких-то мешках и стонали от смеха. Вдруг машина покатила ровно. Карпов подполз к заднему борту и увидел внизу огромный карьер, желтые отвалы песка, копошащихся людей, грузовики, бульдозеры…

Машина мчалась с бешеной скоростью и через полтора часа въехала в поселок. Остановилась. Появилось розовое лицо водителя с сигаретой в зубах.

— Станция «Вылезай», — сказал он. — Вам к Саше, что ли?

— Что?

— Ну, к доктору нашему, что ли, в больницу?

— Вы его знаете?

— Кто его не знает!

Ребята попрыгали вниз.

— Тут близко. Советую по льду срезать. В березовой роще больница.

Максимов протянул ему четвертную. Водитель покосился на деньги, выбросил окурок и зашагал к машине.

— Эх, медицина! — протянул он как-то разочарованно.

Алексей хмыкнул, покрутил ассигнацию и почему-то сунул ее в карман Владькиной куртки.

Над Круглогорьем небо было чистым. Лишь маленькие, узкие тучки, как лодки, стремительно мчались по небу, словно пытаясь догнать сдвинутую к северу тяжелую армаду. Крепкий ветер господствовал здесь, шу-

мел в проводах, клонил ели и веселил людей. Солнце висело за старенькой церковкой, делая ее загадочной. Косые лучи освещали крутобокий холм-погост, на котором крестики были словно вырезаны из фольги, словно дрожали на ветру.

Ребята пошли по мосткам, с интересом поглядывая по сторонам и вызывая любопытство редких прохожих. На них оборачивались, шептались за спиной, а когда они скатились на лед озера, к обрыву набежала кучка ребятишек.

…В этот час Зеленин выехал на лыжах на лед. Эти одинокие прогулки стали для него системой, но каждый раз, скатываясь с берега, он испытывал острую тоску. Прошло уже больше месяца после отъезда Инны, а он все еще не мог примириться со своим одиночеством. Теперь все: квартира, книги, клуб, лыжи — напоминало ему о жене, словно он прожил с ней большую жизнь. Работал он в это время как-то механически, с друзьями встречался редко и больше старался остаться один, для того чтобы вспомнить еще какое-то слово, какой-то жест, какой-то взгляд. Опять пошли письма и телефонные разговоры, эти жалкие суррогаты близости. Он похудел, беспрерывно курил, подолгу сидел в тишине, мечтал, вспоминал.

Вот и сейчас, скользя по накатанной лыжне, он смотрел себе под ноги, а видел желтые Иннины лыжи с черной каймой. Он остановился, снял шапку и подставил лицо ветру.

Двое людей с лыжами на плечах двигались по льду вдоль берега. Зеленин стоял в тени, а эти двое шли по кромке золотого сияния и отбрасывали длинные тени. Это молодые люди: они идут легко. Это веселые люди: один хлопнул другого по спине, тот на мгновение присел, будто корчась от смеха. Это не местные люди:

слишком «мастерский» у них вид (узкие брюки, кепки с длинными козырьками, канадки). Это… Зеленин испустил вопль, подбросил высоко вверх малахай, не поймал его и помчался вперед.

…Карпов встал, поправил воображаемый галстук, одернул воображаемый фрак, щелчком сбил с плеча пылинку и произнес спич:

— Дорогие сэры! Ты, высокочтимый наш хозяин Александр Круглогорский, и ты, Алеша Попович, солнце Частой Пилы и гроза амбарных вредителей, и я, ваш скромный слуга, благороднейший из благородных, храбрейший из храбрых, именуемый в народе Владиславом Безупречным! Заткнись, Леха! Сейчас я предлагаю вам проявить самопожертвование и героизм и отвлечь свои алчные взоры от этого исторического стола, заваленного окороками, омарами и кильками, заставленного бургундским и кахетинским. Я предлагаю вам, сэры, устремить свои взгляды в прошлое, а равно и в будущее, дабы… Дашь ты договорить, плебей, или нет?

— Заткни фонтан! — угрожающе проворчал Максимов.

— Ребята, выпьем за дружбу, — тихо сказал Зеленин и встал.

— Виват! — закричали все разом, и каждый подумал, как хорошо, что Сашка снова пришел на выручку и без дымовой завесы шутовства сказал то, о чем думал каждый.

…Зеленин тихо рассказывал Максимову о своей жизни. Карпов вышел на улицу прохладиться.

— …Ты был прав в одном, Лешка, — говорил Александр, — нужно жить в полную силу, выжимать мак-

симальное число оборотов. Но главное в том, куда направить свою энергию. Не скажу, что для меня уже все ясно, но я понял, что всегда буду жить среди людей и для людей. Эти месяцы были для меня вроде эксперимента. Ты смеешься?

— Нет, — ответил Алексей.

— Понимаешь, я грущу сейчас, тоскую по Инне, но временами вздрагиваю, как в ознобе, от ощущения счастья. Не могу объяснить тебе. Тебе это особенно трудно объяснить. Ты, наверное, снова начнешь издеваться над шелухой высоких слов. А другими словами я не могу этого передать.

— Напрасно ты думаешь, что я буду смеяться. Я тоже экспериментировал все это время, но по-другому. И теперь, кажется, начинаю с опозданием на десять лет усваивать азбучные истины. Цинизм — удобный щит, Сашка, от него трудно отказаться. Но, видимо, у каждого наступает такое время, когда он понимает, что нельзя оставаться небокоптителем. А ты счастлив оттого, что вошел, как болт, в эту хитрую машинку — жизнь. Правильно я понял?

— Да! — воскликнул Саша. Он был радостно поражен словами друга. Кажется, Лешка набил-таки себе шишек, блуждая. — Как я счастлив, Алексей, что ты все понял!

— Перестань! — резко оборвал его Максимов. — Я не понял еще всего и вряд ли пойму. Временами меня охватывает жалкая паника.

— Это у всех бывает, — глухо ответил Зеленин, — но ведь у нас же есть, понимаешь ли, мужество!

— Зачем нам это мужество? Зачем нам всем наши замечательные качества? Есть у Франса в «Восстании ангелов» такое… Кто-то зажигает спичку, смотрит на

огонек и думает: может быть, в пламени этом миллионы галактик, несметное число звезд и планет, где расцветают и гибнут цивилизации, где проходят миллионы лет? Через секунду спичка гаснет, и в этих мирах разражается космическая катастрофа. Слышишь, Сашок? Это так непонятно, что руки опускаются.

Неожиданно Максимов услышал смех. Сначала неуверенный, хрипловатый, а потом раскатистый.

— Ой, Лешка, — задыхался Зеленин, — ну тебя к черту! Что же ты предлагаешь, чтобы все жители Земли тихонько легли, созерцали свой пуп и вздыхали над тайнами бытия?

Впервые в жизни Сашка попытался высмеять Максимова. Это было невероятно, но тот только виновато кашлянул и сказал:

— Конечно, чушь. Я сам понимаю. Глупо, смешно и до предела эгоистично. Но что делать?

Послышался голос Карпова:

— Эй, жалкие бюргеры! — Он вошел и бесцеремонно зажег спичку. — Бюргеры! Улеглись в такую ночь!

— Что ты предлагаешь? — деловито спросил Максимов.

— Я предлагаю легкой кавалькадой промчаться по окрестным весям и спеть серенаду Снежной Королеве. А потом рыбку в проруби половить.

— Дельная мысль! — воскликнул Алексей и начал одеваться.

Ночь была сказочной, густо намалеванной чуть подсиненными белилами на черном фоне. Она ударила им в глаза, когда они выбежали на крыльцо, и потянула за ноги в свою глубину. Спустя минуту глаза привыкли и различили абстрактный орнамент лунно-

го света на снегу, мелкую россыпь звезд, контуры домов. Максимов втянул носом воздух, почувствовал необъяснимый, таинственный запах весны. Он ощутил глубину ночи и необъятность Земли, близость весны, близость любви и дальней дороги, ощутил свою молодость и силу.

Коллеги

Утром, в одиннадцать часов, когда они сидели за завтраком, зашел Зеленин. Он поднялся, как обычно, в семь часов и уже закончил обход больных.

— Привет, — сказал он. — Что собираетесь делать?

— Как что? Поедем кататься.

— Завидую! А мне на прием идти.

— Ну-ну, — буркнул невыспавшийся Карпов.

Саша смущенно потоптался, кашлянул и вздохнул.

— Очень интересные есть у меня больные, — промямлил он.

— Владя, передай-ка мне масло, — сказал Алексей.

— Такие сложные больные, вы себе не представляете!

— Что это там, шпроты? Давай сюда!

— Уверен, что любой стоящий врач заинтересовался бы этими больными.

— Шпрот, товарищи, любит, чтобы его ели с маслом.

— Вот, например, Иван Климаков. Очень странный анализ мочи, а клиники почти никакой.

— Налей-ка мне чаю, Владя, только покрепче.

— Очень странная моча, — безнадежно вздохнул Саша.

— Слушай, хозяин! — возмущенно сказал Карпов. — Может быть, теперь, к чаю, скажешь несколько слов про дизентерию?

— Чего ты хочешь, рыцарь? Говори прямо, — сказал Алексей.

— Я думал, — нерешительно протянул Саша и вдруг, будто набравшись храбрости, зачастил: — Может быть, посмотрим больных вместе, а, ребята? Так сказать, консультация столичных специалистов. Ты, Леша, как эндокринолог, ты же делал успехи в этой области, а Владик как высококвалифицированный хирург и уролог.

— Как вам нравится эта наглость?! — воскликнул Карпов. — «Леша», «Владик» — тон-то какой! Я расцениваю это как попытку зверской эксплуатации заезжих туристов.

— Это не совсем так, друзья, — протянул обескураженный Зеленин.

— А по-моему, это забавно, — проговорил Максимов.

— Конечно, — обрадовался Саша, — это же страшно весело! Значит, договорились?

— Как с оплатой? — подмигивая Алексею, спросил Владька.

Саша растерянно заморгал.

— Оплата? Конечно, оплатим. Я не подумал об этом. — И, поняв шутку, в тон Владьке ответил: — Что-нибудь придумаем, проведем по безлюдному фонду.

Владька захохотал:

— Люблю я этого дурака Сашку Зеленина.

По поселку были разосланы сестры и санитарки собирать больных. Вскоре в амбулатории образовалась небольшая очередь «сложных случаев». По дороге ре-

бята еще немного поворчали что-то насчет «пауков, таящихся в глуши и затягивающих в свои сети…», но, придя в амбулаторию и увидев больных, стали серьезными. Тут дело уже было нешуточным — медицина есть медицина. Они разобрали халаты и уселись за столы. Карпов некоторое время ошарашенно смотрел на Дашу, но потом вздохнул и взялся за истории болезней. Максимов лихорадочно перебирал в уме свои познания по эндокринологии. Во время работы в порту он меньше всего думал об этом.

Зеленин был счастлив. Он называл друзей по имени-отчеству, обстоятельно докладывал о больных, высказывал свои суждения и почтительно замирал, когда Владька или Алексей начинали обследование. Потом пришло увлечение. О каждом больном спорили до хрипоты. Многое прояснялось для Зеленина. Ум хорошо, а три — лучше.

Всех сложных больных из поселка они разобрали в тот же день. Зеленин наметил дальнейшую программу: втроем они обойдут на лыжах окрестные колхозы, лесные командировки и строительства.

— Мы будем сочетать приятное с полезным, — сказал он.

— Диагностические набеги, — засмеялся Максимов.

На третий день после приезда в Круглогорье они возвращались с дальнего Гим-озера. Они шли по своей же лыжне и потому развили хорошую скорость. Карпов, как всегда, возглавлял, остальные двигались за ним в одном темпе, в точности повторяя взмахи его рук и стремительный шаг. В лесной тишине слышалось только поскрипывание лыж, креплений и дыхание людей. Все чаще в стене леса мелькали голубые прорези, и вот лыжники вынеслись на голый крутой

холм, под которым в зябком свете ежилось Круглогорье. Огромное снежное пространство окружало поселок — крохотный пятачок. Друзья сгрудились на вершине холма и остановились. Страшновато было сразу, не подумав, бросаться под такой уклон.

— Пари, что не свалюсь! — предложил Карпов. Зеленин тронул Максимова за плечо:

— Лешка, действует на тебя это?

— Что это?

— Вот это, Русь северная?

Максимов пожал плечами и усмехнулся:

— Ты же знаешь меня, брюзгливого горожанина, поклонника мокрых переулков и модернизированных пивных.

— Ну посмотри на это! — Зеленин палкой показал в сторону.

На соседнем холме стояла церковь. Высокие белые стены ее с проступающей кое-где красной сеточкой древней кирпичной кладки строго поднимались вверх гладкими полосами и лишь на самом верху украшались скупыми разводами. У Максимова захватило дух. Он ощутил малознакомый гул в душе, какой-то древний призыв, и словно воочию увидел осатаневших от борьбы за жизнь лапотников, воинов с прямыми прядями волос и женщин с провалами черных глазниц, поднимающихся на холм, чтобы броситься в ноги своему строгому Богу.

— Ты слаб в коленках, Макс! Смотри! — сказал Владька и скользнул вниз.

— Что скажешь? — Зеленин взглянул Максимову в лицо. — Зябко стало? Какая гармония, правда? А ты бы видел роспись внутри!

— Да, — проговорил Максимов, — сила! А такие детали на этом фоне тебе не кажутся лишними? — спросил он и показал в сторону Стеклянного мыса, где желтела горстка бараков и поднимались над лесом три башенных крана.

Зеленин засмеялся:

— Чудак! Приезжай сюда через три года, посмотришь, каким станет край.

— Через три года? Ладно, заеду.

«Через три года, — подумал он, — ты сам, рыцарь, забудешь эти благолепные места. Три года! Поступишь в аспирантуру — и все…»

Глубоко внизу махал рукой крошечный Владька. Саша тоже подъехал к краю. Алексей еще раз взглянул на церковь. Не хочется съезжать с холма, не хочется расставаться с простором и простотой. Он окинул взглядом горизонт, и ему стало досадно оттого, что он не увидит этот край весной, летом и снова зимой. А через три года? Кто знает…

Вечером они сидели в столовой. Алексей и Сашка играли в шахматы. Владька, сидя на полу возле печки, настраивал гитару и бурчал что-то себе под нос.

— Давайте хоть в кино сходим, — сказал он.

— Сегодня в клубе танцы, — пробормотал Зеленин. — Это то, что осталось, и то, что уходит, цепляясь и брызгая слюной.

Максимов кивнул. Он именно на такой ответ и рассчитывал.

— Мы люди социализма… — начал Зеленин, но в это время послышался стук в дверь, и вошла Даша.

— Александр Дмитриевич, с брандвахты прибежали… Да, кажется, начались…

Зеленин сразу же стал задергивать «молнию» на куртке.

— Ах, черт, — пробормотал он. — Ах, черт, надо бежать!

— Куда?

— Да на брандвахту, нелегкая ее возьми! Роды начались у одного матроса. Что ты ржешь? Ну, женщина-матрос. Поперечное положение плода. Понимаете?

— А почему же ты ее в больницу не положил? — спросил Карпов.

— Отказалась. Муж не пустил, дубина этакая!

Он вышел вместе с Дашей, зашел в больницу за сумкой и договорился с сестрой, что она тоже придет на брандвахту, как только закончит раздачу лекарств и процедуры. Нахлобучил ушанку, перекинул сумку через плечо и вышел во двор. На земле уже лежали сумерки, а небо разливалось томительной зеленью. Над головой первая звезда словно шевелилась от легкого морозного ветерка. Зеленин на миг задержался, посмотрел в небо и почему-то вспомнил блоковский город, охваченный тревожным ожиданием таинственных кораблей. Он вздохнул и увидел, что на крыльце флигеля, широко расставив ноги, стоит Максимов.

— Ты что, Макс?

— Сашка, хочешь, я с тобой пойду?

— Думаешь, я сам не справлюсь?

— На всякий случай, а? И веселее будет…

— Спасибо, Лешка, ты лучше отдохни: завтра марш-бросок на Журавлиные.

— Давай-ка пойдем вдвоем, Саша, знаешь…

— А, перестань! — махнул рукой Зеленин и потрусил к воротам.

Максимов вернулся в столовую. Владька сидел на тахте, покуривал.

— Дней через десять, — сказал Алексей, — мы будем уже далеко друг от друга.

Он подошел к приемнику, включил его, пошарив на длинных волнах, нашел Москву. Звуки большого зала вошли в комнату. Отчетливо слышалось покашливание и хлопанье стульев.

— Начинаем заключительный концерт фестивального конкурса. Выступают участники студенческой самодеятельности города Москвы…

Пауза.

— Студентка Московского университета Инна Зеленина исполняет ноктюрн Шопена.

Максимов ахнул, Карпов вскочил.

— А Сашка-то, Сашка… Проклятие!

— Тише!

Удар ножа

Зеленин подходил к пристани. Безлюдная, преображенная толстыми сугробами, она была печальна. Метрах в пятидесяти от берега темнели тела барж, находившихся во льдах на зимнем отстое. Он решил пойти кратчайшим путем, мимо складов, выбраться на озеро и по протоптанной на льду тропинке добраться до брандвахты.

Вокруг стояла настолько плотная тишина, что казалось, уши заложены ватными тампонами. Чтобы рассеять это ощущение, Зеленин начал прислушиваться к скрипу снега под ногами и неожиданно различил посторонний звук. Это был храп. Сторож Луконя сидел, завернувшись в свой могучий тулуп, возле стены од-

ного из складских зданий. Голова его бессильно свисала набок. Открытый рот чернел среди серой бороденки, как нора.

— Опять поднабрался, — подумал вслух Зеленин. Он хотел разбудить Луконю, но, решив, что тот все равно сразу же заснет, прошел мимо и свернул за угол. И тут он снова услышал звук — вороватый стук железа по железу. Это был звук активной преступной жизни. Звук трусливый и в то же время угрожающий — не подходи! Зеленин ускорил шаги и увидел у дверей склада две копошившиеся фигуры. В желтом пятне фонарика — огромный висячий замок.

«Я иду на вызов, меня ждет роженица», — подумал он, вздрогнул, почувствовав свое одиночество, и гаркнул:

— Стой!

Темные фигуры бросились в разные стороны. Одна юркнула за угол склада, другая метнулась к озеру и скатилась под обрыв. Не отдавая себе отчета в происходящем, Зеленин побежал за этим вторым. Гнаться было трудно: ноги увязали в снегу. А тот уже выбирался на голый лед.

«Все равно уйдет, — подумал Зеленин. — Лучше пойду на брандвахту, а оттуда пошлю кого-нибудь в милицию».

Но в это время фигура впереди остановилась, обернулась. Лунный свет сделал ее рельефной. Александр узнал четырехугольные плечи и бычий наклон Федьки Бугрова. Федька всмотрелся, потом чиркнул спичкой, закурил и спокойно пошел на Зеленина.

«Поперечное положение — дело не шуточное. Надо повернуться и бежать на брандвахту. Не мое дело — бандитов ловить».

Зеленин зачем-то дрожащими пальцами туже затянул шарф, глубоко, до самых последних бронхов, вдохнул в себя морозный воздух и пошел навстречу Федьке.

— Стойте, Бугров! — сказал он, когда они сблизились. — Сейчас я вас передам сторожу.

— Да ну? — буркнул Федор и вздохнул. — Ничего не поделаешь, придется подчиниться.

Он сделал еще шаг к Зеленину, дохнул сивушно-табачным перегаром и с размаху ударил его по виску. Подбежал, ткнул упавшего сапогом в лицо и отскочил. Зеленин беспомощно ворочался на снегу. В глазах его колыхался красный туман. Откуда-то сверху, с края пропасти, донесся до него голос:

— Это тебе, вонючка, за польки-кадрили. А сейчас вставай и беги. Нашепчешь кому-нибудь — задавлю, как клопа.

Зеленин встал. Пошел на Федьку. Тот сделал шаг назад, взвизгнул:

— Уйди! Уйди от греха!

— Врешь, негодяй! — прошептал Саша.

Ударил Бугрова в лицо. И сразу же они одним бешеным, хрипящим клубком покатились по снегу. Улучив момент, Федька ногой отбросил Сашу от себя. Оба вскочили.

— Беги! — завопил Федька.

Александр снова, вытянув руки, как пьяный, пошел на него. Федька пригнулся к голенищу и метнулся вперед с финкой в правой руке.

Зеленин немо открыл рот, схватился за живот и в последний миг перед падением вытянулся, как струна. Из глубины его тела поднималось и закрывало все огромное красное облако. Прошла в мозгу медленная мысль: «Атомная бомба, что ли?» Зеленин упал. Красный дым

клубился, конденсировался, ходил волнами. И вдруг появились и с бешеной скоростью полетели вниз фотоснимки, множество фотоснимков: Инна, мама, отец, друзья. Он пытался поймать хоть один из них, но тут схлынули красные волны. Появилось темно-синее небо. Звезды шевелятся. Тропики? Море, белые пляжи, пальмы… Сухуми, что ли? Радио… Да, громкоговорители на набережной. Трансляция концерта. Виолончель. Кого это она оплакивает? Уж не его ли? Уж не его ли самого, не его ли молодость, не его ли прощание с землей?

Потом небо почернело, стремительно снизилось и прихлопнуло его.

…Луконя так и не понял, отчего он проснулся. Зевнул. Прошелся вдоль склада, обогнул его. Высморкался на снег, посмотрел на озеро. Там, на льду, баловали два подгулявших парня. Луконя заинтересовался.

— Ишь ты, ишь ты! — пробормотал он.

Один из парней упал. Другой склонился над ним, потормошил и вдруг бросился прочь. Он понесся большими прыжками. Падал, полз и снова бежал. А второй лежал неподвижно.

— Ну и дела! — закричал Луконя, снял с плеча ружье и скатился вниз.

Глава 11
Убили Сашу!

Ночь хороша светом далеких окон. Человек может в одиночку бороться за свою жизнь, но он должен знать, что в глубокой ночи далекие теплые окна ждут его. Иначе зачем бороться? И, погибая ночью, хрипя и вы-

плевывая кровавый снег, человек посылает последнюю искру гаснущего сознания к светящимся окнам, к окнам матери, брата, любимой, к окнам друзей, к теплым окнам всего мира.

В тот час, когда Зеленин дрался с Федькой, его друзья продолжали слушать радио.

— Жалко, что Инна играла без Сашки, — сказал Максимов.

— Так ведь он же сегодня дежурный, — возразил Карпов.

— Он тут каждую минуту дежурный!

Владька тронул струны и запел, и сейчас же Алексей закурил сигарету. Сразу же обняла их знакомая грусть, возникло предчувствие разлуки и еще какая-то чертовщина: то ли посвист какой-то степной, то ли запах весны. Шапку на затылок! Не трогайте меня, оставьте в покое — я ухожу! В поле ухожу, и на шоссе, и дальше через болото в горы, к морю. Буду «голосовать» на дорогах, и ставить паруса, и голодать, и знакомиться с каждым встречным, и встречать девушек. Оставьте же меня!

Подари на прощанье мне билет
На поезд куда-нибудь.
Мне все равно, куда он пойдет, —
Был бы лишь дальний путь.

Когда затихают жаркие споры о будущем и о смысле жизни, когда застегиваются мундиры и пиджаки и похмелье в латаных валенках начинает бродить из угла в угол, кто-нибудь берет гитару, поет низким баском, и снова все присутствующие чувствуют себя молодыми и готовыми на все.

Ах, не знать бы мне губ твоих, рук,
Не видать твоего лица.
Мне все равно, где север, где юг,
Был бы лишь путь без конца-а-а-а…

Последнее слово Карпов шутовски затянул, словно пытаясь ослабить впечатление. Потом он искоса посмотрел на друга. Тот сидел с отсутствующим видом, и только легкая тень смущения на его лице говорила о том, что он ему благодарен за эту песню.

Они сидели и горланили, перебирали студенческие песни, старинные и новейшие, когда вдруг захлопали одна за другой все двери. В клубе морозного пара в комнату вбежала Даша Гурьянова.

— Александра Дмитриевича!.. — крикнула она и остановилась. В исступлении закрыла рот руками, качнулась и осела на пол.

Карпов сразу же перемахнул через стол. Максимов тоже подбежал к девушке.

Даша открыла глаза и прошептала:

— Убили Сашу…

…Ни на одном кроссе они не бегали быстрее. Они бежали молча, охваченные злобой и надеждой. Узнать как можно скорее, что эта нелепая весть — брехня! Что Сашка жив и здоров или хотя бы ранен, но только не мертв! Только не мертв! Они бежали, даже не замечая того, что темные улицы поселка пришли в движение, что тут и там двигались люди, прыгали дымные круги ручных фонариков.

Возле складов глухо шумела толпа. Друзья врезались в нее с налета. Тело Зеленина лежало на куче тулупов и телогреек. Тело? А не труп ли? Заострившееся белое лицо с громадным кровоподтеком, с рваной раной на правой щеке, тупо, безжизненно открытый рот.

— Готов доктор, — тихо сказал кто-то вблизи.

— Сашка! — закричал Карпов, упал на колени и, схватив руку Зеленина, стал искать пульс.

— Спокойно! — гаркнул Максимов. — Куда он его пырнул? В голову?

— В живот, — ответили из толпы.

Кто-то посветил фонариком. Максимов увидел залитую кровью прореху на зеленинском пальто. Мелькнула мысль: «Если бы на нем была моя канадка, может быть, ничего страшного не случилось бы». Алексей встал на колени, расстегнул пальто, куртку и осмотрел рану. Владька сидел на снегу и рыдал.

— Это невозможно, это невозможно! — повторял он.

— Есть пульс? — резко спросил его Максимов. Владька отрицательно покачал головой.

Максимов сам взял руку Зеленина.

— Кажется, есть пульс.

«Какого дьявола Владька закатывает истерику в такой момент? Тоже мне хирург! Но если кто сейчас и сможет что-нибудь сделать, это Владька. Если возьмет себя в руки. Он хороший хирург». Максимов помнит тот день, когда Владьке, единственному из студентов, поручили делать струмэктомию. Круглов тогда сказал, что такие руки, как у Карпова…

«Удивительно, как это мысли разбегаются в такой момент», — подумал Алексей, взял пригоршню снега и вытер лицо. Потом встряхнул Владьку и спросил:

— Диагноз?

Карпов тоже провел рукой по лицу, голосом автомата ответил:

— Проникающее ранение брюшной полости. Должно быть, ранен желудок, вероятно, задета артерия декстра…

— Будем оперировать, — жестко сказал Максимов. Владька вздрогнул:

— Сами? С ума сошел!

— Артерия не задета. Понял? Перестань хныкать: оперировать придется тебе. Подвода есть? — крикнул он. — Ну-ка, мужики, дайте дорогу.

— Есть надежда-то? — хрипло спросили из толпы.

— Да! — яростно воскликнул Максимов.

— Да, — прошептал Карпов.

Филимон бешено настегивал конягу. Бежавшие рядом люди на скользких местах тянули ее за уздцы, толкали сани.

«Куда, к черту, подевались все машины?» — подумал Алексей.

В это время из темноты выступили контуры трех автомобилей. Вокруг них возбужденно махали руками люди. Слышались короткие возгласы:

— В севастьяновской баньке сидит!

— Ружье у него!

— Откуда?

— У Лукони двустволку отнял.

— Возьмем бандюгу!

Неожиданно все три автомобиля зажгли фары. Лучи вырвали из мрака головы, шапки, погоны милиционеров, фосфорическими полосами легли на снег и уперлись в крохотную, кособокую избенку. Толпа начала растекаться цепью.

Максимов вдруг толкнул Владьку:

— Езжайте дальше. Я догоню вас на машине.

— Куда ты?! — ахнул Карпов, но Алексей уже мчался прочь. Он пробежал мимо какого-то инвалида, подбежал к цепи и пошел рядом с другими, с трудом вытаскивая ноги из глубокого снега.

— Сашка-то, а? — сказал ему, сдерживая рыдания, кто-то справа.

Алексей покосился. Лицо идущего рядом парня показалось ему знакомым.

Цепь смыкалась вокруг баньки. Оставалось не больше сотни метров. Неожиданно оттуда бухнул выстрел, и в наступившей после этого тишине резко скрипнули петли двери. Максимов увидел, что из баньки боком выбирается высокая фигура с ружьем в руках. Вот он! Тот, кто оборвал Сашкину жизнь, одним движением руки перерезал глотку его мечтам, чудачествам, планам. Вот, значит, он! Убивший огромный Сашкин мир, искалечивший Инну, смертельно ранивший стариков Зелениных, заставивший плакать по-бабьи Владьку, поднявший на ноги весь поселок! Вот, значит, эта гадина!

Алексей ринулся вперед, сразу обогнал цепь.

«Я его сейчас прикончу, задушу, раздроблю голову! Растопчу эту мразь! Никому не позволю — сам! Боже мой, а Сашке-то от этого будет легче? Легче!»

Он подбежал к Федьке. Тот стоял, качаясь и тихо, натужно рыча. Обеими руками он держал перед собой двустволку, но не как оружие, а скорее как балансир. Лицо его надвинулось на Алексея. Щеки дрожат, глаза моргают, под носом смерзшиеся сопли. Жалкая гадина… Такому мстить? Убить — еще не значит отомстить.

Максимов вырвал ружье, отбросил в сторону, тремя ударами, словно тренируясь на боксерской груше, свалил Федьку себе под ноги и сам в истерике покатился по снегу.

Замелькали над головой ноги. Цепь сомкнулась вокруг Федьки и Алексея.

— Посчитаем ему, ребята, за доктора нашего! — крикнул кто-то.

Кулаки рабочих, грузчиков, лесорубов поднялись над убийцей.

— Стойте! — раздался голос. — Перестань, Ибрагим! Его будут судить.

— Чего там судить!

— Еще не известно, дадут ли высшую!

— Не слушайте Самсоныча, мужики!

— Бей!

— Я не хотел! — закричал Федька, словно очнувшись. — Не хотел убивать!

— Бей его!

Но в круг уже протолкнулся Егоров с милиционерами.

— Спокойно! — закричал Егоров. — Судей вы сами выбирали или нет?

Федьку увели. Ушла, возбужденно галдя, толпа. Максимов растерянно встал на вытоптанном снегу. Он уже начал приходить в себя.

«Молчи! — диктовал он себе. — Лучше скрипи зубами, но не хнычь. Молчи, не говори ни слова. Вытри снегом лицо. Иди. Давай пошевеливайся!»

Возле машины стояли трое, видимо, ждали его. Тот парень со знакомым лицом, и инвалид, тоже до странности знакомый, и какой-то верзила.

— Послушайте, — взволнованно сказал инвалид, — говорят, есть какая-то надежда?

— А мы думали все, крышка! — пробасил верзила. — Шли с Борисом из клуба, вдруг бегут, кричат: «Убили Сашу!»

— Может быть, останется жив? — спросил знакомый парень.

— Быстрее в больницу! — прошептал Максимов и полез в машину.

Ему было стыдно оттого, что он потерял надежду и поддался злобе и отчаянию. Может быть, действительно удастся раздуть огонек жизни, который еще теплится в Сашке? Сколько времени он пролежал на снегу? Ведь он был, в сущности, очень здоровым парнем. Был? Нет, Сашка есть, Сашка будет! Мы еще поборемся.

Настоящие ребята

Гордость Зеленина — роскошная бестеневая лампа, вырванная с таким трудом у снабженцев райздравотдела, — освещала операционное поле ярким ровным светом. Такая аппаратура обычно вселяет уверенность в могущество медицины. Карпов уже стоял возле стола, держа на весу руки, прямой и строгий. Макар Иванович налаживал систему для переливания крови. Даша лишний раз пересчитывала инструменты. Вошел Максимов и занял свое место напротив Карпова.

— Макар Иванович, у вас все в порядке?

— Да.

— Начнем, Макс?

— Давай.

На секунду все четверо подняли головы и обменялись взглядами. На секунду дрогнули лица со сжатыми губами и снова превратились в бесстрастные маски. Каждый словно принял переброшенный от одного к другому канат и намертво закрепил его. Теперь они почувствовали себя альпинистами в одной связке.

Карпов сделал разрез. Брюшная полость была заполнена кровью. Оказалось, что лезвие ножа пересекло веточку крупной артерии и пробило желудок. Карпов взглянул на Максимова:

— Понимаешь?

Максимов молча кивнул.

— Что там? — спросил Макар Иванович. И Даша подалась вперед, напряженная и суровая.

— В двух сантиметрах прошел от артерии декстра, — сказал Карпов. — Лигатуру!

«Может быть, как раз то, что он лежал на снегу, и спасло его, — подумал Максимов, — от холода сжались сосуды… Спасло? Неужели спасен? Неужели мы вытянем Сашку? Держись, рыцарь! Тебя еще нет, ты еще отсутствуешь, но твое тело живет, вокруг него друзья, и ты будешь снова! Спокойно, Владька уже начал ушивать желудок!»

Максимов смотрел на ловкие длинные пальцы — совершеннейший аппарат, — копошащиеся в ране, ловил каждое их движение. Вот он, Владька Карпов, — хирург, спасающий друга! Вот и он — настоящий Алексей Максимов. Вот мы, врачи, — настоящие ребята!

Вдруг Макар Иванович выпрямился, бросился к Сашкиной голове, что-то сделал там.

— Пульса нет, — сказал он. — Зрачки не реагируют.

Кровь прилила Алексею в голову, помутилось в глазах. Он увидел, как задрожали Владькины пальцы, державшие иглу. Он поднял голову и уставился Владьке в глаза. И тот тоже посмотрел на него. Они не двигались.

— Неужели все кончено? — спросила Даша.

Этот вопрос словно вывел их из оцепенения. Максимов сказал:

— Адреналин в сердце. Ты когда-нибудь делал это?

— Нет, — ответил Карпов, — представь себе, не приходилось.

— Мне тоже. Сделаешь?

— Технически это не сложно, но… руки… Сделай лучше ты!

Максимов взял шприц с иглой, нащупал четвертое межреберье. Думал ли он когда-нибудь, что будет прока-

лывать сердце Сашки Зеленина для того, чтобы вернуть его к жизни? Он проколол сердце и ввел адреналин.

— Появился пульс, — шепнул старик.

Стали ждать.

— Пульс становится лучшего наполнения, — подавляя возбуждение, сказал старик.

— Введите теперь под кожу.

— Есть!

Движения всех четверых стали еще более четкими. Внезапно забеспокоилась Даша. Несколько раз она тревожно посмотрела на лампу.

— Макар Иванович, который час?

— Без четверти двенадцать.

— Ой!

— Что такое?

— После двенадцати у нас электричество горит вполнакала.

Карпов озадаченно взглянул на нее. Работы было еще по меньшей мере на полчаса.

— Ничего, зажжем керосиновые лампы, — сказал старик.

Но и после двенадцати свет продолжал гореть ярко. Люди, для которых сейчас весь мир замкнулся в операционной, не знали, что вокруг ходит, смотрит с надеждой внешний мир. Поселок не спит. Темные фигурки собираются кучками, смотрят туда, где за березами светится цепочка больничных окон.

У крыльца больницы дежурит автомобиль. Мотор периодически прогревается. В дежурке у телефона курит Егоров. На подстанции прогуливается Тимофей, зверски поглядывая на обслуживающий персонал. Звонят со Стеклянного мыса — не надо ли чего? Звонят из районной больницы — выехал главный врач. Звонят с лесозавода, с соседнего аэродрома… Идут в тем-

ноте лыжники, трусят лошадки, рычат, карабкаясь по ухабам, грузовики. Взбаламучена вся мартовская ночь.

— Все! — сказал Карпов, отошел от стола и посмотрел на лицо Зеленина. Оно по-прежнему было бледным, как матовое стекло, но какие-то еле уловимые приметы говорили, что это уже лицо не трупа, а просто тяжело больного человека.

Они гуськом вышли из предоперационной и прошли в дежурку. Тяжело стукнул костылем Егоров, вскочил Борис. Они не сказали ни слова, но глаза их кричали громче всех голосов. Теперь Максимов узнал Бориса. Улыбнулся ему:

— Подумай, как будешь ставить Сашке блок. Это не так-то просто.

— Ну?! — воскликнул вместе с Борисом и Егоров.

Врачи молча, со странными улыбками сели. Пустили по кругу пачку сигарет. Закурили, стараясь не глядеть друг на друга. Поняли и замолчали Борис и Егоров. Трудно сказать что-нибудь связное после того, что произошло этой ночью. Максимову даже казалось, что усталость, сразу навалившаяся ему на плечи, вызвана тем, что он сказал несколько ободряющих слов знакомому волейболисту. Ободряя другого, ты сам надеешься. А что все-таки ждет их завтра утром? Так или иначе, они прошли сквозь ночь. Сегодня они впервые побывали там, на рубеже жизни и смерти. Вели там бой и вернулись усталые, опустошенные и в то же время наполненные чем-то новым. Теперь Сашка должен бороться сам. Они все рядом, все настороже, но он должен и сам побарахтаться. Почему они молчат? От усталости? Нет, в них должно перебродить первое ошеломление от величайшего в их жизни события. Эта ночь не забудется никогда. Они прошли ее насквозь и нашли самих себя. Наконец-то все стало ясным. Спасая

друга, они поняли свое назначение на земле. Они — врачи! Они будут стоять и двигаться в разных местах земного шара, куда они попадут, с главной и единственной целью — отбивать атаки болезней и смерти от людей, от веселых, беспокойных, мудрых, сплоченных в одну семью существ. Все остальное второстепенно. Они — врачи! Год назад им сказали об этом, но они все еще воображали себя просто молодыми парнями.

— Где это я вас видел? — прищурился на Егорова Максимов. Тот хлопнул его по спине и улыбнулся:

— Завтра я вам напомню. Сейчас нужно отдыхать.

Все еще впереди

Морозный, дымный рассвет смотрел в окна. Максимов, сгорбившись, сидел у кровати Зеленина и смотрел на его лицо. Казалось, оно порозовело. Или это только отсвет восхода? Во всяком случае, дыхание ровное, пульс 64, давление 100 и 60. «Наши шансы растут, а? Сашка, ты молодец! Мы еще с тобой пофилософствуем, побродим еще по Петроградской стороне! Поиграем в волейбол, поплаваем вместе. Посмеемся и погрустим, сходим не раз в кино. Встретимся через три года или гораздо раньше. Будем писать друг другу письма и посылать фотокарточки. Все еще у нас впереди…»

Максимов встал и подошел к окну. Морозные узоры кустиками поднимались вверх по стеклу, но закрывали только нижнюю его половину. Был виден далекий берег озера, над которым висело солнце. На льду перемешались розовые и голубые тени. Скоро начнет таять. Придет весна, похожая на сотни других весен, но все-таки чем-то отличающаяся. Это закон, постоянный круг. Раньше, в прошлые годы, века, жили Максимовы

и Зеленины, похожие на них, теперешних, но все-таки другие. Сейчас живут они.

А после них будут другие, похожие на них, но другие. И нужно, чтобы те, новые, временами вспоминали о них. Тогда… тогда не будет страшно. Надо все делать для того, чтобы нас вспоминали. Не персонально Максимова, а всех нас. Сашка прав: нужно чувствовать свою связь с прошедшим и будущим. Именно в этом высокая роль человека. А иначе жизнь станет зловещей трагедией или никчемным фарсом. Не нужно бояться высоких слов. Мы смотрим ясно на вещи. Мы очистим эти слова. Сейчас это главное: бороться за чистоту своих слов, своих глаз и душ. А на старье — в облаву!

Максимов вспомнил кособокую избушку, освещенную фарами автомобилей, ссутулившуюся фигуру убийцы и цепь, окружающую его. Вот они, рабочие, грузчики, лесорубы, шоферы, милиционеры, идущие в атаку на старый мир! На мир, где в дело пускались ножи, где жизнь не стоила и копейки, где людей сжигали мрачные страсти. Мы идем, мы все в атаке. Мы держимся рассыпанной по всему миру цепью. Мы атакуем не только то, что вне нас, но и то, что у нас внутри поднимается временами. Уныние, неверие, цинизм — это тоже оттуда, из того мира. Это еще живет в нас, и временами может показаться, что только это и живет в нас. Нет. Потому мы и новые люди, что боремся с этим, и побеждаем, и находим свое место в рассыпанной цепи. Максимов повернулся и увидел, что в дверях стоят Владька и Даша и еще какие-то люди.

— Иди спать, Макс, — сказал Владька, — мы тебя сменим.

Алексей встал в ногах у Зеленина и посмотрел на его лицо.

И вдруг он увидел, что Сашка смотрит на него.

— Лешка, — сказал Зеленин, — ну что там со мной?

Максимов вцепился в спинку кровати и сказал хрипло:

— Пустяки. Ты жив.

Подошли Владька и Даша. Зеленин повел взглядом и улыбнулся:

— О, да вы все здесь! Привет, ребята!

— Привет! — сказал Владька.

— Саша! — сказала девушка.

— А как на брандвахте?

— Не волнуйся, Макар Иванович успел принять роды.

Зеленин кивнул, закрыл глаза и снова открыл их.

— Вы, конечно, не слушали концерт из Москвы? Там Инна…

— Слушали, — сказал Владька. — Да перестань ты болтать! Нельзя!

— Я хотел вам сделать сюрприз, — продолжал Зеленин, — а сам так и не услышал.

— Можно послать заявку на радио, — сказал Максимов, — пусть прокрутят пленку. Наверняка они записали.

— Конечно, записали такую игру! — проговорил Владька.

— Правильно! Так и сделаем, — прошептал Зеленин и закрыл глаза.

— Заявку от моряков из Тихого океана, — сказал Максимов.

— И с Баренцева моря, — сказал Карпов.

— И от жителей Круглогорья, — вставила Даша.

— И от рабочих Стеклянного мыса, — пробасил стоящий в дверях Тимоша.

1959

ЗВЕЗДНЫЙ БИЛЕТ

Часть I
ОРЕЛ ИЛИ РЕШКА?

Глава 1

Я человек лояльный. Когда вижу красный сигнал «стойте», стою. И иду, только когда вижу зеленый сигнал «идите». Другое дело мой младший брат. Димка всегда бежит на красный сигнал. То есть он просто всегда бежит туда, куда ему хочется бежать. Он не замечает никаких сигналов. Выходит из булочной с батоном в хлорвиниловой сумке. Секунду смотрит, как заворачивает за угол страшноватый сверкающий «Понтиак». Потом бросается прямо в поток машин. Я смотрю, как мелькают впереди его чешская рубашка с такими, знаете ли, искорками, штаны неизвестного мне происхождения, австралийские туфли и стриженная под французский ежик русская голова. Благополучно увильнув от двух «Побед», от «Волги» и «Шкоды», он попадает в руки постового. За моей спиной переговариваются две старушки:

— Сердце захолонуло. Ну и психи эти нынешние!

— Штаны-то наизнанку, что ли, надел? Все швы наружу.

Зажигается зеленый свет. Я пересекаю улицу. У будки регулировщика Димка бубнит:

— И паспорта нету, и денег…

Я плачу пять рублей и получаю квитанцию. Дальше мы идем вместе с моим младшим братом.

— Чудак, — говорит он мне, — деньги мильтону отдал. Вот чудак!

— Увели бы тебя сейчас, — говорю я.

— Как же, увели бы!..

Димка свистит и смотрит по сторонам. Бросает пятак газировщице, пьет «чистенькую». Я жду, пока он пьет. Идем дальше. Приближаемся к нашему дому.

— Как диссертация? Назначили оппонентов? — спрашивает Димка.

— Да, назначили.

— Хорошие ребята?

— Кто?

— Оппоненты — приличные ребята? Не скоты?

— Классные ребята, — в тон ему усмехаюсь я, вспоминая оппонентов.

— Ну, блеск! Поздравляю. С тебя причитается.

Мы входим в наш дом, поднимаемся по лестнице.

— Чем сегодня кормите? — спрашиваю я.

— Не беспокойся, все твое любимое, — язвительно отвечает Димка. — Уж мы с мамочкой постарались. «Витенька любит печенку» — и я еду за печенкой. «Ему сейчас нужны витамины» — и я иду на рынок за витаминами для вас, сэр. «Он терпеть не может черствого хлеба» — и я бегу в булочную. Советские ученые могут спокойно работать, не беспокоясь насчет еды. Вот в чем секрет наших успехов. Я обеспечу вам калорийную пищу, дорогие товарищи, я, скромный работник кастрюли! Только поскорее придумайте, как забросить человека в космос, и забросьте меня первым. Мне это все надоело.

Он стал мрачно острить, мой младший брат. Мама все время пытается воспитывать его на моем положи-

тельном примере. Всякий раз, когда мы собираемся за столом всей семьей, она начинает курить мне фимиам. Оказывается, я стал человеком благодаря трудолюбию и настойчивости, которые проявлялись у меня в раннем детстве. «Без пяти минут человеком», — говорит отец, намекая на еще не защищенную диссертацию.

Тогда Димка начинает ехидничать. «Ученым можешь ты не быть, но кандидатом быть обязан!» — хохочет он. Несколько лет назад, когда я играл в водное поло в команде мастеров, Димка боготворил меня. А сейчас я даже не знаю, как он ко мне относится. Димка недоволен своей жизнью. Вот злится, что мать гоняет его за покупками. Я могу сказать ему, что маме надо помогать, что я сам бы помогал ей, если бы больше бывал дома, что он напрасно опустил руки и тянет выпускные экзамены на сплошные тройки, ведь надо подумать и о будущем, и вообще-то, старик, действительно надо быть немного понастойчивее. Но я не говорю ему ничего. Я только смеюсь и хлопаю его по спине. И мрачная маска, такая смешная на его семнадцатилетнем лице, сползает. Он улыбается и говорит:

— Слушай, старик, не подкинешь ли ты мне четвертную?

Я подкидываю ему четвертную.

После обеда я ухожу в свою комнату и сажусь к окну бриться. Бреюсь и поглядываю в окно. Через двор напротив сидит у окна и бреется закройщик дядя Илья. А внизу, под окном, бреется лицо свободной профессии — мастер художественного слова Филипп Громкий. Я услышал зловещее гудение его электробритвы за несколько секунд до того, как включил свою.

У нас внутренний четырехугольный двор. В центре маленький садик. Низкий мрачный тоннель выходит на улицу. Наш папа, старый чудак, провожая гостей через двор, говорит: «Пройдем через «патио». А проходя по нашим длинным, извилистым коридорам, он говорит, что один воин с кривым ятаганом сможет сдержать здесь натиск сотни врагов. Таким образом он выражает свою иронию по отношению к нашему дому, который до революции назывался «Меблированные комнаты «Барселона». Я поселился здесь двадцать восемь лет назад, сразу же после выхода из роддома. Спустя одиннадцать лет то же самое сделал Димка. В нашем доме мало новых жильцов, большинство — старожилы. Вот появляется из-под арки пенсионерка княжна Бельская. Она несет бутылку кефира. Ее сухие ноги в серых чулках похожи на гофрированные трубки противогаза. Много лет княжна проработала в регистратуре нашей поликлиники и вот теперь, как всякий трудящийся, пользуется заслуженным отдыхом.

Это час возвращения с работы. Торопливой походкой заочника проходит шофер Петя Кравченко. Пробегают две девушки — Люся и Тамара, продавщицы из «Галантереи». Один за другим проходят жильцы: продавцы, и рабочие, и работники умственного труда, похожие на нашего папу. Есть среди наших жильцов и закоренелые носители пережитков прошлого: алкоголик Хромов, спекулянт Тима и склочница тетя Эльва. Преступный мир представляет недавно вернувшийся из мест не столь отдаленных Игорь-Ключник.

Все эти люди, возвращаясь откуда-то от своих дел, проходят в четыре двери и по четырем лестницам проникают внутрь нашей доброй старой «Барселоны», те-

плого и темного, скрипучего, всем чертовски надоевшего и каждому родного логова.

Я выключаю электробритву и смотрю на себя в зеркало.

Я выгляжу точно на двадцать восемь лет. Почему-то никто никогда не ошибается, угадывая мой возраст.

Под окном — посвистывание. По двору прогуливается друг и одноклассник моего Димки Алик Крамер. Я вижу сверху его волосы, разделенные сбоку ниточкой пробора; очки; фестивальный платок на шее и костлявые плечи, обтянутые джемпером. Появляется Димка. На нем вечерний костюм и галстук-бабочка. Одетый точно так же, подходит верзила-баскетболист Юрка Попов, сын нашего управдома. Компания закуривает. Я прекрасно помню, как приятно курить, когда наконец отвоюешь это право. И ребята, видно, наслаждаются, закуривая на глазах всего дома. Но они очень сдержанны, немногословны, как истинные денди. Забавно! Впрочем, и мы были такими же примерно.

— Как дела, Юрка? — спрашивает Алик. — Поверг ты наконец реактивного Галачьяна?

— Ты же знаешь мои броски с угла, — отвечает Юрка.

— Я знаю также его проходы по центру.

— Я его зажал сегодня, — говорит Юрка. Забыв про новый костюм, он показывает, как проходит к щиту его соперник Галачьян, тоже кандидат в сборную, и как он, Юрка, зажимает его. Алик убеждает Юрку играть так, как играет всемирно известный негр Уилт Чемберлен. Димка прерывает их:

— Планы на вечер есть?

Юрка поправляет галстук и огорченно говорит:

— Конь мой сегодня дома.

Конь — это значит отец. Великая радость, когда уходит конь. Ребята бросаются к телефонам: «Хата есть!» Приезжают смирные девочки, одноклассницы. Танцуют. Кто-то на секунду выключает свет. Ребята лезут целоваться. Девочки визжат.

— Пойдемте в кафе, — предлагает Димка.

— В кафе! — свистит Юрка. — У меня всего десятка.

— Я тоже сегодня стеснен в средствах, — говорит Алик, — двенадцать.

— Сорок, — небрежно бросает Димка.

Немая сцена под окнами.

— Мать дала пятнадцать, — поясняет Димка, — четвертную… четвертную вчера выиграл в бильярд.

— Разогни, — говорит Юрка.

— Не веришь? Выиграл у одного режиссера.

— У какого же это режиссера? — изумляется Алик. Он постоянно снимается в массовках на «Мосфильме», пишет сценарий и говорит: «У нас, в мире кино…»

— У молодого режиссера, — говорит Димка спокойно. — Забыл фамилию.

Я высовываюсь из окна:

— Добрый вечер, джентльмены! Куда собираетесь? На бал или в бильярдную?

У Димки падает изо рта сигарета. Мне почему-то хочется немного поиздеваться над ним.

— Виктор, Димка тут загибает, что у режиссера выиграл, — говорит Юрка.

— Конечно, — отвечаю я. — Дима — молодец! Не так просто выиграть в бильярд у режиссера.

— Это смотря у какого, — глубокомысленно замечает Юрка.

— У любого, — говорю я. — Правда, Алик? Что у вас, в мире кино, думают по этому поводу? Легко выиграть у режиссера?

— Практически невозможно, — отвечает Алик.

— А вот Дима выиграл. Горжусь своим младшим братом. Все бы вы были такими.

— Галка идет, — мрачно говорит Димка и тайком показывает мне: «Заткнись!»

Цок-цок-цок. На каблучках-гвоздиках подходит Галина Бодрова, прелестная девица современной конструкции. Мне очень нравится Галинка. Все светлеет вокруг, когда она появляется. По-моему, даже Димкина физиономия светлеет, когда появляется Галя. Когда-то они дрались здесь же, под этими окнами.

— Привет, мальчики! — говорит Галя. — Здравствуйте, Виктор! — машет мне рукой.

Я улыбаюсь ей. Димка смотрит на меня с угрозой. Он боится, что я продолжу разговор о режиссере.

— У миледи новое платье, — говорит Алик.

— Нравится? — Галка делает круг, как манекенщица.

— Это кстати, — говорит Юрка, — мы сегодня в кафе потянемся.

— Нет, — говорит Галя, — мы пойдем в кино. Я хочу посмотреть новую картину «Весенние напевы».

— Ха! — Алик полон пренебрежения. — Очередная штамповка.

— А я хочу ее посмотреть!

— Алька прав, — говорит Димка, — нечего там смотреть. Сплошные напевы. Хоровые напевы, танцы и поцелуйчики.

— А чего тебе еще надо, Дима? — спрашивает Галя и смотрит на него.

— Мне? — Димка смущен. — Что мне надо?

— А тебе что нужно, Алик?

— Мне нужен психологизм, — обрезает Алик.

Мне становится немного жаль Димку. Алик вот твердо знает, что ему нужно. Психологизм ему нужен. А Димка, бедняга, не знает. Особенно когда Галя вот так смотрит на него.

Юрка вынимает из кармана монету.

— Ну что ж. Кинем?

Монета взлетела вверх почти до моего окна.

— Орел! — кричит Галя.

— Решка! — говорит Димка.

Все бросаются к упавшей монете. Галя весело хохочет и хлопает в ладоши. Ничего не поделаешь: фатум! Придется идти смотреть новую кинокомедию «Весенние напевы», штампованную и лишенную психологизма. Я слышу, как Галя тихо говорит Димке: «Тебе не везет в игре», и вижу, как Димка краснеет. Когда они все проходят под арку, я кричу:

— Дима, ты не знаешь фамилии режиссера этой комедии? Как он в смысле…

Димка выскакивает из-под арки и показывает, как он, вернувшись домой, свернет мне шею.

Сегодня суббота. Я повязываю галстук и отправляюсь на свидание с Шурочкой. Шурочка — это моя невеста. Прошу прощения за несовременный термин, но мне нравится это слово — «невеста».

Я замешкался на углу, и теперь приходится пережидать бесконечный поток машин. А Шурочка уже вышла из метро и стоит на другой стороне. Ловлю себя на том, что опять рассматриваю ее. Определенно она мила, эта девушка в узком красном платье. Чрезвычайно мила и одета со вкусом. Я знаю, что, когда мне не

захочется рассматривать ее вот так, словно мы чужие, тогда я на ней женюсь. Черт возьми, долго это будет продолжаться? Жизни нет из-за этих машин. Там, на другой стороне, какой-то длинный сопляк осмотрел Шурочку, словно лошадь, и хихикнул. Подошли еще двое. Я побежал через улицу.

Длинный взял Шурочку за руку, и в этот момент я отшвырнул его плечом.

— Пойдем, Витя, — сказала Шурочка, — пойдем.

Я повернулся к парням. У всех троих вместо галстуков висели на шее шнурки, а один был даже с усиками. Мой Димка ни за что не нацепил бы на себя шнурок. Все, что угодно, он может нацепить на себя, но не такую похабную веревочку. Парни смотрели на меня, словно прикидывали, на что я способен. Потом они поскучнели и равнодушно отвернулись.

Мы входим в парк. Я люблю красные дорожки парка, и его аккуратные клумбы, и фонтаны, и лебедей, люблю ходить по аллеям и останавливаться возле киосков, аттракционами пользуюсь изо всех сил и пью пиво, люблю ходить в парк с Шурочкой.

У входа возле столба с репродуктором стоит толпа. Лица у всех какие-то одинаковые.

— Любого агрессора, проникшего на нашу священную, обильно смоченную кровью землю, ждет плачевная участь. Мы имеем в распоряжении достаточно сил и средств для того, чтобы…

Я слушаю голос диктора и смотрю вокруг на лица людей. Потом смотрю вдаль, где на фоне вечернего неба вращается гигантское «колесо обозрения». В шестидесяти четырех кабинках этого колеса сейчас беспечно хохочут и ойкают от притворного страха люди. Из глубины парка несется джазовая музыка, движется

колесо, и движется весь наш шарик, начиненный загадочной смесью. Движется парк, и мы движемся, люди в парке. Там мы смеемся, а здесь мы молчим. Соотношение всех этих движений — попробуй разобраться. Джаз и симфония. Вот оно, наше небо, пригодное для фейерверка и для взлета больших ракет.

Глава 2

Я люблю этот город вязевый.
Пусть обрюзг он и пусть одрях,
Золотая дремотная Азия
Опочила на куполах, —

вспоминаю я, наблюдая бесконечную карусель машин на привокзальной площади. Отсюда, с моста, виден большой кусок этого «вязевого» города. Вокзал еле успевает откачивать людские волны помпами электричек. Автомобилям несть числа. Площадь слепит огнями, неподвижными и мелькающими, а на горизонте исполинские дома мерцают, как строй широкогрудых рыцарей. Дремотная Азия! Поэт, вы не узнаете вашего города. Пойдемте по улицам. Вам немного не по себе? Вам страшно? Я понимаю вас. Я понимаю страх и растерянность приезжих на этих улицах. Мне, может быть, самому бы было страшно, если бы я не любил этот город. Именно этот город, который забыл, что он был когда-то тихим и «вязевым».

— Пойдем, — говорит Борис, — что ты оцепенел? Не люблю я, когда ты так цепенеешь.

Мы спускаемся в метро. В потоке людей идем по длинному кафельному коридору. Навстречу нам другой поток. Если прислушаться, шлепанье сотен шагов

по кафельному полу напомнит шум сильного летнего дождя. Обычно мы, москвичи, не слышим этих звуков. Для нас это тишина. Мы реагируем только на резкие раздражители. Я мечтаю о дожде, может быть, поэтому я его и слышу. Он настигает совсем недалеко от дачи, и ты этаким мокрым чучелом вваливаешься на веранду, где пьют чай. Я мечтаю об отпуске.

Мы выходим на нашей станции. Встаем в очередь к газетному киоску, потом — в очередь к табачному киоску. На площадке возле станции, как всегда вечером, полно молодых ребят. Они сидят на барьере и стоят кучками. Усмехаясь, разглядывают выходящих из метро. Девушкам вслед летят реплики, междометия, иногда посвистывание. Лучшее вечернее развлечение — поторчать у метро.

— Посмотри на них, — говорит Борис, — посмотри на их лица. Просто страх берет.

— Брось! — говорю я. — Нормальные московские ребята. Просто выпендриваются друг перед другом.

— Нормальные московские ребята! — восклицает Борис. — Ты считаешь этот сброд нормальными московскими ребятами?

— Конечно! Самые обычные ребята.

— Нет, это выродки. Накипь больших городов.

— Ну тебя к черту, Борька! Димку моего ты, надеюсь, знаешь?

— Ну?

— Смею утверждать, что он самый нормальный московский малый. А он тоже часто торчит здесь, и, если бы ты его не знал, не отличил бы от всех. И в его адрес метал бы свои громы и молнии.

— А что твой Димка?

— Ну, что Димка?

— Он недалеко от них ушел. Тоже хорош твой Димка!

— Ну знаешь, Борис!..

— А что? Скажешь, у Димки есть какие-то жизненные планы, какие-то порывы, есть что-то святое за душой? В голове у него магнитофонные ленты, девчонки и выпивка. Аттестат получил позорный…

— Довольно! — резко обрываю я. — Хватит о нем!

Черт его знает, каким он стал, этот мой друг Боря. Тоже позор! Любит, видите ли, «правду-матку в глаза резать».

Мы подходим к нашему дому. Борис должен взять у меня кое-какие книжки.

— Слушай, — говорю я ему после долгого молчания, — хочешь узнать, о чем думает мой Димка? — Говорю это так, как будто сам прекрасно знаю, о чем он думает. — Посидим у нас в садике минут пятнадцать. Он там в это время всегда бывает. Поговорим с ним.

— Тебя задели мои слова? — спрашивает Борис.

— Чепуха! Все же давай посидим в садике.

Мы входим в наш «патио» и садимся на скамейку в глубине садика, под цветущим кустом сирени.

«Барселона» живет вечерней жизнью, как и все дома в Москве. Всеми тремя этажами, сотней окон она смотрит себе внутрь. За шторками двигаются люди, наяривают телевизоры.

В противоположном углу двора два приятеля Гера и Гора налаживают на подоконнике магнитофон. Сейчас будут оглушать весь двор музыкой. Пока не придет дворник.

Под аркой зажигаются фары. Во двор въезжает новенькое такси. Сгусток энергии и комфорта двадцатого века на фоне наших облупленных стен.

Из дверей выскакивает мастер художественного слова Филипп Громкий со своими элегантными чемоданами.

— Далеко, Филипп Григорьевич? — спрашивает дядя Илья.

— В турне, друзья. Рига, Таллин… На Балтику, друзья.

— Филипп! — кричит наш папа. — Ионами на взморье попользуйся. Подыши как следует. Лучшее лекарство для нас с тобой.

— Что же вы раньше не сказали, Филипп Григорьевич, что в Ригу едете? — обиженно говорит спекулянт Тима.

— Программа у вас та же? Новенькое что-нибудь выучили? — интересуется шофер Петя Кравченко.

— Товарищ Громкий, а за электричество вы заплатили? — светским тоном осведомляется тетя Эльва.

«Барселона» провожает своего любимца, свою звезду. Громкий машет шляпой вокруг. Самый громадный город — это просто тысяча деревень. Ну чем наша «Барселона» не деревня?

Шофер включает счетчик, нажимает стартер. Фыркнув, голубой автомобиль исчезает под аркой. Так каждую весну артист на виду всего дома отбывает «в странствия» по приморским районам. Он будет пересаживаться с самолета в поезд и с поезда в такси, жить в гостиницах, обедать в ресторанах, купаться в соленых морских волнах и дышать ионизированным воздухом взморья. Осенью он вернется, и жители «Барселоны» будут его приветствовать.

В садике появляется вся Димкина компания и он сам. Я ни разу не видел Галю с подругами. Она ходит только с Димкой, Аликом и Юркой. И ребята не отстают от нее. Трудно понять: ухаживание это или про-

должение детской дружбы. Они занимают скамейку недалеко от нас. Нас они не видят или просто не хотят замечать.

Вот уже десять минут Гера и Гора крутят магнитофон, а дворника все нет. Видимо, «Барселону» охватило в этот вечер лирическое настроение.

Джазовые синкопы бьют в землю, точно град, словно отбойный молоток, вгрызаются в стены и взмывают вверх, пытаясь расшевелить неподвижные звезды, подчинить их себе и настраивать попеременно то на лирический, то на бесноватый лад. Три пары остроносых ботинок и одна пара туфелек отбивают такт. Лица ребят нам не видны, они в тени сирени. Их голоса мы слышим только в перерывах между музыкой.

Димка. На Балтику помчался Громкий. Эх, ребята!

Юрка. А что ему не ездить? Жрец искусства.

Алик. Тоже мне искусство! Читать стишки и строить разные рожи. Примитив!

Галя. А почему бы тебе, Алик, не выучить пару стишков? Выучи и поезжай на Рижское взморье.

Димка. Алька и так знает больше стихов, чем самый Громкий из всех Громких.

— Паблито, — призывно поет магнитофонная дева.

— Паблито, — говорит она задушевно.

— Па-аблито! — кричит что есть мочи.

Почему я вдруг решил поговорить с Димкой? Только лишь потому, что меня задели слова Бориса? «Пойдем, ты узнаешь, о чем он думает». Как будто я сам это знаю. Что я знаю о своем младшем брате? До какого-то времени я вообще его не замечал. Знал только, что с ним хлопот не оберешься. Потом он немного подрос, и мы стали с ним слегка возиться. Но у меня всегда были свои крайне важные дела. И вдруг младший брат

приходит и просит на минутку твою бритву. А однажды ты видишь, что он лежит на диване с совершенно потерянным видом и на твой вопрос бурчит: «Отстань». И как-то раз ты замечаешь его в толпе возле метро. Ты ухмыляешься — «племя младое, незнакомое» — и думаешь: «А может быть, и на самом деле незнакомое?» У тебя наука, диссертация, ты, в общем, на самом переднем крае, а у него аттестат сплошь в тройках. О чем он думает? Мы, Денисовы, интеллигентная семья. Папа — доцент, а мама знает два языка. Димка прочел все, что полагается прочесть мальчику из «приличной» семьи, и умеет вести себя за столом, когда приходят гости. Но воспитали его «Барселона», и наша улица, и наша станция метро. В какой-то мере стадион, в какой-то мере танцевальная веранда в Малаховке, в какой-то мере школа. Звучит кощунственно. Его должна была воспитывать главным образом школа. А, брось! Ты сам еще не так давно учился в школе.

— Паблито… — совершенно изнемогая, шепчет магнитофонная дева.

Алик. Я не понимаю, почему стонет Юрка. Все лето будет кататься со сборной, а потом его как выдающегося спортсмена примут куда-нибудь без экзаменов.

Димка. Верно, что ты стонешь? В Венгрию едет, а стонет еще.

Юрка. Галачьян в Венгрию едет, а не я.

Галя. Что ты, Юрик!

Юрка. То, что ты слышишь. Галачьяна в сборную включили. Говорят, он тактику лучше понимает. Конь мой ликует. В институт поступишь, человеком станешь, хватит, говорит, мяч гонять.

Труба. Звук трубы летит в небо. Он стремительно набирает высоту, как многоступенчатая ракета, выхо-

дит на орбиту и кружится, и кружится, и замирает, и на смену ему приходит глухой рокот контрабаса. И новые взлеты трубы. И жизнь идет. А Юрку не включили в сборную. Это трагедия, я его понимаю. Гудит саксофон. И жизнь идет. Младший брат недоволен жизнью. Что ему нужно, кроме трубы, контрабаса и саксофона? Попробуй-ка поговорить с ним об этом. Он засмеется: «Чудишь, старик!» — и попросит четвертную. Это очень трудно — иметь младшего брата! Лучше бы мы с ним родились близнецами. Жизнь идет, и трубы сейчас звучат несколько иначе, чем одиннадцать лет назад.

Юрка. Были бы деньги, накирялся бы я сейчас.

Димка. Только и остается.

Алик. Давай, Юрка, вместе готовиться во ВГИК, на сценарный факультет!

Галя. Лучше готовься вместе со мной на актерский. У тебя такая фигура!

Димка. Я вам советую поступить в Тимирязевку. Говорят, там открылся новый факультет: тореадорский. У Юрки все данные для боя быков. А Галка поступит на пушной, будет демонстрировать шкурки песцов и лисиц. Тоже все данные.

Галя. А ты куда, Димочка? На что ты можешь рассчитывать со своими данными?

Нахальный баритон в бешеном темпе уговаривает девушку. Перестань кукситься, забудь о разных пустяках и целуй меня. Чаще, целуй меня чаще. Только это тебе поможет. Гера и Гора неистовствуют, а дворника все нет. Неужели им удастся докрутить ленту до конца?

Борис рядом со мной молча курит. Я тоже молча курю.

Димка. А в общем, куда нам поступать, решают родители. Ведь это же они, дорогие родители, финансируют все наши мероприятия.

Галя. Представляете, мальчики, мама мне заявила: или в медицинский, или к станку.

Алик. Родители не могут понять, что нам чужды их обывательские интересы. Даже мой дед и тот гудит день-деньской: сначала приобрети солидную специальность, а потом пробуй свои силы в литературе.

Юрка. А мой конь уже все продумал. Надежды у него мало, что я поступлю, так он уже место мне подыскал для производственного стажа. Учеником токаря на какой-то завод. Дудки я туда пойду. Ишь ты, что придумал: учеником токаря!

Молчание.

Тетя Эльва *(кричит из окна).* Тима, будьте любезны, позовите дворника.

Димка. Все лето в Москве торчать. Эх, ребята!

Снова трубы, саксофоны и контрабас. В освещенное пространство в центре садика выходят, пританцовывая, Галя и Димка. Алик и Юрка хлопают в ладоши.

Из окон высовываются любопытные. Есть на что посмотреть. Димка блестяще танцует. В этом отношении он меня превзошел.

А как все-таки здорово! Сидят детишки и ехидничают, как сорокалетние неудачники, но вот возникает какой-то подмывающий ритм, и… наш жалкий садик поднимается вверх, повисает над крышами, звезды пускаются вокруг в хороводе. Девушка и юноша танцуют, и весь мир надевает карнавальные маски. Молодость танцует при свете звезд у подножия Олимпа, полосы лунного света ложатся на извивающиеся тела, и пегобородые бойцы становятся в круг, стыдливо прячут за

спины ржавые мечи и ухмыляются недоверчиво, но все добрее и добрее, а их ездовые уже готовят колесницы для спортивных состязаний. Ребята танцуют, и ничего им больше не надо сейчас. Танцуйте, пока вам семнадцать! Танцуйте, и прыгайте в седлах, и ныряйте в глубины, и ползите вверх с альпенштоками. Не бойтесь ничего, все это ваше — весь мир. Пегобородые не поднимут мечей. За это мы отвечаем.

— Галина! Иди сюда.

У входа в садик стоит Галина мать, инспектор роно.

— Ну что, мамочка? — заранее обиженным тоном говорит Галя и подходит к своей еще молодой и статной, одетой в серый костюм, как и положено инспекторам роно, маме. Та молча вынимает из сумочки платок и сильным злым движением снимает помаду с Галиных губ.

— Опять? Опять устроили дансинг у всех на глазах? Танцуешь с бездельниками, вместо того чтобы заниматься. Куда ты катишься, Галина? На панель? Немедленно домой!

— Совершенно согласна с вами, Зинаида Петровна. — Прямо над ними из окна высунулась тетя Эльва. — Только крутые меры. Надо мобилизовать общественность. А куда смотрит жэк? Вместо того чтобы организовать в нашем дворе разумные настольные игры, викторины, кроссворды, предоставляют поле деятельности двум негодяям с магнитофоном. Отравляют юные души тлетворной музыкой. Тима, вы сказали дворнику?

Тима. Да вот он сам, Степан Федорович.

Дворник *(навеселе).* Герка! Герка! Кончай тлетворную! Гони нашу! «Рябинушку»!

Димка. Тетя Эльва, идемте танцевать! Герка, прибавь звука! Тетя Эльва хочет рок кинуть.

Тетя Эльва. Тима, участкового позовите!

Наша мама. Дмитрий, домой!

Петя Кравченко. Товарищи, у меня завтра зачет по сопромату.

Из-под арки появляется Игорь-Ключник.

Игорь. Граждане, что тут за шюм? Что тут за шюм, Тимка?

Тима. Кому Тимка, а отбросам общества…

Игорь. Слюшай ты, несимпатичный хулиган…

Тима. Бросьте, Игорь. Нам ли с вами?

Дядя Илья. Это ж ужас, что за дом! Боже ж мой, что за дом!

Дворник. «Рябинушку»!

Гера *(в микрофон).* Концерт звукозаписи по заявкам жильцов нашего дома окончен. Пишите нам по адресу: «Барселона», радиоцентр.

Тетя Эльва. Я на вас найду управу, развратники!

И все начинает затихать. Прикрываются окна, расходятся люди со двора. Это обычный воскресный вечер, но я чувствую, что Борис поражен. Наш дом постоянно поражает Бориса. Еще бы, ведь он живет на девятом этаже в могучем доме на Можайке, опоясанном снизу такой массой гранита, которой бы хватило на целую сотню конных памятников.

— Виктор, я, пожалуй, пойду, — говорит Борис.

— Пока, — говорю я, — до завтра.

Прямой и подтянутый идет мой друг Боря, надежда нашей науки. Ничего я ему не доказал. И вообще я, должно быть, никогда ничего ему не докажу.

Димка. Проклятое дупло это, а не дом! Взорвать бы его к чертям!

А л и к. Нельзя. Надо его оставить как натуру. Здесь можно снимать неореалистические фильмы.

Ю р к а. За год четыре дома на нашей улице снесли, а этот стоит.

Д и м к а. И даже не дрожит под ветром эпохи. Эпоха, ребята, мимо идет.

Ю р к а. Валерка переехал на Юго-Запад. Потрясные дома там. Во дворах теннисные корты. Блеск!

Д и м к а. Взорвем «Барселону»?

А л и к. Да нельзя же, я тебе говорю, взрывать такую натуру.

Д и м к а. Сбежим?

Ю р к а. Окна там, что ты! Внизу сплошное стекло. Модерн!

А л и к. Неужели и мы, как наши родители, всю свою жизнь проведем в «Барселоне»?

Д и м к а. Взорвем?

Ю р к а. Насчет всей жизни не знаю, а это лето точно. Галачьян в Будапешт поедет, а я буду диктанты писать.

Д и м к а. Сбежим?

Ю р к а. Конь мой ликует…

Д и м к а. Сбежим?

А л и к. Куда?

Д и м к а. Куда? Ну, для начала хотя бы на Рижское взморье.

Ю р к а. То есть как это так?

Д и м к а. А так, уедем, и все. Хватит! Мне это надоело. Целое лето вкалывать над учебниками, и ходить по магазинам, и слушать проповеди. Отдохнуть нам надо или нет? Никто ведь не думает о том, что нам надо отдохнуть. Дудки! Уедем! Ура! Как это раньше мне в голову не приходило?

А л и к. А как же родители? Как же мой дед?

Юрка. А мой конь?

Димка. Слезай с коня, иди пешком. Что вы, парни? Мы же мощные ребята, а ведем себя как хлюпики. Вперед! К морю! В жизнь! Ура! Что я думал раньше, идиот!

Алик. А как же мое поступление во ВГИК?

Юрка. А мое в инфизкульт? Это тебе, Димка, хорошо. Ты еще ничего не придумал, куда идти.

Димка. Институт! Смешно. В институты принимают до тридцати пяти лет, а нам семнадцать! У нас в запасе еще восемнадцать лет! Вы себе представляете, мальчики, как можно провести годик-другой? Мчаться вперед: на поездах, на попутных машинах, пешком, вплавь, заглатывать километры. Стоп! Поработали где-нибудь, надоело — дальше! Алька, вспомни про Горького и Джека Лондона. А для тебя, Юрка, это отличный тренинг. Или вы хотите всю жизнь проторчать в этом клоповнике?

Юрка. Законно придумал, Митька!

Алик. А на какие шиши мы поедем? Денег-то нет.

Димка. Это ерунда. Продадим свои часы, велосипеды, костюмы, у меня немного скоплено на мотороллер. Это для начала. А потом придумаем. Главное — смелость. Прокормимся. Ура!

Юрка. Купите мне ружье для подводной охоты, и уж рыбкой-то я вас обеспечу.

Алик. А я буду продавать стихи и прозу в местные газеты.

Димка. Ну, видите! А я на бильярде подработаю. Значит, едем?

Ребята склоняются друг к другу и что-то шепчут. Алик подбросил монетку и прихлопнул ее на колене. Димка пишет веточкой на песке. Я вижу, как в садик

скользнула Галя. Она в стареньком платьице и драных тапках на босу ногу, но, ей-богу, ей не повредило бы даже платье, сшитое из бумажных мешков Мосхлебторга.

— Тише, ребята, — говорит она. — Я на минутку. Значит, едем завтра в Химки? Я скажу, что иду в библиотеку…

— В Химки, — говорит Димка, — в Химки. Ха-ха, она хочет в Химки!

— На нашей планете и кроме Химок есть законные местечки, — говорит Юрка.

— А не хочешь ли ты, Галка, съездить на остров Валаам? — вкрадчиво спрашивает Алик. — Знаешь, есть на свете такой остров!

Ребята загадочно хихикают и хмыкают. Еще бы, ведь перед ними открыт весь мир, а для Галки предел мечтаний — Химки.

— Что это вы задумали? — сердито спрашивает Галя и, как Лолита Торрес, упирает в бока кулаки.

— Сказать ей? — спрашивает Алик.

— Ладно уж, скажи, а то заплачет, — говорит Юрка. Димка кивает.

— Мы уезжаем.

— Что?

— Уезжаем.

— Куда?

— В путешествие.

— Когда?

— На днях.

— Без меня?

— Конечно.

— Никуда без меня не поедете!

— Ого!

— Не поедете!

— Ха-ха!

— Ты без меня поедешь?

— Видишь ли, Галя…

— А ты?

— Я?

— А ты, Димка, без меня поедешь?

— А почему бы и нет!

Ошеломленная Галя все-таки действует с инстинктивной мудростью. Расчленив монолитный коллектив, она отворачивается, топает ногой и начинает плакать. Ребята растерянно ходят вокруг.

— Мы будем жить в суровых условиях.

— В палатке.

— Питаться только рыбой.

— Хочу в суровые условия, — шепчет Галка, — в палатку. Рыбой питаться хочу! Мне надоело здесь. Мама при всех губы стирает. Какие вы хитрые, без меня хотели уехать!

— Постой, а как же театральный факультет? — спрашивает ее Алик.

— А вы как решили с экзаменами?

— Мы решили не поступать.

— Как?

— А вот так. Подбросили монетку, и все. Хватит с нас! Мы хотим жить по-своему. Поступим когда-нибудь, когда захотим.

— Я тоже хочу жить по-своему!

— Ладно, — говорит Димка, — берем тебя с собой. Только не хныкать потом. А в театральный ты все-таки поступишь. В Ленинграде. В конце концов, театральный — это не медицинский. Готовиться особенно не

нужно. Глазки, фигурка — это у тебя есть. Вполне достаточно для поступления.

— Смотрите, он сделал мне комплимент! — восклицает Галя. — Слышите, ребята, Димка сделал мне комплимент! Спасибо тебе, суровый Дима.

— Кушай на здоровье. Я сегодня добрый.

— В основном ты прав, Димка, но не совсем, — говорит Алик. — Внешние данные — еще не все. Нужен витамин Т — талант. Мне один актер рассказывал, какие к ним применяли пробы. Например, предлагают сказать два слова «хорошая собака» с десятью разными выражениями. Восхищение, презрение, насмешка…

— Давайте Галку проэкзаменуем, — предлагает Димка. — Ну-ка, скажи с презрением: хорошая собака.

Галя *(с презрением показывая на него).* Хорошая собака.

Юрка предлагает ей выразить восхищение.

Галя (с *восхищением показывая на Юрку).* Хорошая собака!

— Ну, а теперь… — говорит Алик.

Галя *(с насмешкой показывая на Алика).* Хорошая собака!

Димка *(показывая на Галю).* Ребята, с возмущением!

Все (с *возмущением).* Хорошая собака!

Галя. Хорошие вы собаки, без меня решили уехать!

Мы с Димкой идем по нашей ночной улице. Перешагиваем через лужи возле газировочных автоматов, подбрасывая носками ботинок стаканчики из-под мороженого. Мы с Димкой одного роста, и в плечах он меня скоро догонит.

— План в общих чертах такой, — говорит Димка. — Сначала мы едем на Рижское взморье. Отдохнем там немного — должны же мы, черт возьми, хоть немного отдохнуть! — а потом двинемся пешком по побережью в Ленинград. По дороге наймемся поработать в какой-нибудь рыболовецкий колхоз. Мне один малый говорил, что там можно заработать кучу денег. А потом дальше. Посмотрим Таллин и к августу будем в Ленинграде. Там отдадим Галку в театральный институт, а сами…

— А сами?

— А сами составим новый план.

— Отличный у вас план, — говорю я, — точный, детальный, все в нем предусмотрено. Кончаются деньги, появляется рыболовецкий колхоз. Вы забрасываете невод и вытаскиваете золотую рыбку. Чего тебе надобно, Димче? Прекрасный план!

— А, черт с ними, со всеми этими планами!

Я останавливаюсь и беру брата за лацканы пиджака:

— Слушай, Димка, когда ты был маленьким, я заступался за тебя и никому не давал тебя лупить.

— Ну и что?

— А то, что сейчас мне хочется дать тебе хорошую плюху.

— Попробуй только.

— Фу ты, дурак! — Я машу рукой. — О матери ты не подумал? Что с ней будет, когда ты исчезнешь?

— Поэтому я тебе все и рассказываю. Успокой ее, но, — теперь он берет меня за лацкан, — если ты настоящий мужчина и если ты мне друг, ты не расскажешь ей, где мы.

— Она все равно поднимет на ноги все МВД.

Димка словно глотает что-то и лезет в карман за сигаретами.

— Витя, пойми, я уже все решил, ребят поднял. Нельзя мужчине отступать.

— Мужчина! Убегать из дому принято в двенадцать-тринадцать лет, да и то в детских книжках. А в семнадцать лет — это, старик, нелепо. Прояви свою волю в другом. Попробуй все-таки поступить в институт.

— Да не хочу я этого! — отчаянно кричит Димка. — К черту! Думаешь, я мечтаю пойти по твоим стопам, думаешь, твоя жизнь для меня идеал? Ведь твоя жизнь, Виктор, придумана папой и мамой, еще когда ты лежал в колыбели. Отличник в школе, отличник в институте, аспирант, младший научный сотрудник, кандидат, старший научный сотрудник, доктор, академик… дальше кто там? Всеми уважаемый покойник? Ведь ты ни разу в жизни не принял по-настоящему серьезного решения, ни разу не пошел на риск. К черту! Мы еще не успеем родиться, а за нас уже все продумано, уже наше будущее решено. Дудки! Лучше быть бродягой и терпеть неудачи, чем всю жизнь быть мальчиком, выполняющим чужие решения.

Вот оно что! Тут, оказывается, целая жизненная философия. Вот, значит, как? Ты презираешь меня, Димка? Ты не хочешь жить так, как я? Ты считаешь меня…

Честно говоря, меня совершенно потряс Димкин монолог, и я молчу. Я не чувствую уже превосходства старшего брата. Со страхом я ловлю себя на том, что завидую ему, ему, юноше с безумными идеями в голове. Но что он знает обо мне, мой младший брат?

Мы медленно бредем к нашему дому, заходим под арку и при свете фонаря читаем рукописную афишу:

30 июня 1960 г. во дворе дома № 12

ВЕЧЕР МОЛОДЕЖИ

Программа:

1. Встреча с т. Лямзиным Т. Т.

2. Коллективная беседа «Поговорим о личном».

3. Демонстрация к/ф «Микробная флора полости рта».

4. Танцы под баян.

Димка вынимает карандаш и пишет внизу плаката:

«Танцы откроет тетя Эльва, старая сопящая кобыла».

Ну, тут я не выдержал и дал ему слегка по шее.

Ребята сидят в моей комнате. Когда я вхожу, они даже не меняют поз. В общем-то, как это ни смешно, я дорожу тем, что они меня не боятся.

— Личности, титаны, индивиды, — говорю я им. Смеются. — Пиво, что ли, пили?

Заглядываю под кровать — бутылок не видно. Сажусь на подоконник и закуриваю. За моей спиной двор «Барселоны», и дальше все окно закрыто стенами соседних домов. Неба не видно. Но если сесть спиной на подоконник, можно увидеть небольшой четырехугольник со звездным рисунком. Мне хочется предаться любимому занятию: лечь спиной на подоконник, положить руки под голову, ни о чем не думать и созерцать этот продолговатый четырехугольник, похожий своими пропорциями на железнодорожный билет. Билет, пробитый звездным компостером. Кажется, это есть в каких-то стихах. Никто не знает про этот мой билет. Я никому не говорю про него. Даже не знаю, когда я его заметил, но вот уже много лет, когда мне бывает совсем невмоготу, я ложусь на подоконник и смотрю на свой звездный билет.

Я слышу через форточку возню Геры и Горы. Что-то у них там сегодня не ладится. Обычно среди полной тишины вдруг раздается веселое лошадиное ржание, а сегодня Гера и Гора почему-то шепотом чертыхаются. Потом Гера говорит: «Ладно, заткнись. Включаю». Я слышу щелканье и гудение приемника. И вот двор «Барселоны» заполняется каким-то странным гулом. Это не наш гул, не земной. И… «Бип-бип-бип…» Кусок земного металла, жаркий слиток земных надежд, продукция мозга и мышц, смешанная с нашим потом и с кровью тех, которые этого уже не услышат. Кусок земного металла, полный любви, полный героизма, и счастья, и страдания. Весь он наш, плоть от плоти, и, двигаясь там, он хранит в себе память о наших руках и глазах, о смене наших настроений и о нашей дурной привычке курить табак. Он один там, в чужой среде, окруженный чужими металлами, озаряемый кострами чужих звезд, летит, и гудит, и дрожит от мужества, и трогательно сигналит: «Бип-бип»…

— Черт вас возьми! — кричу я своему братцу и его дружкам и распахиваю окно. — Слушайте!

— Ну, слышим, — говорит Димка. — Космический автобус.

— Радиостанция «Маяк», — говорит Алик.

— Поймали наконец, молотки ребята! — довольно равнодушно басит Юра.

— Черт бы вас побрал! — говорю я. — Шпана! Личности! Индивидуумы!

— Ишь ты, как раскричался, — насмешливо говорит Димка. — Рановато ты воодушевился. Человека-то там нет.

Человека там нет! Там нет человека! Вот если бы сразу, сейчас, кто-нибудь слетал на Марс и вернулся

оттуда с девушкой-марсианкой, тогда почтеннейшая публика, может быть, и удивилась бы. Так, слегка. Знаете, мол, вот забавная история: красотку с Марса привез себе один малый. Разучились удивляться чудесам. В мире чудес люди уже не удивляются чудесам.

— Вас не интересуют чудеса? — спрашиваю я.

— Какие же это чудеса? — удивляется Юрка.

— А ты думаешь, чудеса — это Змей Горыныч и Баба-яга?

Я вспоминаю, как несколько лет назад эти ребята построили в Доме пионеров яхту, управляемую по радио. Вот это было чудо! Какой восторг горел тогда в их глазах!

— Ребята, хотите я устрою вас работать на завод?

— Какой еще завод?

— Завод, где делают чудеса.

— Конкретней, — говорит Алик. — Что это за завод?

— Конкретней нельзя об этом заводе.

Я снова приоткрываю окно, и «бип-бип-бип» влетает в комнату. Многозначительно подмигиваю. Это мой последний козырь. Последний раз я пытаюсь отговорить их от задуманной авантюры.

— Да ну? — говорят ребята. — Можешь устроить на такой завод?

— Попытаюсь. Если станете людьми…

— Отпадает, — Димка машет рукой, — тогда отпадает.

— Почему отпадает? — говорю я, чувствуя себя последним кретином. — Выбросьте из головы свои дурацкие прожекты…

— Эх, жалко, — прерывает меня Юрка, — мы ведь скоро на Балтику уезжаем, Виктор. Если бы нам не надо было уезжать…

— Хватит дурачиться.

Молчат.

— Хотите работать на таком заводе?

Молчат.

— И уехать на Балтику тоже хочется?

Молчат.

— Роковая дилемма, значит? Подбросим монетку?

Молчат.

— Если орлом, то на завод. Идет?

Бросаю. Честно говоря, я немного умею бросать так, чтобы получалось то, что нужно. Орел. Упала орлом.

— Бросай с трех раз, — хрипло говорит Димка. — Дай-ка лучше я сам брошу.

Кажется, он тоже немного умеет бросать так, чтобы получалось то, что ему хочется.

Глава 3

У меня в лаборатории можно снимать самый нелепый научно-фантастический фильм. Один только пульт чего стоит! Мигание красных лампочек и покачивание стрелок, больших и маленьких, кнопки, кнопки, рычажки… А длинный стол с приборами? А диаграммы на стенах? Но самое чудовищное и таинственное — это система приточно-вытяжной вентиляции. А звуки, звуки! Вот это потрескивание и тихое гудение. Потрясающую сцену можно было бы снять здесь. Запечатлеть, скажем, меня у пульта. Стою с остекленевшими глазами и с капельками холодного пота на лбу. Крупный план: капля течет по носогубной складке. Руки! Ходят ходуном.

Я люблю вдруг осмотреть свою лабораторию глазами непосвященного человека. Это всегда забавно, но

священного трепета в себе я уже не могу вызвать. Все-таки я все здесь знаю, все до последнего винтика, до самой маленькой проволочки. Любой прибор я смогу разобрать и собрать с закрытыми глазами.

Приборы, мои друзья! Вы всегда такие чистенькие и всегда совершенно точно знаете, что вы должны делать в следующую минуту. Разумеется, если вас включила опытная рука. Хотел бы я быть таким, как вы, приборы, чтобы всегда знать, что делать в следующую минуту, час, день, месяц. Но вам легко, приборы, вы только выполняете задания. До этого дня я тоже только выполнял задания, правда, не так точно, как вы, приборы. Что может быть лучше: получать и выполнять задания? Это мечта каждого скромного человека. Что может быть хуже самостоятельности? Для скромного человека, конечно.

Что может быть прекрасней, сладостней самостоятельности? Когда она появляется у тебя (я имею в виду это чувство наглости, решительности и какого-то душевного трепета), ты дрожишь над ней, как над хрупкой вазой. А когда кокнешь ее, думаешь: к счастью, к лучшему — хлопот не оберешься с этой штукой, ну ее совсем!

Так начинать мне этот проклятый опыт или нет?

Выхожу в коридор покурить. Монтер Илюшка сидит на подоконнике и зачищает концы провода. Начинаем обсуждать с ним перспективы футбольного сезона. Илюшка родился в Ленинграде и, хотя совершенно не помнит города, фанатически болеет за «Адмиралтейца». Я над ним всегда подтруниваю по этому поводу. Сегодня я говорю, что вообще-то «Адмиралтеец» — это здорово придумано, но можно было назвать команду

и иначе. «Конногвардеец», скажем, или «Камер-юнкер». Илья кипятится.

По коридору мимо нас проходят мой друг Борис и еще один сотрудник нашего института, очень важный. Ловлю конец фразы моего друга: «…чрезвычайно!»

«Люди работают, — думаю я, — вкручивают мозги членам ученого совета». Оставляю Илюшку с его грезами о победах «ленинградской школы футбола», с его уже зачищенными и еще не зачищенными концами и иду взглянуть на камеру. Заглядываю в окошечко. Там все в порядке. Вся живность здорова и невредима. Честно говоря, система у меня уже собрана, и остается только присоединить к ней кое-какие устройства камеры. Через несколько минут я могу начать свой опыт. Надо начинать, чего там думать! Ведь это же мой опыт. Первый опыт моей самостоятельности (я имею в виду это чувство). Я его придумал и продумал сам с начала и до конца. И он может меня погубить. Полтора часа будут гореть лампочки, покачиваться стрелки, тихо гудеть и щелкать разные приборы. Дня два на расшифровку результатов, и все станет ясно. Он или погубит меня или разочарует очень надолго. То есть меня-то он не погубит, я останусь цел, он просто может перечеркнуть последние три года моей работы. А если этого не произойдет, будет поставлен крест на моей самостоятельности. Странно работает моя голова; но это моя голова. Это мой опыт, и я уже стал фанатиком, я его уже люблю, хотя еще не соединил систему. Соединить или сначала… проверить еще раз записи?

Сажусь к столу и открываю (в который раз!) синенькую тетрадочку. Я ее всю исписал в свободное время, в свободное от диссертации время, в вечернее время на третьем этаже «Барселоны» под веселое ржание маг-

нитофона и вопли тети Эльвы. Луна вплывала в железнодорожный билет над соседней крышей. Это чрезвычайно вдохновляло. Запах сирени и автомобильных выхлопов, сладковатый запах нечистот из-под арки, девушки цок-цок-цок каблучками прямо под окном, а на звонки Шурочки мама говорила, что я в библиотеке, насвистывание Димки, Алика и Юрки и их веселые голоса, «Рябинушка» и детский плач — вся симфония и весь суп «Барселоны» окружали меня и затыкали уши и ноздри. И я написал эту тетрадку, воруя время у своей диссертации. Зачем мне сейчас ее читать? Я знаю ее всю наизусть. Читать ее еще, перелистывать? Выбросить в форточку, и дело с концом!

— Разрешите полюбопытствовать, Витя?

На тетрадь из-за моей спины опускается широкая худая рука со следами удаленной татуировки. Это шеф. Что его занесло ко мне в это время? Шеф — мой друг и учитель и автор моей диссертации. Прошу не думать обо мне плохо. Диссертацию написал я сам. Я три года работал, как негр на плантации. Но работал я над гипотезой шефа, над его идеей. Три года назад он бросил мне одну из своих бесчисленных идей. Это его работа — подбрасывать идеи. Пользуясь спортивной терминологией, можно сказать, что шеф у нас в институте играет центра. Он распасовывает нам свои идеи, а мы подхватываем их и тащим к воротам. Это нормально, везде, в общем-то, делают так же. Но эта тетрадка — это мой личный мяч. Я сам пронес его через поле, и вот сейчас остановился и не знаю: бить или не бить?

Шеф быстро переворачивает страницы, а я волнуюсь и смотрю на его тупоносые башмаки и хорошо отглаженные серые брюки из-под белого халата. У шефа худые руки и лицо, но вообще-то он грузного сложе-

ния. Шеф — человек потрясающе интересной судьбы. Те, кто не знает этого, видят в нем обычную фигуру: профессор как профессор. Но я вхож к нему в дом и видел фотоальбомы. Серию старинных юношей с чубом из-под папахи и с хулиганским изгибом губ; выпученные глаза георгиевского кавалера; лихой и леденящий прищур из-под козырька, а нога на подножке броневика; широкогрудый, весь в патронных лентах; и еще один, в странной широкополой шляпе, видимо захваченной в театре, — и все это наш шеф. Когда я смотрю на теперешнего шефа, мне кажется, что все эти люди: драгун, революционер, красный партизан, голодный рабфаковец — разбежались и бросились в одну кучу с целью слепить из своих тел монумент таким, каков он есть сейчас: грузный, огромный, беловолосый и спокойный, в хорошо отглаженных серых брюках.

— Поздравляю, Витя! Неплохо вы развернули свою мысль.

— Вы одобряете?

— Да. Но не волнуйтесь, я эту тетрадь не читал. Поняли? И в глаза ее не видел и не заходил к вам.

— Я не понимаю.

— Не притворяйтесь. Прекрасно понимаете, что эта работа опровергает вашу диссертацию.

— Это я понимаю, но что же делать?

— Да делайте то, что начали. Я вижу, систему вы уже собрали. Ставьте опыт, но никому не говорите о результатах. Обнародуете их после защиты.

— Андрей Иванович!

— Не надо пафоса, Витя. Не люблю я таких восклицаний, как в пьесах.

— Я тоже не люблю, но… Как я смогу защищать диссертацию, если узнаю сегодня, что выводы непра-

вильны? Наше дело… я говорю о деле, которым мы занимаемся…

— Вы думаете, выводы вашей диссертации будут сразу использоваться в нашем деле? Пройдет много времени, пока их начнут внедрять и тысячу раз еще проверят. А вы месяца через два после защиты опубликуете вот это, — он щелкает пальцем по синей тетрадке, — и все заговорят: мыслящий кандидат наук, многообещающий, мужественный, аналитический…

— Курс цинизма я проходил не у вас, — говорю я мрачно.

— Все дело в том, Витя, что вы гораздо больше многих других достойны называться кандидатом наук. Сколько вам можно еще тянуть? — сердито говорит шеф и направляется к двери.

— Андрей Иванович! — останавливаю я его. — Вы бы как на моем месте поступили? Вы бы зажали свою мысль, пошли бы против истинных интересов нашего дела ради какого-то фетиша?

С минуту шеф смотрит на меня молча.

— Друг мой Витя, не говори красиво, — произносит он потом и с саркастической миной исчезает.

Шеф ненавидит громкие слова и очень тонко чувствует фальшь, но сейчас он сам сфальшивил и поэтому злится. В самом деле, мы с ним сыграли какой-то скетч из сборника одноактных пьес для клубной сцены. Он играл роль старшего и умудренного друга, а я — молодого поборника научной правды. С первых же слов мы оба поняли, что играем дурацкие роли, но в этой игре мы искали нужный тон и, может быть, нашли бы его, если бы не мой последний вопрос. С него так и закапала патока. По ходу пьесы шеф должен

был бы подойти, положить мне руки на плечи, этак по-нашему встряхнуть и сказать: «Я в тебе не ошибся».

Сейчас я поставлю этот чертов опыт. Плевать я хотел на сарказм шефа и на все фетиши на свете. С этого дня я совершенно самостоятелен в своих поступках. Я вам не прибор какой-нибудь.

Фетиш! Этот фетиш даст мне кандидатское звание, уверенность в себе и лишних пятьсот рублей в месяц. Сколько еще можно тянуть? Через два года мне будет тридцать. Это возраст активных действий. После тридцати о человеке уже могут сказать — неудачник. Тридцатилетние мужчины — главная сила Земли, они действуют во всем мире, осваивают Антарктиду и верхние слои атмосферы, добиваются лучших результатов во всем, женщины очень любят тридцатилетних, современные физики к тридцати годам становятся гениями. Нужно спешить, чтобы к тридцати годам не остаться за бортом. Тридцатилетние. Разными делами занимаются они в мире. И наряду со знаменитостями существуют невидимки, которые не могут рассказать о своем деле даже жене. Мы (я имею в виду ученых нашей области) тоже невидимки. Врач, казалось бы, самая скромная, будничная профессия. Но врач космический — это уже что-то. А рассказать никому нельзя. Мое имя до поры до времени не будет бить в глаза с газетных полос, но о нашем деле, когда мы добьемся того, ради чего работаем, закричат все радиостанции мира. Когда я слышу это «бип-бип-бип», у меня дыхание останавливается. Я представляю себе тот момент, когда ОТТУДА вместо этих сигналов раздастся человеческий голос. Это будет голос моего сверстника. Главное — это то, о чем я никогда не думаю, это то, что я иногда чувствую, когда лежу на подоконнике и смотрю на кусочек неба, по-

хожий на железнодорожный билет, пробитый звездным компостером.

Я встаю, иду к камере и делаю то, что нужно для ее подключения к системе. Эх, Димка, бродяга, привести бы тебя сюда! Как ты смеешь презирать мою жизнь? Как ты смеешь говорить, что я всю жизнь жил по чужой указке? Был бы ты постарше, я бы ударил тебя тогда. Трепач! Все вы трепачи!

Итак, для постановки опыта все готово. Шурочка будет потрясена, когда узнает, что защита откладывается на неопределенное время.

Я устал от этих бесплодных раздумий. Хожу по лаборатории, руки в карманах. Выглядываю в коридор: нет ли там Илюшки или моего друга Бориса? Никого нет. Снова подхожу к камере и вынимаю монетку. Орел или решка? Так делает всегда эта гопкомпания. Подбросят монетку один или три раза — и порядок. Голову себе особенно не ломают. Орел — ставлю опыт! Решка — нет! Честно говоря, я немного умею крутить так, чтобы получалось то, что нужно.

— Витька, что ты делаешь?! — изумленно восклицает за моей спиной Борис. Он стоит в дверях и с тревогой смотрит на меня.

Монетка падает на пол и укатывается под холодильник.

— Пойдем покурим? — говорит Борис участливо.

— Не мешай работать! — ору я. — Что это за манера входить без стука?

Выталкиваю его в коридор, плотно закрываю дверь, подхожу к камере и соединяю ее с системой.

Пусть теперь все это щелкает, мерцает, качается и гудит. Что это здесь — кухня алхимика или бутафория марсианского завода? Надоедает в конце концов

глазеть на непонятные вещи. Пойду искать Илюшку. Полтора часа с ним можно говорить о богатырской команде «Адмиралтеец».

— Виктор, ваш брат просит вас к телефону! — кричат мне снизу. Я спускаюсь и беру трубку.

Димка. Витя, мы уже на вокзале.

Я. Попутный вам в…

Димка. Мы едем в Таллин.

Я. Почему в Таллин? Вы же собирались в Ригу.

Димка. Говорят, в Таллине интереснее. Масса старых башен. А климатические условия одинаковые.

Я. Понятно. Ну, пока. Привет всем аргонавтам.

Вчера мы долго разговаривали с Димкой, чуть не подрались, но все-таки договорились писать друг другу до востребования. А ночью он пришел ко мне, сел на кровать и попросил сигаретку.

— Маму жалко, Витя, — сказал он басом. — Ты уж постарайся все это… сгладить как-то.

Я молчал.

— Виктор, скажи ей… Ну что со мной может случиться? Смотри. — Он вытянул руку, на ладони его лежал динамометр. — Видишь? — Он сжал пальцы в кулак и потом показал мне стрелку. Она стояла на шестидесяти. — Что со мной может случиться?

— Извини меня, Дима, я же не знал, что ты выжимаешь шестьдесят. Теперь я вижу, что с тобой ничего не может случиться. Ты раздробишь голову любому злоумышленнику, посягнувшему на твой пояс, набитый золотыми динарами. А мама знает, что ты выжимаешь столько?

Димка встал. Всю последнюю зиму он возился с гантелями, эспандером и динамометром. Рельеф его мускулатуры был великолепен.

— Виктор, ты на меня злишься. Я тебе тогда наговорил черт знает что. Ты уж…

— Наш простой, советский супермен, — сказал я. — Ты понимаешь, что ты сверхчеловек? Когда ты идешь в своей шерстяной пополам с нейлоном тенниске, и мускулы выпирают из тебя, и прохожие шарахаются, ты понимаешь, что ты супермен?

Димка помялся в дверях, вздохнул:

— Ладно, Виктор. Пока.

Теперь я жалею, что говорил с ним так на прощание. У мальчишки кошки на душе скребли, а я не смог сдержать свою злость. Но ведь не по телефону же изъясняться.

В странном состоянии я вступаю под вечерние своды «Барселоны». Со двора вижу, что все окна нашей квартиры ярко освещены. Мгновенно самые страшные мысли озверевшей ордой проносятся в голове. «Неотложка», ампулы ломают руками, спины людей закрывают что-то от глаз, тазики, лица, лица мелькают вокруг. Прыгаю через четыре ступеньки, взлетаю вверх и, подбегая к нашим дверям, уже слышу несколько голосов. Быстро вхожу в столовую.

Нервы у меня прямо никуда. Надо же так испугаться. Мама разливает чай, папа курит (правда, ожесточенно, рывками). Вокруг стола, как и следовало ожидать, расселись «кони». Здесь Юркин отец — наш управдом, мать Гали и дедушка Алика, персональный пенсионер. Говорят все разом, ничего нельзя понять. Меня замечают не сразу. Я останавливаюсь в дверях и минуту спустя начинаю в общем шуме различать голоса.

Мать Гали *(еще молодая женщина).* И она еще в чем-то обвиняет меня! Это безумное письмо! Вот, послушайте: «…ты не могла понять моего призвания, а

мое призвание — сцена. Ты всегда забывала о том, что я уже год назад обрезала школьные косички».

Дед Алика (с *пафосом 14-го года).* Позорный документ! А мой внук заявил мне на прощание, что солидные профессии пусть приобретают мещане, и процитировал: «Надеюсь, верую, вовеки не придет ко мне позорное благоразумье».

Отец Юрки *(старый боец).* Мало мы их драли, товарищи! Мой олух совсем не попрощался. Сказал только вчера вечером: «Не дави мне, папаша, на психику». Ну, я его… кхм… Нет, мало мы их драли. Решительно мало.

Наш Папа *(мыслит широкими категориями).* Удивительно, что на фоне всеобщего духовного роста…

Наша Мама *(это наша мама).* Какие жестокие дети…

Я вижу, что бурный период слез и валерьянки (то, что меня страшило больше всего) уже прошел, и в общем благополучно. Сейчас кто-нибудь скажет: «Что же делать?» И все будут думать, что делать, и, конечно, спросят совета у меня. А что я могу сказать?

Я сказал:

— Товарищи родители! — и посмотрел на Галину маму. Мы с ней немного флиртуем. — Товарищи родители, — сказал я, — не волнуйтесь. Делать нечего, и ничего не надо делать. Ребята захотели сразу стать большими. Пусть попробуют. И ничего страшного с ними не случится. Димка просил передать, чтобы вы не беспокоились, он будет писать мне. Парни здоровенные, и Галю, Зинаида Петровна, они в обиду не дадут.

Несмотря на мое выступление, родители возмущались еще очень долго. Часам к одиннадцати они перешли на воспоминания. Я прошел в свою комнату, открыл окно и лег спиной на подоконник.

Часть II
АРГОНАВТЫ

Глава 4

Они смотрели в окно вагона. Над Каланчевской уже зажглись неоновые призывы Госстраха, а небо было еще совсем светлым. Западный фасад высотной гостиницы весь пылал под солнцем слюдяным огнем.

И все это медленно-медленно уплывало назад.

Станционные пути и совсем рядом обычная московская улица. Огромный плакат на глухой стене старого дома: «Лучшие спутники чая». В космическом пространстве вокруг чашки чая вращаются его лучшие спутники: печенье, варенье, торт.

И все это медленно-медленно уплывало назад.

— Шикарно придумана реклама, — сказал Димка. — Надо бы всю рекламу построить по этому принципу. Лучший спутник мыла — мочалка, лучший спутник водки — селедка…

Но Галя, Алик и Юра не подхватили.

А потом все пошло быстрее и быстрее, трах-тах, тах-тах, тах-тах, тах-тах… То вдруг открывалась дальняя перспектива Москвы, то окно закрывалось вагонами, стоявшими на путях, заборами, пакгаузами. Трах-

тах, тах-тах, трах, свет, мрак, трах-тах-тах, бараки, свет, трах-тах-тах, встречный паровоз.

Уходила Москва, уносилась назад. Центр, забитый автомобилями, и полные ветра Лужники, все кинотеатры и рестораны, киностудия «Мосфильм», Ленинская библиотека и Пушкинский музей, ГУМ, трах-тах-тах, все уже позади, и в каменном море четырехугольная «Барселона», волна и корабль, что качал нас семнадцать лет, мама, папа, дедушка, брат, все дальше и дальше улетают они, трах-тах-тах, свет, мрак, барак, новостройка, тах-тах, это еще Москва, трах-тах, вдруг лес, это уже не Москва, трах-тах-тах, встречная электричка.

Проводники таскали матрацы и комплекты белья. В обоих концах вагона скопились граждане со сверточками в руках. По очереди они исчезали и появлялись снова уже в роскошных полосатых одеждах. Весь вагон возился и извинялся, а трое парней и девушка все смотрели в окно на лес и поле, где временами появлялись и стремительно мчались назад последние островки Москвы.

Рядом скрипнула кожа, и Галя почувствовала, что кто-то деликатно взял ее за талию.

— Разрешите проследовать? — пророкотал ласковый командирский басок. Прошел мужчина в синем костюме и скрипучих сапогах. Налитая красная шея, пересеченная морщинами, напоминала поверхность футбольного мяча. Обернулся, скользнул зеленым глазом, поправил рыжий ус и сказал кому-то:

— Гарная дивчина.

Димка, взглянув на рыжего, вдруг почувствовал себя маленьким и беспомощным и со злости сжал кулаки. Галя прошла в глубь купе и села там у окна. Димка сел с ней рядом. Алик вытащил из рюкзака кипу газет и

журналов — «Дэйли уоркер», «Юманите», «Юнге вельт», «Паэзе сера», «Экран», «Курьер ЮНЕСКО» и «Юность»; Юрка вытащил из кармана «Советский спорт».

Напротив Гали и Димки сидели три парня в очень аккуратных костюмах. Двое из них все время посмеивались, вспоминая какую-то машину, которую они называли «самосвал ОМ-28—70». Третий, белобрысый гигант, молча улыбался, поворачивая голову то к одному, то к другому.

— Лучшая марка из всех, что я знаю, — сказал первый парень и подмигнул Димке.

— Верно, — согласился второй.

— КПД самый высокий, поэтому и хороша эта машина в эксплуатации. — Первый опять подмигнул Димке.

— Что-то я не знаю такой машины, — мрачно сказал Димка.

Первый парень, худой и прыщавый, откинул со лба черную челку и выкатил на Димку лакированные глазки:

— Не знаешь? Слышишь, Игорь, человек не знает самосвала «ОМ-28—70»!

— Молодой еще, — улыбнулся Игорь, человек с крепким и широким лицом. Разговаривая, он поднимал ладонь, словно что-то на ней взвешивая. Он вытащил бутылку и показал. Оказалось, что самосвал «ОМ-28—70» — это «Особая московская» — 28 рублей 70 копеек». Страшно довольный, черноглазый малый безумно хохотал.

— Это нас вояки по дороге в Москву разыграли, — проговорил он задыхаясь. Отсмеявшись, предложил знакомиться. — Шурик, — сказал он и протянул руку Гале, которая все это время безучастно смотрела в окно.

Галя обернулась к нему холодным лицом манекена. Она умела делать такие лица.

— Александр Морозов, — поправился черноглазый и привстал. — А это мои друзья — Игорь Баулин и Эндель Хейс.

Галя небрежно кивнула головой и снова отвернулась. Димка разозлился на нее и сказал:

— Ее зовут Галка. А я Димка Денисов. А это мои друзья — Юрий Попов и Алик Крамер. Идите сюда, ребята!

Алик уже давно остро поглядывал из-за «Паэзе сера», изучал типажи. Юрка, не отрываясь от «Спорта», пересел поближе, ткнул в грудь Энделя Хейса и спросил взволнованно:

— Слушай, как ты думаешь: припилят наши в баскет американцев?

— Цто? — тонким голосом спросил гигант и покраснел.

— Он по-русски слабо кумекает, — улыбнулся Игорь.

Проводник принес чай. Черноглазый, несколько обескураженный каменным лицом Гали, вскоре снова разошелся. Он сыпал каламбурами, анекдотами, корчил такие рожи, что Юрка уже не спускал с него глаз. Алик положил газету на стол. Черноглазый ткнул пальцем в фотографию Брижит Бардо на первой странице и сказал:

— Артисточка эта на вас смахивает.

Напряженно прикрыл один глаз.

О, как Галя умеет улыбаться!

— Вы находите?

Черноглазый Шурик радостно засиял.

— Должен вам прямо сказать, что вы ужасно фотогигиеничны. Ха-ха-ха!

«Страшно люблю таких психов в компании», — подумал Димка.

Ребята охотно поддержали тон Шурика: дурачились изо всех сил. Игорь достал карты, а Алик стал учить новых знакомых играть во французского дурака. Даже огромный Эндель развеселился и пищал что-то своим тоненьким голоском. Начало путешествия складывалось приятно. Поезд летел в красной закатной стране. Электричество в вагоне еще не включили, и от этого было как-то особенно уютно. Тени на лицах и блики заката сквозь хвойный забор, вокруг блестят глаза и открываются в хохоте рты. Какие славные ребята наши попутчики! И вообще все о'кей! В мире полно смешных и благожелательных людей. Поезда ходят быстро, в них уютно играет радио.

Я жду тебя, далекий ветер детства,
Погладь меня опять по волосам.

Все вскочили, отдавая честь, потому что вышел король, а Димка остался сидеть. Его затормошили, Юрка хлопнул картами по носу, но он отмахнулся.

Переулок на Арбате
С проходным нашим милым двором…

Димка встал.

— Я покурить. — И пошел в тамбур.

Поезда уходят быстро от родных мест, но в них есть радиоузлы, где крутят душещипательные пластинки. Черт бы их побрал! Иная песенка может выбить из колеи даже мужчину, выжимающего правой рукой шестьдесят.

— Ничего, это с ним бывает, — сказал Юрка, — поехали дальше!

И все закричали:

— Бонжур, мадам! — потому что вышла дама.

Димка курил в тамбуре, и ему было стыдно. «Видимо, я все-таки слабак, — думал он. — Всем ребятам тяжело, но они держатся. Даже Галка. А меня словно кто-то за горло взял, когда стали крутить эту пластинку: «Я жду тебя, далекий ветер детства, погладь меня опять по волосам». Ветер детства, такого еще близкого, что там говорить! Он только там, этот ветер, больше нигде его нет для меня. Летает по переулкам медленно и властно, как орел. И вдруг со свистом — под арку «Барселоны», а мама из окна:

— Дима, ужинать!

Ребята кричат:

— Димка, выйдешь?

— Дмитрий, сколько раз тебя нужно звать?

— Димка выйдешь?

А ветер детства уже заполнил все и распирает стены. Мама любила гладить по волосам до тех пор, пока я не устроил ей скандала из-за этого. Теперь ночью подходит и гладит — и ветер детства сквозь кирпичи и стекла… Все, покончено с этим ветром. Ему не долететь до Балтики».

Димка открыл дверь вагона, и резиновый ветер открытой земли дал ему в грудь.

Тра-ля-ля! Поехали исследовать разные ветры! Бриз — это прибрежный ветер. Муссоны дуют летом с моря на сушу, зимой наоборот. Пассаты — прекрасные ветры (это у Джека Лондона). Бора — в Новороссийске (где это он читал?). Торнадо — кажется, в прериях.

Географы и синоптики различают ветры по направлению и по силе. А кто их различает по запаху? Музыканты, что ли? Художники, наверное, умеют различать

и по цвету. Боже мой, как только не пахнут ветры! Вот этот резиновый, на ощупь он каждую минуту разный. Сейчас дохнул морской травой и навозом. Опушка леса наполовину уже погружена в темноту, а лужа возле полотна пылает смесью всех цветов, словно палитра. И рядом апатичная лошадь с продавленной, как старый диван, спиной. Телега оглоблями вверх. Босой мальчишка. Одинокая изба по краю леса. Прошлогодний стог. Запах мокрой травы и навоза. Запах старины. До боли все это знакомо. Все это уже когда-то было. Когда? Попытайся вспомнить. Опушка мелькнула и исчезла. В дороге не только исследуют, но и вспоминают. К сожалению, никогда нельзя вспомнить до конца.

— Кукареку! — закричали в вагоне, потому что вышла десятка. Эндель опять зазевался. Брижит Бардо встала и, очень грациозно спотыкаясь, выбралась из купе.

Димка стоял лицом к двери и беспощадно дымил. Галя увидела его плечи, обтянутые черной фуфайкой, мускулистую шею, и ей неудержимо захотелось провести ладонью по его затылку снизу вверх, чтобы почувствовать мягкую щетку волос. Она это сделала. Димка резко повернул голову и отскочил.

— Ты что?! — гаркнул он. — Чего тебе надо?

— Дайте мне сигарету, капитан, — сыграла Галя.

— Ты уверена, что Брижит Бардо курит? — буркнул Димка и протянул ей сигарету.

Несколько минут они курили, молча глядя на огромную равнину, покрытую кустарником.

— Ты думал о доме? — вдруг спросила Галя, и Димка снова вздрогнул.

Он посмотрел ей в лицо и сказал:

— Да.

Галя отвернулась. Плечи ее дрогнули.

— Мне страшно.

— Что ты, первый раз из Москвы уехала?

— Конечно. Я дальше Звенигорода нигде не была.

Димка взглянул на Галино лицо, ставшее детским, и почувствовал себя слюнтяем и мягкотелым хлюпиком; ему захотелось вытереть этой девочке влажные глаза, погладить ее по голове и сказать ей что-нибудь нежное. Он ударил ладонью по ее плечу и бодро воскликнул:

— Не трусь, детка! Держи хвост пистолетом!

Галя отпрянула.

— Слушай, почему ты так со мной обращаешься? Я ведь тебе не Юрка и не Алик.

— Что я тебе сделал?

— Дима, мы ведь уже не дети.

— Это она мне говорит! Сама разнюнилась, как…

— Я не то имею в виду.

— А что ты имеешь в виду?

Брижит Бардо улыбнулась. Димка терпеть не мог этих ее улыбок, особенно когда она так улыбалась другим.

— Знаешь, — крикнул он, — лучше бы ты осталась дома!

Хотел уйти, но в это время в тамбур влезли Юрка, Алик, Шурик, Игорь и Эндель, а потом полезли и другие пассажиры-мужчины. Оказывается, поезд подходил к крупной станции.

Когда появились перрон и здание вокзала, Галя снова почувствовала, что ее деликатно взяли за талию, и прямо над ухом прогудел ласковый командирский басок:

— Разрешите продвинуться, землячка, не знаю, как величать.

Рыжий ус лез в глаза. Воняло сивухой. Юрка просунул вперед плечо и мощно притер рыжеусого к стенке. Галя оскорбительно засмеялась.

Внимание станционных служащих, местных жителей и железнодорожной милиции было привлечено весьма экстравагантной группой молодых людей. Удивительная златоволосая девушка в голубой блузке с закатанными рукавами и в черных брючках выше щиколотки прогуливалась по перрону в компании трех насупленных парней в черном. Один из парней носил очки и бородку. Поскольку на станции привыкли терпеливо относиться к пассажирам скорых поездов (к тому же, черт их знает, может, иностранцы), милиция и должностные лица сохраняли полное спокойствие, не выпуская в то же время указанную группу из-под цепкого наблюдения. На вокзальном скверике вокруг гипсовой девы с веслом собралось много местной молодежи.

— Э, ребята, смотри, какие гуси!

— Не гуси, а попугаи.

— Ты его, приятель, примечай, может, он заморский попугай…

— Почему же попугаи? Очень скромно и удобно одеты.

— Молчи, Зинка. Сама стиляга.

— Девка-то, девка, Господи ты Боже мой!

— А этот очкарик с бородой в дьячки, что ли, собирается?

— Сейчас мода в Москве под Фиделя Кастро.

Ребята остановились возле скверика и эффектно «хлопнули» по стакану газировки. Димка сказал:

— Волнение среди аборигенов.

Шурик, Игорь и Эндель долго не могли успокоиться, они охали и держались за животы.

— Господи, — пробормотал Шурик, — ну как же смешно жить на суше.

— Мы перегонщики.

— То есть?

— Перегоняем сейнеры на Дальний Восток. Из Ленинграда или ГДР гоним их на Камчатку.

— А вообще-то мы балтийцы, — сказал Игорь, — дети седой Балтики, так сказать. А это, — он улыбнулся и обнял за плечи Энделя, — прямой потомок викингов.

— Ваши предки тоже были застенчивыми? — спросила Галя у гиганта. — Как же они тогда разрушали и грабили города? И увозили женщин? А?

— Эсты не викинги. Тихие люди. Женщину не увозили. Всегда любили женщину, — в смятении залепетал Эндель.

От одного взгляда на него становилось жарко. Все засмеялись. Димка, Алик и Юрка переглянулись. Кто бы мог подумать, что эти ребята в аккуратных пиджачках перегоняют суда из ГДР на Камчатку через все моря и океаны!

— А вы, видно, студенты?

— Нет, мы школу кончили в этом году.

— В институт будете поступать или на производство?

— Ни то, ни другое.

— А что же тогда?

— Будем путешествовать. Мы туристы.

Алик поправил Димку:

— Какие же мы туристы? Туристы на время уходят из дому, а мы навсегда порвали с затхлым городским уютом и мещанским семейным бытом.

— Точно, — сказал Юрка.

— Мы пожиратели километров, — уточнил Димка.

— Вот дают! — восхитился Шурик Морозов. — Пожиратели! Ну и везет нам, ребята, в этот раз на суше! Сначала тот лейтенант, что сел в Иркутске, сказал, что он фаталист. Фаталист, понимаете? А теперь вот пожиратели километров. Все оригинальные личности попадаются. Разрешите поинтересоваться: у вас, наверное, все не так, как у людей, а? Алик, ты как теоретик…

— У нас нет теорий, — отрезал Алик.

— А взгляды? На любовь, например, у вас какой взгляд?

— Любви нет, — отрезал Алик. — Старомодная выдумка. Есть только удовлетворение половой потребности.

— Правильно! — крикнул Димка. — Любви нет и не было никогда.

— Точно, — сказал Юрка, — нету ее.

— Маменькины сынки вы, вот вы кто, — сердито сказал Игорь. Он воспринимал все это крайне серьезно. — Я думал, вы ребята как ребята, а вы маменькины сынки. Не люблю таких. Блажь в голову пришла, и помчались, сами не знают куда. А деньги кончатся — побежите на телеграф. Милые родители, денег не дадите ли?

— Ошибаетесь, — сказал Алик, — мы сами себя прокормим. Мы труда не боимся.

— А знаете вы, что такое труд?

Димка понял: шутки в сторону. Ишь ты, уставился на Альку этот тип! Желваки на скулах катаются. Может, поучать собирается, влиять? Знаем мы таких! Идите вы все подальше!

— Представь себе, знаем! — крикнул он. — В школе проходили. Учили нас труду. Труд — это такой урок, на котором хочется все ломать.

— Э, — сказал Шурик, — так шутить нельзя.

— Нельзя, — твердо сказал Эндель.

Игорь посмотрел на Димку.

— Интересно, — медленно проговорил он, — едешь в поезде и не знаешь, кто напротив сидит.

— А сидит-то пережиток капиталистического сознания, — усмехнулся Димка.

— Хватит трепаться! — гаркнул Игорь. — Трепачи вы, голые трепачи! Поехали бы в Сибирь, посмотрели бы, что там молодежь делает!

— В Сибирь все едут, — сказал Юрка.

— Все едут на Восток, а мы вот на Запад, — засмеялся Димка.

— Сопляки!

— Но-но! — Юрка рассердился. — Полегче, ты, трибун!

— Говорю, что думаю, — буркнул Игорь и закурил.

— Держи при себе то, что думаешь.

— Не собираюсь.

— Схлопочешь!

— Что-о?

Игорь и Юрка уставились друг на друга. Через несколько секунд Игорь усмехнулся и откинулся.

— Свежий ты человек, Юра. Целина. Удивительное дело. Тебя бы к нам на судно. Вы вообще-то комсомольцы или нет?

— А ты, наверное, секретарь? Освобожденным секретарем работаешь? — спросил Димка.

— Не твоего ума дело. Тебя-то к судну и подпускать нельзя.

— А иди ты… в судно!

— Товарищи! — воскликнула Галя и хлопнула ладонью по столу. — Из-за чего вы ссоритесь, я не понимаю! Какие странные! Давайте лучше сыграем во французского дурака.

— Блестящая идея, — вяло откликнулся Шурик.

Игорь встал и ушел.

— Психованный он у вас какой-то, — сказал Юрка Шурику.

Шурик был растерян. Эти ребята ему почему-то нравились. Игорь зря орал. Не хватает у человека юмора, что поделаешь! Пожиратели! Вот потеха! На судне мы таких обламывали в два счета. И эти где-нибудь обломаются. И все-таки Игорь — молодчина.

Эндель Хейс, не краснея, посмотрел на ребят и встал.

— Игорь Баулин не психованный. Принципиальный. Принципы! — вы знаете, что это такое? Извините, пошел закуривать.

— От сна еще никто не умер, — пробормотал Шурик и взлетел на полку.

— Вот теперь и сыграем, — сказал Димка и стал раздавать карты.

Ночью поезд идет вдоль болот. Сделай себе щелку между шторами и смотри на залитые лунным светом

кочки и лужицы. Ты лежишь в длинном пенале, набитом людьми, как перышками. Пахнет одеколоном и сыром «Рокфор». Рядом с тобой, за стенкой толщиной в сантиметр, лежит человек с железными челюстями и железными принципами. Все им ясно, железным. Плюс и минус. Анод и катод. Но все-таки это здорово — лежать в теплом пенале, а не блуждать где-то там, в мертвом болоте.

На перроне таллинского вокзала Игорь крикнул весело (на его шее висела молодая женщина):

— Гуд бай, пожиратели!

— Пока, перегонщики! — проорал в ответ Димка и отсалютовал выхваченной из рюкзака поварешкой.

Глава 5

Ну вот он, морской пляж.

— Пляжи мне всегда напоминают битву у стен Трои, — сказал Алик.

— Мне тоже, — сразу же откликнулся Димка. — Помню, как сейчас: идем у стен Трои втроем: Гектор, Алик и я, а навстречу нам…

— Пенелопа! — воскликнула Галя и сделала цирковой реверанс.

— Ты хочешь сказать, Елена, — поправил Алик, — тогда я Парис.

— Я ухожу из Трои. Я Менелай, — заявил Димка.

— А я? А я кто буду? — заорал Юрка. — Меня-то забыли!

— Кем ты хочешь быть? Говори сам.

— Черт возьми! — Юрка зачесал в затылке. — Не помню ни одного. Мы же это в третьем классе проходили.

— Тогда ты будешь рабом и будешь сторожить колесницу, — сказал Димка.

— Я Ахилл! — заорал Юрка, потрясая ружьем для подводной охоты.

Димка моментально бросился на песок и схватил его за пятку.

Огромный пляж простирался на несколько километров к северо-западу, и все эти километры были забиты голыми людьми. Это был воскресный и невероятно жаркий для Прибалтики день. Мелкие волны размеренной чередой шли к пляжу, лениво сворачиваясь в вафли. На горизонте медленно перемещались, то сбиваясь в кучу, то вытягиваясь в красивую эскадру, белые треугольники яхт. И над всем этим на юго-западе висел голубой и зубчатый, как старая поломанная пила, силуэт Таллина, грозные камни Таллина.

Вчера ребята уже успели разбить палатку в лесу, в ста метрах от последнего дома пригородного курортного поселка Пирита. Галке, как она ни сопротивлялась, жить в палатке не позволили. Алик и Димка зашли в соседний дом и увидели хозяина, пожилого мужчину. Он сидел на корточках и фотографировал огромного доброго пса, лежащего на крыльце. По двору бегали еще две собачки, три кошки, павлин и жеребенок. Ребята представились хозяину и сказали, что они студенты-ихтиологи из Москвы и приехали сюда для изучения нравов рыб Финского залива. Хозяина звали Янсонс. Он сказал, что он анималист, что он охотно сдаст для девушки комнату на мансарде, жена будет только рада, денег не надо, — а ребятам он с удовольствием окажет помощь в благородном деле изучения нравов рыб Финского залива. Так что с устройством быта все произошло легко, как в сказке.

— Чудаки не дадут нам погибнуть, — сказал Димка, ликуя.

Ребята спустились с холма и направились в дальний конец пляжа, где еще виднелись островки свободной суши. Впереди шел Димка. На плече он нес рюкзак и ласты. Затем следовал Юрка с подводным ружьем. Алик независимо шествовал с пишущей машинкой. Замыкала отряд Галка. У нее на плече висела сумка с надписью «А».

— Приказываю установить наблюдение за заливом, — распорядился Димка, — при появлении судна Янсонса выкинуть международный сигнал: «К нам, к нам, дядя».

— Что делать женщинам, капитан? — приложив два пальца к виску, спросила Брижит Бардо.

— Раздеваться. Лечь в стороне, загорать и как можно реже давать о себе знать.

Они постелили полотенца, закопали в песок лимонад и улеглись в ряд, подставив спины солнцу.

— Сэр, я предлагаю провести общую политическую дискуссию, — сказал Алик, — пусть каждый внесет свои предложения на повестку дня.

— Проблема пищи, — сказал Димка.

— То есть финансовая проблема, — уточнил Юрка.

— А мне можно, капитан? — робко пискнула Галя. — Проблема равноправия женщин, капитан.

— Молчать!

Дебатировалась финансовая проблема. В наличии имелось 1500 рублей. Сумма сама по себе громадная, но на нее надо было прожить месяц вчетвером. Кроме того, имелось десять лотерейных билетов. Короче говоря, надо было дотянуть до тиража.

— Наши мысли не что иное, как электромагнитные колебания, — сказал Алик. — Если в день тиража мы напряжем свою волю, учетверенная мощность наших импульсов… Вам ясно? Телепатия и так далее. Выигрыш обеспечен.

— «Волгу» продадим, купим «Москвича» и на нем покатим в Ленинград, — рассудил Димка.

— Дети, — сказала Галка, а Юрка захохотал.

— Вот с такими настроениями ни черта не выиграешь, — разозлился Алик.

— В общем, жрать пока надо поменьше, — подытожил Юрка. — До тиража. Потом уж поедим.

— Ты же обещал нас всех кормить рыбой, — заметила Галя.

— Рыбы-то, пожалуйста, ешь сколько угодно.

— Да где она?

— Финского залива тебе хватит на ужин?

— Я не понимаю, что это вы так разволновались из-за этих дурацких денег? — сказал Димка.

— Правда, чего мы волнуемся? — улыбнулась Галя. — Ведь наш капитан обыграет всех на бильярде, а Алик наводнит местные газеты своими стихами, балладами, новеллами, баснями, шарадами.

— Ты вроде струсила, детка? Побежишь на телеграф, как говорил этот дубина Игорь!

Галя села, подняла голову, и лицо у нее стало таким, что ребята уткнулись в песок.

— Что мне трусить? Разве трусят, когда впервые видят море? И едут на поезде так далеко и… все вместе? Я ничего не боюсь, когда… Ой, мальчики, мне сейчас так… Боюсь только женоненавистников. — Она открыла глаза и улыбнулась Димке. — Но, к счастью, их не так много.

— Судно Янсонса в двух кабельтовых на норд-осте! — доложил Юрка.

Димка встал.

— Женщины и поэты остаются на берегу. Человек-амфибия и я идем на промысел. Сбор в шесть вечера возле автобусной остановки.

А Галя все сидела с таким лицом, что просто не было сил на нее смотреть.

К ногам Димки подкатился волейбольный мяч.

Ишь ты, сидит, размечталась! Актриса! Сидит и будто не видит этих типчиков, что перебрались к ней поближе со своим мячом.

— Уловил? — сказал Димка Юрке зловеще.

— К Галке хотят подклеиться. Ясно.

Трое парней, все как на подбор, стояли и ждали, когда Димка подаст им мяч.

— Покажем им?

— Пошли.

Димка небрежно одной рукой поднял мяч и, раскручивая его, пошел к парням.

— Подкинь мне вон на того пижона.

Покажем им, чертям, столичный класс! Ну-ка, давай, Юрка! Дима-а! Ничего, подождете, дойдет и до вас очередь. Еще заплачешь, пижончик. Давай, Димка! Юра-а! Выше! Узнаете, как клеиться к нашим девочкам! Разве Галка — твоя девочка? Просто товарищ, как Алька. Это ее личное дело. Ей небось нравится, что она пользуется успехом здесь. Давай-давай! Можешь ты кинуть как следует? Не нравится мне этот пижончик. Просто не нравится, и все. Галка здесь ни при чем. Ну, давай!

Трое парней довольно равнодушно смотрели, как изгилялись Димка и Юрка. Наконец Димка уловил темп, прыгнул и ахнул что есть силы прямо в того

пижончика. Пижончик принял мяч, падая на спину, и покатился, как заправский защитник.

— Молодец! — закричала Галка.

Димка оглянулся на нее. Открыла глаза, спящая принцесса! Странно, что вот такие пижончики и пользуются у девчонок самым большим успехом. А взял он здорово. Молоток!

Мяч снова отскочил к Димке. Он поймал его и бросил далеко в сторону. Сказал пижончику:

— Что, вам места больше нет? У нас тут творческая личность, ему нужна тишина и чистый воздух. Понятно?

Ребята поговорили между собой по-эстонски, засмеялись и пошли туда, куда Димка забросил мяч.

— Молодец, — сказала Галя, — какой ты молодец, Дима!

— Слушай, детка, — Димка нахмурился. — Хочу тебя предупредить. Кончай, знаешь, свои закидоны глазками и прочие шуры-муры. Мы не собираемся тут за тебя кашу расхлебывать. Алька, смотри тут за ней!

Алик, ничего не замечая, словно одержимый, стучал на пишущей машинке.

— Ребята сами подошли, — сердито сказала Галя. — Что я их, звала?

— Ты хочешь сказать, что пользуешься успехом?

— А тебе, в конце концов, какое до этого дело?

— Алик, слышишь, Галка пользуется успехом.

Алик вздрогнул, посмотрел на них, лег на песок и сказал в бороду:

— Кому же еще пользоваться успехом, если не ей?

Димка не унимался:

— Юрка, ты слышишь: Галка-то наша пользуется успехом!

— А нет, что ли? — Юрка проверил снасть. — Ты думаешь, не пользуется?

— Конечно, пользуется. Я же и говорю, что пользуется.

Юрка перекинул через плечо ласты.

— Я считаю, — сказал он, — что в нашей школе больше никто и не пользовался таким успехом, как Галка. Вот, может, еще Боярчук.

— Боярчук… Люся? — встрепенулся Алик. — Да, да!..

— Нет! — торжественно заявил Димка. — Боярчук в счет не идет. Из нашей школы только Галка пользуется настоящим успехом. Боярчук ведь еще недоразвитая.

— В каком смысле? — Алик сел и уставился на Димку.

— В женском смысле, конечно. У Галки уже есть все, чтобы пользоваться настоящим успехом. А Боярчук, — Димка показал в воздухе, какая она, эта Боярчук. Плоская, мол.

Юра захохотал:

— В этом смысле точно!

Галя переводила взгляд с одного на другого. Она была поражена. Ребята, ее друзья, впервые при ней вели такой разговор. В поезде они трепались о любви, но это же был обычный треп. А теперь они говорят так о ней! Ее друзья! А Димка даже с какой-то злобой. Подлец!

— И все-таки глаза у Люси… Боярчук удивительные, — сказал Алик.

— Глаза! — засмеялся Димка. — Ха-ха, глаза! Что ты будешь с глазами-то делать? С одними глазами успеха не завоюешь. Наша Галка глазами, думаешь, всех покоряет?

Галя вскочила и ударила Димку по щеке:

— Дурак, дурак, дурак! — Отбежала в сторону и упала в песок. — Все вы дураки и щенки!

Димка стоял, закрыв рукой щеку и глаз, и одним глазом смотрел на все вокруг. В этот миг берег, и лес, и люди выглядели как десять лет назад, когда он захлебнулся в воде и на мгновение потерял сознание. После этого все казалось вот таким, неузнаваемым.

— Идиотка! — крикнул он первое, что пришло в голову. И сразу все стало на место. Галкина золотистая голова покачивалась за бугром. Плачет, что ли? Вот еще напасть с ней! А Алька-то какого черта смотрит, словно стервятник?

— Янсонс сигналит, — сказал Юрка, — пошли.

Алик с минуту смотрел им в спины, потом побежал и рванул Димку за плечо.

— Слушай, ты, ты! — пробормотал он. — Ты не прав насчет глаз! Глаза — зеркало души.

— Напиши это в стихах, — буркнул Димка.

— Не прикидывайся, Димка, что тебе наплевать на глаза.

— Отстань! Видишь, нам Янсонс сигналит.

— Да ладно вам, — сказал Юрка.

Они снова пошли к воде, но Димка обернулся. Бородатый черт смотрел им вслед. Теоретик! Любви нет. Удовлетворение половой потребности. А сам готов разреветься из-за глаз этой Боярчук.

— Слушай, Алька, скажи ей, что она права — я дурак. И все мы дураки. Скажи, чтоб не куксилась.

— И развези там киселя побольше, — добавил Юрка.

— Хорошо, вы дураки, — сказала Галя, — я это давно знала, но я не знала, что вы такие.

— Понимаешь, — Алик заглянул ей в глаза, — Димка стал какой-то странный. По-моему, он что-то затаил.

— Ты уверен?! — воскликнула Галя. — По-твоему, он что-то затаил?

Она посмотрела в море. Там, довольно далеко от берега, стояло судно Янсонса. По мелководью к нему бежали Юрка и Димка. Устроили вокруг себя настоящее безобразие, тучи брызг поднимают. Вот стало трудно бежать. Идут. Поплыли. Неужели Димка что-то затаил? Неужели это возможно?

— Я подозреваю, — сказал Алик, — я не хочу тебе говорить, это не по-товарищески, но мне кажется.

— Алька, можно тебя дернуть за бородку? Можно, а? Ну, маленький Алинька, можно разочек? Всего один разик?

— Хорошее судно у Янсонса, — сказал Димка, — и сам он дядька хороший.

— А что такое анималист? — спросил Юрка.

— По-моему, это что-то из зоотехники.

Янсонс сидел на корме своей голубой моторки. Издали, в курточке и восьмиугольной фуражке, он был похож на юношу. Моторка покачивалась на волнах. Голубые тени скользили по ее корпусу. Солнце отсвечивало вокруг в воде, вращалось маленькими волчками. Янсонс, загадочный анималист, сидел на корме и улыбался подплывающим ребятам из-за своей трубки.

«Стучит и стучит. Какой смешной этот Алик!» — подумала Галя.

Она уже два раза выкупалась. Поиграла в волейбол с теми ребятами. Ребята оказались рабочими с таллинского завода «Вольта». Они говорили по-русски с удивительно милым акцентом.

А Алик все стучал на своей машинке.

«Все-таки он молодец!» — подумала Галя.

Сценарист, беллетрист и поэт Александр Крамер за эти два часа написал уже один рассказ и три стихотворения: о трактористке, к Дню Военно-морского флота и к Дню физкультурника.

Бронзой мускулов,
День, звени!
Будут ли тусклыми
Наши дни?

Мускулы — тусклыми! Железная рифма. Отхватят с руками. 48 строчек по 5 рублей — 240! Неплохо за два часа! Конечно, это халтура, но кто не халтурил? И Маяковский себя смирял, становясь на горло собственной песне.

Десять окурков валялись рядом с ним на песке. Закуривая новую сигарету, он поднял вверх свою бородку (паршивенькая, надо сказать, бороденка!) и поправил синий платок на шее.

«Ну, а теперь начну что-нибудь настоящее, для души.

Каюта. Пахнет табаком. Шкипер спит. Волосы из ноздрей, как два маленьких взрыва. Заскрежетало.

Закручу психологический узел. Жена, любовница, семнадцатилетний сын, драка в портовом кабачке. Напишу в манере сюрреализма и пошлю Феликсу Анохину на рецензию. Ему понравится. Главное — психический автоматизм, всегда говорит он. Телеграфный язык современной прозы. Сделаю настоящую модернягу».

Алик сунул окурок в песок и увидел великолепные остроносые туфли, медленно передвигающиеся по песку. Штаны тоже были стопроцентные, без ман-

жет. Алик поднял голову выше и ахнул. Мимо него шел знаменитый сценарист и кинодеятель Иванов-Петров.

«На ловца и зверь бежит!» — сразу же подумал Алик.

Знаменитость отошла метров на десять и со слабым стоном повалилась на песок.

— Галка, видишь того человека? — горячо зашептал Алик.

— Шикарный дядечка, — равнодушно сказала Галя. Она лежала на животе, болтала ногами в воздухе и читала что-то по театру.

— Это же Иванов-Петров!

— Иванов да еще и Петров? Не может этого быть.

— Темная ты женщина! А еще актрисой собираешься стать!

Алик вскочил, подтянул шейный платок, пригладил волосы.

«Темная женщина Галка! Не знает Иванова-Петрова! Это же авангард нашего искусства! Пойду пожму руку старику. Мы ведь с ним немного знакомы. Болтали тогда о «Сладкой жизни». Он рассказывал о фестивале в Каннах, а я тогда сказал…»

Алик сказал тогда, что, по его мнению, Феллини — экзистенциалист. Правда, Иванов-Петров этого не услышал, потому что одновременно с Аликом заговорил режиссер Галанских. Иванова-Петрова окружала целая толпа маститых, и Алик бегал вокруг и вставал на цыпочки. Потом Алик снова сказал, что, по его мнению, Феллини — экзистенциалист, но тут заговорили один редактор и знаменитый оператор Пушечный. В третий раз до всех дошло. Все посмотрели на Алика и засмеялись, дубы, а Иванов-Петров, проходя к выходу, хлопнул его по плечу. Знакомство, конечно, шапочное, но почему не поприветствовать старика Иванова-Петрова?

Ему, наверное, будет приятно здесь, в Эстонии, увидеть своих с «Мосфильма».

Алик пошел на сближение.

«Главное, не терять независимости!» — думал он. Прошел мимо. Иванов-Петров лежал на спине. Алик влез по пояс в воду, окунулся, пошел обратно, небрежно хлопая ладонью по воде.

«Полная независимость», — думал он. Остановился над распростертым на песке телом и сказал громко:

— Ба, да это, кажется, Иванов-Петров!

Сценарист вздрогнул, но глаза не открыл. Алик растерялся.

— Ба, да это, кажется, Иванов-Петров! — сказал потише.

Сценарист открыл глаза.

— Привет! — сказал Алик и плюхнулся на песок рядом.

Иванов-Петров протянул ему руку.

— Давно здесь? — спросил Алик независимо, может быть, даже несколько покровительственно.

— Первый день.

— Творческая командировка? Или конференция?

— Да нет, брат, — виновато сказал Иванов-Петров, — жиры сгонять приехал. Засиделся. Думаю тут погулять, в теннис поиграть.

— Дело! — одобрительно сказал Алик.

— Ты меня прости, брат, — замялся кинодеятель, — память у меня что-то стала слабеть. Сорока еще нет, понимаешь ли, а вот… Ты в каком жанре трудишься?

— Почти во всех, — ответил Алик и с ужасом взглянул на Иванова-Петрова. — В основном сценарии. Думаю стать киносценаристом.

— Тяжело, — вздохнула знаменитость.

— Можно вам показать? — Алик независимо усмехнулся. — В порядке шефства посмотрите мои работы?

— Давай, брат, — снова вздохнул Иванов-Петров.

Юрка плыл под водой. Он дышал через трубку и смотрел вниз на песчаное и словно гофрированное дно. По дну скользила его тень, похожая на самолет. Перед самым носом, блестя, точно металлическая пыль, прошла стайка мелюзги. Внизу шмыгнула стайка мелочи покрупнее.

«Тюлька, — подумал Юрка. — Четыре рубля килограмм».

Дно было совершенно чистое: ни кустика, ни камушка. Черта с два подстрелишь на таком дне! Все равно что охотиться в парке культуры. Тоже мне Янсонс, знаток природы, куда привез! Ага, кажется, начинается! Внизу появились валуны и лужайки темно-зеленого мха, потом пошли какие-то кустики. Юрка посмотрел наверх. Там все сияло ярко и вызывающе. Здесь был другой, мягкий и вкрадчивый, мир. Юрка чувствовал все свое тело, легко проникшее в этот чужой мир. Он чувствовал себя гордым и мощным, как никогда, представителем воздуха и земли в этой иной стихии. Честно говоря, он ни разу в жизни не охотился под водой и, если уж совсем начистоту, впервые плавал с ластами и в маске. Но с детства он был страшно уверен в себе, считал, что любое дело ему по плечу. В пятом классе на уроке физкультуры он забрался на большой трамплин, как будто это было для него самое привычное дело. На баскетбольной площадке он чаще всех бросал по кольцу из любого положения. Он был самым высо-

ким в классе, самым сильным, и он был кандидатом в молодежную сборную.

«Покупайте свежемороженую камбалу. Вкусно, питательно», — вспомнил Юрка плакат в магазине на их улице, когда увидел внизу несколько круглых и плоских рыб. Он нырнул, поднял ружье и выстрелил в самую крупную. Рыбы трепыхнулись и исчезли. Гарпун тоже пропал. А тут еще ахнул с моторки Димка. Он нырнул до самого дна, толкнул Юрку в плечо и, выпуская пузырьки, вознесся вверх. Наловишь с ними рыбы, с этими типами, Янсонсом и Димкой! Но где же гарпун?

Димка лежал на спине. Волны поднимали его, и тогда слева он видел желто-зеленую полоску берега, а справа — силуэт танкера, волны опускали его, и тогда он оставался наедине с небом. Вдруг он вспомнил стихи. Виктор на юге часто повторял это:

С этих пор я бродил
В полуночном пространстве,
В первозданной поэме,
Сложенной почти наобум,
Пожирал эту прорву,
Проглатывал прозелень странствий,
Где ныряет утопленник,
Полный таинственных дум.

Вот жизнь у этих утопленников! Наверное, это здорово — качаться все время на волнах и быть полным таинственных дум! Но еще лучше быть живым и вспоминать разные стихи про море. Алик знает целую прорву стихов и много о море. Виктор знает стихи, а Галка — наизусть «Ромео и Джульетту». Галка, Галка, какая ты

молодец, что дала мне по щеке! Как это хорошо получилось! Как здорово все — я в море, а она на берегу.

Волна подбросила Димку. Танкер лез в гору, а две яхты ползли вниз. Пикировала здоровенная, похожая на гидроплан чайка. Совсем рядом подпрыгнула корма моторки. Две чаечки косо перерезали всю эту вихляющуюся картину и сели на воду.

«И летит кувырком и касается чайками дна, — снова вспомнил Димка стихи и даже испугался. — Что это сегодня со мной?»

Он перевернулся и поплыл. Вот жизнь!

Чайка, похожая на гидроплан, прилетела с моря, изящно сделала вираж и ушла обратно. Галя отбросила книжку и перевернулась на спину. Над головой прошли ботинки Иванова-Петрова и голые ступни Алика.

«Мальчики ловят рыбу, — улыбнулась Галя. — Посмотрим, что вы поймаете. А я? Поймаю ли я золотую рыбку? И где она плавает, моя? Море такое громадное. А может быть, она сама приплывет ко мне и скажет: «Чего тебе надобно, Галя?» — «Я хочу, чтоб было душно и пахло цветами, и чтобы я стояла на балконе и смотрела на слабые огоньки Вероны». А потом послышится шорох и появится Ромео. Он подойдет ко мне и скажет: «Кончай, детка, свои закидоны глазками и прочие шуры-муры».

Он скажет это так же, как сказал сегодня, но на этот раз мы будем одни. А дальше уже все пойдет по Шекспиру. Но конец будет ненастоящий, так будет только на сцене. Вспыхнут все лампы, и мы встанем как ни в чем не бывало. Аплодисменты! Букеты! А в первом ряду аплодирует седой человек из кино. На самом деле это будет только начало».

К концу дня друзья подстрелили одну тощую камбалу. Они стыдливо завернули ее в газету и отнесли в палатку. Почистившись, пошли на автобусную остановку.

Галя и Алик долго и противно смеялись. Юрка и Димка не ответили ни на один вопрос. Не станешь ведь рассказывать, как они без конца ныряли и, посинев от напряжения, пытались вытащить застрявший гарпун. И про улыбочки Янсонса тоже не расскажешь. Ведь не рассказывать же, ей-богу, про эту несчастную рыбешку, которую с грозным ревом и омерзительным сопением пожрал один из котов Янсонса. Абсолютно ни о чем нельзя было рассказать. Ведь если Галка начнет хихикать, ее не уймешь.

За спинами ребят гигантским веером колыхался закат. А прямо перед ними стояли красные сосны. А вот показался огромный венгерский «Икарус». Краски заката раскрасили его лобовое стекло. Замолчали Галка и Алик. Все четверо смотрели, как приближается автобус, и чувствовали себя счастливыми. Вот это жизнь! Горячий песок. Сосны. Чайки. Море. Автобус идет. Куда хочу, туда еду. Могу на автобусе, а могу и в такси. И пешком можно. И никто тебе не кричит: иди учи язык! И никто, понимаете ли, не давит на твою психику. И унижаться, выпрашивать пятерку на кино не надо. А впереди вечерний Таллин. Город, полный старых башен и кафе.

Они вошли в кафе. В зале были свободные столики, но они подождали, пока освободятся места у стойки. Места освободились, и они сели на высокие табуреты к стойке. Положили руки на стойку. Вынули сигареты и положили их рядом с собой. На стойку. Поверхность стойки была полированной и отражала

потолок. Потолок весь в звездах. Асимметричные такие звезды.

Буфетчица занималась с кем-то в конце стойки, а ребята пока оглядывались, сидя у стойки. Кафе было замечательное.

— А вон наши красавцы с пляжа, — сказал Алик.

В дверях появились трое парней.

— Ишь ты, напыжились! — засмеялся Юрка.

— А как же! — усмехнулся Димка. — Смотрите, смотрите, мы идем в элегантных вечерних костюмах. Все трое в черных костюмах.

— Дешевые пижоны, — сказал Алик.

— Они не пижоны, а рабочие, — возразила Галя.

— Рабочие! Знаем мы таких рабочих!

Пижоны-рабочие вежливо поклонились Гале. Брижит Бардо сделала салют ручкой и сказала первое эстонское слово, которое выучила:

— Тере — здрасте!..

Димка только покосился на нее. Те трое уселись на высокие табуреты, как будто им в зале мало места. Везде им места не хватает. Тот пижончик, в которого Димка сегодня бил, оказался рядом. Ладно, лишь бы сидел тихо. Только бы перестал возиться и напевать. И пусть только попробует пялить глаза на Галку!

— Палун? — обратилась буфетчица к Димке.

— Коньяк, — сквозь зубы, резко так сказал он. — Налейте коньяку. Четыре по сто.

Вот как надо заказывать коньяк. Точно так.

— Смотри, что она наливает, — зашевелился Юрка. — «Ереванский»! 17.50 сто граммов! Эй, девушка, нам не…

Димка толкнул его локтем:

— Заткнись!

Юрка и Димка выпили свои рюмки. Алик не выносил спиртного. Он лизнул и что-то записал в блокнот. Юрка разлил его рюмку пополам с Димкой. Галя не допила, и Димка хлопнул и ее рюмку.

Пижоны рядом пили кофе и какое-то кисленькое винцо.

В кафе громко играла музыка, какая-то запись. Это был рояль, но играли на нем так, словно рояль — барабан. Вокруг курили и болтали. И симпатичная буфетчица, которую Димка уже называл «деткой», поставила перед ними дымящиеся чашки кофе. Стояли рюмки и чашки, валялись сигареты, ломтики лимона были присыпаны сахарной пудрой. Сверкал итальянский кофейный автомат. Сверкало нарисованное небо с асимметричными звездами.

Нарисованный мир красивее, чем настоящий. И в нем человек себя лучше чувствует. Спокойней. Как только освоишься в нарисованном мире, так тебе становится хорошо-хорошо. И совершенно зря «детка» Хелля говорит, что Димке уже хватит. Она ведь не понимает, как человеку бывает хорошо под нарисованными звездами. Она ведь ходит под ними каждый вечер.

— Пошли в клуб, ребята, — сказал Густав, этот милый парень с завода «Вольта», — пойдемте на танцы.

— А что у вас танцуют? — спросил Димка.

— Чарльстон и липси.

Вот это жизнь! Чарльстон и липси! Вот это да!

Ночью в палатке казначей Юрка долго возился, шуршал купюрами, светил себе фонариком.

— Не надо было пить «Ереванский», — прорычал он.

Но Димка в это время на древней ладье плыл по фиолетовому морю. Качало страшно. Налетели гидропланы противника. Стрелял в них из автоматического подводного ружья. Как у Жюля Верна, из-под воды. Небо очистилось, и проглянули великолепные асимметричные звезды. Все было нарисовано наспех, и в этом была своя прелесть. «Если уж пить, то только «Ереванский», — сказала «деточка» Хелля. А Галя погладила по затылку снизу вверх.

«Асимметрия — символ современности», — говорил в это время Алик Иванову-Петрову. «Тяжело мне, — стонал кинодеятель, — темный я, брат!»

«А что вы можете сказать о глазах? Глаза Боярчук — это вам что?»

«Они у нее симметричные? Старо, брат! Симметричные глаза не выражают нашу современность. В Каннах этот вопрос решен».

В ста метрах от палатки на мансарде янсонсовского дома Галя жмурилась от вспышек блицев и кланялась, кланялась, кланялась.

«Удивительная пластичность, — сказал седой человек из кино, — я еще не видел ни одной Джульетты, которая бы так великолепно танцевала липси». Он выхватил шпагу и отсалютовал. И вокруг началось побоище. Шпаги стучали, как хоккейные клюшки, когда в Лужниках играют с канадцами. Конечно, всех победил Димка. «Наш лучший нападающий, — сказал седой человек из кино репортерам. — Семнадцать лет, фамилия — Монтекки, имя — Ромео».

— Не надо было пить «Ереванский», — пробормотал Юрка, вытянулся на тюфяке и сразу же ринулся в бой с несметными полчищами камбалы.

Глава 6

Димка сидел на пляже и смотрел на море. Он внимательно следил за одной точкой, еле видной в расплавленном блеске воды. Она двигалась в хаосе других точек, но он ни разу не потерял ее из виду, пока она не исчезла совсем. Он подумал: нырнула Галка, интересно, сколько продержится, где это она так хорошо научилась плавать? Он увидел: в бледно-зеленом, переливающемся свете скользит гибкое тело. Он почувствовал: Галя! Галя! Галя! Он почувствовал страх, когда Галя вышла из воды и направилась к нему с солнечной короной на голубой голове, со сверкающими плечами и темным лицом. На пляже вдруг всех точно ветром сдуло. Исчезли все семьи и отдыхающие-одиночки, и кружки волейболистов, и мелкое жулье, и солидная шпана, и читающие, и курящие, подозрительные кабинки и спасательная станция, слоны и жирафы с детской площадки, и сами дети, касса, дирекция, буфет и пикет милиции, все окурки, яичная скорлупа и бумажные стаканчики, лежаки, мачта, скульптурная группа, велосипеды и кучки одежды. Все. Идет Галя. С короной на голубой голове. С темным лицом.

Афродита родилась из пены морской у острова Крит.

А Галя?

Неужто в роддоме Грауэрмана вблизи Арбата?

В сущности, Афродита — довольно толстая женщина, я видел ее в музее.

А Галя?

Галя стройна, как картинка Общесоюзного Дома моделей.

Что бы я сделал сейчас, если бы был греком?

Древним, конечно, но юным и мощным, точно Геракл?

О Галя!

Я бы схватил ее здесь, на пустующем пляже.

На мотоцикле промчался бы с ней через Таллин и Тарту.

Снял бы глушитель, чтоб было похоже на гром колесницы.

Я бы унес ее в горы, в храм Афродиты.

Книгу любви мы прочли бы там от корки до корки.

Димка не был греком, он боялся Гали. Что он знал о любви? Он бросил Гале полотенце. Она расстелила его на песке и села, обхватив руками колени.

— Ой, как здорово искупалась!

Она подняла руку и отстегнула пуговку под подбородком.

Стащила с головы голубую шапочку.

— Не смотри на меня.

— Это еще почему?

— Не видишь, я растрепанная! Дай зеркало и гребенку!

Димка засвистел, перекатился на другой бок и бросил ей через плечо зеркальце и гребенку. Он стал смотреть на свои сандалии, засыпанные песком, а видел, как Галя причесывается. В левой руке она держит зеркальце, в правой — гребенку, заколки — во рту.

— Теперь можешь смотреть.

— Неужели? О нет, нет, я боюсь ослепнуть!

«Смотри, смотри, смотри! — отчаянно думала Галя. — Смотри сколько хочешь, смотри без конца! Можешь смотреть и прямо в лицо, а можешь и искоса. Смотри равнодушно, насмешливо, страстно, нежно, но

только смотри без конца! Ночью и вечером, и в любое время!»

— Что с тобой? — спросил Димка, холодея.

— А ничего. Не хочешь смотреть, и не надо, — проговорила она, чуть не плача.

Сегодня в четыре часа утра Юрка и Алик ушли на рыбную ловлю. Кто-то им сказал, что в озере Юлемисте бездна рыбы. А в девять часов Димка закрутился под солнечным лучом, проникшим в палатку через откинутый полог. Луч был тоньше вязальной спицы. Он блуждал по Димкиному лицу. Димке казалось, что он стал маленьким, как червяк, и что он лежит у подножия травяного леса. Забавно, что трава кажется нам, червякам, настоящим лесом. Вокруг оглушительно, точно сорок сороков, гремели и заливались синие колокольцы. Солнечный луч полез Димке прямо в нос. Димка чихнул и проснулся. Рядом с его ложем сидела на корточках Галка. Она была в белой блузке с закатанными рукавами и в брюках. Она смеялась, как тысяча тысяч колокольчиков. Она щекотала Димкин нос травинкой. Димка знал, что такое жажда расправы. Она появлялась у него всегда, когда его будили.

— Ах ты, подлая чувиха! — заорал он и бросился на Галку. Хрипло ворча: «Молилась ли ты на ночь, Дездемона?» — он сломил ее сопротивление. И вдруг он заметил, что Галка во время борьбы не проронила ни звука. Вдруг он увидел ее странно увеличившиеся глаза. Вдруг он почувствовал под своими руками ее плечи и грудь. Он вылез из палатки и бросился бежать. Мчался меж сосен, прыгал через ручьи, выскочил на шоссе и снова — в лес. Он задыхался и думал: «Надо отрабатывать дыхание».

Через несколько минут, когда он снова сунулся к палатке, он увидел, что Галя лежит на спине и курит.

— Эй, пошли рубать! — крикнул он.

За завтраком было странно. Булка не лезла в рот, и все хотелось курить. Галя крошила булку в кефир и все смотрела в окно.

Ребята на озере Юлемисте ловят рыбу. Димка им завидовал. Они там просто ловят рыбу, а у него что-то случилось с Галей. Что же случилось? А стоит ли завидовать Юрке и Алику! Они там со своей идиотской рыбой, а он здесь с Галей.

И дальше все шло очень странно. Ни разу не появилась Брижит Бардо. Возле киоска Галя даже не обратила внимания на новые фотографии — Лоуренс Оливье и Софи Лорен. Она шла рядом с Димкой и покорно слушала его прогнозы Олимпийских игр. Димка же трепался без конца. Молол языком что-то о травяном хоккее. Напрасно эта игра не культивируется в Союзе. Он бы, безусловно, вошел в сборную страны. Болтал и думал: «Что же произошло?»

«Любовь! — грянуло из небес, когда Галя выходила из воды. — Начинается любовь, Димка. Эта девочка, которую ты десять лет назад нещадно избил за разглашение военной тайны. Эта девочка, которая была леди Винтер и Констанцией Бонасье одновременно и которой хотелось быть д'Артаньяном. Но д'Артаньяном был ты. Помнишь погоню за каретой возле Звенигорода? Эта девочка, которая передавала твои записки своей однокласснице, когда все у вас стали вдруг дружить с девочками и тебе тоже надо было с кем-то дружить. Не мог же ты дружить с этой девочкой, ведь ты ее видел каждый день во дворе. Эта девочка вдруг на сцене. Помнишь школьный смотр? Эта девочка вдруг

в юбке колоколом, и туфельки-гвоздики. Ты помнишь, как пожилой пьяный пижон сказал в метро: «Полжизни бы отдал за ночь с такой крошкой». Еще бы тебе не помнить: ты дал ему прямым в челюсть. Эта девочка… Ты полюбил ее. Ты и не мог полюбить никакую другую девочку. Только ее».

Галя чуть не плакала и смотрела на Димку.

— Пошли рубать, — сказал он, — время обеда.

— Не пойду.

— Почему?

— Дай лучше мне закурить.

— Ты сегодня уже пятую.

— Ну и что же?

— А то, что охрипнешь и тебя не примут в театральный институт. Вот будет смешно.

— Тебе уже смешно?

— Ага.

— Что же ты не смеешься?

— Ха-ха-ха!

— Тебе действительно смешно?

— Конечно, смешно.

— А я хочу плакать, — сказала она, как маленькая девочка.

— Пошли рубать.

Он встал и стал одеваться. Галя смотрела в море.

— Я хочу быть на яхте, — сказала она, — а ты?

— Не откажусь.

— Со мной?

— Можно и с тобой. — Димка больно закусил губу.

— Иди ты к черту! Я с тобой не поеду! — крикнула Галя и уткнулась лицом в колени. Димка помялся с ноги на ногу. Он уже не мог теперь грубо хлопнуть ее по плечу или потащить за руку.

— Ладно, Галя, я тебя жду, — промямлил он и поплелся наверх к лесу.

Ему было тошно и смутно. Галя его тоже любит — это ясно. И это у нее не игра. И она смелее его. Почему это так? Цинично треплешься с ребятами на эту тему, а любовь налетает, как поезд в кино. Почему ему страшно? Ведь он прекрасно знает, что это не страшно. Любовь — это… Любовь — это… Что он знает о любви?

Любовь! Что знает о тебе семнадцатилетний юноша из «приличной» семьи? О, он знает вполне достаточно. Соответствующие беседы и даже диспуты он посещал. Кроме того, ему вот уже больше года разрешается посещать кое-какие фильмы. Впрочем, он и до шестнадцати их посещал.

Он знает, как это бывает. Люди строят гидростанцию, и вдруг Он говорит: «Я люблю». А Она кричит: «Не надо!» или «А ты хорошо все обдумал?» А потом они бегают по набережной и все пытаются поцеловаться. Или сидят на берегу над гидростанцией, а сводный хор и оркестр главного управления по производству фильмов (дирижер — Гамбург) наяривают в заоблачных далях. И вот зал цепенеет: Он снимает с себя пиджак и накидывает его на плечи любимой. Наплыв.

О, семнадцатилетний юноша, особенно если он начитанный юноша, очень много знает о любви! Он знает, что раньше из-за любви принимали яд и взрывали замки, сидели в темницах, проигрывались в карты, шли через горы, моря и льды и погибали, погибали… Сейчас, конечно, все не так. Сейчас хор и гидростанция внизу.

Что он знает о любви? Массу, множество разных сведений. Любовь — это… Любовь — это… Любовь — это фонтан, думает он.

Галя оделась и идет, медленно вытаскивая ноги из песка. Димка смотрит на нее. Ему тошно и смутно. Он счастлив. Пусть эти дети ловят свою дурацкую рыбу. К нему идет любовь.

В лесу было душно. Сосны истекали смолой. Галя и Димка медленно брели, раздвигая кусты и заросли многоэтажного папоротника. Июль навалился душным пузом на этот маленький лес. Трудно было идти, трудно разговаривать и просто невозможно молчать.

— Божья коровка, улети на небо, там твои детки, кушают котлетки.

Одно неосторожное движение, и весь этот лес может зазвенеть. Курить нельзя: вспыхнет смола.

— Божья коровка, улети на небо, там твои детки кушают котлетки.

Божья коровка приподняла пластмассовые крылышки и стартовала с Галиной ладони вверх. Голубым тоннелем она полетела к солнцу.

— Что?! — закричала Галя. — Что, что, что?!

Она подняла лицо и руки вверх и закружилась.

Она кружилась, а папоротники закручивались вокруг ее ног, пока она не упала.

— Ой!

Димка ринулся в папоротники, поднял Галю и стал ее целовать.

— Дурак! — сказала она и обняла его за шею.

Кто-то совсем близко закричал по-эстонски, и женский голос ответил по-эстонски, и с пляжа донесся целый аккорд эстонской речи. Эстония шумела вокруг Гали и Димки, и им было хорошо в ее кругу, они стояли и целовались.

Но вот появились велосипеды. Это уже совсем лишнее.

— Бежим!

Лес гремел, словно увешанный консервными банками, и слепил глаза огненными каплями смолы.

Галя и Димка бежали все быстрей и быстрей. Они выскочили из леса и помчались к ресторану. Им страшно хотелось есть.

— Эти божьи коровки похожи на маленькие автомобили.

— Автомобиль будущего ползает и летает.

— Давай полетим куда-нибудь!

— В нашем автомобиле?

— Ну да.

— Шикарно!

— Ты меня любишь? Да. А ты меня? Да. Ну, так иди ко мне. Подожди, кто-то идет. Проклятие!

— А тебе нравится Таллин?

— Я его люблю.

— Хорошо, что мы здесь, правда?

— Очень хорошо.

— Завтра пойдем в «Весну»?

— Вдвоем?

— Ага.

— Блеск!

— Ты меня любишь? Да. А ты меня? Да. Ну, так иди ко мне. Подожди, кто-то идет. Проклятие!

— Мы ведь все-таки поедем дальше?

— Конечно, через пару недель.

— Товарищ командир!

— Ладно тебе.

— В Ленинград. Здорово как!

— Сначала поработаем в колхозе.

— Ты меня любишь? Да. А ты меня? Ну, так иди ко мне. Подожди, кто-то идет. Проклятие!

— Ты бы хотел играть со мной в одном спектакле?

— Ну еще бы!

— Кого бы ты хотел играть?

— Разве ты не знаешь кого!

— И я бы хотела играть с тобой.

— Ты меня любишь? Да. А ты меня? Подожди…

— Тере.

— Тере!

— ……? — спросил встречный.

— Не понимаю.

— Не скажете ли, который время?

— Девять часов тридцать минут.

Наконец они оторвались друг от друга. Внешняя среда ходила вокруг тяжелыми волнами. Димка с силой провел ладонью по лицу и уставился на Галю. Она сидела, прислонившись к сосне.

— Знаешь, Галка, любовь должна быть свободной! — выпалил Димка.

— То есть? — Она смотрела на него круглыми невидящими глазами.

— Современная любовь должна быть свободной. Если мне понравится другая девчонка…

— Я тебе дам! — крикнула Галя и замахнулась на него.

— И если тебе другой…

— Этого не будет, — прошептала она.

«Монастырь Св. Бригитты — памятник архитектуры XVI века. Находится под охраной государства».

Пятьсот лет назад здесь сгорела крыша и все внутри. Оконные рамы и двери были разбиты каменны-

ми ядрами. Остались только стены, четырехугольник огромных стен, сложенных из плохо обтесанных валунов.

Галя и Димка шли по тропинке, проложенной туристами внутри четырехугольника. Готические окна снизу доверху рассекали стены. Полосы лунного света — и кромешная тьма. Звезды над головой — и тишина. Только камешки откатываются из-под ног. Гале стало страшновато, она взяла Димку за руку.

— Ты довольна, что мы здесь? — спросил Димка.

— Да, — шепнула она.

— Почему ты говоришь шепотом?

— Я боюсь, что они нас услышат.

— Кто?

— Монахини, и монахи, и сам настоятель, и рыцари, погибшие у стен, и пушкари…

— И звонари, и алебардисты, — продолжал Димка, — и старая Агата.

— Кто-о? — Галины глаза стали круглыми.

— Да старая черная Агата, — скороговоркой пояснил Димка и дальше таинственно: — Видишь, ходит она со связкой ключей? Рыжебородый Мартин, конюх магистра, говорил мне, что она помнит всех людей, замурованных в этих стенах.

— Ой, ой! — застонала Галя.

— Агата! — крикнул Димка.

— Ата! — рявкнула из угла старая Агата и гостеприимно обнажила желтую пасть.

— Ой! — закричала Галка и прижалась к Димкиному плечу.

— Пойдем. — Димка обнял ее за плечи и повел к выходу, под низкую арку. Там внизу сквозь ветви деревьев отсвечивала под луной, словно полированная,

речушка Пирита. — Не бойся ты этих призраков! Пока ты мечтала о шекспировских спектаклях в этих стенах, я договорился со всей кодлой. Они нам не будут мешать. Нам никто не посмеет помешать.

— А туристы? Тут все окрестности кишат ими.

— Даже они.

Зарево Таллина на юго-западе, и черно-лиловая туча над ним. И все это рассекает силуэт мачт полузатопленного барка в устье реки. Галя и Димка, прижавшись друг к другу, лежат на песке. Димка давно забыл о страхе, томившем его в начале этого дня. Он пропал после первого же поцелуя. Он чувствует Галино тепло и видит ее всю. Она уже стала частью его самого. Вот она закрыла глаза. Спит. Димка встал, закурил и посмотрел на спящую Галю. Она лежала на боку, чуть согнув колени и вытянув вперед руки, словно и во сне искала его. Губы ее шевелились, словно и во сне шептали ему…

С сигаретой во рту Димка бешено полетел к морю. Вбежал по колено и, вытянув руки, упал вперед. Пошел на четвереньках по дну, потом поплыл, а когда снова встал на ноги, было по грудь. Повернулся к берегу. Галино тело темнело на песке. Димка поплыл обратно, потом побежал по мелководью, выскочил на берег.

Галя спокойно спала и уже не шевелила губами. Он достал из сумки новую сигарету. Мокрые штаны и рубашка прилипли к телу. Он стал мерзнуть. Это было прекрасно. Это было то, что нужно. Словно вытащил свою радость со дна моря.

Я хотел бы здесь насовсем остаться, у берега этого моря. С Галей, конечно.

Здесь все есть, что нам нужно на ближайшее тысячелетие. Что нам нужно еще?

Каждый вечер мы будем вместе купаться и заплывать за боны. А после лежать, обнявшись, и слушать море.

И видеть зарево Таллина.

И нюхать полоску гадости, что останется на берегу после отлива. И целоваться.

Без конца, без конца, без конца целоваться.

Кто помешать нам посмеет?

Некому нам мешать.

Может быть, призраки старые, ключницы и монахини?

С ними в контакт я вошел и мирно договорился.

Автобусы, что ли, нам помешают? Не помешают.

С ревом проносятся где-то вдали за лесом.

Война, что ли, нам помешает?

Войны не будет.

Море нам помешает?

Нет, оно помогает всем, кто тонуть не хочет.

Лишнее счастье нам помешает?

Мы никогда не будем сыты.

Голод нам помешать не может.

И деньги к чертовой матери!

Не помешают нам ни годы, ни войны, ни история и ни фантастика.

Агрессорам с дальних планет до нас не добраться.

Мы сами скоро там будем и наладим дружбу народов.

Межпланетную дружбу народов.

Надеюсь, что там найдется кусочек приличного моря, темного песка и сосны, а девушку я захвачу отсюда.

И сигареты «Лайка», что по два сорок пачка, пачек сто сигарет.

19 ЛЕТ НАЗАД, ЗА ДВА ГОДА ДО ИХ РОЖДЕНИЯ, В НЕСКОЛЬКИХ МИЛЯХ ОТСЮДА, В МОРЕ, САМОЛЕТАМИ «Ю-88» БЫЛ АТАКОВАН И ПОТОПЛЕН МАЛЕНЬКИЙ ПАРОХОД, НЕСУЩИЙ ФЛАГ КРАСНОГО КРЕСТА. ШЛЮПКИ БЫЛИ РАССТРЕЛЯНЫ ИЗ ПУЛЕМЕТОВ.

Димка, голый по пояс, выкручивает свою рубаху, стучит зубами и думает: «Что помешать нам может?»

А что им действительно может помешать? Что и кто? Никто и ничто, потому что они пришли на этот берег из глубины веков и уйдут дальше в бездонную даль.

«Разве вот только туристы», — думает Димка.

Да, разве что туристы.

Глава 7

Старый Таллин сверху вниз — дым, черепица, камни, ликеры, глинт, оружие и керамика. По улице Виру мимо двух сторожевых башен, мимо ресторанов, кафе и магазинов, через Ратушную площадь на улицу Пикк. Или под воротами «Суур Раннавярав» мимо чудовищной башни «Пакс Маргарета» на ту же улицу Пикк. Словно ущелье, она рассекает старый город, и нет на ней ни одного дома моложе 400 лет. Золоченые калачи над тротуарами, голуби на плитах мостовой. Вывески редакций, проектных организаций. Где же эти бюргеры, хозяева домов, и булочники, и жестянщики, где «братья-черноголовые» и стражники, иноземные гости, в доспехах? Все это в глинте, а часть в музее. Хотите пойти в музей? Ну его к черту! Пошли на Тоомпеа!

Теперь их было пятеро. К ним присоединилась высокая девушка по имени Линда. Вернее, ее присоединил к ним Юрка после одного танцевального вечера.

Есть в баскетболе прием, который называется «заслон». Нахальные мальчики применяют этот прием на танцах. Если с девушкой, которая вам понравилась, кто-то стоит, ваш товарищ подходит к этому типу и спрашивает спичек или где здесь туалет, короче говоря, делает «заслон». А вы тем временем приглашаете девушку. Конечно, все это не помогло бы, если бы Линда не узнала Юрку. Оказывается, она была на всесоюзных школьных соревнованиях по баскетболу, где на Юрку чуть ли не молились. В этом году Линда тоже окончила школу и собиралась поступать в политехнический институт. Она родилась и выросла в Таллине и взяла на себя обязанность гида.

— Вана Таллин! — иногда восклицала или шептала она, стоя на какой-нибудь возвышенности. Рассеянно приглаживала темные волосы. Была у нее особенность: она не щурилась на солнце. И когда она смотрела на него, не щурясь, у нее был неистовый вид. А вообще-то она была смирная и немного печальная.

«Удивительная», — думал Алик, завидуя Юрке, что он такой высокий.

— Правда, забавная? — спрашивал Юрка.

Он приходил теперь в палатку в два часа ночи. Алик читал при свете ручного фонарика или слушал шум сосен и дальний голос моря. Иногда там вскрикивали буксиры. Алик поглаживал бородку и убеждал себя, что думает о проблемах современного стиля, и все в нем бурлило. Являлся Юрка, валился на свое ложе и начинал шумно вздыхать, напрашиваясь на разговор.

— Ну как? — спрашивал Алик.

— Порядок! — кричал Юрка и начинал хохотать. — Полный порядочек! Девочка что надо!

— Да брось ты!

— А что?

Алик злился на Юрку за его хохот и эти словечки. Но он знал, что, если бы у него появилась девочка, он так же бы хохотал и говорил бы примерно то же. Честно говоря, это противно. Это надоело уже. Влюбился, так и притворяйся. Можешь петь хоть всю ночь или поплачь. Делай что-нибудь человеческое. Все равно ведь не спишь до утра.

Димка приходил на час позже Юрки. Он не притворялся. Не говорил ни слова по ночам. Сидел возле палатки до зари. Курил. Может быть, это оттого, что у него началось что-то настоящее, мужское? И с Галей, с подругой их детских лет.

А с утра они были все вместе — на пляже, в столовой, в городе. Линда объясняла:

— На Вышгороде жили рыцари, а в нижнем городке — купцы. Рыцари были не прочь поживиться за счет богатых купцов. Тогда купцы построили свою крепость. Вы видите часть этой стены, которой когда-то был обнесен весь Таллин. Вот это орудийная башня «Кин-ин-де-Кэк». Над нижним городом доминирует башня Ратуши, на которой имеется флюгер в виде стражника городских ворот. Это символ Таллина — «старый Тоомас». Он не только показывает направление ветра, но также следит за порядком в городе и за тем, чтобы женщины не сплетничали. В былые времена сплетниц приковывали к стене Ратуши.

— Неплохо! — кричал Димка.

— А мужчин приковывали за измену женам.

— Вот тебе! — шептала Галя.

Убежденный модернист, Александр Крамер уже целый час сидел в Домской церкви и слушал орган. Он, поклонник джаза, слушал баховские фуги. На каждом шагу старый Таллин изумлял его. Вот из-под арки жилого дома таращат жерла две чугунные пушки. Рядом вход в детскую консультацию.

— Простите, вы здесь живете? — спросил Алик женщину в зеленой шляпке. — Вы не можете сказать, что это за пушки?

— Не знаю.

— Но все-таки, откуда они? Кто их здесь поставил?

— Никто их здесь не ставил. Они давно здесь стоят.

— Давно? Да уж, наверное, лет триста, а?

— Я не знаю. Что вам надо, гражданин?

В самом деле, что нужно этому гражданину? Вот он идет, загадочный гражданин Алик Крамер. На щеках у него редкая бороденка, а на худой шее синий платочек. Прохожие оборачиваются на задумчивого семнадцатилетнего гражданина. Он останавливается у витрины магазина художественных изделий. Его внимание привлекает высокая керамическая ваза. В кармане у него сорок рублей. Их выдал ему Юрка для пополнения запасов сахара, чая и хлеба. Орел или решка? Искусство или жратва?

— Кокну я ее сейчас о твою черепушку, — задумчиво сказал Юрка, глядя на произведение искусства.

— Нежели ты не понимаешь? — воскликнул Алик. — Посмотри, какое удивительное сочетание современного стиля и национальных традиций!

— Мне пища нужна! — заорал Юрка. — Я не собираюсь терять форму из-за какого-то психопата!

Алик, презрительно улыбаясь, забрал вазу и пошел на почту. Он написал записку: «Люся, обрати внима-

ние на удивительное сочетание современного стиля и национальных традиций». Упаковал вазу и написал адрес: «Москва… Л. Боярчук».

Линда — каменная женщина. Она сидит, печально поникшая, окруженная искривленными черными, фантастическими деревьями. Нужен закат, чтобы все было, как на самом деле несколько тысячелетий назад. Погиб Калев, белокурый гигант. Могучий Калев, любимый муж. Плачет Линда.

— И вот она плакала-плакала и наплакала целое озеро. До сих пор это озеро — единственный источник водоснабжения города.

Живая Линда повернулась к Юрке, мощному парню в красной рубашке с закатанными рукавами.

— Нравится тебе Линда?

— Которая?

— Вот эта.

— Каменная она.

— А другая?

— Вот эта?

— Ты с ума сошел!

— Тебе нравится Юрка? Ты им увлечена? — спросила Галя Линду.

— Да, — Линда, не отрываясь, смотрела на песчаную отмель, где Юрка, Димка и Алик ходили на руках, — но я его иногда не понимаю.

— Не понимаешь? Разве он такой сложный?

— Он часто говорит непонятно. Я русский язык знаю хорошо, но его я не понимаю. Недавно он назвал меня молотком. «Ты молоток, Линда» — так он сказал. Что ты смеешься? Разве я похожа на молоток?

А вчера на стадионе, когда «Калев» стал проигрывать, он сказал: «Повели кота на мыло». При чем тут мыло?

— Пора обедать, — сказала Галя.

Ребята не шелохнулись. Алик лежал с карандашом в зубах, Димка читал Хемингуэя, Юрка старательно насвистывал знакомую песенку.

— Ну что же вы? Димка, Алик!

— Идите, девочки, мы потом, — буркнул Димка. Юрка протянул Гале десятку.

— Опять потом? Что с вами случилось?

— Я же тебе объяснил, детка. Я привык есть позже. У нас в доме всегда обед в пять. Мама накрывает, только когда вся гопкомпания в сборе. Я привык позже обедать. Я человек режима.

— Ну и я тогда пойду позже.

— Нет, ты пойдешь сейчас. Тебе тоже надо соблюдать режим, иначе в театральный институт не примут.

— А ну тебя! Алик, пошли обедать!

— Повыше, повыше забрало! — промычал Алик.

— Оставь его в покое. Не видишь, человек в прострации.

— Юра, ты не хочешь обедать? — спросила Линда.

Юрка приподнялся и посмотрел на нее.

— Понимаешь, Линдочка, я за завтраком железно нарубался…

Линда в ужасе зажала уши и побежала к выходу с пляжа.

— Пусть вам будет хуже, — сказала Галка и побежала за Линдой.

Она догнала ее и обернулась. Ребята лежали в прежних позах. Костлявая рука Алика моталась в воздухе. Он всегда махал рукой, когда сочинял стихи. Галя посмотрела на десятку в своей руке.

— Линда, иди одна обедать. Мне надо, видишь ли… До вечера!

— Двухразовое питание укрепляет нервную систему. Нужно только привыкнуть, — сказал Димка.

— Это ты у Хемингуэя прочел? — спросил Юрка.

Алик встал, поднял руки к небу и завыл:

— Каждый молод, молод, молод, в животе чертовский голод… Лично я очень доволен, что мы отказались от обедов. Когда сыт, чувствуешь себя свиньей. Сейчас меня терзает вдохновение. Стихи можно писать только на голодный желудок.

— А музыку? — спросил Димка.

— Тоже.

— Юрка, давай сочинять музыку. Я буду труба, а ты саксофон. Начали!

Димка сложил ладони у рта и вступил трубой. Юрка загудел саксофоном. Алик стал хлопать в ладоши и приплясывать.

Они уже давно не пытались больше ловить рыбу. Четвертый день они не обедали, под благовидным предлогом отсылая Галку в ресторан. Зато каждый вечер они сидели в кафе. Правда, пили уже не «Ереванский», черт побери, нужно уметь приносить жертвы! Орел или решка? Обеды или кафе? И вот мы такие счастливые, голодные, трубим, как целый оркестр. Стоит вспомнить тусклые лампочки в коридорах «Барселоны», когда сидишь за полированной стойкой под нарисованными звездами. Стоит вспомнить затертые учебники, когда, лежа на песке, изображаешь джаз.

— Ребята, есть предложение! — воскликнул Алик. — Давайте погрузимся в состояние «зена» — полное слияние с природой.

— Это вместо обеда? — мрачно спросил саксофон.

— Пошли погрузимся в сон, — устало предложила труба.

Возле палатки они увидели костер. Над костром висел котел. Трещали пузыри. Пахло едой. Рядом стояла, руки в боки, Лолита Торрес.

— Хорошие вы собаки! — с нескрываемым презрением сказала она.

— Узнаешь кретина, Димка? — спросил Юрка и показал ногой в сторону моря. По твердому песку у самой воды шел поджарый, точно борзая, парень в голубых плавках. У него был огромный «сократовский» лоб и срезанный подбородок.

— Да это же тот лабух из Малаховки! — воскликнул Алик. — Помнишь?

— Не помню, — буркнул Димка.

— Ты же с ним потом что-то такое… Он к тебе даже заходил.

Проклятый Фрам вместо того, чтобы пройти мимо, остановился и мечтательно уставился на горизонт. Потом обернулся лицом к пляжу и стал разглядывать загорающих. Только здесь его и не хватало!

— Ребята, я пошел за лимонадом, — сказал Димка, но в это время Фрам увидел их и радостно заорал:

— Земляки! — Помчался огромными прыжками. — Хелло, дружище! — завопил он и схватил Димку за руку с таким видом, словно предлагал ему пуститься дальше вместе, как два брата Знаменские на картинке. Димка вырвал руку и отрезвляюще похлопал его по плечу. Фрам повернулся к девушкам.

— Разрешите представиться. Петя. Извините, мы с Димой отойдем на несколько минут.

Он взял Димку под руку, отвел в сторону и протянул ему сигарету.

— Чистая? — спросил Димка.

— Не волнуйся. Я больше этого не употребляю. Здоровье дороже.

— Ты поумнел и полысел, Фрам. Сколько тебе лет?

— Четвертак ровно.

— Рано лысеешь.

— Некоторые излишества бурной молодости. Но теперь все: буду вести жизнь, близкую к природе.

Потянулся блаженно и, протянув руки к горизонту, воскликнул:

— Парадиз, как говорил Петр Первый! Ва-ва-сы-са! А ты здесь надолго?

— Нет, скоро уходим дальше по побережью.

— В Москву когда?

— Не скоро.

— Молодец! Самое главное в профессии пулеметчика — это вовремя смыться.

— О чем это ты?

— Будто святой. Димочка еще маленький, он ничего не знает. Ай, ловкий ты парень.

— Я действительно ничего не знаю. Что ты вылупился?

Фрам ухмыльнулся.

— В Москве разгон. Наших берут пачками, прямо теплых.

— Кого наших?

— Таких, как мы с тобой, фарцовых.

Димка посмотрел на Фрама и сразу вспомнил их всех и вся: «Летом в центре ужасно весело. Косяки туристов. Катят «Форды», «Понтиаки», «Мерседесы». Посмотри, какая девочка. Не теряйся. Что там они шепчутся в подъезде гостиницы? Вот они все стоят, а лица

мертвые от неоновых ламп. Пошли, что же вы? Иди, мы тебя догоним. Иди, малыш. Так вот в чем дело».

Димка сжал кулаки. «Дать пинка Фраму и погнать его отсюда с пляжа? И в лесу ему нет места, в сосновом чистом лесу. В болоте тебе место, подлюга! Беги туда, а я закидаю тебя торфом. Ишь ты, мерзавец: «Таких, как мы с тобой». Я не хочу и рядом с тобой стоять! Дать ему, что ли, пинка?»

— Ты что, меня тоже фарцовщиком считаешь?

— А то нет? Ходил же ты с кодлой. И джинсы купил у Барханова.

— Да я понятия не имел о ваших делишках!

— Раз ходил с нами — значит, все. Достаточно для общественного суда и для фельетона. Может быть, уже прославился. Про меня-то в «Вечерке» писали в связи с делом Булгакова. «Появлялся там также некий Фрам». Хорошо, что никто не знал, где я живу. Что это, Дима, ты так побледнел? Сэ ля ви, как говорит Шарль де Голль. Пусть земля горит под ногами тунеядцев! Кто не работает, тот не ест. Как будто это не работа? За вечер семь потов с тебя прольется. Ходишь как мышь.

— Ты и есть мышь.

— А ты?

— В зубы дам!

— Не обижаюсь, учитывая твою хрупкую душевную архитектуру. Ладно, Димка, что было, то прошло. Нет к прошлому возврата.

— Это уж точно, — пробормотал Димка.

— …и в сердце нет огня. Давай о других материях. Что это за кадришки с вами?

— Блондинка — моя невеста, — сказал Димка.

— Ага! — Фрам улыбнулся. — Поздравляю.

— Я тебе дам совет, — тихо сказал Димка, — как увидишь этих девочек, беги от них подальше. Сразу, как увидишь, так и беги. Понял меня?

— Слово друга! — Фрам протянул руку, и Димка пожал ее. — Ты меня мало знаешь, но ты узнаешь лучше. Законы дружбы для меня святы, чего не могу сказать о других законах. — Он встал. — Я пошел. Туда. Там у нас компания. Жрецы искусства, отличные люди. Играем в покер каждодневно. Пока. Увидимся.

Он спустился к твердой полоске песка и оттуда сдержанно поклонился девушкам. Пошел, поджарый, как борзая.

Димка играл в покер. У него была хорошая карта. Все уже спасовали. Остался только один противник, научного вида мужчина. Он все хихикал, как будто знал о тебе какую-то гадость. Остальные «жрецы искусства» в римских позах лежали вокруг. Перед игрой Фрам шепнул Димке: «Блефуй, как можешь. У них нервы слабые». А зачем блефовать, если у тебя такая отличная карта? Просто смешно слышать хихиканье этого очкастого. Хихикает, словно у него флеш-рояль. Посмотрим, у кого нервы крепче. Отличная игра — покер, мужская игра. В банке уже куча фишек. То-то обрадуются ребята. Можно будет снова обедать. Чертовы нытики! Дима, не надо. Брось, Димка! В конце концов, Димка, это противно! «Азартные игры — пережиток капитализма», — сказала Линда. А ей-то вообще какое дело? Сейчас обрадуетесь, нытики.

Димка выложил пять фишек.

— Олег, можно тебя на минуточку? — сказал известный драматический актер Григорий Долгов.

Очкастый встал и отошел с ним.

— Брось, Олег, — сказал Долгов, — отдай ему игру.

— Не отдам.

— Ты же видишь, что с мальчишкой делается.

— Не отдам я ему игру.

— Обеднеешь ты с этого?

— Нахалов надо учить.

— Ну, смотри.

Долгов снова лег на песок и подумал об очкастом:

«Ограниченный человек! Как-нибудь вверну про него мимоходом Теплицкому — ограниченный, мол, человек».

Димка выложил все свои фишки и посмотрел на очкастого. Не может быть, что у него флеш-рояль. Не может этого быть.

Очкастый хихикнул и выложил свои фишки.

— Посмотрим?

— Посмотрим.

У очкастого была флеш-рояль.

Галя и Димка брели по аллее в лесу. Аллея в лесу! Дикость какая-то. Да что это за лес? Цивилизация, черт бы ее побрал! А велосипеды? Собрать в кучу все велосипеды и поджечь. Вот было бы весело!

— Сколько же ты все-таки проиграл?

— Не спрашивай.

— А сколько у нас осталось?

— Не спрашивай.

— Димка, что же нам теперь делать?

— Побежишь на телеграф?

— Дурак!

Навстречу им шел шикарный и бодрый артист Долгов.

— Не огорчайся, Дима, — сказал он мимоходом, — деньги — это зола.

— Кто это? — спросила Галя и оглянулась. — Знакомое лицо!

— А ну их всех! — махнул рукой Димка. Он брел, опустив голову.

Брижит Бардо снова оглянулась. Долгов догнал их.

— Слушайте, Дима, — тихо сказал он, — у вас вообще как с финансами? В крайнем случае не смущайтесь. Если хотите на месяц в долг…

— Пока терпимо. Спасибо.

— Я сам был в таких переделках и поэтому вам сочувствую.

«Ужасно ему сочувствую», — проговорил он в уме.

— Очень тронут, — сказал Димка.

— Да! — воскликнул артист. — Сегодня я отмечаю небольшое событие. Приходите вечером в ресторан «Пирита». Вы и ваша подруга. Простите, я не представился. — Он кивнул Гале. — Григорий.

— С какой стати мы придем?

— Приходите запросто. Все вам будут рады. Молодые лица оживляют компанию.

«Молодые лица оживляют компанию», — сказал он себе. Дружески хлопнул Димку по плечу, пожал руку Гале и зашагал, шикарный и бодрый. На повороте он оглянулся и несколько минут смотрел, как удаляются по асфальтированной аллее золотоволосая девушка (почти девочка, черт возьми!) и понурый парнишка в черной рубашке и джинсах.

«Ужасно жалко этого мальчика. Я ему страшно сочувствую. Сам ведь бывал в таких переделках», — убедительно сказал себе известный артист.

— Я не хочу, чтобы ты был таким! — почти кричала Галя. — Как ты стоял рядом с этим! Не могу этого

видеть! Ты не должен быть таким! Ты не должен так стоять! Никогда и ни перед кем!

— Уймись, Галка, что ты понимаешь в мужских делах?

Некоторое время они шли молча, а потом Галя спросила:

— Кто он такой?

— Какой-то артист. Долгов его фамилия.

— Григорий Долгов! — только и воскликнула Галя.

Галя вспомнила его фотокарточку, которая осталась дома в ее альбоме. Карточка была с автографом; сколько они ждали тогда: полчаса, час? А он вышел из другого подъезда. Все девочки и побежали как сумасшедшие, а Нинка стала толкаться локтями. Это было после спектакля «Гамлет», потрясшего весь город. Страшный, страшный Гамлет был тогда на сцене, и это был Долгов. Как она могла не узнать его сейчас?

— По четвергам у нас всегда свечи, — объяснил официант.

— Как это мило! — воскликнула красивая женщина, которая сидела рядом с Долговым и которую называли то Анни, то Анной Андреевной.

— Все-таки умеют они, эстонцы, знаете ли, вот это, — сказал очкастый.

«У, гад!!» — подумал Димка.

Стол был великолепен. «Ереванского» тут было несколько бутылок.

— Ну, — сказала Анна Андреевна, когда все рюмки были налиты. — В этот знаменательный день я могу только выразить сожаление, что деятельность нашего друга не носит ныне такого прогрессивного характера, как двадцать лет назад.

Все засмеялись. Сегодня Долгов отмечал двадцатую годовщину своего выхода на сцену. Начал с того, что изображал ноги верблюда в «Демоне».

— Дима, веселей! — крикнул Долгов и потянулся с рюмкой. — Галочка, вам шампанского?

Он посмотрел на Галю и подумал: «Почему именно она?»

Чокнулся с Димкой и сказал себе настойчиво: «Сочувствую ему, пусть поест. Сочувствую молодежи».

В зале на столах стояли свечи. Электричество было погашено, и поэтому за окнами довольно четко был виден треугольный силуэт развалин. Но туда никто не смотрел.

— Марина, Марина, Марина! — кричала певица и делала жесты.

Димка танцевал с Галей. Долгов смотрел на нее, длинноногую, золотокудрую, и думал: «Прямо с обложки. И почему именно она? — Поймал ее испуганный взгляд и решил: — Ну, все».

Встал и пошел в туалет. Посмотрел в зеркало на свое лицо. Резко очерченная челюсть, мешки под глазами. Хорошее лицо. Лицо героя.

«Мало ли их вокруг на киностудии и в театре! Есть и не хуже. Почему вдруг именно этот ребенок?»

Хорошее лицо. Мужественное лицо. Волевое. Может быть угрожающим. Вот так. Всегда романтическое лицо.

«Сложный человек», — сказал он себе о себе.

Электричество светилось только в другом зале над стойкой буфета. Димка пошел туда. Ему захотелось постоять у стойки и поболтать с буфетчицей. Буфетчица сказала сердито и с сильным акцентом:

— Учиться надо, молодой человек, а не по ресторанам ходить.

— У вас, наверное, сын такой, как я, да? — спросил Димка.

— Он не такой, как вы, — ответила буфетчица.

Димка вернулся в полутемный зал и еще из дверей увидел Галю. Она разговаривала с Анной Андреевной. Глаза ее блестели.

«Галочка моя, — подумал Димка, — ты самая красивая здесь. Ты красивее даже Анны Андреевны».

Чинная атмосфера в зале уже разрядилась. Где-то пели, то тут, то там начинали кричать. Меж столов бродили мужчины с рюмками. Все в вечерних костюмах и белых рубашках.

«Сплошные корифеи, — думал Димка. — А у меня вот нет костюма. Кто сейчас носит мой костюм? Зато на мне куртка что надо. У кого из вас есть такая куртка? И вообще — вы, корифеи! — я тут моложе всех вас. У меня вся жизнь впереди. Сидят, как будто у каждого из них флеш-рояль! Эй, корифеи, кто из вас сможет сделать такую штуку?»

И Димка, к своему ужасу, посреди зала сделал колесо.

— Почему вы хотите стать актрисой, Галочка? — спросила Анна Андреевна.

— Потому что это — самое прекрасное из всего, что я знаю! — воскликнула Галя. — Театр — это самое прекрасное!

— А вы бы смогли играть Джульетту на платформе из-под угля и под непрерывным моросящим дождем?

— Да! Смогла бы! Уверена, что смогла бы!

Анна Андреевна смотрела в окно на силуэт развалин.

— А потом пошел снег, — проговорила она. — Тракторы зажгли фары, и мы доиграли сцену до конца. Как

они кричали тогда, как аплодировали! Я простудилась и вышла из строя на месяц.

— Анна Андреевна, — прошептала Галя.

— Вы будете актрисой, — громко сказал Долгов.

— Почему вы так думаете? — встрепенулась Галя.

— Мне показалось. Мне показалось, вы понимаете, что такое искусство. Как оно сжигает человека. Сжигает до конца.

— До конца, — как эхо, повторила Галя, не спуская с него глаз.

— Жоржик! — игриво сказала Анна Андреевна. Долгов сердито посмотрел на нее.

— Пойдемте танцевать, Галя. Посмотрите на меня, — говорил он, церемонно кружа девушку, — во мне ничего не осталось. Все человеческое во мне сгорело. Я только артист.

— Что вы говорите? — в ужасе расширила глаза Галя. — Разве артист не человек? Вы знаменитый артист…

— Да, я знаменитый. Я и не мог быть не знаменитым, потому что я весь сгорел. Все знаменитые артисты сгорели дотла. Вы понимаете меня?

— Нет, — прошептала Галя и на мгновение закрыла глаза.

«Сложный я человек, — сказал себе Долгов и подумал: — Все. Все в порядке».

«Жоржик, — думала Анна Андреевна. — Фу, какой отвратительный Жоржик! И что с ним происходит на сцене? Я никогда не могла этого понять». Она встала и ушла.

— Ты на меня не сердишься? — допытывался очкастый у Димки. — Я же не виноват, что у меня была флеш-рояль. Давай будем друзьями, ладно? Если у тебя туго с деньгами, я могу помочь.

Он долго возился в карманах и протянул Димке сторублевую бумажку. Димка взял и посмотрел на свет.

— Будем друзьями, — сказал он, — если ты не фальшивомонетчик. У тебя отличная лысина, мой друг. Ее хочется оклеить этими бумажками. А хочешь, я сошью тебе тюбетейку из сторублевок? Тебе очень пойдет такая тюбетейка. Хочешь, сошью? Возьму недорого — тыщонки две. Зато все будут видеть, что стоит твоя голова.

— Ты остроумный мальчик, — промямлил очкастый. В руке у него дрожала измусоленная сигарета.

— Нет ли у кого-нибудь кнопки? — громко спросил Димка. — Ну, если нет, придется без кнопки.

Он плюнул на бумажку и пришлепнул ее к голове очкастого.

— Галка, пойдем отсюда!

Гали за столом не было. Димка стал бродить среди танцующих, разыскивая Галю. Фрам сказал ему, оскалившись:

— Поволокли твою кадришку! Твою невесту ненаглядную!

Лицо Фрама перекосила какая-то дикость. На эстраде, словно курильщик опиума, покачивался саксофонист.

Перед тем как сесть в такси, Галя вдруг увидела в ночи огромный треугольный силуэт развалин.

— Я не поеду. Извините, — торопливо сказала она.

— Я вам прочту всего «Гамлета», — проговорил Долгов.

Димка выскочил из ресторана и увидел в заднем стекле отъезжающей «Волги» Галину голову. Он бешено рванулся, схватился за бампер. Машина прибави-

ла скорость, и Димка упал. Ободрал себе руки и лицо о щебенку.

Два красных огонька быстро уносились по шоссе вдоль берега моря туда, к городскому сиянию.

Если бы был пулемет! Ах, если бы у меня сейчас был пулемет!

Я стрелял бы до тех пор, пока машина не загорится. А потом подошел бы поближе и стрелял бы в костер!

Димка пил лимонад. Уже четвертый стакан подряд. Пить не хотелось, глотать было мучительно.

— Еще стаканчик, — сказал он.

В окошке появился стакан с пузырящейся желтой влагой.

«Она и сотый стаканчик подаст, не моргнув», — подумал Димка и посмотрел на буфетчицу. Дурацкая наколка на голове, выщипанные брови. Он вспомнил буфетчицу, с которой беседовал вчера. Та была другой. Нагнулся к окошечку и спросил в упор у этой:

— У вас, наверное, сын такой, как я, да?

— У меня дочь, — отрезала буфетчица.

— Благодарю. Еще стаканчик.

Голубой киоск стоял в начале совершенно незнакомой Димке и пустынной утренней улицы. То есть он просто не знал, как отсюда выбраться. Улица-то была знакомой. В принципе это была самая обычная улица. Два ряда домов с окнами и дверьми. Дома эти не говорили ни о чем и ничего не вызывали в душе. Это были просто дома с лестницами и комнатами внутри. И киоск не говорил ни о чем. Это была торговая точка, где кто-то пил лимонад, покупал бутерброды и спички. Тошнотворно знакомой была эта пустынная улица, но, как отсюда выбраться, Димка не знал. И не у кого

спросить. Буфетчица ведь не скажет. Да она, наверное, и сама не знает. Наверное, давно потеряла надежду выбраться отсюда.

Димка украдкой вылил лимонад под ноги, на песок. Образовалась неприятная лужица. Подошел человек с черными усами и в новой серой шляпе. Взял спички и пошел по улице. Он шел, очень прямой, и новенькая шляпа, без единой вмятины, стояла на его голове, как на распорке в универмаге.

«Вот так он и ходит тут уже четыреста лет, — с тоской подумал Димка. — Так вот и ходит в своей новой шляпе».

«Как я попал сюда? — попытался он вспомнить. — В «Пирита» я вскочил в попутный грузовик. Мы гнались за такси. Мы здорово мчались. Водитель все допытывался, что у меня украли. Что у меня украли! Я рассказал бы ему обо всей своей жизни, но только не о том, что у меня украли. Мы догнали «Волгу», но в ней оказались два моряка. Потом в центре я ломился в гостиницу. Почему-то мне казалось, что Галя там. Это было невыносимо — думать, что она там. Потом меня отправили в милицию. В милиции рядом со мной сидел какой-то тип, который все икал. От рубашки у него остался один воротник, а он все пытался заправить ее в штаны. В четыре часа утра меня отпустили, а тип остался там. Воображаю, как он удивится, когда перестанет икать. Потрогает воротник и скажет: а где же все остальное? Потом я все время шел по городу, пока не попал сюда. И тут уже я, видно, и останусь. Куплю себе новую шляпу. Буду тут ходить пяток-другой столетий. Сначала тот, с усами, будет появляться, а потом я».

Где-то за стеной домов что-то загрохотало. Там было что-то массивное и подвижное. Мало ли что там есть.

— С вас четыре пятьдесят, — сказала буфетчица.

Вдруг улица заполнилась людьми. Они шли все в одном направлении.

— Димка! — воскликнули за спиной. Рядом стоял Густав. Он был в синем комбинезоне и таком же берете. Димка страшно обрадовался.

— Сигареты есть? — спросил он.

— Что с тобой случилось? — спросил Густав, доставая сигареты.

— Ничего со мной не случилось.

— Как ты здесь оказался?

— Гуляю.

Они пошли в толпе. Все шли очень быстро, поэтому и им приходилось спешить.

«Ух ты, как здорово!» — подумал Димка и спросил Густава:

— А ты куда?

— На завод.

— Тут рядом ваш завод?

— Ага. Ну, как вообще-то? — спросил Густав.

— Да так.

— Ничего. — Густав хлопнул Димку по плечу. — Не вешай носа. Все будет тип-топ.

— Как ты говоришь?

— Тип-топ.

«Сегодня скажу Юрке, что все будет тип-топ. То-то обрадуется».

— Слушай, Густав, — осторожно спросил Димка, — ты случайно не знаешь, где тут трамвай?

— Направо за угол. Там остановка.

— Спасибо тебе, Густав. Тип-топ, говоришь?

— Тип-топ.

— Пока.

— Увидимся!

Глава 8

Тот день был душным и пасмурным. Под соснами было сухо, а асфальт шоссе лоснился, влажный. Ребята сидели возле палатки и питались абрикосами. Это был обед. Ели молча.

— А где ты шлялся всю ночь, Димочка? — вдруг игриво спросила Галя.

Юрка и Алик быстро переглянулись. Но на Димку они не посмотрели. Не было сил на него смотреть. А Галя смотрела на Димку. Он сидел, уткнувшись в кулек с абрикосами. Лицо его стало квадратным — под скулами вздулись желваки. На лбу и шее запеклись ссадины.

— Ай-я-яй! — Брижит Бардо погрозила пальцем.

Это было так фальшиво, что Юрка сморщился, а Алик закрыл глаза. Галя потянулась.

— А я так выспалась сегодня!

Юрка встал и подтянул штаны.

— Пойду к Янсонсу газеты посмотреть.

— Я тоже, — сказал Алик.

Они сидели по-турецки. Их разделяла ямка, полная пепла и углей, остатки костра, на котором Галя несколько раз варила обед. Гале тяжело было смотреть на Димку («Не сиди так, пожалуйста, вскочи, кричи, ударь, но не сиди так»), но она смотрела. Это была ее первая серьезная роль: «Гореть до конца; дотла…»

— Что с тобой было этой ночью? — спросил Димка, не поднимая головы.

Словно хлыстом по горлу. Галя вскинула голову, закусила губы и закрыла глаза. Что с ней было этой ночью? Ведь если отбросить все, чего на самом деле не было, и просто, совсем просто вспомнить о том, что с ней было этой ночью, тогда нужно покатиться по земле и завыть. Но ведь было же, было и другое — стихи, музыка, слова… Она засмеялась. Колокольчики. Похоже на смех Офелии.

— Что ты вообразил, Димка? Мы катались на такси, в полвторого я была уже дома и заснула. Какое у тебя воображение нехорошее. Противно!

«Неужели это так? — подумал Димка. — Врет, конечно. — Он поднял голову и посмотрел на Галю. — Веселая. Врет. Не верю ей. А если поверить?..»

— Врешь! — заорал он и вскочил на ноги.

— Нет! — отчаянно закричала Галя.

«Врет».

— Что с тобой случилось? Ты обалдел?

«Нет, не врет».

— Ты мне не веришь?

— Не верю.

— Как мне тебе доказать?

— Доказать? Ты собираешься доказывать?

— Если ты мне не веришь, я отравлюсь.

— Великолепно! Вы в новой роли, мадемуазель. В клипсах у вас, конечно, цианистый калий?

— Вот! — Галя схватила и показала ему горсточку абрикосовых косточек. — Синильная кислота, понял? От ста штук можно умереть. Понял?

— Дура! — закричал Димка и отвернулся. «Фу ты, дурища. Не врет, конечно». Другое слово он ей готовил,

а крикнул ласковое «дура». Да разве можно сказать то слово такой? Подняла свою мордочку и горсть слюнявых косточек показывает. Димка сел спиной к Гале.

«А может быть, все-таки врет? Она ведь актриса. Так сыграет, что и не разберешься. Ну что ж — играть так играть».

Он встал и сказал:

— Собирай вещи.

— Что-о?

— Собирай свои шмотки. Через два часа выходим.

— Куда?

— Как куда? Уходим из Таллина дальше. В рыболовецкий колхоз и в Ленинград.

— А я?

— Торопись. Через час выходим. Ребята в курсе.

— Сейчас.

Димка вытащил из палатки свой рюкзак и посмотрел на Галю. Она лежала на спине, положив руки под голову.

— Димка, — сказала она, — подбрось монетку.

— А ну тебя.

— Я прошу, подбрось монетку.

Димка вынул из кармана пятак и подбросил его.

— Что? — спросила Галя.

Монетка лежала орлом. Димка поднял ее, сунул в карман и сказал:

— Решка.

Галя села. Они смотрели друг на друга.

— Димка, я не пойду с вами. Я остаюсь здесь.

Всю жизнь он будет помнить то, что произошло дальше. Всю жизнь ему будет противна жизнь при воспоминании об этом. Как он буйствовал, и как умолял ее,

и как крикнул ей в лицо то слово, и как потом просил прощения, обещал все забыть, и как он заплакал.

Последний раз он плакал четыре года назад в пионерском лагере, когда его на глазах всего отряда в честном поединке отлупил Игнатьев. Кто мог знать, что Игнатьев целый год занимался в боксерской секции? Дней через десять после этой истории он снова плакал. Но вовсе не из-за Игнатьева. Он лежал в траве и смотрел в голубое небо, куда взлетали стрелы малышей из 4-го отряда. О чем-то он думал, он сам не понимал о чем. Может быть, все-таки об Игнатьеве, о том, что через год он ему покажет, а может быть, о Зое, вожатой 4-го отряда. Было забавно смотреть, как стрелы летели ввысь, исчезали в солнечном блеске и появлялись вновь, стремительно падая. Малыши для утяжеления вбивали в наконечники гвозди. Шляпкой вперед, конечно. Он на мгновение закрыл глаза, и одна такая стрела попала ему прямо в лоб. Бывает же такое! Малыши испугались и убежали, а он перевернулся на живот, уткнулся носом в землю и заплакал. Не от боли, конечно. Было не больно. Но все-таки страшно обидно — попасть прямо в лоб. Как будто мало места на земле. Потом четыре года он не плакал. И когда его била шпана в Малаховке, молчал. А вот теперь снова.

Плакал из-за потрясающей обиды и из-за того, что рисовало ему нехорошее воображение. Плакал неудержимо, истерика тащила его вниз, как горная река. Он презирал себя изо всех сил. Разве заплачут ремарковские парни из-за обманутой любви? Пойдут в бар, надерутся как следует и будут рассуждать о подлой природе женщин. Почему же он не может послать ее подальше и уйти, насвистывая рок-н-ролл? Он презирал

себя и в то же время чувствовал, что словно освобождается от чего-то.

Когда он оглянулся, Гали вблизи не было. Он увидел, что она у янсонсовского крыльца разговаривает с ребятами. Он увидел, что Юрка замахнулся на нее, а Алик схватил его за руку. Галя взбежала на крыльцо и скрылась в доме, а ребята вышли со двора и сели на траву возле забора.

Только мужская дружба и стоит чего-нибудь на этом свете. Ни слова об этой… Как будто ее и не было.

— Томас мировой рекорд поставил. Прыгнул на два двадцать два.

— Жуть!

— Пошли, ребята, выкупаемся в этом цивилизованном море?

Море в этот день было похоже на парное молоко. Далеко от берега кто-то брел по колено в воде. Купаться в общем-то не хотелось. Хотелось есть. Ох, как хотелось есть!

— В конце концов, я могу позвонить деду. Он у меня в общем-то прогрессивный, — неуверенно сказал Алик.

Димка взглянул на него волком.

— Но жрать-то все-таки мы что-то должны в дороге, — пробормотал Юрка.

Димка и на него посмотрел. Они замолчали. Они вдруг почувствовали себя маленькими и беззащитными перед лицом равнодушной, вялой природы. Ведь что бы с тобой ни случилось, дождишко этот мерзкий будет сыпать и сыпать, и море не шелохнется, и солнце не выглянет, и не увидишь ты горизонта.

Помог Фрам. Он вылез из воды и крикнул:

— Чуваки! Вы-то как раз мне и нужны.

Еще вчера Фрам сам сидел на мели и не знал, что делать. Он проигрался в пух и прах. С очкастым Олегом просто невозможно было играть. Найти музыкальную халтуру не удалось — в Таллине хороших-то лабухов было пруд пруди. Фрам загнал свой кларнет и так расстроился, что пропил все деньги в первый же вечер. Как раз в то время, когда Димка баловался лимонадом, Фрам сидел в каком-то скверике и мучительно пытался вспомнить имена тех типчиков, что подвалились к нему в ресторане и которых он всех угощал. Даже девчонку и ту он не запомнил. В общем, началась бы самая настоящая «желтая жизнь», если бы в скверике вдруг не появился знакомый парнишка по имени Матти. Фрам с ним слегка контактировал в прошлом году на Московском ипподроме. Матти приезжал в Москву в отпуск на собственном «Москвиче» и интересовался многими вещами. Ведь надо же, как повезло Фраму: в такой случайный момент встретить Матти. Матти раньше был официантом, а теперь работал продавцом в мебельном магазине. Он совершенно небрежно подкинул Фраму целую бумагу и сказал:

— Можно немножко подработать. Нам нужны грузчики.

Этим он очень больно ударил Фрама по самолюбию.

— Киндер, — сказал Фрам, — неужели ты думаешь, что эти руки… эти руки… — Он помахал руками.

Матти усмехнулся:

— Дам тебе два-три мальчик. Будешь бригадир. Побегал, покричал, вот и вся работа. Бизнес тип-топ.

— Мальчиков я сам себе найду, — задумчиво сказал Фрам.

Ребята работали грузчиками вот уже целую неделю. Таскали на разные этажи столы и стулья, серванты, шкафы. Эти проклятые польские шкафы, такие огромные! У Алика на плече появился кровавый рубец. Юрка ушиб ногу. Димка вывихнул палец. Они скрывали друг от друга свои увечья и говорили, что работенка в общем-то терпимая, сносная, и интересно, сколько они получат в день зарплаты. Фрам тоже работал изо всех сил. Он отчаянно матерился и кричал:

— Заноси!.. Подай назад!.. Взяли!..

Он суетился, забегал вперед или орал снизу. Хватался за угол шкафа и багровел, натужно стонал, отбегал и кричал:

— Стоп, стоп, чуваки! Вправо, влево!

Потом ребята ждали бригадира внизу. Фрам всегда задерживался в квартире. Он сбегал по лестнице, оживленный и неутомимый, орал:

— Бригада-ух! Вперед!

Впрыгивал в кабину грузовика, а ребята влезали в кузов.

Все эти дни питались консервированной кукурузой. Царица полей восстанавливала их силы. Болели руки, плечи, ноги. Утром невозможно было пошевелиться, а после работы дьявольски хотелось пива. Как это быть грузчиком и не пить пива! Дунуть на пену и залпом выпить всю кружку, так, как пьют настоящие грузчики в киоске напротив. Настоящие грузчики, толстоногие, багровые, ели в обеденный перерыв огромные куски мяса.

И что-то все-таки в этом было. Плестись после работы на автобусе, дремать на заднем сиденье и чувствовать все свое тело, совершенно сухое, усталое и сильное. И думать только о банке с кукурузой. Только о ку-

курузе и ни о чем другом. Проходить мимо ресторана (заладили они там эту «Марину», как будто нет других песен), а ночью лежать возле палатки и вместе с Аликом ждать возвращения Юрки. И слушать, как Алик читает стихи:

Сколько ни петушись,
В парках пожара
Не потушить.
Не трудись задаром,
Только не злись.
В парках пожары.
И листьев холодных слизь
Осень приносит тебе в подарок,
Только не злись.

— Алька, отчего ты летом пишешь об осени, а зимой о весне?

И слушать, как Алик объясняет, почему он так делает. И слушать сосны. И музыку из дома Янсонса. И думать: кто же он все-таки такой, этот Янсонс? И если зоотехник, то почему болтается весь день без дела, балуется с красками и смотрит, смотрит на все? (Вот бы научиться этому — полчаса смотреть на элементарную собаку и улыбаться.) Хорошо лежать так, и слушать голос Алика (этого не забыть, бородатый черт), и сдерживать ярость, и не смотреть на окно, в котором теперь всегда темно, и вспоминать ремарковских ребят (разве станут они?..). А потом увидеть, как мелькает за соснами последний автобус, и ждать Юрку. И вместе с Аликом притвориться спящими и слушать, как Юрка раздевается, сдерживая дыхание, так как знает, что они притворяются спящими. А потом слушать Юркин храп и посапывание Алика. Хорошо, если птица какая-нибудь начинает свистеть над тобой, но иногда

это раздражает. Только под утро становится холодно, и сигарет не осталось совсем. Пожалуй, лучше все-таки завернуться в одеяло, но разве уснешь, когда вокруг такой шум? Вся «Барселона» собралась и смотрит из окон на ринг. Надо выйти из угла и надо его избить. Бить и бить по его мощной челюсти и по тяжелому телу. Хорошо, что бой решили провести в «Барселоне». Дома и стены помогают. Это известно каждому, кто читает «Советский спорт». Вон они смотрят из окна, родители и старший брат Витька. В крайнем случае он за меня заступится. Да я и сам легко изобью этого паршивого актеришку. А потом перемахну через канат — и домой! По черной лестнице, через три ступеньки. Но там что-то происходит. Заноси! Возьми левее! И польский шкаф, эта проклятая махина, падает прямо на тебя. И ты начинаешь стонать и убеждаешь себя, успокаиваешь: спокойно, спокойно, в кино еще и не так бывает. Все это кто-то выдумал — чтоб ему! — а ты каким был, таким и остался. Такой ты и есть, каким был, когда вы разнесли вдребезги команду 444-й школы…

— Шабашьте, ребята! — сказал степенный грузчик Николаев. — Все равно всех денег не заработаете.

Ребята пошли за ним в магазин.

Покупателей в магазине уже не было, в зале бродил один Матти. Он был в синем костюме и нейлоновой рубашке.

— Суббота, суббота, хороший вечерок! — напевал он. Он бывалый паренек, этот Матти.

Из конторы вышел Фрам.

— Получайте башли, чуваки! — императорским тоном сказал он и, видимо поняв, что немного перебор-

щил, ласково подтолкнул Юрку, а Алика похлопал по спине. — Бригада-ух!

Ребята расписались в ведомости и получили деньги. Димка — 354 руб. 40 коп., Юрка — 302 руб., Алик — 296 руб. 90 коп.

— Почему нам по-разному начислили? — спросили они у кассира.

— Спросите у бригадира. Он калькулировал.

Они вышли в зал, загроможденный мебелью. В конце зала Матти лежал на кровати и курил, а Фрам причесывался у зеркала.

— Сейчас я с ним потолкую на «новой фене», — сказал Юрка.

— Ребята! — крикнул Фрам. — Помчались на ипподром? Там сегодня отличный дерби.

Хлопнула дверь — ушел кассир.

— Слюшай, Фрам, — прогнусавил Юрка (он всегда гнусавил, когда хотел кого-нибудь напугать), — слюшай, у тебя сколько классов образования?..

— Семь, — ответил Фрам, — и год в ремеслуху ходил. Фатер не понял моего призвания.

— А где ты так здорово научился мускульную силу калькулировать? — спросил Димка.

— Да, это как-то странно, — пробормотал Алик.

— Вы о зарплате, мальчики? — весело спросил Фрам. — Да это я так, для понта.

— Для смеха? — спросил Матти, не меняя позы.

— Вот как, — сказал Юрка и сделал шаг к Фраму.

— Кончай психовать, — сказал Фрам, — какие-то вы странные, чуваки! Зарплату всегда так выписывают, что ни черта не поймешь. Зато вот премиальные; тут всем поровну, по сотне на нос. Держите! — Он вынул из кармана и развернул веером три сотенных бумажки.

— То-то. — Юрка забрал деньги.

— За что же нас премировали? — удивился Алик.

— За энтузиазм, — захохотал Матти.

— Приказом министра мебельной промышленности комсомольско-молодежная бригада-ух премирована за энтузиазм, — подхватил Фрам. — По этому поводу бригада отправилась играть на тотализаторе. Вы никогда не играли, мальчики? Тогда пойдите обязательно. Новичкам везет, это закон.

— Я не пойду, — сказал Димка, — хватит с меня родимых пятен капитализма.

— Видишь, Матти, — закричал Фрам, — физический труд облагораживает человека!

Ребята засмеялись. Матти, посмеиваясь, ходил вдоль длинного ряда блестящих кухонных шкафов, только что полученных из ГДР. Он доставал из шкафов какие-то баночки с наклейкой и складывал их в портфель.

— Политура, — пояснил он. — Дефицит. Бизнес.

— Во работает, — восхищенно шепнул Фрам, — нигде своего не отдаст!

— Сейчас отдаст, — сказал Димка и подошел к Матти. — Клади все обратно. Слышишь?

Матти повернулся к Димке:

— Еще хочешь премия?

— Положи все обратно и закрой на ключ.

— Ты крепкий мальчик.

— Если хоть одна банка пропадет, узнаешь тогда.

— О, курат! Что ты хочешь?

— По морде тебе дать хочу, мелкий жулик!

Матти быстро свистнул Димке по уху, а Димка мгновенно ответил хуком в челюсть. Они отскочили друг от друга. Портфель упал, и банки покатились. Алик спо-

койно стал поднимать их и ставить обратно в шкафчики. Юрка сказал, усмехаясь:

— Матти, сними костюм, ты сейчас будешь много-много падать. У Димки разряд по боксу.

Матти поднял портфель.

— В магазин можете больше не приходить. Найдем умный мальчик.

Ребята засмеялись:

— Ты, что ли, нас нанимал? Тоже мне, частный владелец!

Матти и Фрам пошли к выходу.

— А ты подожди, шестерка, — сказал Димка Фраму. Он схватил Фрама за руку и повернулся к ребятам. — Ребята, ведь этот тип везде деньги вымогал за наш труд. И эти премиальные, которыми он нас наградил, тоже из этих денег.

— Что тебе от меня надо, психопат? — заскулил Фрам. — Вы свою долю получили.

— Паук-мироед, — восхитился Юрка.

— Что нам от тебя надо? — сказал Димка. — Как ты думаешь, Юрка?

— Пусть пятый угол поищет, — сказал Юрка.

— А ты, Алька?

— Убить, — сказал Алик, — убить морально.

— Фрам, мы тебя увольняем с работы, — заявил Димка. — Попробуй только появиться здесь еще раз.

Они вытащили своего бригадира на улицу. Фрам пытался впасть в истерику. Юрка стукнул его коленом пониже спины и отпустил. Фрам перебежал на другую сторону улицы, взял такси и крикнул:

— Эй, вы! — Достал из кармана и показал ребятам пачку денег. — Привет от Бени! — крикнул он и юркнул в машину.

Ребята присели на обочину тротуара и долго тряслись в немом смехе.

— Мальчики, пошли наконец рубать! — заорал Юрка.

— На первое возьмем шашлык! — крикнул Алик.

— И на второе шашлык, — сказал Димка.

— И на третье опять же шашлычок, — простонал Юрка.

И тут они увидели Галю. Она была шикарна, и все оборачивались на нее. Она была очень загорелой. Сверкали волосы, блестели глаза. Она улыбалась.

— Привет! — сказала она.

Димка прошел вперед, словно ее и не было. Он перешел улицу, купил газету и сел на скамейку.

— Почему вы не бываете на пляже? — светским тоном спросила Галя.

— Мы теперь проводим время на ипподроме, — хмуро сказал Алик.

Галя захохотала:

— Когда же вы исправитесь, мальчишки? А Димка по-прежнему в меланхолии?

Юрка и Алик молча смотрели на нее, а она, сияя, смотрела на Димку.

— Он читает газету «Онтулент». Уже овладел эстонским языком? Дима такой способный…

— Заткнись, — тихо сказал Юрка.

— Я не понимаю, чего вы от меня хотите, — забормотала Галка, и лицо ее задергалось и стало некрасивым. — Я полюбила человека, и он меня. Неужели мы не можем остаться друзьями?

— А Димка?

— Что Димка? Я любила его. Он моя первая любовь, а сейчас… другое… я и он… Григорий… и я…

— Ты на содержании у него! Ты содержанка! — выпалил Алик и испугался, что Галка даст ему по щеке. Но она уже овладела собой.

— Начитался ты, Алик, западной литературы, — криво улыбнулась она и пошла прочь.

— Шалава, — сказал вслед Юрка.

Галя пересекла улицу, подошла к Димке, выхватила у него из рук газету «Онтулент» и что-то сказала. Димка тоже ей что-то сказал и встал. Галя схватила его за руку и что-то быстро-быстро сказала. Димка двумя пальцами, словно это была жаба, снял со своей руки ее руку и отряхнул рукав. (Молодец, так ей и надо!) Димка сказал что-то ме-едленно, а потом долго говорил что-то быстрое-быстрое. Галя топнула ногой (тоже мне!) и отвернулась. Димка заговорил. Галя заговорила. Заговорили вместе. Галя подняла руку, подзывает такси. Садятся вместе в машину. Уехали.

— Он с голоду умрет, — пробормотал Юрка.

— Мы вместе с ним, — сказал Алик и поднял руку.

— Ты что? — спросил Юрка уже в машине.

— Следуйте за голубой «Волгой», — сказал Алик шоферу, а потом Юрке: — Он черт знает что натворить может. Целую неделю не спит. Понял?

— Да, я была влюблена в тебя. Все было прекрасно. Я была счастлива, как никогда в жизни, когда мы с тобой… Думала только о тебе, мечтала о тебе, видела тебя, целовала тебя и ничего другого не хотела. Ведь я мечтала о тебе еще с седьмого класса. Почему-то ты казался мне каким-то романтичным. А ты? Ты какой-то необузданный, азартный… По-моему, ты влюбился в меня на смотре самодеятельности. Верно? Но что делать? Есть, видно, что-то такое, что сильнее нас. А мо-

жет быть, я такая слабая, что не могу управлять своими чувствами? Все остальные могут управлять, а я такая слабая. Я и сейчас тебя люблю, но все-таки не так, как тогда. Так я люблю сейчас его. Да, его! Что ты молчишь? Посмотри на меня. Ну вот, ты видишь, что не вру. Видишь или нет? Отвечай! Что, у тебя язык отсох? Он человек, близкий к гениальности, он красивый человек. Ты не думай, что он хочет просто… Он влюблен в меня. Мы поженимся, как только… как только мне исполнится восемнадцать лет. Ты не знаешь, как я счастлива! Он читает мне стихи, он научил меня слушать музыку, он помогает мне готовиться в институт. Скоро мы поедем в Ленинград, и там я поступлю в театральный. И не думай, что по блату. Никакого блата не будет, хотя у него там… Он уверен, что я пройду. Он думает, что у меня талант. Дима, ты понимаешь, ведь, кроме всего прочего, мужчину и женщину должна связывать духовная общность. Должно быть созвучие душ. У тебя ведь нет тяги к театру. А я готова сгореть ради театра. А он играл в горящем театре, под бомбами. Не ушел со сцены, пока не кончил монолог.

— Эффектно, — сказал Димка.

— Ты думаешь, он выдумал? Я видела вырезку из газеты. Он мужественный, сложный и красивый человек. А ты… Дима, ты ведь еще мальчик. У тебя нет никаких стремлений. Ну, скажи, к чему ты стремишься? Кем ты хочешь стать? Скажи! Ну, скажи что-нибудь? Да не молчи ты! Скажи! Скажи! Бога ради, не молчи! Хоть тем словом назови меня, но не молчи!

Они сидели под обрывом. Между валунами прыгали маленькие коричневые лягушки. Наверху был поселок Меривялья, где теперь жила Галя. Внизу было море.

Когда Галя кончила говорить, Димка подумал: «Как это у меня хватило силы выслушать все это?»

Море лежало без движения и отливало ртутью. Здесь было полно камней возле берега. Это было похоже на погибший десант.

«Как это меня хватает на все это?»

Когда Галя заплакала, он полез вверх. На шоссе он оглянулся. Галя стояла и смотрела ему вслед. Она была вся туго обтянута платьем. Димка вспомнил, как они лежали с ней на пляже и в лесу. Однажды ящерица скользнула по ее голой ноге. Он терпеть не мог всего быстро ползающего и вскрикнул, а Галя засмеялась. Причитали над божьими коровками. Черт, он не учил ее слушать музыку и не читал ей стихи! Целовались и бегали как сумасшедшие. А сейчас она стоит внизу. Броситься вниз и схватить ее здесь, на пустынном пляже.

На мотоцикле промчать через Таллин и Тарту…

Наверное, тот ее не только музыке учит.

Димка ринулся прочь по шоссе. Только бег и может помочь. Чтоб все мелькало в глазах и ничего нельзя было разобрать.

Серая сталь и стекло пронеслись мимо. Жаль, что мимо. Вдруг его осенила догадка, и он оглянулся. Такси шмыгнуло за поворот. Димка не разглядел пассажира, но был уверен, что это он.

— Я его убью, — шептал Димка, спокойно шагая по шоссе.

Он залег в лесу в двадцати метрах от дома, где теперь жила Галя. Рядом с ним лежало ружье для подводной охоты. Он уже все рассчитал. Скоро они выйдут. Наверное, поедут в театр или в ресторан. Надо подойти

метров на пять, чтобы было наверняка. На этом расстоянии гарпун пробьет его насквозь.

Когда над соснами появились звезды, а где-то далеко заиграла радиола и окна в домике стали желтыми и прозрачными, Димка услышал голос:

— Галочка, я тебя жду внизу.

Человек в светлом пиджаке и темном галстуке стоял на крыльце и курил.

«Очень удобно, — подумал Димка и встал. — Вообще-то подло убивать в темноте. Мерзавца не подло. Я подойду к нему и крикну: «Эй, Долгов, вот тебе за все!»

Он подошел к домику и прицелился. Расстояние было метров десять. Все-таки не насквозь.

— Эй, Долгов! — заорал он, но кто-то выбил у него из рук ружье, кто-то зажал рот ладонью, кто-то потащил в лес.

Долгов вздрогнул от этого крика. Он узнал голос. Потом он увидел в лесу какие-то тени. Он спустился с крыльца и вышел за калитку. Он был готов ко всему. Но тени в лесу удалялись.

«Я опять опоздал, — с горечью подумал Долгов, — опоздал на каких-нибудь двадцать лет с небольшим».

Игорь Баулин решил купить торшер. Он уже купил массу мебели, разыскал потрясающие гардины и уникальную керамику (у его молодой жены был современный вкус), и теперь нужен был только торшер.

Шурик Морозов и Эндель Хейс на днях отбывали в Бельгию. Они получат там на верфи новенький красавец сейнер и выйдут в море. Пройдут через Ла-Манш и через «гремящие сороковые широты», через Гибралтарский пролив и через Суэц, будут задыхаться в Красном море и одичают в океане, а дальше смешной город Сингапур, и то-то нагазуются, когда придут во Владик. А Игорь будет жить в маленьком поселке, вставать ровно в шесть и отсыпаться на своем крошечном «СТБ» (когда идешь в тихую погоду с тралом и нечего делать), он будет ловить кильку и салаку в четырнадцати милях от берега и каждый вечер будет возвращаться в свой домик, к своей жене, будет дергать торшер за веревочку и удивляться: «Вот жизнь, а?» — пока не забудет об океане. Если можно о нем забыть.

Возле мебельного магазина друзья увидели трех своих спутников, трех «туристов — пожирателей километров». Они были обросшие, мрачные и худые как черти. Они разгружали контейнер.

— Смотри, Игорь, — сказал Шурик, — как видно, они все-таки не побежали на телеграф.

— Да, это так, — констатировал Эндель.

— Неплохие они, по-моему, ребята, — задумчиво сказал Шурик.

— В общем, «герои семилетки», — процедил Игорь. — Мне ясно, почему они именно здесь решили подкалымить. Знаешь, какой калым у грузчиков?

Подошли, поздоровались.

— Рыцари дорог, почему вы не пожираете километры?

— Потому что нам жрать нечего, — мрачно сказал Юрка, а Димка и Алик промолчали.

Было ясно, что пикировки в этот раз не получится.

— Видите ли, — пояснил Алик, — мы хотим подработать денег на дорогу.

— Куда, если не секрет?

— В какой-нибудь рыболовецкий колхоз.

Шурик улыбнулся и подтолкнул локтем Игоря.

— Почему именно в рыболовецкий колхоз?

— Просто так, понюхать море, — сказал Алик.

— И поесть рыбы, — добавил Юрка.

— И подработать денег на дорогу, — буркнул Димка.

— А там куда?

— В тартарары.

— Что-то ты, брат, очень мрачный, — сказал Шурик. — А где Брижит Бардо?

— В кино.

— Что смотрит?

— Снимается.

— Слушайте, ребята, — вдруг сказал Игорь, — если вы серьезно задумали подработать, езжайте в рыболовецкий колхоз «Прожектор». Три часа езды на автобусе отсюда. Там сейчас комплектуют экипажи к осенней путине. Сведения абсолютно точные.

— «Прожектор»? Это звучит, — сказал Алик.

— «Прожектор» — это хорошо, — сказал Юрка.

— «Прожектор» так «Прожектор», — сказал Димка.

В магазине Шурик хлопнул Игоря по плечу:

— Ты читаешь мои мысли. Надо помочь ребятам.

— Какого черта, — рассердился Игорь, — не маленькие! Просто нам действительно нужны люди.

— Когда же мы увидимся снова? — спросила Линда.

— Откуда я знаю, — ответил Юрка и отвернулся.

Они сидели на «горке Линды». Сейчас здесь все было так, как было на самом деле несколько тысячеле-

тий назад. Небо на западе было красное, а чудовищно искривленные стволы — черные, словно мокрые. Каменная Линда, по обыкновению, молчала. Живая Линда вздыхала.

— Неужели обязательно нужно уезжать?

— В том-то и дело.

Линда наклонила голову. Юрка совсем перепугался. Еще плакать начнет. Так и есть. Ревет.

— Эй, — сказал он и тронул ее за плечо, — что это ты, брат? Что ты засмурела, Линда? Хочешь помочь городскому водопроводу? Второе озеро накапать? Я ведь еще не загнулся. Фу, какая ты странная… В конце концов — всего три часа езды. Подними голову. Вот так. Сейчас мы с тобой возьмем мотор, покатаемся, пойдем в ресторан, потом в клуб — побацаем на прощание… Схвачено?

Линда вынула из сумки платок и вытерла лицо.

— Знаешь, Юрка, когда мы снова с тобой встретимся, я начну учить тебя правильному русскому языку. Схвачено?

— Закон! — радостно завопил Юрка и полез целоваться.

— Ну как там у вас, Витя?
— Все в порядке, старик. Родители на даче. Здоровы.
— А ты как? Защитил?
— Нет, не защитил.
— Неужели зарубили, скоты?
— Да нет. Отложена защита. Как ты там, старик?
— Отлично.
— Может, тебе денег подкинуть, а?
— У меня куча денег.
— Брось.

— Серьезно. Мы тут подработали на киностудии.

— Понятно. Значит, все хорошо?

— Осталась одна минута, — сказала телефонистка.

— Слушай, Витя, сегодня мы уезжаем из Таллина. Будем работать в колхозе «Прожектор». Я тебе напишу. Передай маме…

— Старик, перестань играть в молчанку. Пиши хоть мне. У нас все хорошо. Я маме наврал, что получаю от тебя письма. Она не понимает…

— …что я здоров, весел и бодр. И дедушке Алика скажи, и Юркиному папану, и… Зинаиде Петровне тоже. Как там наша «Барселона»? Не развалилась еще? Денег у нас целая куча. Все у нас…

— …почему ты ей не напишешь? Старики очень обижены на тебя из-за этого. Только из-за этого. Слушай, я через месяц, может быть, приеду к тебе в отпуск. Старик…

— …в полном порядке. Тебе ни пуха ни пера. Защищай скорее.

— Что?

— Защищай скорее.

— Крепись, старик. Все будет в порядке, — сказал Виктор.

— Да все и так в полном порядке, — пробормотал Димка, но их уже разъединили.

— Хочешь честно, Крамер? — спросил Иванов-Петров.

— Только так, — сказал Алик и сломал сигарету.

Они бродили вдвоем по Вышгороду.

— Понимаешь, в общем-то все это просто смешно. Так же, как твоя борода и все прочее. Смешно и очень любопытно. В общем-то это здорово, что ходите вы сейчас

везде, смешные мальчики. Очень я рад, что вы ходите повсюду и выдумываете разные штуки.

— Очень любезно с вашей стороны. Спасибо от имени смешных мальчиков.

— Ты не сердись. Я уверен, что ты будешь писателем.

— Без дураков?

— Точно.

— А что для этого нужно? Посоветуйте, что читать.

— Черт! Что читать? Вот этого я не знаю. По-моему, нужно просто жить на всю катушку. И ничего не бойся.

— Я и не боюсь.

Они остановились на краю бастиона над Паткулевской лестницей. Иванов-Петров обнял Алика за плечи.

Внизу в улицах сгущались сумерки, а черепичные крыши домов и башен все еще отсвечивали закат. Церковь Нигулисте, разрушенная во время войны, стояла в строительных лесах.

— Камни, — прошептал Иванов-Петров, — завидую камням. Их можно уничтожить только бомбами.

— В наше время это нетрудно сделать, — откликнулся Алик.

— Очень трудно. Невозможно.

Погасли розовые отсветы. В узких улочках зажглись лампы. Это было похоже на подводный город из какой-то старой немецкой сказки.

— Остановись здесь. Я дальше хочу пешком.

— Галочка, дождь ведь может пойти.

— Ну и пусть.

Галя побежала по дороге. В темноте мелькала ее белая кофточка. Долгов, улыбаясь, пошел за ней.

«Как это мило все, это очень мило!» — сказал он себе, думая с тревогой и тоской, что отпуск кончается.

Галя, пританцовывая и напевая, бежала обратно. Она была чуть-чуть пьяна. Она теперь каждый вечер была чуточку пьяна. И каждый вечер танцы и разговоры об искусстве, о современной сцене, и тонкие намеки, тонкие шутки, и все такое вкусное на столе, а почему не выпить «несколько капель солнца»?

Долгов протянул руки, и она оказалась в его объятиях.

Огромный «Икарус» с ревом пронесся мимо них. Казалось, земля задрожала. Автобус, неистовый, грузный, неудержимый, с воем летел в кромешную тьму. Шум затих, а он уходил, освещенный, все дальше и представлялся космическим кораблем.

— По-моему, он свалится в кювет, — сказал Долгов.

— А по-моему, врежется в Луну, — сказала Галя.

Вот бы быть там! Мчаться в темноте! Там играет радио. Шофер включает, чтобы не заснуть за рулем. Играет тихо, но на передних сиденьях слышно. И все дрожит, и все гудит, и никто не знает, доедет ли до конца.

— Григорий, буду я когда-нибудь играть Джульетту?

— Уверен, Галчонок.

— А ты будешь Ромео.

— Нет. Это сейчас не мое амплуа.

Часть III
СИСТЕМА «ДУБЛЬ-ВЕ»

Глава 9

Я не мог на нее налюбоваться. Она была роскошна. Вероятно, очень приятно было бы держать ее в руках, но я не беру ее в руки. Каждый раз я гляжу на нее, когда сажусь к своему столу. Она лежит на нем, темно-коричневая, толстая, тяжелая, — это диссертация. А рядом с ней синенькая тетрадка. Это то самое «просто так». Я сажусь по-американски — ноги на стол, — закуриваю и смотрю на эти две вещи. Я словно взвешиваю их на ладони. Что означает каждая из них для меня и что они значат вообще?

Диссертация — это кандидатская диссертация, тему которой мне подсказал наш гениальный шеф. Это мой голос, усиленный микрофоном: «Уважаемые члены ученого совета». Это рукопожатия, цветы и дьявольская выпивка. Все как полагается. Звонки друзей, а ночью шепот Шурочки: «Милый, я так счастлива!» Это моя подпись, черт побери, под всем, что ни напишу: «Кандидат наук В. Денисов». Это лишних пятьсот рублей в месяц. Это бессонные ночи и молоток в голове. Если все книги, что я прочел для того, чтобы написать ее, свалить в этой комнате, мне придется ночевать на кры-

ше. Это мой труд, это моя надежда. Это мой путь, трудный, но верный. Путь, уготованный мне с самого детства. «Будешь разумным мальчиком, станешь профессором». Меня воспитывали на разных положительных примерах, а потом я сам стал положительным примером для Димки. А Димка взял и плюнул на мой пример. В общем-то, он просто смешной романтик. Он думает, что он какое-то исключение, необычайно сложное явление в природе. Все мы так думали. Меня тоже тянуло тогда куда-то уйти. Меня тянуло, а он ушел.

А я двадцать восемь лет в своей комнате и смотрю на билет, пробитый звездным компостером. Что там сегодня? Кажется, хвост Лебедя. Надо бы мне при моей профессии лучше знать астрономию. Романтика! Вот она снова пришла ко мне. Я смотрю в окно, и бывают минуты, когда я уверен, что этот билет все-таки предназначен для меня.

Синенькая тетрадочка — это моя собственная мысль. Это мой доклад, который я сделаю через неделю или через две. В кулуарах уже идут разговоры. Простите, а кто он такой? Имеет ли степень? Вам не кажется, что это несколько… э-э… невежливо по отношению к Виталию Витальевичу? Хе-хе, молодежь! Почему бы ей и не задрать хвост!

Это мой голос, усиленный микрофоном: «Вот все, что я хотел сообщить уважаемому собранию». Это тоже рукопожатия, но это и кивки издалека, а некоторые, должно быть, перестанут со мной здороваться. Это мой труд, мой. Мой! Это моя фантазия. Это, если хотите, орел или решка. Это скачок вверх или вниз (я еще не знаю куда), но это ползком через камни в сторону от дороги, уготованной мне для того, чтобы вернуться, но

уже через год. Это мотылек летит на свечу или Икар… О! О! Разошелся.

Борька говорит:

— Это смешно. Ты осел.

— В институте ходят разговоры. Нехорошие.

— Все-таки, Виктор, нам нужно знать свое место.

— Ну кто ты такой, подумай! Ведь даже степени у тебя нет.

— Мне передавали, что В. В. сказал…

— Может быть, ты надеешься на поддержку шефа? Должен тебе сказать, что В.В…

— Это несолидно.

— Опрометчиво.

— Авантюра.

— Опасно.

Прошел месяц с того дня, когда я поставил свой опыт. Тогда я думал, что на этом все и кончится. Нет, это был снежный ком, пущенный с горы. Последовала целая серия опытов и много бессонных ночей. Я стал курить по две пачки в день. Очень помогли мне ребята-химики. Без них ничего бы не вышло. Вообще очень многие мне помогали, хотя работа шла вне плана. Например, Рустам Валеев, узкий специалист в области энцефалографии (исследование мозга), проторчал у меня в лаборатории целые сутки. Только люди из отдела В. В. смотрели косо. Дело в том, что моя работа опровергала не только мою собственную диссертацию, но и целую серию работ отдела, руководимого Дубль-ве, основное направление этого отдела. Диссертация сотрудника этого отдела, моего друга Бори, в результате моей работы тоже могла быть подвергнута сомнению. Борис заходил почти ежедневно и все бубнил:

— Это просто смешно. Дубль-ве сотрет тебя в порошок.

— Ты вроде той унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла.

— Вчера я слышал, как В. В. сказал кому-то по телефону: «Нужно оградить нашу науку от выскочек».

— Напрасно думаешь, что шеф тебя поддержит.

— Тоже мне, Дон-Кихот.

— Шефа это тоже не погладит по самолюбию.

— Хорошо, раз ты решил чудить — чуди, но почему ты лезешь с докладом на эту сессию? Неужели нельзя подождать?

— Это не по-товарищески.

— Знаешь, Боря, — сказал я ему однажды, — закрой дверь с той стороны.

Я не знаю, как относится к моей работе шеф. Во всяком случае, с планом он на меня не давит. Но он молчит. Он не заходит ко мне, как прежде, и не читает мои записи. Ну и хорошо, что он ко мне не заходит, очень хорошо, что не заходит. Но все-таки это меня волнует. Честно говоря, меня это волнует больше всего. И не только потому, что шеф может присоединиться к Дубль-ве и совместными усилиями стереть меня в порошок. Не только поэтому. Я просто не уверен в себе. Иногда все из рук валится, когда подумаю: а вдруг все это вздор? Был страшный момент, когда погибла Красавица. Она погибла из-за того, что я разнервничался, вот как сейчас. Я не знал, куда деваться. Утром написал докладную шефу и подал через секретаря. На следующий день мне принесли двух других обезьян.

Теперь все позади. Я начал переписывать на машинке свой доклад. Подал заявление в ученый совет. Сес-

сия начнется через неделю. Теперь мне, пожалуй, лучше всего не думать обо всем этом. Почему бы мне сегодня не отдохнуть? Почему бы не позвонить Шурочке? И не пойти в парк?

Этот ученый любит примитивные развлечения. Он любит качели и «блоху», любит стучать молотком по силомеру и покатываться в комнате смеха. Хлебом не корми, а угости мороженым в парке. Он даже в очереди любит стоять, в очереди стиляг перед рестораном «Плзеньский». Эта сложная личность любит черное пиво «Сенатор» и обожает «чертово колесо». Он трепещет от звуков военного духового оркестра и мчится на массовое поле танцевать.

Примерно в таком духе издевается надо мной Шурочка. Мы стоим в толпе на площадке аттракциона «Гонки по вертикальной стене». Шурочка подтрунивает надо мной и смеется, но мне кажется, что ей хочется плакать. Мне кажется, что ей хочется крикнуть: «Виктор, что с тобой?»

Внизу, под нами, двое мужчин и девушка садятся на мотоциклы. Мужчина постарше с каменным лицом взлетает на стенку. Он кружит по ней то выше, то ниже, то с ревом несется прямо на нас (сейчас проломит барьер — и всем нам конец), то вниз (сейчас взорвется внизу); он крутит вензеля на полном ходу и мчится, сняв с руля руки. Потом на стенку взлетает девушка. Два мотоцикла кружат по стене, и не поймешь, гонятся ли они друг за другом или летят навстречу. Мужчина с каменным лицом и девушка с застывшей улыбкой. Девушка вроде Шурочки. Ей бы медсестрой работать, а она кружит по стенке. В мире много странного. Один человек варит сталь, другой лечит людей, а третий всю жизнь дрессирует маленьких собачек, а

девушка работает на вертикальной стене. Это ее профессия. Когда на стенку с ревом вылетает третий, я сжимаю барьер, а Шурочка мою руку. Потом мы выходим, она говорит:

— У тебя был невменяемый вид. Ты совсем мальчишка. Может быть, ты им завидовал?

— А?

— Ты бы хотел мчаться по вертикальной стене?

— Смотря куда. Если так, как они, по кругу, то не хотел бы. А если…

— Куда?

— Куда угодно, но только не по кругу.

— Так. Сейчас мы пойдем кормить лебедей?

— Шурочка!

— Не смей называть меня Шурочкой!

— Что с тобой?

— Я не хочу, чтобы ты называл меня Шурочкой. Называй Сашей, Сашкой, Александрой, Шуркой, то только не Шурочкой.

— Почему? Боже мой, почему?

— Потому что мы с тобой уже два года ходим в парк, и ты катаешься на «блохе», и пьешь черное пиво, и бьешь молотком по силомеру, и называешь меня Шурочкой.

— Ведь ты любила ходить в парк?

— А теперь не люблю.

В этот момент я вижу все как-то по-новому, словно мне рассказали чужую историю и я могу составить о ней свое мнение.

Над парком пыльное небо, и звезды еле видны, а в реке отражаются все огни Фрунзенской набережной. Кажется, выход один — пуститься в путешествие по речке в неизведанные края, к Киевскому вокзалу.

— Хочешь, прокатимся по реке?

— Хочу, — тихо говорит она.

Мы сидим на верхней палубе на самом носу. Проплывают темные чащобы Нескучного сада. Фермы моста Окружной дороги надвигаются на нас, чтобы мы почувствовали себя детьми. Чтобы все осталось позади, а когда над головой простучат колеса, чтобы мы поцеловались.

— Шурочка, — говорю я, и она уже сердится, — Саша, Сашка, Александра, защита диссертации отменяется!

Она вздрагивает.

— Точнее, отодвигается. На год.

Она отодвигается от меня.

— Но у нас ничего не отменяется, — говорю я, и она не отодвигается.

Я привожу к себе свою жену. Папа и мама живут на даче. Они приедут и найдут в доме мою жену. В моей маленькой комнате. Вот здесь я прожил двадцать восемь лет. Приносил со двора гильзы, а из школы дневники с хорошими и отличными отметками. (Правда, иногда учителя писали: «Был невнимателен на уроке».) Потом я принес сюда серебряную медаль. Потом студенческий билет.

Приносил ватерпольные мячи и хоккейные клюшки, буги-вуги на рентгеновских пленках и башмаки на каучуке. Приводил товарищей (дым стоял коромыслом). Приносил повышенную и простую стипендии. Несколько раз приводил девушек, когда родители жили на даче. Принес диплом. Очень хотелось мне принести сюда диссертацию, а потом хотелось принести синенькую тетрадку, но сделать этого я не мог. Нам не разрешается этого делать. Но все-таки и то и другое побывало здесь. Я приносил их сюда в своей го-

лове. И вот теперь я привел в «Барселону» свою жену. Новый повод Димке для рассуждения о моей мещанской судьбе.

— Милый, я так счастлива, — шепчет Шурочка. — Я тебя люблю. Я тебе буду помогать. Ведь теперь тебе легче будет справиться с тем, что ты задумал?

— Конечно, легче. В тысячу раз.

Шурочка стоит у окна. В окно из уличных теснин льется свет газовых ламп.

Я курю на своей тахте и смотрю на силуэт девушки, стоящей в комнате у окна, и я понимаю, что никогда в жизни не буду больше разглядывать ее со стороны и сравнивать с другими. Мне теперь будет достаточно того, что это она и что она рядом.

Утром мы выходим из дома вместе с женой. Во дворе я говорю тете Эльве для того, чтобы вечером знал уже весь дом:

— Тетя Эльва, это моя жена.

— Очень приятно, если законная, — любезно говорит тетя Эльва.

Мы выбегаем на улицу. Солнце! Привет тебе, солнце, если ты законное! Машина поливает улицу. Привет тебе, вода, если ты законная. Эй, прохожие, всем вам привет! Документы в порядке?

Привет тебе, и поцелуй, и все мое сердце, моя еще незаконная жена! Ты уезжаешь в автобусе, а я иду упругим шагом к метро. У меня упругая походка, я чертовски молодой ученый, мне еще нет тридцати лет. Кто меня назовет неудачником? Я самостоятельный, подающий большие надежды молодой ученый. Я сделаю свое дело, потому что люблю все вокруг себя, Москву и всю свою страну. Масса солнца вокруг и воздуха. Я очень силен. Я еду в институт. Я сделаю свое дело для себя,

и для всего института, и для своей семьи, и для своей страны. Моя страна, когда-нибудь ты назовешь наши имена и твои поэты сложат о нас стихи. Я сделаю свое дело, чего бы этого мне ни стоило.

В метро люди читают газеты. Заголовки утренних газет:

КУБЕ УГРОЖАЕТ ОПАСНОСТЬ!
АГРЕССИЯ В КОНГО РАСШИРЯЕТСЯ.
В ЛАОСЕ ТРЕВОЖНО.
МЫ С ТОБОЙ, ФИДЕЛЬ!
ПИРАТСКИЕ НАЛЕТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ.
ОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ ПРОДОЛЖАЕТ СВОЙ ПУТЬ.

В темном окне трясущегося вагона отражаемся мы, пассажиры. Мы стоим плечом к плечу и читаем газеты. Жирные, сухие и такие мускулистые, как я, смешные, неряшливые, респектабельные, пижонистые, мы молчим. Мы немного не выспались. Нам жарко и неловко. Этот, справа, весь вспотел. Фидель, мы с тобой! Пираты, мы против вас. Мы несем Олимпийский огонь.

Я сделаю свое дело. У меня есть голова, мускулы, сердце. У меня есть билет со звездным компостером.

В проходной я сталкиваюсь с Борисом.

— Боб, я женился, — выпаливаю ему в лицо.

— Поздравляю, — кисло мямлит он.

Мы молча идем через двор. Впереди тащится Илюшка. Читает на ходу какой-то ядовитого цвета детектив. Мимо нас проезжает «Волга». За рулем Дубль-ве. Он в темных очках. Я кланяюсь ему очень вежливо:

— Доброе утро, Виталий Витальевич. Царапнули вас немного?

Дубль-ве вылезает из машины.

— Здравствуйте. Черт бы побрал это Рязанское шоссе! Это меня «Молоко» сегодня царапнуло.

Борис приветствует своего начальника коротким кивком. Боря такой, он не станет рассыпаться перед начальником. В.В. берет Бориса под руку, и они задерживают шаги. Я догоняю Илюшку.

— Илья, знаешь, я женился.

— Поздравляю. Свадьба когда?

Хороший парень Илья, только вот беда: не знает, как меня называть, на «ты» или на «вы». Видно, потому, что он монтер, а я как-никак научный сотрудник. Позову его на свадьбу, выпьем на брудершафт.

Борис и Дубль-ве под руку проходят мимо нас. Улавливаю конец фразы Бориса:

— …чрезвычайно.

Вот черт, сразу же включается в трудовой процесс!

Посидев немного у себя и полистав свежий номер «Экспресс-информации», я иду в рентгеновскую лабораторию узнать насчет диапозитивов.

— Лидочка, можно?

В красноватой мгле появляется лаборантка Лида. Светлые волосы, белый халат и темное лицо. Она сейчас сама похожа на негатив.

— Как там мои картинки?

У нас с Лидой дружба. После меня она лучшая пинг-понгистка института. Она включает проектор и показывает мне мои диапозитивы.

— Высший класс, — хвалю я ее.

— Это что такое, Витя? — спрашивает она.

— Это печень. Печеночные клетки.

— Это Красавица?

— Да.

У Красавицы были печальные глазки, а что она выделывала своими лапками! Она узнавала меня, как человек. Я играл с ней, когда она была не в камере. А когда она была в камере, мне стоило большого труда встретиться с ней взглядом. Смотреть ее печеночные клетки тоже нелегко.

Я выхожу в коридор и неожиданно для себя заворачиваю к кабинету шефа. Секретарша говорит, что я могу войти. Открываю дверь и вижу, что шеф сидит на краешке стола. Он редко сидит в кресле, только когда что-нибудь пишет. А когда разговаривает, он сидит на краешке стола, или на подоконнике, или уж в крайнем случае на ручке кресла. В общем-то, он чудаковат, как почти все руководящие деятели нашего института. Пожалуй, один только Дубль-ве не чудак, но на общем фоне подтянутость и корректность кажутся чудачеством.

— Садитесь, Витя. — Шеф показывает на кресло. Я сажусь и замечаю на подоконнике моего друга Борю. Шеф смотрит на меня, потом на него. — Будем продолжать, Боря, или?.. — спрашивает он.

— Если позволите, я к вам зайду в конце дня.

Борис идет к выходу, даже не взглянув на меня. У меня мелькает мысль, что где-нибудь в другом месте я бы сейчас его не узнал.

— Ну, Витя?

И шеф вдруг садится в кресло.

— Андрей Иванович, я решил к вам зайти…

— Это очень мило с вашей стороны.

— Чтобы поблагодарить за обезьян.

— Пожалуйста, — говорит шеф и молчит.

И я молчу как дурак. Шеф усмехается. Он иногда так усмехается, что хочется ему заехать по физиономии. Я говорю твердо и даже вызывающе:

— И еще я хотел узнать, включен ли мой доклад в повестку сессии.

Я посмотрел на себя в зеркало и спокойно ожесточился. Зеркало мне всегда помогает, когда я растерян, потому что у меня жесткое и грубоватое лицо.

Шеф роется в каких-то бумагах и наконец говорит:

— Да, ваш доклад включен. Выступаете в первый день, после Буркало и перед Табидзе.

— Благодарю вас.

Я встаю и иду к выходу. Не хочешь говорить, ну и не надо.

— Виктор!

Оборачиваюсь. Шеф сидит на краешке стола.

— Хотите попробовать французскую сигарету?

Он позавчера вернулся из Парижа, куда летал на сессию ЮНЕСКО. Я подхожу к столу. От французской сигареты я не откажусь. Кто откажется от французской сигареты! На пачке нарисован петух и написано «Голуаз бле». Страшно крепкие сигареты.

— Ну как там, в Париже? — спрашиваю так, как спросил бы Борьку.

— Да в общем все то же. Развлекаются.

Некоторое время мы молчим. Надо же почувствовать французскую сигарету.

— Послушайте, Витя, — наконец говорит шеф, — у вас полная уверенность?

Я смотрю на себя в зеркало.

— Полная уверенность. Иначе бы я…

— Я к вам не зайду и не буду ничего смотреть. Вы это, надеюсь, понимаете?

— Конечно.

— Да вы ведь и не хотите, чтобы я смотрел, правда?

— Не хочу, Андрей Иванович.

Шеф усмехается:

— Как это все мне знакомо. У меня тоже когда-то наступил момент, когда я стал избегать покойного Кранца.

Он начинает ходить по комнате. Портрет Кранца висит над его столом. Я смотрю на портрет.

— Но ведь вы все-таки остались друзьями с Кранцем. Не так ли?

Опять я делаю ошибку, как и в прошлый разговор с ним. Шеф терпеть не может ничего сладенького. Его прямо всего передергивает.

— Вот что, Виктор Денисов, — резко говорит он, — вы решили стать настоящим ученым? Как ваш руководитель и как коммунист, я приветствую ваш порыв. Ваш доклад поставлен на первый день сессии. Насколько я понимаю, вы будете говорить об очень важной проблеме. Я приветствую вашу смелость и самостоятельность. Но я вас предупреждаю: ученый совет будет слушать во все уши и смотреть во все глаза. И если ваша работа окажется ловким трюком, эффектной вспышкой (а так, к сожалению, бывает нередко, в молодости очень хочется сокрушить пару статуй), тогда мы вас не пощадим. Добросовестных компиляторов еще можно терпеть, но демагогии нет места в науке. Вам все понятно? Идите работать.

Кивнув, я пошел к выходу.

— Хотите еще сигарету?! — крикнул шеф вдогонку.

Хотел бы я посмотреть на того, кто откажется от сигареты «Голуаз».

В коридоре меня встречает Борис.

— Весь наш отдел будет выступать против тебя, — говорит он, — потому что твоя работа — это дешевый трюк.

— Ага, понятно.

— Ты извини, старик, но я тоже буду выступать против тебя.

— А как же иначе? — говорю я, а сам в полном смятении. «Борька, черт побери! Борька, Борька, неужели он все забыл?»

— Ты думаешь, что я боюсь за свою диссертацию, но это не так. Я — за научную честность.

— И я только за нее.

— Сомневаюсь.

— А ты знаешь содержание моей работы?

— В общих чертах.

— Пойдем!

Я хватаю его за руку и тащу в виварий. Красавица-бис висит на хвосте, а Маргарита прыгает из угла в угол, как заведенная.

— Видишь?! — кричу я Борису. — Видишь, они живы! Они побывали в камере, и они живы.

Я смотрю на Бориса, а он смотрит на обезьян. У него стеклянный взгляд. Он смотрит и ничего не видит. Мне становится не по себе, и я ухожу из вивария. Борис идет за мной.

— Витька, я последний раз тебя предупреждаю: сними доклад. Не по зубам тебе это, даже если ты и прав. Дубль-ве — огромный эрудит, сильный боец и в общем-то страшный человек. Он уже все о тебе знает.

— То есть? — Я поражен. — А кто обо мне чего-нибудь не знает? Что ты имеешь в виду?

— Твои настроения в определенный момент. И странные вопросы на семинарах. А помнишь, как ты

привел к нам на вечер какую-то крашеную девку? Вы танцевали рок-н-ролл. Дубль-ве уже все это знает и мобилизует общественное мнение. Он всем говорит, что ты морально неустойчив и политически не воспитан…

— А ты с ним согласен?

— В какой-то мере, понимаешь ли, он прав.

— Ах ты…

Резким движением я заворачиваю Борьке руку за спину. Мне хочется выбросить его в окно. Я выпускаю его.

— Слушай, сопля, если бы не эти священные стены… Убирайся!

Вечером я рассказал обо всем Шурочке. Как странно: человек взрослеет, развивается, а ты все еще убеждаешь себя, что он твой друг. И про девку рассказал, с которой танцевал на вечере. Было дело, приводил… И про свои «настроения в определенный момент». И про свои нынешние настроения. Сволочь Борька, сушеный крокодил, у тебя никогда не было настроений! Хорошо крокодилам, особенно сушеным, — могут жить без настроений. Рассказал про весь отдел Дубль-ве, эту фабрику диссертаций. Рассказал про свой доклад и как Дубль-ве подкапывается под меня. И еще рассказал ей о своем настроении — драться! И о своем опасении: вдруг они и шефу закапали мозги? Но ведь он же разберется, он же сможет разобраться. И показал ей звездный билет в окне. И объяснил, что сейчас там хвост Лебедя, хотя был уверен, что там что-то другое. И сказал ей, что это мой билет. И она меня поняла.

У меня горло сжималось, когда я ее целовал. Глаза у нее стали огромными, и я в них пропал.

Глава 10

Мне снятся люди в греческих туниках. Они спустились с потолка и со стен и рассаживаются за столом ученого совета. У них величавые, сугубо древнегреческие жесты. Кто-то разворачивает пергамент. Что-то объявляют обо мне. Гулкий голос в огромном зале. А я сплю. Скандал! Объявили обо мне, а я не могу проснуться.

— Вопиющий факт, — говорит один из них и трясет меня за плечи. — За такие штуки надо морально убивать. Сбрасывать с какой-нибудь скалы в какую-нибудь пропасть.

Не могу проснуться. Устал. Отстаньте от меня вы, греки. Рабовладельцы проклятые! Так трясти усталого человека.

— Нахал ты все-таки, Витька! — говорит мне грек с грузинским акцентом.

Надо мной стоит Табидзе. Шикарно одет. Щеки сизые от жестокого бритья.

— Царствие небесное ты так проспишь, душа любезный, — говорит он.

Я смотрю на него и некоторое время ничего не могу понять. Табидзе общедоступно поясняет мне, что через полчаса начинается сессия, на которой будет слушаться мой доклад, что он пришел оказать мне моральную поддержку (по поручению комитета ВЛКСМ), но он не думал, что ему придется выводить меня из ступорозного состояния.

Научная сессия для любого института — это праздник. Перед началом все в черных костюмах гуляют в вестибюле. Функционирует великолепный буфет. Коридор радиофицирован, так как мест в зале не хватает. Кроме наших сотрудников здесь полно гостей.

Неожиданно носом к носу сталкиваюсь с Дюлой Шимоди, своим однокурсником. Он приехал из Будапешта вместе с женой, Верой Стрельцовой. Было очень забавно встретить их здесь в качестве иностранных гостей.

И вот, когда звонит звонок, меня начинает мутить от страха, и, вместо того чтобы идти в зал, я бегу в буфет. Один за другим съедаю пять бутербродов с красной икрой и выпиваю три стакана кофе. Слушаю по радио, как шеф открывает сессию, и торжественные речи разных уважаемых особ. Есть уже не могу. Выхожу из буфета, медленно поднимаюсь по лестнице. Сегодня ее покрыли красным ковром. Читаю стенгазету «В космос!». Она висит еще с майских праздников, и в ней карикатура на меня. По доводу моего увлечения пинг-понгом. Очень похоже, но надоело.

В коридоре сидят и стоят люди в черных пиджаках. Я иду по коридору тоже весь в черном. Белый платочек в нагрудном кармане. Меня можно снимать в кино. Захожу в туалет. И здесь слышны речи. Почему-то шипит озонатор. По-моему, он не должен шипеть. А может, так ему и полагается шипеть? Надо выкурить сигарету. Теперь долго не покуришь. Можно и две. У меня оказывается только одна. Вынимаю монетку. Может быть, подбросить? Поздно. Я сделал это два месяца назад. Но та монета так и лежит под холодильником, и я не знаю, как она упала: орлом или решкой? Я выхожу из туалета и протискиваюсь в зал.

На трибуне Дубль-ве. Почему-то я сразу успокаиваюсь, глядя на него. Я вспоминаю третий курс. Он тогда был доцентом и читал нам лекции по патофизиологии. Очень хорошие лекции, по ним было легко го-

товиться к экзаменам. Я вспоминаю, как один парень его спросил относительно кибернетики в медицине. Дубль-ве не растерялся и сказал, что кибернетика — это лженаука и мы должны ее презреть. Рассказал пару анекдотов из «Крокодила» насчет кибернетики. Мы были рады и смеялись. А сейчас Дубль-ве у нас главный дока по кибернетике.

Дубль-ве в очень строгих академических тонах расписывает великие деяния своего отдела. Называет имена особо выдающихся сотрудников. Разумеется, и Бориса. Он действительно очень толковый, мой бывший друг Боря. Дубль-ве рассказывает о диссертациях своих птенцов. Это его любимый конек. Потом он очень академично начинает превозносить нашего шефа. Говорит, что под его личным руководством отдел идет к стоящей перед всеми нами цели. И наконец он говорит кое-что обо мне:

— Товарищи, все сотрудники нашего отдела ясно представляют себе эту цель и уверены в правильности пути, по которому мы к ней идем. В этой связи мне хотелось бы сказать о некоторых молодых и очень, подчеркиваю, очень талантливых ученых, которые, попав в плен модных концепций, вообразили себя новаторами. Вольно или невольно, но эти лица расшатывают основы нашей программы и сами сбивают себя с единственного истинного научного пути.

Он сходит с трибуны и занимает свое место в президиуме. Пожимает руку какому-то вновь прибывшему начальнику, закидывает ногу на ногу. Я смотрю на публику в зале. Кое-кто из посвященных тонко улыбается.

Дальше все идет чинно, благородно и на высоком научном уровне. Выступают разные люди. Временами в зале гаснет свет — показывают диапозитивы и маленькие фильмы. Временами зал начинает гудеть. Я не понимаю, из-за чего поднимается гудение, и не улавливаю смысла докладов и фильмов. Я стою в толпе черных пиджаков и слушаю стук своего сердца. Иногда заглядываю в программу. Выступает Осипова, потом Штрекель, Павлов, Иваненко, Буркало… Встает шеф.

— Сейчас выступит с докладом младший научный сотрудник института Виктор Яковлевич Денисов. Регламент — тридцать минут.

Я на трибуне. Прикован к трибуне всем на обозрение. Всегда боялся трибун. Даже в студенческой группе, когда подходила моя очередь делать политинформацию, я заикался и ощущал провал в памяти. А сейчас я на трибуне в большом зале. На меня смотрят греки со стен и с потолка. В президиуме переговариваются. Непроницаемое лицо бывшего друга Бори. Нервная улыбка Табидзе. В середине зала возле проектора кивает головой Лида. Дюла Шимоди и Вера Стрельцова, уважаемые иностранные гости, весело глядят на меня. Илюшка в дверях поднимает над головой сжатые ладони. В Голицыне волнуются родители. Шурочка все-таки опоздала. В Эстонии ничего не знает Димка. И все они глядят на меня. Я на трибуне. Я читаю свой доклад, не понимая его смысла. Я мог бы произнести его наизусть, как стихотворение «Поздняя осень. Грачи улетели». Я знаю, в каких местах надо повысить голос и где секунду помолчать, я делаю все это автоматически. Гаснет свет. Световой указкой я комментирую диапозитивы и схемы. Приносят обезьян. Я показываю

Красавицу-бис и Маргариту, рассказываю, как они вели себя в камере, читаю сравнительные результаты анализов и т. д. Вдруг я страшно оживляюсь и начинаю крутиться на трибуне. Бессмысленно улыбаюсь. Вижу стол президиума и лицо шефа. Он подмигивает мне и прячет улыбку, наклоняя голову. Дубль-ве что-то пишет. Все. Я кончаю доклад, а в запасе еще пять минут. Мне нужно поклониться и уйти. Зал уже загудел. Илюшка показывает мне большой палец и накрывает его ладонью. Табидзе кивает, Лида кивает, Дюла и Вера тоже кивают. Греки вроде тоже кивают. Очертя голову, я наклоняюсь к микрофону:

— Товарищи! Я знаю, что моя работа противоречит многим солидным трудам и, может быть, даже ранит чье-то самолюбие. Но я считаю — и думаю, что со мной согласятся все, — что во имя нового мы должны научиться приносить жертвы. Новое — это риск. Ну и что? Если мы не будем рисковать, что будет с делом, которым мы занимаемся? Наше дело не терпит топтания на месте, и наш институт — это не фабрика диссертаций. (Это уж слишком.) Новое все равно пробьет себе дорогу. Так во всем. Возьмите футбол. (С ума я сошел.) Когда-то система «дубль-ве» считалась прогрессивной, но сейчас она устарела.

В зале хохот. Смеются аспиранты на балконе, Илюшка держится за живот. Лида уткнулась в колени. Табидзе закатывается.

Шеф разъяренно гремит звонком.

— Новое победит! — говорю я, чувствуя, что погиб, и схожу в зал. Идиот, последний идиот, ради дешевой остроты погубил свою работу.

После меня выступает Табидзе, и объявляется перерыв. В перерыве я не обедаю, а брожу по коридору и без конца стреляю сигаретки. Аспиранты хлопают меня по спине:

— Молодец! Здорово ты его! Будет помнить. Не те сейчас времена, чтобы так давить.

— Не те, это точно, — вяло говорю я и опять куда-то иду. Передо мной вырастает шеф.

— Идите-ка со мной, — говорит он и идет в свой кабинет. — Что это за мальчишество? Что это за пижонство? Тоже мне трибун! Что вы берете на себя? Виталий Витальевич — ученый с мировым именем…

— Подождите, Андрей Иванович, — говорю я нагло (мне уже нечего терять). — Я вас спрашиваю как коммуниста: прав я или нет? Разве можно допустить, чтобы наша наука превратилась в тихую заводь, где будут размножаться дипломированные караси?

И шеф вдруг смеется и кладет руку мне на плечо:

— Чудак ты, Витя. Вообразил себя Аникой-воином. Ту-ру-ру — трубы трубят. Против меня целое войско, а я один, зато храбрый. Погибаю, но не сдаюсь. Ладно. Ты сделал свой доклад — и все. Зачем этот жалкий пафос в конце? Ты как будто принял вызов на участие в грязной анонимной дуэли. Зачем? Твой доклад сказал сам за себя.

Шеф ходит по кабинету.

— А в общем, я рад. Четыре года назад я смотрел на тебя и тебе подобных со смутным чувством. Я не понимал вас. Чего они хотят? Только гаерничать и во всем сомневаться? Теперь я, кажется, вижу, чего вы хотите. В общем-то, того же, чего хочу и я.

В коридоре слышен звонок. Начинаются прения по докладам. Шеф говорит:

— А я сначала не понял, отчего такой хохот. Потом мне объяснили. Дубль-ве. Все-таки это возмутительно. Интересно, как меня называют в институте?

— Вас так и называют — «шеф», — говорю я, — а иногда «батя», а иногда «слон». По-разному.

— Ладно, пошли, — усмехнулся он. — Я первый выступаю в прениях.

Часть IV
КОЛХОЗНИКИ

Глава 11

Я колхозник. Нет, вы подумайте только: я стал колхозником, самым настоящим! В конторе мне начисляют трудодни, Алик и Юрка тоже колхозники. Если бы год назад нам сказали, что мы станем колхозниками, мы бы, наверное, тронулись. В «центре» ребята ругаются: «эй, деревня!», «серяк», «красный лапоть» и так далее. Я был «мальчиком из центра», а теперь я колхозник.

Я вспоминаю то время, когда наша компания стала распадаться. Юрка бурно прогрессировал в баскетболе. Алька каждый вечер торчал у Феликса Анохина, где читали стишки. Галка кривлялась в драмкружке, а я остался один и стал «мальчиком из центра». Потом мы снова сплотились во время экзаменов. А теперь я колхозник, «серяк», «красный лапоть», как говорят эти подонки. Много они понимают!

Честно говоря, я вовсе не ликую, что я сейчас колхозник-рыбак. Не могу сказать, что сбылась моя голубая мечта. Моя мечта. Что это такое? Я сам не знаю. Мама мечтала, чтобы я стал врачом. Папа почему-то твердил, что с нас хватит врачей, пусть Дима будет адвокатом. Традиционные интеллигентские мечты. Что-

бы я стал адвокатом?! И разве мечта — это выбор профессии?

Надо попробовать по порядку. Первую ночь после приезда в этот колхоз мы ночевали в палатке, а утром явились в правление. Председатель был толстый и добродушный дядька, эстонец. Мы подметили в нем одну особенность. По-русски он говорил прилично, но какими-то газетными фразами. Видимо, учил язык в основном по газетам. Я подумал, что, если все эстонцы говорят здесь на таком языке, мне придется туго. Прямо скажу, я не особенно понимаю этот язык. Русских в колхозе не меньше, чем эстонцев. Колхоз огромный. Он простирается километров на двадцать по побережью и объединяет три или четыре поселка. Промышляют в основном рыбой, овощами и молоком.

Нам дали койки в общежитии для рыбаков. Зачислили нас матросами на сейнеры, но оказалось, что наши сейнеры еще не пришли в колхоз. Их арендовали совсем недавно. Кроме этих новых сейнеров, в колхозе было еще два старых и штук пятнадцать мотоботов, но там экипажи были уже укомплектованы. Два дня мы болтались просто так, а потом нас стали использовать.

Меня направили на стройку. Не правда ли, громко звучит? Меня направили на строительство здания для фермы черно-бурых лисиц. Колхоз решил поднажиться на лисицах, и я должен был строить ферму.

В бригаде были русские и эстонцы. Бригадир, типичный эстонец в типичной эстонской шапке, показал мне, что делать, и я стал это делать. Я подавал кирпичи на ленту транспортера. Сложнейший трудовой процесс! Берешь два кирпича, кладешь их на ленту, снова берешь два кирпича и опять кладешь их на ленту. Кирпичи торжественно плывут вверх и там превраща-

ются в стену. Мы строим ферму для лисиц. Берешь два кирпича, кладешь на ленту. Берешь два кирпича, кладешь на ленту. Придумали же люди эту дьявольскую штуку — ленточный транспортер. Он не ждет. Берешь два кирпича, кладешь их на ленту. Берешь два кирпича, кладешь их на ленту. Внизу кирпичей становится все меньше, а стена чуть повыше. Для вас, лисички. Берешь два кирпича, кладешь их на ленту. Берешь два кирпича, кладешь их на ленту.

Неподалеку какой-то детина вяло ковыряет ломом старую стену. Ее надо снести, чтобы очистить место. Детина осторожен, боится падающих обломков.

После перекура я попросил бригадира поменять нас местами с тем детиной. Он предупредил, что это очень трудно — ломать такие стены, но я сказал:

— Ничего, это по мне.

Детина, видимо, очень доволен. Он берет два кирпича и кладет их на ленту, берет еще пару и кладет на ленту. И я доволен. Я бью ломом в старую стену, чертовски крепкую стену. Молочу по кирпичам и между ними. Раз, раз, два и три! Я бью в стену, стоя на месте и с разбега, как в своего векового врага. Я остервенел и бью, бью, бью. С грохотом падает и рассыпается огромный кусок стены. Подходит бригадир. Он не понимает, что со мной.

А я бью ломом в старую стену, которая никому не нужна.

Бью ломом в старую стену!

Бью ломом!

Бью!

Может быть, вот оно — бить ломом в старые стены? В те стены, в которых нет никакого смысла? Бить, бить и вставать над их прахом? Лом на плечо — и дальше,

искать по всему миру старые стены, могучие и трухлявые и никому не нужные? Лупить по ним изо всех сил? Это не то, что класть кирпичи на бесконечную ленту.

Весело в прахе и пыли с ломом шагать на плече.

Расчищать те места на земле, где стоят зыбучие старые стены.

К концу рабочего дня я сломал всю стену до основания. Я стоял на груде битого кирпича и курил. Рядом в сумерках белела новая стена. Я подумал, что завтра будет веселее класть кирпичи на ленту. Сам не понимаю почему, но так я подумал.

Наконец пришли сейнеры. Нас освободили от подсобных работ, и мы помчались на третий причал. На причале уже околачивалось много народу. Здесь был председатель колхоза, его заместитель и старший капитан колхозной флотилии старикашка Кууль. Незнакомые нам здоровенные ребята уже бродили по палубам сейнеров. На причале вертелись девчонки в комбинезонах. Две-три из них определенно заслуживали внимания. Я сказал об этом Юрке и Алику. Они согласились. Чудаки, неужели они думают, что я всю жизнь буду сохнуть по Галке? Я ведь не Пьеро какой-нибудь, я человек вполне современный.

Галдеж на причале стоял страшный. Мы присели на ящике немного в стороне от публики, закурили и стали посматривать. Море было веселое. Бугристое, холмистое, местами черное, местами зеленое. Все было в движении: тучи двигались в Финляндию, сейнеры покачивались в маслянистой воде, на мачтах текли флаги, недалеко от берега шкодничала орда чаек, старикашка Кууль бегал от сейнера к сейнеру и махал руками, девчонки то сбивались в кучу, то разбегались в разные стороны. В общем, было весело.

Мне стало так весело, как не было весело уже давно. Я очень обрадовался, потому что, когда мне весело, я обо всем забываю и не думаю о том, что еще будет когда-то.

Алик прочитал стихи Маяковского:

Идут, посвистывая,
отчаянные из отчаянных.
Сзади тюрьма.
Впереди — ни рубля…
Арабы, французы, испанцы и датчане
Лезли по трапам
Коломбова корабля.

Все-таки это очень здорово — к месту и не к месту вспоминать стихи. Я обязательно буду теперь запоминать как можно больше стихов.

Юрка сказал:

— Хорошо бы нам попасть на одну коробочку.

Так он и сказал: «коробочку». Старый морской волк Ю. Попов.

Мне стало совсем весело, когда я вдруг увидел железного товарища Баулина. Он был в синем заграничном плаще, в фуражке с крабом. Не знаю, почему мне стало еще веселее, когда я его увидел. Вообще-то я не очень люблю таких, как он, железных товарищей. Я сказал ребятам:

— Смотрите, сам адмирал Баулин.

Юрка закричал:

— Эй, Баулин! Игорь!

Баулин довольно равнодушно помахал нам рукой. Потом мы увидели, что весь генералитет смотрит на нас. Старикашка Кууль ласково поманил нас к себе. У него был такой вид, словно он хочет рассказать нам

сказку. Мы подошли. Юрка шел враскачку, засунув руки в карманы. Заместитель председателя сказал:

— Значит, это наши молодые рыбаки.

Председатель сказал:

— Товарищи молодые рыбаки, на вас возлагается задача…

Вот излагает! Не говорит, а пишет. Все как в газетах: «Председатель колхоза, кряжистый, сильный, строго, но со скрытой смешинкой посмотрел на молодых рыбаков и просто сказал:

«Товарищи молодые рыбаки, на вас возлагается задача…»

Оказалось, что на нас возлагается задача заново покрасить борта и рубку «СТБ-1788». Два других сейнера выглядели как новенькие, а «СТБ-1788» был весь обшарпан и ободран, как будто участвовал в абордажных боях. И на нас, стало быть, возлагалась задача его покрасить.

— А плавать-то мы будем? — спросил я.

Старикашка Кууль ласково покивал. Дескать, будет вам и белка, будет и свисток. Заместитель председателя крикнул:

— Баулин!

Подошел Игорь.

— Денисов, это ваш капитан. Будете плавать с ним на «СТБ-1788».

— Мне повезло, — сказал Игорь и усмехнулся.

Сколько сарказма! Боже, сколько сарказма! Он думает, что мне улыбается плавать на судне с роботом вместо капитана. У людей капитаны как капитаны — белобрысые, огромные, добродушные. Переминаются с ноги на ногу. А мне опять не повезло, на этот раз с капитаном.

Потом все командование ушло с причала. Ушли и ребята с сейнеров. Остались только мы трое да еще двое эстонских парнишек. Остались также и девчонки. Они сели на доски и стали привязывать к сетям какие-то стеклянные шары. Я подошел к девчонкам и сказал тем двум-трем заслуживающим внимания:

— Как тут у вас в клубе? Что танцуете?

Девчонки захихикали и что-то залопотали, а одна из тех двух-трех потупилась. Я ее спросил:

— Вас как зовут?

Нечего с ними церемониться. С некоторых пор я понял, что с девчонками нечего церемониться.

Она ответила:

— Ульви.

Это мне понравилось. Ульви — это звучит. Ульви Воог — есть такая чемпионка по плаванию.

— Ульви — это звучит, — сказал я, — а меня зовут просто Дима.

Я вернулся к своим ребятам и небрежно бросил:

— Подклеил одну кадришку.

Ребята сидели на ящиках и смотрели на меня, как волки-новички в зоопарке.

— Правда, ничего себе кадришка? — спросил я. — Ее зовут Ульви.

— Иди ты, Димка, знаешь куда! — пробормотал Алька и отвернулся.

— Видал? — сказал я Юрке и насмешливо кивнул на Алика.

— Да брось! — буркнул Юрка и отвернулся.

— Пошли красить! — гаркнул я.

Нет, черти, вы мне настроения не испортите. С каждой минутой мне становилось все веселее и веселее.

Мой ободранный корвет «СТБ-1788» некогда был покрашен в черный и желтый цвета, как и все эти маленькие сейнеры. Борта черные, а рубка желтая — довольно мрачный колорит. Не мог я красить борта черной краской, когда такое веселье в душе. Эстонские парнишки мазали в это время ведра яркой, как губная помада, красной краской.

Алик и Юрка сразу подхватили мою идею покрасить борта сейнера в красный цвет. Антс и Петер долго не понимали, а потом захохотали, сбегали куда-то и принесли несколько ведер красной краски. Мы стали красить сейнер. Петер трудился на причале. Юрка сидел под настилом и красил внизу до ватерлинии, а мы втроем, Антс, Алик и я, стояли в лодке с наветренной стороны и яростно малевали другой борт.

В общем, жутко весело было, и я представлял, что случится с моим железным капитаном Игорем Баулиным, когда он увидит свой красный корабль. Его хватит удар. Его переведут на инвалидность, и он будет сидеть дома и без конца писать письма в газету. А нам дадут другого капитана.

Было очень ветрено. Чайки кричали, как детский сад на прогулке. Здорово пахло йодом, какой-то гнилью и краской. «СТБ-1788» будет красным, как помидор, как платочек на голове Ульви, как губная помада у всех этих.

Может быть, красить все вот это красным? Все черное перекрашивать в красное? Ходить повсюду с ведерком и кистью и, не давая никому опомниться, все черное перекрашивать в красное?

Утром с пригорка я увидел, как покачивает мачтами мой красный сейнер, и сразу же его полюбил.

Старикашка Кууль разошелся. Он махал руками перед моим носом и кричал:

— Курат! Что ты наделаль, Денисов! Что ты наделаль! Что скажет морской регистр? Он не пустит судно в море. О, курат!

— Успокойтесь, капитан Кууль, — успокоил я его. — Не все ли равно морскому регистру — красный сейнер или черный? Все остальное ведь в порядке. Рыбу он ловить будет и красный. И может быть, даже лучше, чем все черные.

— Ты ничего не понимаешь! Мальчишка! Глюпый!

Я отошел от разъяренного Кууля. «Ты-то что понимаешь? — хотелось мне сказать ему. — Тебе лучше сказки детям рассказывать, чем командовать флотилией».

Пришел Баулин и стал дико хохотать. С ним действительно чуть удар не случился. Он стал красным, как сейнер.

— Автобус, — шептал он. — Типичный автобус.

Сейнер все-таки пришлось перекрашивать заново.

Потом нас послали в парники чинить рамы, так как еще в школе мы получили квалификацию плотников 3-го разряда.

С нами стали здороваться каменщики, рыбаки и овощеводы. Это было приятно. Мне почему-то было приятно работать в колхозе где попало: и красить, и ломать стены, и чинить парниковые рамы, и даже, черт побери, класть кирпичи на ленту транспортера. Гораздо приятней было работать в колхозе, чем в школе на уроках труда. Может быть, это потому, что здесь тебе не вкручивают день-деньской, что ты должен развивать в себе трудовые навыки.

Нестерпимыми были вечера. Алик все стучал на машинке. Юрка каждый вечер писал письма Линде. Иногда мы болтали. Так, на разные темы, как всегда. Попозже шли в клуб, смотрели старые фильмы с субтитрами на эстонском языке. После кино в клубе немного танцевали. Я тоже танцевал с Ульви. Мне скучно было танцевать, и я все уговаривал ее: пойдем погуляем. Но она не шла, и я уходил один.

Я попадал в ночь и оставался наедине сам с собой. Я мог бы остаться там, где светло, или пойте в кофик, или на берег, где все-таки видны огоньки проходящих судов, но я сознательно уходил в самые темные улицы, а из них в лес. Садился на мокрые листья в кромешной тьме. Надо мной все шумело, а вокруг слабо шуршала тишина. Я думал, что здесь меня может кто-нибудь довольно легко сожрать. Я сознательно вызывал страх, чтобы не сидеть тут в одиночестве. Страх появлялся и уходил, и меня охватывала тоска, а потом злоба, презрение и еще что-то такое, от чего приходилось отмахиваться.

Я ни о чем не вспоминал, но все равно возникала Галя. Она шла, светлая, легкая, золотистая, — мой мрак. Я думал о том, что она сейчас в Ленинграде и с ним и, наверное, останется с ним навсегда, что он, должно быть, действительно такой, как она говорила, а я ничтожество. Я думал о себе. Что же я значу? Чего я хочу? Неужели ничего не значу, неужели ничего не хочу? Неужели предел моих мечтаний — стойка бара и блеск вокруг? Игрушечный мир под нарисованными звездами? Вся моя смелость здесь? Рок-н-ролл? Чарльстон? Липси? Запах коньяка и кофе? Лимон? Сахарная пудра? Вся моя смелость… Орел или решка? Жизнь — это партия покера? А флеш-рояль у других?

Нет, черт вас возьми, корифеи, я знаю, чего я хочу. Вернее, я чувствую, что где-то во мне сидит это знание. Я до него доберусь! Когда-нибудь я до него доберусь, но когда? Может быть, в старости, годам к сорока? Я уже что-то нащупываю. Красить все красным? Бить ломом в старые кирпичи? Что-то чинить? Класть кирпичи на ленту, в конце концов? Это, но это не все. Главное прячется где-то во мне. Галя, с тобой мне было легко. С тобой я ничего не боялся и ни о чем не думал. Где ты, мой мрак, тоска моя? Легкая и золотистая… Дрянь проклятая, не попадайся мне на глаза!

Мокрые листья прилипали к штанам и рукам. Все было мокрым в этом осеннем лесу. Я был весь мокрый. Лицо мое было мокрым. Спички, к счастью, не мокрые. Я закуривал и курил десять штук, не вставая с места, одну за другой.

А с ребятами мы болтали. Так, на разные темы, как всегда. Они вроде презирали меня за то, что я приставал к Ульви. Они, оказывается, моралисты… Дорогие мои друзья! Вы спасли меня не так давно от чего-то самого страшного, то ли от трусости, то ли от ночного убийства. В общем-то, и я, наверное, моралист, иначе я не принимал бы всей этой любовной истории всерьез. Суперменом зовет меня Витька. Я супермен-моралист.

По субботам Юрка уезжал в Таллин. Он сидел из-за этих поездок без денег, и мы кормили его.

Путина началась в середине сентября. Мы вышли в море. За несколько дней до этого капитан Баулин впервые собрал свой экипаж на борту сейнера. Тогда я со всеми познакомился. Вот он, наш экипаж:

1. Капитан Баулин — железный человек со стальными челюстями и железобетонной логикой. 27 лет. Женат. Ко мне относится враждебно.

2. Помощник капитана Ильвар Валлман. Толстый, большой и курчавый. Постоянно трясется в немом смехе. Лет тридцать. Кажется, зашибает. Мы с ним поладим.

3. Механик Володя Стебельков, рыжий, румяный, веселый. Гармонь бы ему, а он все травит анекдоты. Любимое словечко — «сплошная мультипликация». Это когда что-нибудь не нравится. 26 лет. Будем дружить.

4. Моторист Петер Ломинг. Красивый малый. 20 лет. Мы с ним красили сейнер.

5. Тралмейстер Антс Вайльде. Совсем красивый малый. 23 года. Мы с ним красили сейнер.

6. Матрос Дмитрий Денисов. Это я. Правой рукой выжимаю 60.

Сейнер наш имеет 16 метров в длину, 4 в ширину. Скорость — 7 узлов. Кубрик на 6 коек, трюм, машина, рубка, гальюн.

Собрав нас на палубе, капитан Баулин сказал:

— Ребята…

Это он хорошо сказал: «Ребята». Не ожидал я, что он скажет «ребята».

— …через три дня мы выходим. Метеосводка на сентябрь хорошая. Пойдем к Западной банке, посмотрим там. Если там не густо, на следующий день пойдем к Длинному Уху. Эхолот нам так и не поставили. На 93-м поставили эхолот, но мы их все-таки постараемся обставить и без эхолота.

В общем, он говорил по существу. Потом мы спустились в кубрик и распили на шестерых две поллитровки. Кто их там припас, не знаю. Наверное, Ильвар. Я разошелся, без конца травил анекдоты. Довел Володю до того, что он стал икать. Потом мы сошли с сейнера и решили добавить. Пошли в колхозный кофик

и там добавили. В кофике были Алик и Юрка. Они сидели каждый со своей командой и, по-видимому, тоже добавляли. На Алике лица не было. Не знаю, как он будет плавать: ведь он не переносит алкоголя. А рыбаки пьют «тип-топ», как сказал мне Ильвар. Вообще было как-то забавно, что мы сидели в разных концах зала каждый со своим экипажем. Почему-то мне стало грустно из-за этого. А потом мы сдвинули столики и посидели немного все вместе, восемнадцать рыбаков с сейнеров «СТБ». Потом мы пошли в клуб и ввалились туда всей толпой — восемнадцать здоровенных рыбаков. Несколько минут мы стояли у двери, и все смотрели на нас, словно никто не узнавал. Как будто мы чем-то отличались от всех других парней, мы, восемнадцать рыбаков с сейнеров «СТБ».

В зале было светло и играла какая-то музыка. Потом какая-то музыка кончилась, поменяли пластинку, и несколько мужских голосов тихо запели: «Комсомольцы-добровольцы…» Я люблю эту песню. То есть я люблю, что ее начинают тихие мужские голоса. Если бы ее исполняли иначе, я бы, наверное, ее не любил. Терпеть не могу, когда орут, словно их распирает:

…Солнцу и ветру навстречу,
На битву и радостный труд…

Так и видишь этих холеных бодрячков в концертных костюмах. Энтузиазм их распирает, солнцу и ветру навстречу они шагают, тряся сочными телесами. Расправляют упрямые жирные плечи. Я не верю таким песням. А вот таким, как эта, верю. Чувствуется, что поют настоящие ребята. Не надо литавр, хватит с нас и гитары.

В тот вечер Ульви наконец согласилась пойти со мной погулять. Я повел ее на берег. Тучи покрывали все небо, но на горизонте была протянута широкая желтая полоса. Она освещала море. Волны перекатывались гладкие, словно какие-то юркие туши под целлофаном. Было похоже на картину Рокуэлла Кента.

Мы с Ульви сели на перевернутую лодку. Ульви попросила у меня сигарету. Ишь ты, она курит. Колени у Ульви были круглые, очень красивые. Когда она докурила, я полез к ней.

— Ты меня любишь? — спросила она чрезвычайно строго.

О, еще бы! Конечно, я ее люблю. Я ведь человек современный, люблю всех красивых девушек. В Эстонии я люблю Ульви, а попаду на Украину, полюблю Оксану, а в Грузии какую-нибудь Сулико, в Париже найду себе Жанну, в Нью-Йорке влопаюсь в Мэри, в Буэнос-Айресе приударю за Лолитой. Вкусы у меня разносторонние, я человек современный.

Сейчас я люблю Ульви, но почему-то молчу как дурак.

Она вскочила с лодки и отбежала на несколько шагов.

— А я тебя люблю! — с отчаянием крикнула она. — Почему? Не знаю. Увидела тебя и люблю. — И что-то еще по-эстонски. И побежала прочь. Я ее не догонял.

В общем, в таких вот делишках мы и проводили время в колхозе «Прожектор», когда наконец началась путина и мы вышли в море.

Мы выходили ранним утром, в сущности, еще ночью. В чернильном небе болтался желтый фонарь. Наши ребята ходили по палубе и разговаривали почему-то шепотом. И капитан отдавал приказания очень тихо:

— Петер, запускай машинку. Дима, прими швартовы.

Я принял швартовы и обмотал их вокруг кнехтов. Дальше я не знал, что делать, и стоял как истукан. А ребята тихо топали по палубе и натыкались на меня. Но не ругались.

Мимо нас прошел черный контур Юркиного «СТБ-1793». Алькин «СТБ-1780» отвалил позже нас. Капитан ушел в рубку, а я все не знал, что мне делать. Вдруг я заметил, что стою на палубе один. Я спустился в кубрик и увидел, что ребята укладываются на койки.

— Занимай, Дима, горизонтальное положение, — сказал Стебельков. Он был уже в одних кальсонах. Мне это показалось диким — спать, когда судно выходит в море, но, чтобы не выделяться, я тоже лег.

Конечно, я не спал. Я слушал стук мотора, и мне хотелось наверх. Через полтора часа надо мной закачались грязные ноги с обломанными ногтями. Качались они долго. Меня чуть не вывернуло от этого зрелища. Потом вниз сполз помощник капитана Ильвар Валлман. Он поковырялся в банке с мясными консервами, достал из-под стола бутылку, хлебнул, натянул штаны, сапоги и гаркнул:

— Подъем!

Я сразу же вскочил и полез наверх.

Было совершенно светло. Наш сейнер шел к какому-то длинному острову, на конце которого белел одинокий домик. За стеклом рубки я увидел задумчивое лицо Баулина. Он что-то насвистывал. Сейнер шел ровно. Море было спокойное, чуть-чуть рябое. Оно было серое и словно снежное. Далеко-далеко, пробивая тучи, в море упиралась тренога солнечных лучей. Я прошел на самый нос и задохнулся от ветра. Вот это воздух! Чем мы дышим там, в Москве? Я взялся за какую-то железку (я еще не знал толком, как тут все называется) и

широко расставил ноги. В лицо и на одежду попадали брызги. Слизнул одну со щеки — соленая! Я поразился, как все сбывается! Душным вечером в «Барселоне» я представил себе этот день, и вот он настал. Если бы в жизни все сбывалось, если бы все шло без неожиданностей! Впрочем, нет, скучно будет.

Быть мне просоленным. Некоторые, те, что меня за человека не считали, в один прекрасный момент посмотрят: а я просоленный.

— Эй, Дима! — заорал сзади Ильвар. — Давай!

Он сам, Антс и Володя опускали подвешенный к стреле трал. На маленьких сейнерах все, кто свободен от своих основных обязанностей, возятся с тралом. Я подключился. Это была моя основная обязанность. Мы сбросили за борт сеть и осторожно опустили стеклянные шары-кухтыли. Потом сняли и опустили в воду траловые доски. Я суетился, потому что хотел сделать больше всех. Антс и Ильвар что-то быстро-быстро говорили по-эстонски и смеялись. Надо будет взяться за эстонский, а то наговорят тут про тебя, а ты и знать не будешь.

Кухтыли удалялись от судна, как команда дружных пловцов. Стебельков включил механическую лебедку. Готово, трал опущен. Ребята опять поперлись спать. Баулин тоже спустился в кубрик. За штурвал встал Валлман. Я опять не знал, что мне делать.

Остров с белым домиком остался за кормой. Он лежал теперь сзади темным силуэтом, похожий на всплывшую подводную лодку. Слева по борту приближался другой островок. Там стоял красный осенний лес. А трава под деревьями зеленая, какая-то очень свежая. Кажется, на этом острове не было ни души. Хоро-

шо бы здесь немного пожить! Пожить здесь немного с кем-нибудь вдвоем.

Я вытащил на палубу ведро картошки и стал ее чистить. Это тоже было моей прямой обязанностью — готовить для всей кодлы обед. Сейнер шел очень медленно, с тралом он давал всего два узла. Это мне объяснил Валлман. Он вылез из рубки и разгуливал по палубе. Никогда не думал, что именно так ловят рыбу: капитан и команда спят, а рулевой разгуливает по палубе.

Наконец мы обогнули лесистый островок. Впереди было открытое море. И тут я почувствовал качку. Ничего себе, качает немного, и все. Даже приятно.

Ильвар крикнул в кубрик:

— Подъем!

Стали вылезать заспанные ребята. Появился капитан. Володя пустил лебедку. Она издавала дикие звуки. Все встали у правого борта. Я тоже встал. Я был благодарен ребятам за то, что меня никто не учит. Я очень боялся, что меня все начнут учить, особенно Игорь. Хватит уж, меня учили. Игорь влез в рубку. Судно стало делать поворот. Все смотрели в воду, я тоже смотрел. Немного кружилась голова. В бутылочного цвета глубине появились траловые доски.

— Аут! — гаркнул Антс.

— Аут! — гаркнул я.

Никто не засмеялся.

Лебедка — стоп. Дальше пошло вручную. Мы подтянули и закрепили траловые доски. Всплыли кухтыли. Мы осторожно подняли их и стали тянуть сеть.

Я очень напрягался. Я не знал, надо ли напрягаться, но на всякий случай напрягался.

Появился траловый мешок. Его прицепили к стреле и подняли в воздух. Это был сверкающий шар. Там трепетала килька. Взбесившаяся шайка чаек пикировала на трал и взмывала вверх. Пираты, романтическая банда. Она верещала и сгибала голову. Это был «мессершмитт», объединенный в одно с летчиком.

Рыбу высыпали, и она усеяла всю палубу. Мы стояли по щиколотку в кильке, а она билась вокруг. Словно серебряная трава под сильным ветром в степи. Потом мы стали укладывать кильку в открытые ящики. Надо было брать каждую рыбешку в отдельности, для того чтобы удостовериться, что это именно килька, а не салака, и не минога, и не кит, в конце концов.

Детки, там, в Москве, когда вы на октябрьские праздники полезете с вилками за килечкой, кто из вас вспомнит о рыбаках?! И не надо, не вспоминайте.

Я сварил ребятам обед — щи из консервов и гуляш с картошкой. Впятером мы сели за стол. Я очень волновался. Валлман опять вытащил бутылку, а Стебельков сказал, потирая руки:

— Дух, Дима, от твоего варева чрезвычайный.

Он проглотил первую ложку, вылупил глаза и даже посинел.

— Что такое, Володя? — спросил я. — Обжегся?

— Зараза ты, — ласково сказал он и стал есть.

Ребята-эстонцы после первых глотков засмеялись, а Антс хлопнул меня по спине и сказал:

— Силен.

— Что такое, ребята? — спросил я. — Соли, что ли, мало?

— Кто она? В кого ты влюбился?

Я попробовал щи и тоже поперхнулся. Пересолил. Ребята все-таки подчистили свои тарелки. Они пили

водку, и вскоре им стало все равно, много соли или мало. Может быть, поэтому они сказали, что гуляш вполне сносный. Но я не стал есть щи, не притронулся к гуляшу и даже боялся взглянуть на водку. Случилось то, чего я больше всего боялся, — меня мутило. Снизу что-то напирало, а потом проваливалось. Рот у меня был полон слюны. Вонючий пар от щей, запах водки, красные лица ребят… Потом они еще закурили.

— Отнеси гуляша капитану, — сказал Стебельков.

Я схватил тарелку и бросился вверх по трапу. Увидел над собой небо, перечеркнутое антенной. Мачта падала вбок, потом остановилась и полезла обратно. Мелькнула бесстрастная физиономия Баулина. Он смотрел на меня. Я сделал шаг по палубе и понял, что это произойдет сейчас. Бросился бегом, сунул тарелку в рубку и сразу же к борту. Меня вырвало.

Я травил за борт, и меня всего трясло. Меня выворачивало черт знает как. Потом стало холодно и очень легко, как после болезни. Я лежал животом на борту и представлял себе, как усмехнется Баулин, когда я обернусь. А черт с ним, в конце концов. Я выпрямился и обернулся. Дверь рубки была открыта и моталась из стороны в сторону. Баулин ел гуляш, придерживая штурвал локтем.

— Готово, Дима? — спросил он. — Иди сюда, подержи колесо.

Я влез в рубку и взял штурвал.

— Гуляш вполне сносный, — сказал Баулин.

Целый час до подъема трала мы стояли вместе в рубке. Он мне объяснил, что тут к чему, познакомил с компасом, кренометром, показателем давления масла, барометром, туманным горном. Потом он развернул карту и указал, где мы находимся. Это оказалось

так близко от берега, что я даже заскучал. Что со мной будет в открытом море?

Мы шли вдоль Западной банки.

— Тут везде мель, — сказал Игорь, — нужен глаз да глаз. Видишь, веха в воде? Рюмка книзу — обходим к зюйду, рюмка кверху — обходим к норду.

Так мы с ним стояли и трепались целый час на разные морские темы. Я понимал, что он оказывает мне моральную поддержку. Ведь это его обязанность как капитана — оказывать членам своего экипажа моральную поддержку. Но надо сказать, он здорово умел это делать.

Так мы и ловили рыбку весь день. Поднимали трал и снова опускали. Перебирали кильку и складывали ее в ящики. Я поливал из шланга и драил палубу. Устал как черт. К вечеру меня опять стошнило.

В сумерках мы повернули назад. Игорь включил рацию, поговорил по-эстонски с колхозом, потом вызвал 80-й. Редер сказал, что улов у них хреновый — килограммов 400. У нас было от силы 350. Игорь помрачнел и шепнул мне:

— Завтра пойдем к Длинному Уху.

И вдруг я услышал голос Алика.

— Димка! — орал он. — Как ты там? Прием.

— Тип-топ, — сказал я в микрофон.

— Я просто в восторге! — кричал Алька. — У нас отличные парни. А у вас?

— Поговорим дома, — сказал я.

Забавно, Алька прокричал мне привет через несколько километров темного моря. Мне стало очень хорошо. Я люблю Альку. И Юрку люблю. Ведь мы друзья с тех пор, как себя помним. Но Альке я еще благода-

рен за многое. Например, за то, что он вечно бубнит стихи. Или вот он научил меня понимать абстрактную живопись.

— Понимаешь, — сказал он, — поймет тот, кто откажется понимать. Понимаешь?

— Отказываюсь понимать, — буркнул я, разглядывая черный круг, заляпанный синими и красными каплями.

— Прекрасно! Ты все понял! — весело крикнул Алька и побежал к Феликсу Анохину, который в это время наседал на какого-то солидного дядьку. Они оба взяли дядьку под руки и куда-то увели, а потом пришли сияющие. — Еще одного лишили невинности.

Это было прошлой зимой на выставке в Манеже.

Я люблю Альку за то, что он взъелся тогда на меня из-за глаз этой Боярчук, а сейчас презирает за приставание к Ульви, за то, что он бородат и очкаст, за то, что он тогда ночью молчал и сейчас ни слова не говорит о Гале, за то, что мы вместе голодали и таскали шкафы. И Юрку я люблю за то же и еще за то, что мы с ним играли в первой школьной команде.

— Давай, 93-й вызовем? — предложил я Игорю.

— Ну их к черту с их эхолотом, — мрачно ответил Игорь.

Тесемочка слабых огней обозначила берег.

Вот так мы каждое утро выходили в море и каждый вечер возвращались в колхоз. Берег мы видели только в темноте.

Я привык. Меня больше не мутило, и я не пересаливал щи. Я привык к грязным лапам Ильвара. У меня установился превосходный аппетит.

Мои шикарные джинсы превратились черт знает во что. Утром мне было холодно даже в обоих свитерах и куртке. Однажды Игорь принес мне робу, резиновые сапоги, телогрейку и берет. Проявил заботу. Это его обязанность — проявлять заботу о подчиненных. Теперь я настоящий эстонский рыбак.

В клубе каждый вечер поет хор. У каждого народа свои причуды: у эстонцев — хоровое пение. Мы записались в хор, чтобы не выделяться.

В конце концов мы обогнали 93-й. У Игоря, наверное, где-то в печенке свой эхолот. Так я стал передовиком производства. Передовой колхозник.

Юрку бьет море. Он стал бледный и тощий. Каждую субботу уезжает в Таллин. Каждый понедельник я снова вижу его на причале. Привозит нам сигареты с фильтром.

Алик стал получать письма из Москвы. Однажды я увидел обратный адрес: Л. Боярчук. Ясно. О прекрасная Боярчук, твои глаза, твои глаза!.. Я оценил их прелесть. Забавно, что ребята не рассказывают мне про свои амурные дела. Как будто боятся, что мне станет горько оттого, что их девчонки не изменяют им с актерами. А я им все рассказываю об Ульви. Даже немного больше, чем есть на самом деле.

Я по-прежнему хожу в лес один. Все меньше листьев, все лучше видно небо. Когда я закрываю глаза, я вижу только кильку, кильку. Я очень рад, что вижу по ночам только кильку.

Папа, ты ведь любишь кильку. Таллинскую кильку пряного посола. Вот тебе на здоровье 600 килограммов. Детки, скоро праздник. Покупайте кильку. Лучший спутник обеда — килька.

Я выучил кое-что по-эстонски. Кое-какие выкрики и несколько слов для Ульви.

— Скажи, капитан, — спросил я однажды Игоря, — зачем ты нам тогда назвал свой колхоз? Хочешь посмотреть, как мы станем перековываться?

Игорь захохотал смущенно.

— Хочешь посмотреть, как мы станем честными трудягами?

— Чудак ты, Димка, — сказал Игорь.

Было собрание, председатель делал доклад. Тошно было слушать, как он бубнил: «на основе внедрения», «взяв на себя обязательства» и т. д. Не знаю почему, но все эти выражения отскакивают от меня, как от стенки. Я даже смысла не улавливаю, когда так говорят. Но потом он заговорил, как обычный человек. Он сказал, что надо ловить больше рыбы. От этого зависит доход колхоза. Если доход увеличится в достаточной степени, колхоз сможет на следующий год арендовать большой сейнер для выхода в Атлантику.

— Товарищи, наш колхоз выйдет в Атлантику! — сказал он, как мне показалось, с волнением.

Вот это я понимаю.

На шоссе в лужах плывут облака. Я вспомнил тот день, когда влюбился в Галку. Она думает, что я влюбился в нее на школьном смотре, когда она кривлялась в какой-то дурацкой роли. Пусть она так думает, черт с ней. Мне теперь все равно, что она думает. А влюбился

я в нее весной. Я был один. На бульваре в лужах плыли облака. Я увидел это, словно первый раз в жизни, и понял, что влюбился.

Снова было собрание. За столом сидел какой-то деятель. Председатель предложил соревноваться за звание бригад коммунистического труда, то есть экипажей коммунистического труда. Мы все проголосовали «за».

Игорь поймал немецкий джаз. Нас дико болтало, и дождь хлестал по стеклу, а где-то в чистой и теплой студии какой-то кот слащаво гнусавил «Майне либе ауген». Я ненавидел эти мещанские подделки под джаз. Игорь сплюнул и поймал трансляцию из Ленинградской филармонии. Мы шли в темноте, и волны нас подбрасывали под звуки симфонии Прокофьева.

Из кубрика доносилась песня «Тишина». А потом другая песня — «Ландыши». Это Стебельков учил Ильвара.

Как-то за обедом, когда Володя вытащил бутылку и стал всем разливать, я сказал:

— Люди будущего!.. Ребята, мы с вами люди коммунизма. Неужели вы думаете, что сквозь призму этой бутылочки перед нами открывается сияющее будущее?

— А что ты думаешь, в коммунизме херувимчики будут жить? — спросил Игорь. — Рыбаки и в коммунизме выпивать будут.

— Ребята, — сказал я, — вы мне все очень нравитесь, но неужели вы думаете, что мы с вами приспособлены для коммунизма?

В кубрике стало тихо-тихо.

— Оригинильный ты уникум, — сердито сказал Стебельков.

— Подожди, Володя, — сказал Игорь. — Ты про наше соревнование, что ли? — спросил он меня.

— Да.

— Разве мы плохо работаем? — проговорил Антс.

— Оригинальный ты уникум, Димка! — закричал Володя. — Ты что думаешь, если мы пьем и матюкаемся?.. Рыбаки всегда… Это традиция… Ты на нас смотри с точки зрения труда.

— Да разве только труд? — закричал я в ответ. — Трудились люди во все века, и, по-моему, неплохо. Лошадь тоже трудится, трактор тоже работает. Надо думать о том, что у тебя внутри! А что у нас внутри? Полно всякой дряни. Взять хотя бы нашу инертность. Это черт знает что. Предложили нам соревноваться за звание экипажей комтруда, мы голосуем, и все. Составили план совместных экскурсий. И материмся по-прежнему, кубрик весь захаркали, водку хлещем. Меня страшно возмущает, когда люди голосуют, ни о чем не думая.

В кубрике опять стало тихо-тихо. Не знаю, зачем я затеял этот разговор, но меня страшно возмущает, когда люди на собраниях поднимают руки, а сами думают совсем о другом в этот момент. Что мы, роботы какие-нибудь, что ли? Игорь взял бутылку и вылез на палубу. Вернулся он без бутылки.

— Еще один шаг к коммунизму, — бодро сказал я.

— А иди ты! — заорал Игорь. — Надоел ты мне по зеленые лампочки со своими сомнениями.

— Зря ты бутылку выбросил, я бы сейчас хлебнул, — сказал я нарочно, чтобы он еще больше взбесился.

Все это я вспоминаю сейчас, лежа на своей койке в кубрике. Качается лампочка в проволочной сетке, храпят ребята. Мы же лежим в нижнем белье. Мокрая роба навалена на палубе. Мы возвращаемся из экспедиционного лова. Пять дней мы тралили в открытом море за Синим островом. Мы страшно измотались. Синоптики наврали. Все пять дней хлестал дождь, и волнение было не меньше пяти баллов. Я понял теперь, почем фунт кильки. Я так устал, что даже не могу спать. Я лежу на своей койке, и мысли у меня скачут как сумасшедшие. Я член рыболовецкой артели «Прожектор».

Глава 12

Нас встречают, мы видим толпу на причале.
Нас встречает почти весь колхоз, как будто мы эскадра Колумба, возвращающаяся из Нового Света. На причале весь генералитет, и те, кому делать нечего, и жены наших ребят, а для меня там есть Ульви. Мы стоим в мокрой одежде вдоль правого борта и смотрим на берег. За эти пять дней на берегу облетели почти все листья.

Ребята целуют своих жен. Хорошо бы и мне сейчас кого-нибудь поцеловать, но Ульви кивает мне издалека. Чудачка, влюбилась в меня. Что она нашла во мне такого? Не буду я к ней больше приставать. Пусть найдет себе стоящего парня, который будет думать только о ней.

Мы разгружаем сейнер, поглядывая, как разгружаются 93-й и 80-й. Кажется, мы опять их обставили. Нам просто везет.

У Игоря красивая жена. Они так счастливы, что больно на них смотреть. Впрочем, ему двадцать семь лет, а мне семнадцать!

— Заходите вечером, ребята, — говорит Игорь.

Это, значит, у него такая программа, чтобы мы были всегда вместе, как экипаж коммунистического труда.

— Заходите, пожалуйста, — крайне любезно приглашает нас его жена.

— Угу, зайдем, — отвечаем мы.

Если мы когда-нибудь к нему и зайдем, то только не сегодня вечером. Скорее всего, зайдем к нему завтра утром, перед отъездом на экскурсию. Завтра мы едем на экскурсию в Таллин.

Мы идем втроем с причала — Алик, Юрка и я. Хорошо бы нам сфотографироваться вот так втроем в резиновых сапогах и беретах. У меня бородка уже почти такая же, как у Альки. У Юрки слабоватая бородка. Юрка еле переставляет ноги.

— Не могу, пацаны, — говорит он. — Море бьет. Вот уж никогда не думал, что так будет.

— Может, еще привыкнешь, — успокаиваю я его, но он машет рукой. А Альке все нипочем, он обнимает нас за плечи.

— Мальчики, я стихи сочинил про Синий остров.

Синий остров —
Это остов Корабля.
Очень просто —
Ребра, кости,
Нет угля.
На норд-осте
Виден остов
Корабля.
Мы к вам в гости.
Эй, подбросьте
Нам угля.

— Деградируешь, Алька, — говорю я сердито. Мне его стихи когда-то помогли, но Юрке сейчас вряд ли это нравится.

— Правда, бред? — весело спрашивает Алька. — Но тут главное — ритм.

— А какие, к черту, кости? И зачем уголь на дизеле?

Мы идем в гору, к нашему общежитию. С горы кто-то бежит. Какой-то «цивильный» человек в коротком пальто, в белой рубашке с галстуком. И вдруг я узнаю его. Это мой старший брат Виктор.

Иметь старшего брата — это в общем очень здорово. Если тебе десять лет и на тебя оттягивает шпана из дома № 8, ты смело вступаешь в бой, зная, что у тебя есть старший брат. Старший брат учит тебя плавать. Вечером ты смотришь, как он куда-то собирается, как он завязывает галстук и разговаривает по телефону, и мотаешь себе на ус. Вдруг он начинает делать успехи в спорте, играет в команде мастеров, и на улице пацаны говорят про тебя: «Это братан того самого». Он почти не замечает тебя и не знает, что твоя жизнь — это наполовину отсвет его жизни. Но иногда он спрашивает тебя: «Как дела, парень?» И ты выкладываешь ему то, что тебя волнует, вроде как просишь совета.

«Понимаешь, есть у нас в классе такой Гогочка, любимчик Ольги. Капает он на всех. Вчера перед контрольной по русскому Юрка натер ему тетрадку свечой. Мы все со смеху умирали, когда он сел за парту. Пишет, а перо скользит по бумаге, и ничего не получается. Реветь начал. Смеху было! Вместо контрольной устроили классное собрание. Завуч пришел, спрашивает, кто сделал. Молчим. А завуч говорит, что мы трусы, напрасно думаем, что выручаем своего друга, настоящий друг тот, кто смело расскажет все преподавате-

лю и этим окажет нарушителю дружескую услугу. Дали нам день на размышление. Мама говорит, что завуч прав, а ты как считаешь?»

И старший брат говорит тебе, что это будет не дружба, а предательство, а потом начинает хохотать и рассказывает аналогичный случай из своей практики. Нет, иметь старшего брата — это просто здорово! Я всегда жалел ребят, у которых нет старших братьев. Одно только неприятно, что тебе перешивают его старые вещи. Никогда тебе не сошьют нового. Вечно приходится таскать обноски старшего брата. С этим еще можно мириться, но вот когда за столом тебе начинают гудеть про его успехи, так сказать, воспитывают тебя на его положительном примере, это уж противно. И так из года в год. Ты уже стал взрослым человеком, а тебе все еще гудят про твоего старшего брата, а он себе сидит с научным журналом, посмеивается. Ему-то все это до лампочки. А потом, когда ты становишься ростом с брата и тебе еще расти и расти, ты уже начинаешь на него по-другому смотреть, наступает, так сказать, переоценка ценностей. И ты видишь, что это, конечно, не твой идеал. Плевать тебе хочется на все и вся положительные примеры. Тебя уже многое не устраивает в твоем старшем брате. Это же надо — отказался от поездки на соревнования в Прагу из-за своей диссертации! Совсем бросил спорт из-за той же дурацкой диссертации! И вообще, что это за жизнь? Двадцать восемь лет человек слушается родителей. Иронически улыбается, а сам делает только то, что им хочется. И однажды ты выкладываешь брату все, что о нем думаешь. И брат поражен. Он ведь привык к твоему обожанию. А ты идешь, и все в тебе бурлит. И начинаешь откалывать одну за другой разные штучки, чтобы что-то

кому-то доказать. А когда через несколько месяцев ты снова видишь своего старшего брата, понимаешь, что нет у тебя человека ближе. И снова начинаешь жалеть ребят, у которых нет старших братьев.

— «Пятнадцать человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо, и бутылка рома», — поет Виктор, поглядывая на меня. Между прочим, я люблю, когда он меня заводит. Делаю вид, что злюсь, но на самом деле мне это приятно.

Мы идем по шоссе к автобусу. Я подровнял свою бородку и зачесал волосы на лоб. Настоящий пират. Рыбак. Дурак. Ну и что?

А Виктор выглядит сейчас, как четыре года назад, когда он только что окончил институт. Он очень элегантный и веселый, даже какой-то легкомысленный. Оказалось, что он три дня жил в нашем колхозе и ждал моего возвращения из экспедиции.

— Ну как тебе наш колхоз? — спрашиваю я. А он все поет. — Ты теперь в основном поешь? — спрашиваю я.

— Конечно, в отпуске я только пою. «А-а-а, — голосит он, — поехал на свидание парень на осле…»

— «Прелестное созданье ждал он на осле…» — подхватываю я.

И так мы доходим до остановки автобуса. Мне дали отгул на два дня, и мы едем со старшим братом в Таллин. В автобусе я его спрашиваю:

— Ты, видно, диссертацию защитил? Что-то очень веселый.

Он хохочет:

— Лопнула моя диссертация. Бум! И готово!

— Это, видно, страшно весело, когда лопается диссертация?

— Безумно смешно. До колик.

В автобусе я засыпаю и просыпаюсь через два часа, как будто специально для того, чтобы снова взглянуть на те курортные места, где мы отдыхали после экзаменов. Справа мелькают сосны, за ними стоит серое море. Слева проносятся поселки под красными черепичными крышами и лес за поселками темной стеной. Справа внизу стояла Галя, вся обтянутая платьем, а слева я брел в Меривялья с ружьем в руках. Справа мелькает аллея, ведущая к пляжу, потом кинотеатр и ресторан, а слева развалины монастыря и лес, а там, в лесу, домик Янсонса. Справа я лежал с Галей ночью на пляже и танцевал с ней в ресторане, а слева мы беседовали с призраками и жрали кукурузу. Вот яхт-клуб и полузатопленный барк в устье реки. И дальше вперед. По этой дороге мы догоняли «Волгу». Я был тогда несколько взвинчен. А теперь я спокоен, в кармане куртки у меня две тысячи, я знаю цену любви и никогда больше не попадусь на ее удочку. Я настоящий мужчина, современный человек. Я еду в автобусе со старшим братом. Качу вместе с ним на равных началах.

В городе я купил себе пальто и сразу же отдал его в мастерскую укоротить и сузить, как полагается. Потом я купил для папы типично эстонский свитер, а для мамы типично эстонский платок и брошку. Потом я повел Виктора в кафе и угостил его «Ереванским». Девочка Хелля мне очень обрадовалась, и я потрогал ее за подбородок и получил по рукам. Она кокетничала с Виктором, и ему, кажется, не хотелось отсюда уходить, но я должен был показать ему этот город, полный башен. Я протянул Хелле сотню, а сдачу, не считая, сунул в карман. Швейцару я дал на чай пятерку. На улице я взял такси.

— Я вижу, денег у тебя целая куча, — говорит Виктор.

— Пока не жалуюсь, — отвечаю я. — Рыбка ловится, — говорю. — Деньжат, хе-хе, хватает, — усмехаюсь.

— Так что же вы тогда торчите в этом колхозе? — спрашивает Виктор. — Вы же хотели там только денег подзаработать и двинуться дальше.

— Видишь ли, нам там пока нравится. Как надоест, так и уйдем. Ну и… путина сейчас в самом разгаре, и мы должны окончательно обставить 93-й. Мы, понимаешь ли, соревнуемся…

— Что-о? Вы, значит, соревнуетесь?

— Ну да. Кто кого, понимаешь? Довольно увлекательно.

Я не рассказываю ему, за какое звание мы соревнуемся. Как-нибудь потом, когда получим это звание, я ему расскажу.

— И долго ты собираешься тут пробыть? — спрашивает Виктор.

— Не знаю, — говорю, — понимаешь, может быть, колхозу удастся арендовать на следующий год большой сейнер. Для выхода в Атлантику, понимаешь?

Потом мы смотрели с Вышгорода на город. Таллин был весь рыжий. Над рвами среди черных мокрых ветвей висели рыжие листья. Мы спускались в темные улочки. Я водил Виктора по городу так, как когда-то нас водила по нему Линда. Потом мы спустились в кафе «Старый Тоомас». Двадцать три ступеньки под землю. Виктор сказал, что это не что иное, как великолепное бомбоубежище, и что здесь он готов пересидеть все бури эпохи, а когда летающие тарелочки все-таки опустятся на землю, он встретит марсиан на пороге кафе «Старый Тоомас». Только пусть они поторопятся,

иначе здесь не хватит напитков, потому что у него чудесное в этом отношении настроение.

Как все эстонцы вокруг, мы заказали кофе и ликер «Валга».

— Вот так вот и живем, — говорю я.

— Красиво живете, — вздыхает Виктор.

— А ты как там?

— Все то же. Серые будни.

— Творческие будни, полные пафоса созидания?

— Они самые.

С потолка свисали модернистские абажурчики с круглыми дырочками. Потолок был весь в круглых пятнышках света. Вокруг тихо разговаривали. Пахло крепким кофе и табаком. Я чувствовал, что Виктор ко мне присматривается. «Ну ладно», — подумал я.

— Ну ладно, — говорит Виктор, — пойдем, что ли?

— Пойдем.

Мы зашли в мастерскую. Пальто было уже готово. Я надел его и так же, как Виктор, поднял воротник.

— Извини меня, старик, — говорит Виктор, — мне хочется поговорить с тобой на серьезные темы. Ты ведь знаешь, какой я: как выпью, сразу тянет к серьезным темам.

— Валяй, — ободряю я его.

— Чего ты хочешь? — спрашивает Виктор. — Погоди, погоди. Я не спрашиваю тебя, кем ты хочешь стать. Этого ты можешь еще не знать. Но чего ты хочешь? Это ты все-таки должен знать. Я вот смотрю на всех вас и думаю: вы больны — это ясно. Вы больны болезнями, типичными для юношей всех эпох. Но что-то в вас есть особенное, такое, чего не было даже у нас, хотя разница — какой-нибудь десяток лет. Я чувствую это «особенное», но не могу сформулировать. Не думай, старик,

что я тебе собираюсь мораль читать. Мне просто самому хочется разобраться.

Виктор бросает сигарету, берет другую. Щелкает пальцами. Смотрит в небо и под ноги.

— Это хорошая особенность, она есть и во мне, но я должен за нее бороться сам с собой, не щадя шкуры, а у тебя это совершенно естественно. Ты и не мыслишь иначе.

— Да о чем ты?

— Не знаю.

— Вечно ты темнишь, Виктор!

Вечно он темнит, и все становится таким сложным, что голова начинает болеть. Что же во мне такого особенного? И чего я хочу? А под этим кроется: и для чего я живу? И дальше: смотришь на город, на суету и разные фокусы цивилизации — а для чего все это? Так бывает, когда втемяшится тебе в голову какое-нибудь слово. Любое, ну, скажем, «живот». И ты все думаешь: а почему именно живот? Ну, почему, почему, почему? Обычно ты его произносишь, как тысячи других, ничего не замечая, но вдруг — стоп! — застрянет в мозгах и стучит: почему, почему?

Чего я хочу? Если бы я сам знал. Узнаю когда-нибудь. А сейчас дайте мне спокойно ловить рыбку. Дайте мне почувствовать себя сильным и грубым. Дайте мне стоять в рубке над темным морем и слушать симфонию. И пусть брызги летят в лицо. Дайте мне все это переварить. Поругаться с капитаном, поржать с ребятами. Не задавайте мне таких вопросов. Я хочу, чтобы кожа на моих руках стала от троса такой, как подошва ваших ботинок. Я хочу, засыпая, видеть только кильку, кильку, кильку. Я хочу, хочу… Хочу окончательно об-

ставить 93-й. По всем статьям. И хочу на следующий год выйти в Атлантику.

Виктор что-то бубнит о смелости, о риске, про «орла и решку», что он, в конечном счете, за это, но только во имя чего? А Борька, мол, все-таки в чем-то прав относительно нас.

Я начинаю злиться.

— Знаешь, чего я хочу? — говорю я. — Хочу жениться на одной нашей девчонке, на Ульви. Колхоз нам построит дом, такой симпатичный, типично эстонский дом. Купим корову, телевизор и мотоцикл. Я поступлю на заочный в рыбный институт. Напишу диссертацию о кильке. Или роман из жизни кильки. Я буду научно смелым, как ты.

Виктор смеется и хлопает меня по спине. Кажется, он обиделся. Серьезного разговора у нас не получается.

— Ну, а ты-то знаешь, чего ты хочешь? — спрашиваю я.

Он останавливается как вкопанный и смотрит на меня. Говорит тихо:

— Да. Кажется, знаю.

Мы идем теперь по улице Виру. Ее запирает огромный черный силуэт устремленной в зеленое небо ратуши. «Старый Тоомас» повернут лицом к нам. Он держит свой флаг по ветру. Виктор смотрит куда-то туда и говорит уже совершенно непонятно что-то насчет звезд. Удивительно, как его развезло…

Неожиданно мы заходим в драматический театр. Там идет какая-то пьеса из жизни актеров. В антракте в фойе мы вдруг видим Юрку с Линдой. Они прогуливаются под руку и никого не замечают. Я толкаю Юрку.

— Лажовый спектакль, — говорит он. Линда наступает ему на ногу, и он поправляется: — Не производит впечатления этот спектакль.

Вот так и гибнут лучшие люди.

После театра мы идем в ресторан. Весь вечер танцуем по очереди с Линдой. Юрка танцует подчеркнуто равнодушно, словно это не его девочка. Еще недавно все танцевали по очереди с Галей, а я танцевал с ней подчеркнуто равнодушно.

После ресторана мы идем с Виктором в гостиницу. На улицах гогочут матросы-«загранщики» и наш брат рыбак. Шмыгают такси.

— Ты знаешь, — говорит Виктор, — я ведь женился.

Вот тебе раз, он женился. И молчал. Наверное, он женился на той блондиночке. Она мне всегда нравилась.

— Да, на ней, — говорит Виктор. — Так что у тебя теперь есть сестра.

Я согласен на сестру.

— Больше того, у тебя есть шанс стать дядей.

Я согласен и на это. Я обнимаю брата.

Мы приходим в гостиницу. Я еще никогда не жил в гостиницах. Мне здесь все очень нравится. В номере я захватываю Виктора на двойной нельсон, но он уходит. Черта с два его положишь, такую массу.

— Так Галя, говоришь, сейчас в Ленинграде?

— Да.

— Поступила она в институт?

— Наверное.

— Где же она там живет?

— Черт ее знает.

— Может быть, ей дали общежитие?

— Откуда я знаю? — злюсь я, ложусь в постель и — из-под одеяла: — У нее там вроде есть тетка.

Может быть, она действительно живет у тетки?

Виктор гасит свет. Улица отпечатывается на стенах.

— У тебя ведь, кажется, что-то с ней было? — осторожно спрашивает он.

— Это тебе только кажется.

— А я уверен, что ты был в нее влюблен.

— Хватит об этом, — резко говорю я и сажусь в постели. И Виктор тоже садится. Он берет с тумбочки пачку сигарет, предлагает мне и сам закуривает. И вдруг я начинаю рассказывать ему обо всем. Выкладываю все. Голос у меня иногда начинает дрожать, и я боюсь, что он начнет сейчас сочувствовать и давать советы. Но он только слушает и курит. А когда я кончаю, говорит:

— Ладно, давай спать, братишка.

Я долго еще лежу в темноте, смотрю в окно на башню кирхи, на стены и на Виктора, который притворяется спящим.

Хорошо иметь брата, и заиметь сестру, и получить шанс стать дядей.

Утром, слегка побоксировав, мы принимаем душ и спускаемся вниз в кафе. Берем омлет с ветчиной. Утром в кафе тишь да благодать. Все читают газеты. Виктор тоже читает.

— Ну, что там нового? — спрашиваю с полным ртом. — Фидель толкнул речугу в ООН?

— М-м-м, — отвечает Виктор.

— Как ты думаешь, полезут янки на Кубу? — спрашиваю я.

— А что, ты хочешь добровольцем записаться?

— Не прочь. — Я поглаживаю свою бородку. — По-моему, я уже готов.

Виктор предлагает поехать на стадион, там сегодня матч по мотоболу. Я согласен целиком и полностью.

Мы выходим в вестибюль, я покупаю польский журнал, а Виктор отдает администраторше ключи от номера.

— Вам телеграмма, товарищ Денисов.

Виктор распечатывает телеграмму.

— От кого это? — спрашиваю я, разглядывая красоток в польском журнале.

Виктор не отвечает. Он стоит спиной ко мне и читает плакат «Аэрофлота».

— Что такое? — Я подхожу к нему.

— Отменяется стадион.

— Что случилось? — тихо спрашиваю я, у меня сжимается сердце. — С мамой что-нибудь?

— Да нет. Это с работы. Вызывают меня.

— Куда?

— Оказывается, у нас изменился график. Я должен лететь. У нас начинаются полевые испытания.

— Испытания чего? — глупо спрашиваю я.

Виктор вынимает деньги и расплачивается за номер.

— Как чего? — бормочет он. — Автомобилей, мотоциклов, пароходов, самолетов.

— Так куда ты сейчас летишь?

— Сейчас в Москву, а потом дальше.

— Далеко дальше-то?

— Далеко! — восклицает Виктор. — В Крым, на Кавказ, в Сочи, Сухуми…

— Ах да, — говорю я едко, — ведь ты же у нас засекреченный товарищ.

Я ужасно расстроен. Мне очень хотелось пойти с Виктором на стадион, а потом в филармонию, где будут на концерте все наши ребята.

Виктор бежит к лифту. Вместо стадиона мы едем на аэродром. В такси я немного подтруниваю над ним,

но он молчит и как-то отчужденно улыбается. Сейчас мы едем с ним в такси на каких-то неравных началах.

— Вот черт, вот я и отдохнул! — говорит Виктор на аэродроме.

— Обязательно сегодня лететь? — спрашиваю я. — Может быть, можно завтра?

Виктор молчит и смотрит вдаль. Аэродром ревет, как зверинец во время кормежки. Над ним висит желтое облако. Иногда оттуда, словно какие-то болотные черти, возникают и, растопырившись, идут на посадку пузатые самолеты. Один такой «Ил-14» стоит недалеко от здания аэропорта. Под крылом у него бензовоз.

— Подожди до завтра. Сходим на стадион. Хочешь, я сдам билет?

Виктор молчит. Над головой у нас гудит динамик. Металлический голос произносит:

— Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Проверка.

— Ну, давай решай. Сегодня или завтра? Хочешь, монетку подброшу?

Бензовоз отъезжает из-под крыла самолета. Винты самолета начинают медленно вращаться. К самолету подъезжает лесенка. Я вынимаю монетку, но Виктор берет меня за руку:

— Нет, старик, эти штуки тут не пройдут. Давай прощаться и лобызаться.

Мы обнимаемся.

— Скажи там папе, маме… — говорю я.

— Скажу, — говорит он. — Пиши им, старик, — говорит он.

— Обязательно, — говорю я.

— Вот я и отдохнул, — говорит он. — Жаль, что так получилось, — говорит он.

— Ладно, старик, — говорит он. — Держи хвост пистолетом, — говорит он.

Он проходит через турникет и присоединяется к группе пассажиров. Оборачивается и машет рукой. Блондин в сером коротком пальто, в белой рубашке с галстуком, с венгерским чемоданом в правой руке — это мой брат. Они все идут к самолету. Впереди, точно заведенная, вышагивает девчонка в синем костюмчике и пилотке. Скрываются один за другим в брюхе самолета. И Виктор там скрывается. Отвозят лесенку. Винты — все быстрей и быстрей сливаются в белые круги. Страшный рев. Самолет поехал. Он едет по лужам и отражается в них своим холодным желтым телом. Поворачивается хвостом и удаляется, покачиваясь. Где-то очень далеко останавливается. Сюда доносится рев. Самолет стартует и уходит, растворяясь в небе. Он летит куда-то не туда, куда, как мне казалось, надо лететь для того, чтобы попасть в Москву. А может быть, у меня все перепуталось?

— Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Проверка.

Хоть бы песенку какую-нибудь пустили вместо этой проверки, какую-нибудь самбу.

Я иду через здание аэропорта к автобусу.

Нужна какая-то музыка. Пустили бы тихо «Комсомольцы-добровольцы…». Ревет за спиной аэродром. Безумное гнездо металла.

— Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Проверка.

По городу идет экскурсия и прямо светится, такая чистенькая. Ребята идут вместе с женами. Жена Игоря — модница. Увидев меня, все на меня набрасываются. И мне становится чертовски приятно, как будто

бы Виктор не совсем улетел, как будто бы он частично остался в лице всей нашей кодлы.

Оказывается, они уже посетили выставку графики и сейчас направляются обедать. В столовой очень культурно. Обслуживание прекрасное. Ильвар и Володя с тоской смотрят на капитана.

Игорь, как ни в чем не бывало, заказывает несколько бутылочек. Правильно, мы ведь вам не херувимчики какие-нибудь.

Потом мы идем в концерт. Слушаем там скрипки, виолончель, пение. Ильвар засыпает, Володя в антракте спрятался за колонной в буфете. В общем, экскурсия в Таллин проходит на должном уровне. Возвращаемся в колхоз поздно ночью.

Утром выходим в обычный рейс к Западной банке.

Все как обычно. Килька, салака. Свора чаек за кормой. Я сижу на корме на бухте троса, привалившись к кожуху. Здесь тепло. Мне как-то очень тихо сегодня, и очень обычно, и немного тошно. Не хочется ни о чем думать, а думаю я о том, что Витька, наверное, уже вылетел из Москвы в неизвестном направлении. (А что они там испытывают? Может быть, скоро будет об этом в газетах?) И о том, что «Барселона» живет обычной осенней жизнью, кто-то приходит из школы и волынит до темноты во дворе. (А нас там как будто бы и не было!) Что Юрке, как видно, все-таки придется уехать из колхоза (море его бьет), что Алька, к моему удивлению, чувствует себя в море прекрасно, что мне надо наконец начать думать о себе (о своей жизни).

Сегодня мы возвращаемся очень рано. Еще светло. На причале пусто. Обычные шуточки Стебелькова. Ти-

хо распоряжается Игорь. Мы грузим дневной улов на платформу и идем вдоль рельсов, толкая платформу перед собой. Обычная усталость. Все те же сигареты «Прима». Так себе топаем потихоньку к складу.

На складе Ульви с подружками катают новые бочки. Ульви не смотрит на меня. Ну и пусть. Ребята все уже ушли, а я все еще торчу в дверях и смотрю, как ползет к причалу 93-й. Надо подождать Юрку.

И вдруг все исчезает. Сизые тучи на горизонте, причал, танцующий недалеко от берега мотобот, 93-й, пропадает даже запах соленой кильки и все звуки вокруг, кроме одного. Я слышу за своей спиной голос:

— А где мне взять эту тряпку?

Ломкий высокий голос, в нем словно слезы. А что ей отвечают, я не слышу. Медленно поворачиваюсь и вижу Галю. Она идет по проходу между бочками. Она в комбинезоне и ватнике. Она в косынке, губы у нее намазаны, а в руках швабра. Она идет прямо ко мне и не узнает меня. Ведь я теперь бородат, и в берете, и в резиновых сапогах. Она останавливается в пяти метрах от меня и растирает шваброй лужу на цементном полу. Склонилась и орудует шваброй, и вдруг бросает на меня взгляд. Свой, особенный взгляд, который бесил меня (когда она так смотрела на других) и обезоруживал (когда она так смотрела на меня). Опускает глаза и снова трет шваброй пол — и вдруг выпрямляется и смотрит на меня. Узнала. Она подходит медленно ко мне. Шаг за шагом приближается. Вплотную, со шваброй в руках.

— Здравствуйте, — говорит она.

— Дима, — говорит она.

— Вот это да, — говорит она.

— Какой ты стал, — говорит она и смеется.

«Актриса, притвора, обманщица…» — все, что проносится у меня в голове.

— Не ожидал? — спрашивает она.

Как это мило! Девчонка провалилась на экзаменах и приехала к друзьям. Все очень просто и естественно. Сто́ит поболтать. Ты изменился. И ты изменилась. Ах, как это мило, что мы оба изменились! И я вдруг со страхом чувствую, что мне действительно все это кажется вполне естественным, и хочется расспросить Галку о конкурсе, словно передо мной не она, а Юрка или Алик.

Я выхватываю из ее рук швабру и швыряю на пол. Поворачиваюсь и иду к причалу.

— Дима! — восклицает она. И вот она уже бежит рядом со мной, цепляется за рукав.

— Мне нужно с тобой поговорить, — лепечет она.

Я сую в рот сигарету и достаю спички.

— Ты можешь поговорить со мной?

«Берегите пчел», — призывает спичечный коробок. О, черт, как это я раньше об этом не думал?

— …поговорить обо всем, — лепечет Галка.

«Пчелы дают мед». А ведь, наверное, так оно и есть.

— Я жду тебя вечером в общежитии. Придешь?

Я закуриваю.

— Придешь?

Я иду к причалу, полный любви и нежности к пчелам. Навстречу поднимается Юрка. Она, наверное, и Юрку не узнает. А может быть, она сейчас не видит ничего вокруг?

— Придешь? — отчаянно спрашивает она, отставая.

Молчи, дура! Я ведь могу тебе пощечину влепить.

— Придешь? — совсем уже как в театре, кричит эта дурища.

Я бегу к Юрке. У него равнодушное лицо.

— Видал? — спрашиваю я его. — Заметил ты, кто это?

— Я знал, что она здесь, — говорит он. — Она была у Линды. Спрашивала о тебе.

И тут у меня руки пускаются в пляс, и ноги начинают дрожать.

— Юрка, — говорю я, — дружище, что делать? Скажи, что мне делать?

— Плюнь, — говорит Юрка, — что же тут еще делать? Плюнь и разотри. Ишь ты, прикатила, шалава.

Мы садимся на доски, свесив ноги вниз, и смотрим на подходящий 80-й. Алька в своем зеленом колпаке стоит там; поставив ногу на планшир, весело нам помахивает, бросает швартовы.

— Галка тут появилась, — говорю я ему.

Втроем мы поднимаемся в гору. Идем мимо складов. Видно, как Галка катит по проходу огромную бочку. Джульетта! Звезда экрана! Допрыгалась.

— Будь мужчиной, — говорит мне Алька.

А кто же я еще? Я не сказал ей ни одного слова. И не скажу. Приду я к ней, как же! Пусть ждет. Вечером я пойду гулять с Ульви.

— Тебе сколько лет? — спрашиваю я.

— Девятнадцать.

— А мне скоро будет восемнадцать. Давай поженимся?

— Что ты говоришь? — восклицает эта славная девушка Ульви.

Отличная будет у меня жена. Колхоз нам построит дом. Накупим разных вещиц. Будем прекрасно жить, если, конечно, она не начнет вдруг мечтать о театре или еще о чем-нибудь таком.

— Согласна? — спрашиваю я ее.

Ульви поворачивает ко мне свое круглое лицо.

— Эта девушка… Галя Бодрова… ты ее знаешь?

— Нет.

— Ты с ней говорил.

— Я не говорил. Она меня о чем-то спрашивала. Как, мол, тут у вас? А я с ней не говорил.

— А она потом плакала.

— Ну и на здоровье.

— Она все время спрашивала о тебе.

— Значит, я неотразим.

— Она тебя знает.

— Мало ли кто меня знает.

Алик опять начал читать стихи, читает каждый вечер вслух. На этот раз зря. Юрка все лезет ко мне с кроссвордами.

— Животное из пяти букв на «о». Ну-ка, Дима, прояви эрудицию.

— Попов.

Юрка хохочет, как будто я сказал что-то ужасно остроумное.

Пинг-понг — прекрасная игра для неврастеников. Каждый вечер в коридоре мы играем в пинг-понг. Я научился крутить. Бью и справа и слева. Скоро буду непобедим. Неотразим и непобедим.

Официантка Роза спрашивает:

— Что с вами, Дима?

Все плывет у меня в глазах: темные окна с мещанскими шторками, морские картинки на стене, буфет и красные лица вокруг, колышется официантка Роза.

— Вам сколько лет, Роза?

— Двадцать шесть.

— А мне скоро двадцать. Давайте поженимся?

— Хорошо-хорошо. Идите домой.

Голые сучья в лесу штрихуют небо. Это как рисунок сумасшедшего. Абстрактная живопись. Поймет все тот, кто откажется понимать, но я не понимаю.

Каждый вечер вижу ее. Она смотрит на меня из дверей склада. Иногда сталкиваемся в столовой. Однажды ночью я увидел, как она прошла по опушке леса. Однажды в клубе были танцы. Я знал, что она там будет. Заглянул в окно. Она сидела у стены, сложив руки на коленях. Смирная девочка. Она была в синем платье. Подошел какой-то бравый парнишка, взял ее за плечо. Она покачала головой, потом вырвалась от него и убежала. Я бросился в кусты. Скорей бы снова уйти в экспедицию.

Работаю как бешеный. На сейнере у меня все блестит. Мало работы для меня на сейнере. Хоть бы случился какой-нибудь приличный штормик, что ли!

Килька больше не снится. Снится девочка в синем платье. Печальная золотистая голова. Милая, я тебя люблю. Несмотря ни на что. Больше всего боюсь высказаться во сне. Как бы не услышали ребята.

Снова возле клуба. Я вижу, как идет Галя. Она в дешевом прорезиненном пальто. Ей, наверное, холодно, но телогрейку по вечерам она не надевает. Из клуба выходят Алик и Юрка. Галя взбегает на крыльцо и сталкивается с ними.

— Мальчики!

— Девочки! — орет Юрка, как солдафон.

— О мисс, — юродствует Алька, — вы у нас проездом в Голливуд?

Они проходят вперед.

— Мальчики, — тихо с крыльца говорит Галя.

— Девочки, — передразнивает Алька.

— Были когда-то девочками, — басит Юрка.

Мерзавцы, что вы с ней поговорить не можете по-человечески?! Вам-то что она сделала? Солидарность проявляют, черти бородатые!

Ульви подзывает меня:

— Дима, возьми, — протягивает записку. Галка смотрит на нас из-за бочек круглыми глазами. Я пытаюсь обнять Ульви. Она убегает. Разворачиваю записку.

«Дима, если ты сегодня не придешь ко мне в общежитие, мне будет очень-очень плохо. Г. Б.».

Я прихожу в общежитие. Стучусь.

— Войдите!

Высокий, ломкий голос, в нем словно слезы.

Галя стоит у окна. Она в брюках и в белой накрахмаленной блузке. Такая блузка вроде мужской рубашки. Галя причесана (волосы соответственным образом спутаны), и губы намазаны. Пальцы сцеплены так, что побелели кончики.

По комнате ходит толстая, похожая на борца женщина. Больше никого нет. Я стою у дверей. Галя у окна. Женщина хватает утюг, груду белья и уходит. Галя отрывается от окна.

— Садись, Дима.

Сажусь.

— Хочешь чаю?

— Ужасно хочу чаю.

Она сервирует мне стол. Блюдечки, вареньице, сахарочек, тьфу ты, черт побери!

— Дима, я понимаю, что ты не можешь меня простить. Я втоптала в грязь то, что у нас было. Я не могу сейчас вспомнить обо всем этом без ужаса. Ты прав, что презираешь меня, и ребята правы, но скажи: могу ли я надеяться, что когда-то ты меня простишь?

Тьфу ты! Хоть бы помолчала. Хоть бы села рядом и помолчала часа два. Тараторит как заученное: «Втоптала в грязь», «Могу ли я надеться?»

Я встаю и делаю трагический жест.

— Нет! — сурово ору я. — Нет, ты не можешь надеяться. Ты втоптала в грязь! О несчастная! Все разбито! Разбитого не склеишь! Ха! Ха! Ха! — И иду к двери.

Она обгоняет меня и встает в дверях.

— Не уходи. Останься, пожалуйста. Издевайся надо мной, ругайся, делай, что хочешь, но только не уходи.

— Ну-ка, пусти, — говорю я.

— Нет, мы должны поговорить.

— О чем нам говорить?

— Разве не о чем? Разве мы с тобой чужие?

Смотрит на меня совершенно кинематографически. Глазками работает, дурища. Я усмехаюсь и басом произношу так страстно:

— Бери меня, срывай нейлоны, в груди моей страстей мильены.

Смотрит на меня и плачет. Дурацкое положение. Я не могу уйти, она стоит в дверях. И не знаю, что мне делать. Обнять ее хочется. А в следующий момент хочется дать ей по шее.

— Если ты уйдешь…

— Что тогда?

— Мне будет очень плохо.

И вдруг бросается мне на шею. Целует. Бормочет:

— Люблю, люблю. Только тебя. Тебя одного. Прости меня, Димка.

Ничего не соображая, я обнимаю ее и целую со всей своей злостью, со всей ненавистью и презрением. Она оборачивается в моих руках и щелкает замком. Я ничего не соображаю…

На стене покачивается тень елочки. Галина голова лежит на моей руке. Другой рукой я глажу ее волосы. Она плачет и бормочет:

— Но ты понимаешь, что это не просто так? Да не молчи ты. Ты понимаешь, что сейчас это не просто так? Если ты будешь молчать, значит, ты подлец.

— Понимаю, — говорю я и снова молчу. Как она не понимает, что нужно именно молчать? Ведь все эти слова — блеф. Нет, она этого не понимает.

— Тебе нужно уходить, — говорит она, — скоро придут девочки из кино.

На крыльце она целует меня и говорит:

— Только ты мне нужен и больше никто. И ничто. Ты не знаешь, как мне трудно было сюда приехать. И сейчас эти бочки, килька… Но я привыкну, вот уви-

дишь. Я не могла иначе поступить, когда поняла, что только ты мой любимый.

Она стоит растрепанная, теплая, красавица, любимая… Девочка, предназначенная мне с самого детства.

Я ухожу по дорожке, не оборачиваясь, а когда сворачиваю, пускаюсь бегом. Бегу в кромешной темноте по дорожке и по лужам, спотыкаюсь и снова бегу мимо изгородей и слабых огоньков туда, где слышен грохот моря. Ветер на берегу страшный. Наверное, мы завтра не сможем выйти. Ветер пронизывает меня. Я хожу по песку и спотыкаюсь о камни. С грохотом идут в кромешной тьме белые волны, бесконечные, белые, грохочущие цепи. Словно лед плывет из какой-то черной смертельной бездны. Эх, если бы к утру стало немного потише! Эх, если бы завтра уйти к Синему острову! Я снова попался. Я снова попал в плен. И неожиданно я начинаю сочинять стихи:

Вот так настигает тебя врасплох
Случайный взгляд, нечаянный вздох.
Они преграды городят,
Они, как целый полк, палят
В тебя, и нет спасенья.
Попробуй снова в мир ребят,
В просторный мир простых ребят
Уйти из окруженья.
Хоть разорвись на части,
Ты окружен и…

Окружен и… Что же? «Счастлив» — просится рифма. Окружен и счастлив. Счастлив? Черт с ним, пускай это будет для рифмы. Счастлив я? Кажется, да. И так все дальше и пойдет, как было совсем недавно: встречи в темноте и Галкин лепет, птичий разговор. Так все

это и будет, а нам еще нет восемнадцати. Поцелуи и эти мгновения, когда исчезаешь. Счастье такое, что даже страшно. Где мы будем — здесь или в Москве? Или где-нибудь еще? А потом снова появится какая-нибудь сложная личность, и снова все прахом. Сейчас она драит пол и катает бочки. Засольщица — вот ее должность. Димка с 88-го крутит любовь с Галкой-засольщицей. Меня это устраивает, а ее? Она привыкнет. Ой ли? Нет уж, простите, я теперь стреляный воробей, я больше не попадусь. Хватит с меня. Я человек совращенный.

Ночью я написал записку:

«Дорогая мисс! Благодарю вас за волшебный вечер, проведенный в вашем обществе. Я согласен к вам иногда захаживать, если девочки будут вовремя уходить в кино. Далеко в море под рокот волн и ветра свист, как сказал поэт, я буду иногда наряду с другими вспоминать и вас. Примите заверения в совершеннейшем к вам почтении. Д. Д.».

К утру стало немного потише. Волнение было пять баллов. Прогноз на неделю хороший. Мы вышли на пять дней в экспедиционный лов к Синему острову. За час до ухода я опустил записку в почтовый ящик на дверях Галиного общежития.

Глава 13

Я хотел штормика — вот он! Мы попали к черту в зубы. Это случилось на третий день. Два дня мы болтались в десяти милях к северо-западу от Синего острова. Секла ледяная крупа, мы были мокрыми до последней нитки, но лов шел хорошо — трал

распирало от рыбы. И вот на третий день мы попали к черту в зубы.

Чудовищный грохот. Нас поднимает в небо. Море тянет нас вверх, видно, для того, чтобы вытряхнуть из сейнера наш улов и нас вместе с ним. А может, для того, чтобы вышвырнуть вон с этой планеты? Я не могу больше быть в кубрике. Здесь чувствуешь себя как в чемодане, который без конца швыряют пьяные грузчики. Лезу вверх и высовываюсь по грудь. Мы где-то очень высоко. Серое небо близко, а растрепанные, как ведьмы, тучи несутся совсем рядом. Куда они мчатся? Не знаю, как старых моряков, но меня шторм поражает своей бессмысленностью. По палубе бегают два пустых ящика. Мелькают за стеклом рубки лица Игоря и Ильвара. Игорь грозит мне кулаком и показывает вниз. Ох! Мы падаем вниз. Падаем-падаем-падаем… Что с нами хотят сделать? Шмякнуть о дно? Я вижу, как серо-зеленая стена вырастает над нами, качаясь. Скорее закрыть люк! Вниз! Не успеваю. Нас накрывает. Вода мощным штопором ввинчивается в люк, и я оказываюсь внутри этого штопора. Считаю ступеньки, бьюсь головой о переборки. Неужели все? Нет, надо мной снова безумные тучи. В кубрике матерится по моему адресу Стебельков. Напустил воды, уникум. Я лезу вверх. Ящиков на палубе как не бывало. Выскакиваю на палубу, захлопываю люк и бегу в рубку. Дело двух секунд. На секунду больше, и я бы уже был там, в этих пенных водоворотах. Нас снова накрыло. Потом потащило вверх.

— Ты что, чокнулся?! — орет Игорь. — Зачем сюда пришел?

— Так просто.

— Идиот.

Игорь держит штурвал. Глаза у него блестят, фуражка съехала на затылок. Мы снова ухаем вниз, нас накрывает, и мы взлетаем на новый бугор. На палубе кипит вода. Игорь улыбается, показывая все зубы. У него сейчас совершенно необычный, какой-то разбойничий вид. По-моему, он счастлив. А Ильвар спокойно потягивает замусоленную сигарету. Вынимает из кармана флягу, протягивает ее мне. Спирт сразу согревает.

Мы идем под защиту острова. Иначе нам конец. Иначе конец нам всем, и мне в том числе. И у Виктора не будет брата, а у его сына дяди, а у мамы и папы не будет беспутного сына Димки. Проблема «выбора жизненного пути» уже не будет для меня существовать. У Джульетты не будет Ромео, а у Гали останется от меня только подлая пижонская записка. Черти морские, высеките меня и выверните наизнанку, но только оставьте в живых! Нельзя, чтобы у Гали осталась от меня только эта чудовищная записка.

— Ильвар, дай-ка еще раз хлебнуть.

И вот наш сейнер пляшет под защитой лесистого мыса. Видно, как гнутся на краю мыса низкие сосны. Толстым валом белеет сзади грань грохочущего моря. Мы пляшем на месте два часа, четыре, десять, сутки. Наступает четвертая ночь нашей экспедиции. Недалеко от нас прыгают огоньки 80-го — там Алик. А подальше огоньки 93-го — там Юрка. Я иду спать. Качается над головой лампочка в железной решетке. Слабое наше солнышко в хлябком и неустойчивом мире! Жизнь проходит под светом разных светил: жирное и благодушное солнце пляжа; яростное солнце молодости, когда просто куда-нибудь бежишь, задыхаясь (часто мы забываем про естественные источники света, какой-нибудь светоч ума озаряет наш путь или асимметрич-

ные звезды на потолке в баре). А есть и вот это — наше слабое солнышко. Ворочаются, пытаясь уснуть, ребята. Злятся, что лова не получилось. Съели ужин, который я им сварил, и пытаются уснуть. И я засыпаю под нашим слабым солнышком на утлой коробке, пляшущей в ночи. Шторм утихает. На берегу меня ждут. Все еще можно исправить.

— Мальчики, подъем!

В кубрике стоит капитан.

Получен сигнал бедствия. Норвежец-лесовоз потерял управление. Его отнесло к нашим берегам. Напоролся на каменную банку. Говорят, что дело плохо. Собираются покидать судно.

Мы все садимся на койках и смотрим на капитана.

— Надо идти к ним. Это в десяти милях отсюда.

— Недалеко, — улыбается Антс.

— Недалеко! — взвизгивает Стебельков. — Больше одного раза не перевернемся кверху донышком.

Он слезает с койки.

— Пошли, Петька, запустим машинку. Эх, не жизнь, ребята, а сплошная мультипликация.

— Аврал! — орет этот бешеный пират, наш капитан Игорь Баулин.

Мы все выскакиваем наверх.

И вот в кромешной темноте мы идем к горловине бухты, за которой снова начнется адская пляска. С каждой минутой грохот нарастает. Слева по борту движутся огоньки 80-го и 93-го. Они тоже идут на спасение норвежцев. До горловины недалеко, каких-нибудь десять минут. Больше одного раза не перевернемся. Больше одного раза не бывает. Соседи в «Барселоне» будут шептаться за спиной у мамы: «Непутевый был

мальчишка, этот Димка. Плохо кончил. Убег из дома и плохо кончил. Ох, дети — изверги! Бедная Валентина Петровна!» Он плохо кончил — странно, когда так говорят. Как будто можно кончить хорошо, если речь действительно идет о конце.

Грохот все ближе. Минут через десять нас самих может бросить на камни.

Я впервые об этом подумал сегодня. О том, что случается только один раз. И больше потом уже ничего никогда не случается. Это немыслимо…

Минут через десять…

Раньше я боялся только боли. Боялся, но все-таки шел драться, когда нужно было. Сейчас я не боюсь самой страшной боли.

Ведь после этого уже не будет никакой боли. Немыслимо.

Минут через девять…

Хана — есть такое слово. И все. Разговоров в коридоре хватит ненадолго.

А что ты оставил после себя? Ты только харкал, сморкался и блевал в этом мире. И писал записки, которые хуже любой блевотины. И ничего земного, по-настоящему земного от тебя не останется.

Минут через восемь…

— Восьмидесятый! Редер! — Это Игорь вызывает по радио нашего соседа. — Мы первыми проходим горловину. Понял? Прием.

Нет, останется. Мы идем на спасение. Мы заняты сейчас самым земным занятием: мы идем на спасение. Спасем мы кого-нибудь из норвежцев или нет, останемся мы живы или нет — все равно произойдет еще один рейс спасения.

Минут через семь…

— Игорь, разреши мне радировать в колхоз.

— Там уже знают.

— Нет, мне надо самому радировать.

— Не глупи.

— Мне надо.

Игорь поворачивает ко мне жестокое заострившееся лицо, смотрит секунду и подмигивает весело, ох как весело:

— Валяй!

Минут через шесть…

— «Прожектор», запишите радиограмму, — хрипло говорю я. — «Галине Бодровой. Галя, я тебя люблю. Дима». Прошу передать как можно скорей.

В свисте, в шипении, в страшном шорохе и шуме мы проходим горловину.

Через полтора часа мы увидели на фоне разорванных туч черный несущийся силуэт эсминца. Он выразил вам благодарность и посоветовал немедленно топать назад, к Синему острову. Оказалось, что он только что снял людей с норвежского лесовоза.

— Досталось нам, правда?

— Немного досталось.

— Ну и рейс был, а?

— Бывает и хуже.

— В самом деле бывает?

— Ага.

— А улов за столько дней — курам на смех, а?

— Не говори.

— Половим еще, правда?

— Что за вопрос?

— В Атлантике на следующий год половим, да?

— Возможно.

— Как ты думаешь, возьмут меня матросом в Атлантику?

— Почему бы нет? Ты парень крепкий.

— Вот ты железный парень, Игорь. Я это понял раз и навсегда в этом рейсе.

— Кукушка хвалит петуха…

— Ты уж прости, я в каком-то возбуждении.

— А это зря.

Я действительно в каком-то странном возбуждении. Беспрерывно задаю Игорю дурацкие вопросы. Зубы у меня постукивают, а фляжка у Ильвара пуста. Мне холодно и есть хочется, но самое главное — это то, что уже виден колхозный причал и кучка людей на нем.

Гали здесь нет. Передо мной уже мелькают лица женские и мужские, а Гали здесь нет. Неужели она не получила мою радиограмму? Неужели она уехала? Вот Ульви здесь, и все здесь, и Алька уже появился, и Юрка ковыляет, а Гали здесь нет. Гали нет. Может, ее вообще нет?

Подходит Ульви.

— Дима, Галя в больнице. Не бойся. Ей уже лучше.

— Что с ней случилось?

— Она простудилась. Когда вы ушли в экспедицию, вечером она выбежала из общежития в одном платье. Бежала долго-долго. Ее нашли на берегу. Она лежала в одном платье.

Ульви когда-нибудь простит меня за этот толчок. Может быть, она и не сердится. Она же видела, как я побежал.

Не замечаю, как взлетаю в гору. Собаки сходят с ума за заборами. Почему они безумствуют, когда видят бегущего человека? Ведь я бегу спасать свою любовь. Вот этот пес, в сущности добрый, готов меня разорвать. Вот волкодав вздымается на дыбы. Жарко в ватнике. Сбрасываю ватник. Волкодав на задних лапах прыгает за штакетником. Тьфу ты, мразь! Плюю ему в зверскую морду. По лужам и по битому кирпичу вперед, а гнусные шавки под ноги. За забором оттопыренный зад «Икаруса». Эй! Он уходит. Подождите, черти! Моя любовь лежит в больнице. Что у вас, сердца нет? Одни моторы? Уходит, а я бегу за ним, как будто можно догнать. Наверное, сейчас развалюсь на куски. Не могу больше. Останавливаюсь. За ухом у меня колотится сердце. Не замечаю, что сзади налетает вонючий и грозный «МАЗ». Обгоняет меня. Подожди, черт!

— Можешь побыстрей? — спрашиваю водителя. — Дай, друг, газу!

«МАЗ» довозит меня до нужной остановки. Еще полкилометра надо бежать вдоль берега речушки туда, где за шеренгой елок белеет здание участковой больницы. Как быстро я лечу в резиновых ботфортах! Может быть, это семимильные сапоги?

— Состояние здоровья вполне удовлетворительное. Свидание разрешить не могу. Сейчас тихий час.

Носик у доктора пуговкой, а лоб крутой. Такого не уговоришь. И все-таки я его уговариваю.

— Сначала умойтесь, — говорит доктор и подносит к моему лицу зеркало. Такой простой карикатурный черт с типичной для чертей дикостью глядит на меня.

Я умываюсь и снимаю сапоги. Мне дают шлепанцы и халат. Когда я вхожу в палату, Галя спит. Ладошка под щекой, волосы по подушке. Так весь день я бы и сидел, смотрел бы, как она спит. Когда она спит, мне кажется, что никаких этих ужасов у нас не было. Но она открывает глаза. Вскрикивает, и садится, и снова ныряет под одеяло. Смотрит, как на черта, хотя я уже умыт. Потом начинает смотреть по-другому.

— Ты получила мою радиограмму?

Она кивает. И молчит. Теперь она молчит. Правильно. А мне надо поговорить. Я рассказываю ей, какой был плохой улов, и какой страшный штормяга, и как мы шли спасать норвежцев, и какой замечательный моряк Игорь Баулин, и все наши ребята просто золото… Она молчит. Оглянувшись, я целую ее. Она закрывается с головой и трясется под одеялом. Не пойму, плачет или смеется. Осторожно тяну к себе одеяло. Смеется.

— Актриса ты моя, — говорю я.

— Я не актриса, — шепчет Галка, и теперь она готова заплакать. Я это вижу, очень хочу этого и боюсь. Я вижу, что она готова на любое унижение. Зря я назвал ее актрисой, но все-таки я что-то хотел этим сказать.

— Не расстраивайся, — говорю я, — поступишь на следующий год. Масса людей сначала проваливается, а потом поступает. И ты поступишь.

Этим я хочу сказать очень многое. Не знаю только, понимает ли она?

— А я не проваливалась, если хочешь знать, — шепчет Галка. — Я и не поступала, так и знай.

— Как не поступала?! — восклицаю я.

— Так вот. Забрала документы перед самыми экзаменами.

О, как много она сказала этим!

— Не может быть!

— Можешь не верить.

Снова она готова заплакать.

— Все равно, — говорю я, — ты поступишь на следующий год.

— Нет, не буду.

— Нет, будешь.

Оглянувшись, я снова целую ее. И тут меня выгоняет санитарка. Как много мы с Галкой сказали друг другу за эти несколько минут!

Я выхожу на крыльцо, смотрю на серые холмы и ельник, на всю долину, уходящую к морю, на голубенькие жилочки в небе и на красные черепичные крыши, и сердце мое распирает жалость. За окнами мелькает доктор. Нос пуговкой, а лоб крутой. Мне жалко доктора. Мне жалко мою Галку и жалко санитарку. Я с детства знаю, что жалость унижает человека, но сейчас я с этим не согласен. Однажды в Москве я увидел на бульваре старенькую пару. Старичок и старушка, обоим лет по сто, шли под руку. Я чуть не заплакал тогда, глядя на них. Я отогнал тогда это чувство, потому что шел на танцы. А сейчас я весь растворяюсь в жалости. Музыка жалости гремит во мне, как шторм.

По берегу реки вразвалочку жмут мои друзья, Алик и Юрка. Алик тащит мой ватник.

— Не торопитесь, мужики, — говорю я им. — Все равно вас не пустят. Там сейчас тихий час.

— А ты там был? — спрашивает Алька.

— Что ты, не видишь? — говорит Юрка. — Посмотри на его рожу.

Мы садимся на крыльцо и закуриваем. Так и сидим некоторое время, два карикатурных черта и я, успевший умыться.

— Ну как, — спрашиваю я, — штормик понравился?

— Штормик был славный! — бодро восклицает Алька. Ему все нипочем.

— А я думал, ребята, всем нам кранты, — говорит Юрка.

— Да, я тоже так думал, — признается Алька.

— Нет, ребята, — говорит Юрка, — море не моя стихия. Уеду я отсюда.

— Куда?

Юрка молчит, сидит такой большущий и сгорбленный. Потом, решившись, поворачивается к нам:

— Уезжаю в Таллин. Поступлю на завод «Вольта». Учеником токаря, к Густаву в подмастерья. Общежитие дают, в перспективе комната. Команда там вполне приличная…

— И Линда рядом, — говорю я.

— А что?

— Да нет, ничего. Все правильно.

Мы сидим, курим. Странно, мы с ребятами совсем не говорили о будущем, ловили кильку, а вечерами резались в пинг-понг, но сейчас я понимаю, что они оба пришли к какому-то рубежу.

— А ты, Алька, что собираешься делать? — спрашиваю.

— Я, ребята, на следующий год все-таки буду куда-нибудь поступать, — говорит Алька. — Надо учиться, я это понял. Недавно, помните, я ночью засмеялся? Ты в меня подушкой тогда бросил. Это я над собой смеялся.

«Ах ты, гад, — думаю, — знаешь, что такое супрематизм, ташизм, экзистенциализм, а не сможешь отличить Рубенса от Рембрандта». И в литературе так же, только современность. Хемингуэй, Белль назубок, слышал кое-что про Ионеско, а Тургенева читал только «Певцы» в хрестоматии. Для сочинений в школе ведь вовсе не обязательно было читать. Детки, хотите, я вам сознаюсь? — Алька снял очки и вылупился на нас страшными глазами. — «Анну Каренину» я не читал! — Он снял колпак и наклонил голову. — Готов принять казнь.

— Думаешь, стоит ее почитать, «Анну Каренину»? — спросил Юрка.

— Стоит, ребята, — говорю я.

— Неужели ты читал ее?

— В детстве, — говорю я. И правда, в детстве я читал «Анну Каренину». В детстве я вообще читал то, что мне не полагалось.

Ну вот, ребятам уже все ясно. Теперь они сами все решили для себя. И не нужно подбрасывать монетки, это тоже ясно. А я? Прискорбный факт. Прискорбнейший случай затянувшегося развития. Я до сих пор не выработал себе жизненной программы. Есть несколько вещей, которыми я бы хотел заниматься: бить ломом старые стены, которые никому не нужны, перекрашивать то, что красили скучные люди, идти на спасение, варить обеды ребятам (сейчас все жрут с удовольствием), танцевать, шататься из ресторана в ресторан, любить Галку и никому не давать ее в обиду (никогда больше не дам ее в обиду!), много еще разных вещей я хотел бы делать, но все ведь это не жизненная программа. Стихийность какая-то, самотек… Дмитрий Денисов пустил свою жизнь на самотек. Хорошая повестка дня для комсомольского собрания.

— Может быть, тебе в мореходку поступить? — говорит Юрка. — На штурмана учиться, а?

— На кой мне черт мореходка? В Атлантику я на следующий год и так выйду. Игорь обещал.

— Я думаю, если уж быть моряком…

— Почему ты решил, что я хочу быть моряком?

— А кем же?

— Клоуном, — говорю я. — Знаешь, как в детстве, сначала хочешь стать моряком, потом летчиком, потом дворником, ну а потом уже клоуном. Так вот, я на высшей фазе развития.

После тихого часа Галка появляется в окне. Ребята корчат ей разные рожи и приплясывают, а она им улыбается. Стоит бледная, и под глазами круги, а все-таки можно ее хоть сейчас поместить на обложку какого-нибудь польского журнала.

Потом мы едем в ближайший городок, в магазин, и возвращаемся к больнице, нагруженные разными кондитерскими пряностями. Эстонцы — отличные кондитеры. Любят полакомиться.

А Галка за окном уже какая-то другая, уже прежняя. Надувает щеки и показывает мне язык. Сзади подходит санитарка, а она ее не видит. Санитарка тоже смеется и шлепает Галку по одному месту.

Вечером мы сидим все в кофике, восемнадцать рыбаков с сейнеров «СТБ». Все свои ребята, ребята — золото. И все-таки мы обставим экипаж 93-го.

Ночью я слышу шаги за окном. Почему-то мне становится страшно. За окном шумят деревья, свистит ветер, в комнате темно, похрапывает Юрка — и вдруг шаги. Кто-то взбегает на крыльцо, барабанит в дверь обще-

жития. Бегут по коридору, потом обратно. Останавливаются у нашей двери. Стучат.

— Денисову срочная телеграмма.

Ошибка, наверное. Конечно, ошибка. Почему вдруг мне срочная телеграмма? Почему вдруг именно мне? Почему ни с того ни с сего стрела, пущенная малышом, попадает прямо в лоб? Что ей, мало места на земле?

ЭСТОНСКАЯ ССР
КОЛХОЗ ПРОЖЕКТОР
ДЕНИСОВУ ДМИТРИЮ ЯКОВЛЕВИЧУ
МОСКВЫ (какие-то цифры)

В РЕЗУЛЬТАТЕ АВИАЦИОННОЙ КАТАСТРОФЫ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПОГИБ ВАШ БРАТ ДЕНИСОВ ТЧК ПО ВОЗМОЖНОСТИ НЕМЕДЛЕННО ВЫЕЗЖАЙТЕ В МОСКВУ ТЧК ГОЛУБЕВ

Какой еще Голубев? Боже мой, что это за Голубев? При чем тут какой-то Голубев?

Я иду один по Москве. Все, в общем, здесь по-старому. Иду по Пироговке, дохожу до Садового. Из-за угла высыпает на полном ходу волчья стая машин. Перекрыли: красный сигнал. Не в моих привычках ждать, и я жму через Садовое. А куда? На Кропоткинской беру такси и еду в центр. И тут все, в общем, по-старому, только не видно тех рыл, с которыми я некогда контактировал. Спускаюсь в метро. Пью воду из автомата. Еду на эскалаторе вниз. О, навстречу поднимается парень из нашего класса, Володька Дедык. Книжку какую-то читает. Не замечает меня. И я его поздно заметил. Ищи его теперь, свищи. Все-таки под-

нимаюсь по эскалатору вверх. Нет там Дедыка. Опять беру билет и снова еду вниз.

Прошло два дня после похорон Виктора.

Как это дико звучит! Все равно что сказать: прошло два дня после пожара Москвы-реки. И тем не менее это так: прошло два дня после похорон моего старшего брата Виктора.

— Витька! — орал тот волосатый грузин (у него на груди была такая шерсть, что в бассейне все шутили: «Бюстгальтеры на меху»). — Витька! — орал он и, как торпеда, плыл к воротам. А Виктор высовывался по пояс из воды и давал ему пас на выход.

Прошло два дня после похорон.

Шура, жена Виктора, стояла совершенно каменная и с желтыми пятнами на лице. Говорят, что будет маленький Витька. Кажется, в старину женились на вдовах братьев. Я бы тоже женился на Шуре, если бы жил в те времена. В те времена ведь не могло быть Гали. А сейчас я буду считать себя отцом маленького Витьки, даже если Шура снова выйдет замуж.

Прошло два дня.

— Простите, как доехать до Ботанического сада?

— До Комсомольской, там пересадка.

Я не знаю, при исполнении каких служебных обязанностей погиб Виктор. Об этом не говорили даже на похоронах. Андрей Иванович, огромный профессор, сказал, что Виктор — герой, что он слава нашей научной молодежи, что когда-нибудь его имя… Дальше он не смог говорить, этот огромный профессор. Кто-то сказал, что через месяц у Виктора должен был кончиться комсомольский возраст, ему должно было исполниться

двадцать восемь лет. Давайте будем считать, что Виктор погиб уже коммунистом.

Виктор, слышишь ты меня? Я тобой горжусь. Я буду счастлив, когда время придет и твое имя… запишут куда-то золотом, наверное, это хотел сказать профессор. Но знаешь, старик, я любил, когда ты меня «подзаводил», любил стрелять у тебя деньги и боксировать с тобой после душа. Помнишь, в Таллине в номере гостиницы? А как мы ехали с тобой в такси? И шлялись из одного кафе в другое, а ты все плел что-то возвышенное? И мы как раз собирались поехать на стадион?..

Прошло два дня после…

Борька, друг Виктора, а потом его недруг, стоял, подняв голову, и кадык у него ходил вверх-вниз. Потом он отошел в сторону, отвернулся и весь задергался-задергался.

Два дня.

Не могу вспомнить, что было с папой и мамой. Они сразу стали старенькие. Будут гулять теперь под руку на бульваре, и у какого-нибудь парня вроде меня сожмется при их виде сердце.

Прошло два дня после похорон Виктора.

Я уже второй раз бесцельно езжу по городу. Мои старики теперь живут на Юго-Западе. За две недели до этой истории они переехали в новую квартиру. А «Барселону», говорят, уже начали ломать.

Вот мне куда надо — в «Барселону!» Да-да, именно туда я и еду уже второй день.

Выхожу на нашей станции. Все здесь по-старому. Торчат, как всегда, какие-то знакомые типы. Суета у киосков. Суета сует и всяческая суета, говорила одна

старушка на даче. И вот они, руины нашей «Барселоны». Она уже наполовину сломана. За заборчиком на груде битого кирпича стоит бульдозер. Луна отсвечивает от его лопаты. Плакат на заборчике: «Работы ведет СМУ № 40».

Я перелезаю через забор и проникаю в уцелевшую половину дома. На этой лестнице Виктор целовался с одной девчонкой, а я их застукал и немного шантажировал. Я лезу вверх по лестнице и иду по коридору третьего этажа к нашей квартире. То тут, то там в распахнутые двери, выбитые стекла и в проломы стен проглядывает ночное небо. Дверь нашей квартиры висит на одной петле. Мне нужно туда, нужно просто постоять там пару минут. Я вхожу в столовую, потом в комнату родителей, потом иду к Виктору. Не знаю, сколько минут я стою здесь. Виктор провел здесь двадцать восемь лет и погиб «при исполнении служебных обязанностей». Двадцать восемь лет спал, читал, делал зарядку, выпивал с друзьями в этой комнате.

Иногда ходит-ходит…

Мама: Витя, что ты все ходишь?

А он ни гугу. Иногда он ложился на подоконник, вот так, и смотрел в небо. Долго-долго. Где же он тут видел небо? Кругом стены. А, вот оно.

Я лежу на спине и смотрю на маленький кусочек неба, на который все время смотрел Виктор. И вдруг я замечаю, что эта продолговатая полоска неба похожа по своим пропорциям на железнодорожный билет, пробитый звездами.

Интересно. Интересно, Виктор замечал это или нет?

Я смотрю туда, смотрю, и голова начинает кружиться, и все-все, все, что было в жизни и что еще будет, — все начинает кружиться, и я уже не понимаю, я это лежу на подоконнике или не я. И кружатся, кружатся надо мной настоящие звезды, исполненные высочайшего смысла.

Так или иначе.

ЭТО ТЕПЕРЬ МОЙ ЗВЕЗДНЫЙ БИЛЕТ!

Знал Виктор про него или нет, но он оставил его мне. Билет, но куда?

АПЕЛЬСИНЫ ИЗ МАРОККО

1. Виктор Колтыга

В общем, лично мне это надоело… Артель «Напрасный труд». Мы пробурили этот паршивый распадок в двух местах и сейчас бурим в третьем. Гиблое дело: нет здесь ее. Я это чувствую нюхом, как-никак пять лет уже шатаюсь в партиях: на Сахалине был возле Охи, и по Паронаю, и в устье Амура, и на Камчатке… Насмотрелся я на эти рельефы!

Ничего я не имею против этого распадка; здесь даже красиво; можно горнолыжную базу построить, на западном склоне отличная трасса для слалома, воздух здесь хороший, а может, и грязи какие-нибудь есть для больных, вполне возможно. Целебный источник? Допускаю, стройте, пожалуйста, санаторий. Боже ты мой, может, здесь и золото есть, может быть, этот чудный живописный, лучший в мире распадок — настоящее золотое дно, может, золота здесь хватит на все сортиры в коммунистическом обществе, но нефти здесь нет!

Понятно, я молчал и ничего не говорил Кичекьяну. И все ребята молчали. Кичекьян у нас человек новый, это его первая разведка. В этом году он окончил Ленинградский горный и приехал к нам сюда началь-

ником партии. Сейчас он дико психовал, и поэтому мы молчали. А хотелось сказать: «Знаешь что, Айрапетджан (или как там у них говорят), надо собирать все хозяйство и сматываться отсюда. Знаешь, джан (вот именно, джан), наука наукой, а практика практикой». Но мы молчали, работали, консервы ели — наше дело маленькое.

В четыре часа наступила ночь, и верхушки сопок заблестели под луной, словно серебряные. Над кухней уже давно вился дымок, а по дну распадка шли наши сменщики, сигналили папиросками.

— Пошли обедать, товарищ начальник, — сказал я Кичекьяну, но он только помотал головой. Он сидел на ящике и ел хлеб с маслом, вернее, не ел, а, как говорится, подкреплял силы. Масло на морозе стало твердым, как мыло. Кичекьян отрезал толстые куски, клал их на хлеб и в таком виде наворачивал. По его худому и заросшему лицу ходили желваки. Он был маленький и тощий; он даже в ватнике и в ватных штанах казался, как бы это сказать… изящным. Временами он откладывал хлеб и масло, дышал на руки, а потом снова принимался за свое дело. Потом встал и заорал:

— Луна-а, плыви в ночном просторе, лучи купая в море…

Конечно, ему было нелегко здесь, как человеку южному.

Я тоже человек южный, из Краснодара, но за восемь лет (три года армии и пять лет на гражданке) я тут порядком акклиматизировался. Возможно, летом я поеду в отпуск и проведу его у матери в Краснодаре. Известно каждому, что в Краснодаре самые красивые девчата в Союзе. Причем это не свист, а если бы еще наших девчат приодеть получше, то все: пришлось бы пустить

в Краснодар еще несколько железных дорог, шоссе и построить международный аэропорт. Я часто думаю о Краснодаре и о краснодарских девчатах, и мысли эти появляются в самые тяжелые дни. В пятьдесят девятом на Устье-Майе, когда замело перевал и мы три дня лежали в палатке и на зубариках играли, я представлял себе, как я, отпускник, ранним летним утром гуляю себе по краснодарскому колхозному рынку, и грошей у меня полно, и есть не хочется, а впереди еще вечер, когда я пойду на танцплощадку, где тоненькие и рослые девчата уставятся на меня — какой я стильный, и видно, что не дурак и самостоятельный, в общем, парень-гвоздь.

Сейчас, спускаясь к лагерю на дно распадка, я тоже думаю о Краснодаре, о женщинах, о горячих пляжах, об эстрадных концертах под открытым небом, о джазе Олега Лундстрема… Мне приятно думать, что все это есть, что на земном шаре имеется и еще кое-что, кроме этого потрясающего, волшебного, вонючего распадка.

На кухне мы здорово наелись и сразу осоловели, захотели спать. Леня Базаревич, по своему обыкновению, отправился купаться, а мы влезли в палатку и, значит, водрузили свои тела на закрепленные за каждым койки.

Когда наша смена одновременно стаскивает валенки, тут хоть святых выноси. Свежему человеку впору надеть кислородную маску, но мы ничего, смирились, потому что стали вроде бы как братья.

Юра, Миша и Володя как бухнулись на свои плацкарты, так сразу и загудели, запели, засопели. Это они только настраивались. Потом началось! Когда они храпят, кажется, что работают три перфоратора. Причем комедия: как один перестанет храпеть, так и второй

прекращает и третий — стоп! А по новой начинают тоже одновременно. Если бы я жил в капиталистической стране, я бы этих трех ребят зверски эксплуатировал — показывал бы их в цирке и заработал бы кучу фунтов стерлингов или лир.

Мне тоже хотелось спать, но надо было сделать еще одно дельце. Я зажег карманный фонарик и под его тусклый свет стал писать письмо одной краснодарской девчонке, которая в этот момент, можешь себе представить, находилась в каких-нибудь семидесяти четырех километрах от меня. Девчонку эту звали обыкновенно — Люся Кравченко. Познакомился я с ней прошлой весной, когда «Кильдин» привез сезонниц на рыбокомбинат. Обычно к приезду сезонниц все ребятишки в радиусе двухсот километров начинают наводить блеск на свою амуницию, стригутся под канадскую полечку и торопятся в порт Петрово на всех видах транспорта, а то и на своих на двоих. Еще бы, ведь для нас это сенсация — сразу двести или триста новых невест!

В тот раз тоже много парней понаехало в Петрово. Все гуляли по главной улице в ожидании парохода и делали вид, что попали сюда случайно, или по делам, или с похмелья. Однако все эти мудрецы оказались на причале, когда «Кильдин» стал швартоваться, и все смотрели, как невесты сходили по трапу, а потом повалили за ними на главную улицу, а к вечеру все «случайно» оказались на рыбокомбинате.

Там я и заприметил Люсю Кравченко. Ну, сделал два-три виража, а потом пошел на сближение. «Откуда, землячка?» — спрашиваю. Это у меня такой прием. А она вдруг — бац: «Из Краснодара». Каково? Даже врать не пришлось. Весь вечер мы с ней гуляли, и мне было грустно смотреть в ее черные глаза, а ее

загорелые руки вызвали в моей памяти пионерский лагерь на Кубани. И я думал о том, что мне уже двадцать седьмой год, а у меня ни кола ни двора, и я весь вечер заливал ей про космические полеты и про относительность времени, а потом полез к ней в тамбуре обниматься. Ну, она мне врезала по шее.

Потом мы ушли в экспедицию, и в экспедиции я о ней не думал, а думал, по обыкновению, о краснодарских девчатах, но почему-то все краснодарские девчата на этот раз были похожи на Люсю. Просто сто тысяч Люсь Кравченко смотрели на меня, когда я, красивый, умный и самостоятельный, парень-гвоздь, поднимался на танцплощадку в парке над Кубанью.

Осенью я ее встретил на вечере отдыха в Доме культуры моряков в порту Талый. Честно, я был удивлен. Оказалось, что она решила остаться на Дальнем Востоке, потому что здесь, дескать, сильнее ощущается трудовой пульс страны. Она работала каменщицей и жила в общежитии в поселке Шлакоблоки. Ну, там, училась заочно в строительном техникуме, ну, там, танцевала в хореографическом кружке — все как полагается. Она была расфуфырена черт знает как, и за ней увивались один морячок, по имени Гера, совсем молоденький парнишка, года так с сорок второго, и знаменитый «бич» (так здесь, на морских берегах, называют тунеядцев) из Петровского порта по кличке Корень. Я их отшил. Весь вечер я заливал ей про Румынию: какой в Трансильвании виноград, и какой скачок там сделала текстильная промышленность, и про писателя Михаила Садовяну. Потом я провожал ее в автобусе в эти знаменитые Шлакоблоки и смотрел искоса на ее профиль, и мне было грустно опять, а иногда я злился, когда она тоненько так улыбалась. Уж не знаю, из-за

чего она здесь осталась — может быть, из-за трудового пульса страны, но ей, видно, было не очень противно смотреть, как все мужики, весь автобус, сворачивают себе шеи из-за нее.

Возле барака я ее обжал. Ну, для порядка она мне врезала пару раз по шее. Ладошки у нее стали твердыми за это время. Потом оказалось, что мне негде ночевать, и я всю ночь, как бобик, сидел на бревнах возле ее барака, а тут еще пошел мокрый снег, и я всем на смех подхватил воспаление легких. Месяц провалялся в Фосфатогорске в больнице, а потом ушел вот в эту знаменитую экспедицию под командованием «гениального ученого» Айрапета Кичекьяна.

Значит, надо было мне сделать еще одно дельце перед тем, как шмякнуться на койку и тоненько, деликатно засвистеть в две ноздри в противовес этим трем перфораторам.

Я писал Люсе, что она, конечно, может меня презирать, но должна уважать как человека, а не собаку, и, поскольку у нас уже установились товарищеские отношения, пусть все-таки ответит на мои письма и сообщит об успехах.

Я написал это письмо, вложил в конверт и задумался. Боже ты мой, мне стало страшно, что жизнь моя вдруг пойдет под откос! Боже ты мой, а что, если в мире нет ничего, кроме этого распрекрасного распадка? Боже ты мой, а вдруг все, что было раньше в моей жизни, мне только снилось, пока я спал двадцать семь лет на дне этого распадка, и вот сейчас я проснулся, и ковыряю его все это время уже третий раз, и ничего не нахожу, и так будет теперь всегда? Вдруг это какой-нибудь астероид, затерянный в «одной из весьма отдаленных галактик», и диаметр у него семьдесят три

километра, а на семьдесят четвертом километре вместо поселка Шлакоблоки пропасть, обрыв в черное космическое пространство? Такое было со мной впервые. Я испугался. Я не знал, что со мной происходит, и не мог написать адреса на конверте.

Я прильнул к нашему маленькому окошечку, размером со школьную тетрадку, и увидел, что Ленька Базаревич все еще купается в серебристых снегах. Нагишом барахтается под луной, высовывает из снега свои голубые полные ноги. Ну и парень этот Базаревич, такой чудик! Он каждый день это проделывает и ходит по морозу без шапки и в одном только тонком китайском свитере. Он называет себя «моржом» и все время агитирует нас заняться этим милым спортом. Он говорит, что во многих странах есть ассоциации «моржей», и переписывается с таким же, как и он сам, психом из Чехословакии. У них с этим чехом вроде бы дружеское соревнование и обмен опытом. К примеру, тот пишет: «Дорогой советский друг! Вчера я прыгнул в прорубь и провел под водой полчаса. Выйдя из воды и как следует обледенев, я лег на снег и провел в нем час. Превратившись таким образом в снежную бабу, я медленно покатился по берегу реки в сторону Братиславы…» Конечно, получив такое письмо, наш Леня раздевается и бежит искать прорубь, чтобы дать чеху несколько очков вперед. Я сначала пугался, честно. Идешь в палатку, метель, пурга, и вдруг видишь: на снегу распростерто полное и волосатое тело.

Базаревич встал, потянулся, потер себе снегом уши и стал надевать штаны. Я написал на конверте адрес: «Поселок Шлакоблоки. Высоковольтная улица, фибролитовый барак № 7, общежитие строителей, Кравченко Л.».

Если она не ответит мне и на это письмо, то все — вычеркну тогда ее из своей личной жизни. Дам ей понять, что на ней свет клином не сошелся, что есть на свете город Краснодар, откуда я родом и куда я поеду летом в отпуск, и вовсе она не такой уж стопроцентный идеал, как воображает о себе, есть и у нее свои недостатки.

Вошел Базаревич и, увидев на табуретке конверт, спросил:

— Написал уже?

— Да, — сказал я, — поставил точки над «и».

Базаревич сел на свою койку и стал раздеваться. Он только и делал в свободное от работы время, что раздевался и одевался.

— Тонус потрясающий, Витька, — сказал он, массируя свои бицепсы. — Слушай, — сказал он, массируя мышцы брюшного пресса, — как хоть она, твоя Люся? Твоя знаменитая Люсь-Кравченко?

— Да как тебе сказать, — ответил я, — ростом мне вот так, метр шестьдесят пять, пожалуй…

— Хороший женский рост, — кивнул он.

— Ну, здесь вот так, — показал я, — и здесь в порядке. В общем, параметры подходящие…

— Ага, — кивнул он.

— Но и не без недостатков принцесса, — с вызовом сказал я.

Базаревич вздохнул.

— А карточки у тебя нет?

— Есть, — сказал я, волнуясь. — Хочешь, покажу?

Я вытащил чемодан и достал оттуда вырезку из районной газеты. Там был снимок, на котором Люся в украинском костюме танцевала среди других девчат. И надпись гласила: «Славно трудятся и хорошо, куль-

турно отдыхают девушки-строители. На снимке выступление хореографического кружка».

— Вот эта, — показал я, — вторая слева.

Базаревич долго смотрел на снимок и вздыхал.

— Дурак ты, Витька, — наконец сказал он, — все у нее в порядке. Никаких недостатков. Полный порядок.

Он лег спать, и я выключил свой фонарик и тоже лег. В окошке был виден кусочек неба и мерцающий склон сопки. Не знаю, может, мне в детстве снились такие подернутые хрустящим и сверкающим настом сопки, во всяком случае, гора показалась мне в этот момент мешком Деда Мороза. Я понял, что не усну, снова зажег фонарик и взял журнал. Я всегда беру с собой в экспедицию какой-нибудь журнал и изучаю его от корки до корки. Прошлый раз это был журнал «Народная Румыния», а сейчас «Спортивные игры». В сотый раз, наверное, я читал статьи, разглядывал фотографии и разбирал схемы атак на ворота противника.

«Поспешность… Ошибка… Гол!»

«Как самому сделать клюшку».

«Скоро в путь и вновь в США, в Колорадо-Спрингс…»

«Как использовать численный перевес».

«Кухня Рэя Мейера».

«Японская подача».

Я, центральный нападающий Виктор Колтыга, разносторонний спортсмен и тренер не хуже Рэя Мейера из университета Де-Поль, я отправляюсь в путь и вновь в Колорадо-Спрингс, с клюшкой, сделанной своими руками… Хм… «Можно ли играть в очках?» Ага, оказывается, можно — я в специальных, сделанных своими руками очках прорываюсь вперед; короткая тактическая схема Колтыга — Понедельник — Месхи — Кол-

тыга, вратарь проявляет поспешность, потом совершает ошибку, и я забиваю гол при помощи замечательной японской подачи. И Люся Кравченко в национальном финском костюме подъезжает ко мне на коньках с букетом кубанских тюльпанов.

Разбудили нас Чудаков и Евдощук. Они, как были, в шапках и тулупах, грохотали сапогами по настилу, вытаскивали свои чемоданы и орали:

— Подъем!

— Подъем, хлопцы!

— Царствие небесное проспите, ребята!

Не понимая, что происходит, но понимая, что какое-то ЧП, мы сели на койку и уставились на этих двух безобразно орущих людей.

— Зарплату, что ли, привез, орел? — спросил Евдощука Володя.

— Фигушки, — ответил Евдощук, — зарплату строителям выдали.

В Фосфатогорске всегда так: сначала выплачивают строителям, а когда те все проедят и пропьют и деньги снова поступят в казну, тогда уж нам. Перпетуум-мобиле. Чего ж они тогда шум такой подняли, Чудаков с Евдощуком?

— Ленту, что ли, привезли? — спросил я. — Опять «Девушку с гитарой»?

— Как же, ленту, дожидайся! — ответил Чудаков.

— Компот, что ли? — спросил Базаревич.

— Мальчики! — сказал Чудаков и поднял руку.

Мы все уставились на него.

— Быстренько, мальчики, подымайтесь и вынимайте из загашников гроши. В Талый пришел «Кильдин» и привез апельсины.

— На-ка, разогни, — сказал я и протянул Чудакову согнутый палец.

— Может, ананасы? — засмеялся Володя.

— Может, бананы? — ухмыльнулся Миша.

— Может, кокосовые орехи? — грохотал Юра.

— Может, бабушкины пироги привез «Кильдин», — спросил Леня, — тепленькие еще, да? Подарочки с материка?

И тогда Евдощук снял тулуп, потом расстегнул ватник, и мы заметили, что у него под рубашкой с правой стороны вроде бы женская грудь. Мы раскрыли рты, а он запустил руку за пазуху и вынул апельсин. Это был большой, огромный апельсин, величиной с приличную детскую голову. Он был бугрист, оранжев и словно светился. Евдощук поднял его над головой и поддерживал снизу кончиками пальцев, и он висел прямо под горбылем нашей палатки, как солнце, и Евдощук, у которого, прямо скажем, матерщина не сходит с губ, улыбался, глядя на него снизу, и казался нам в эту минуту магом-волшебником, честно. Это была немая сцена, как в пьесе Николая Васильевича Гоголя «Ревизор».

Потом мы опомнились и стали любоваться апельсином. Я уверен, что никто из ребят, принадлежи ему этот апельсин, не сожрал бы его. Он ведь долго рос, и наливался солнцем где-то на юге, и сейчас был такой, как бы это сказать, законченный, что ли, и он был один, а ведь сожрать его можно за несколько секунд.

Евдощук все объяснил. Оказалось, что он добыл этот апельсин в Фосфатогорске, ему уступил его в обмен на перочинный нож вернувшийся с Талой экспедитор Парамошкин. Ну, Евдощук с Чудаковым и помчались сюда, чтобы поднять аврал.

Мы повскакали с коек и завозились, вытаскивая свои чемоданы и рюкзаки. Юра толкнул меня в спину:

— Вить, я на тебя надеюсь в смысле деньжат.

— Ты что, печку, что ли, топишь деньгами? — удивился я.

— Кончай, — сказал он, — за мной не заржавеет.

Мы вылезли из палатки и побежали в гору сообщить Кичекьяну насчет экскурсии в Талый. Бежали мы быстро, то и дело сваливаясь с протоптанной тропинки в снег.

— Значит, я на тебя надеюсь, Вить! — крикнул сзади Юра.

На площадке возле костра стоял Кичекьян и хлопал рукавицами.

— Бросьте заливать, ребята, — сказал он, — какие там апельсины! Выпить, что ли, захотелось?

Тогда мы все обернулись и посмотрели на Евдощука. Евдощук, небрежно глядя на луну и как бы томясь, расстегивал свой тулуп. Кичекьян даже заулыбался, увидев апельсин. Евдощук бросил апельсин Айрапету, и тот поймал его одной рукой.

— Марокканский, — сказал он, хлопнув по апельсину рукавицей, и бросил его Евдощуку, а тот метнул обратно. Такая у них произошла перепасовочка.

— Это вам, — сказал Евдощук, — как южному человеку.

Кичекьян поднял апельсин вверх и воскликнул:

— Да будет этот роскошный плод знамением того, что мы сегодня откроем нефть! Езжайте, ребята. Может быть, и мы туда на радостях заявимся.

Мы ничего ему на это не сказали и побежали вниз. Внизу Чудаков уже разогревал мотор. Когда едешь от нашего лагеря до Фосфатогорска и видишь сопки, соп-

ки без конца и края, и снег, и небо, и луну, и больше ничего не видишь, невольно думаешь: куда это ты попал, Витек, думал ли ты, гадал ли в детстве, что попадешь в такие края? Сколько я уже плутаю по Дальнему Востоку, а все не могу привыкнуть к пустоте, к огромным пустым пространствам. Я люблю набитые ребятами кузова машин, бараки и палатки, хоть там топор можно повесить. Потому что, когда один храпит, а другой кушает мясную тушенку, а третий рассказывает про какую-нибудь там деревню на Тамбовщине, про яблоки и пироги, а четвертый пишет письмо какой-нибудь невесте, а приемник трещит и мигает индикатор, — кажется, что вот он здесь, весь мир, и никакие нам беды не страшны, разные там атомные ужасы и стронций-90.

Чудаков гнал машину на хорошей скорости, встряхивал нас на славу. Мы стукались друг о друга и думали об апельсинах. В своей жизни я ел апельсины не один раз. В последний раз это было в Москве года три назад, в отпуске. Ничего, прилично я тогда навитаминился.

Наконец мы проехали Кривой Камень, и открылся лежащий внизу Фосфатогорск — крупнопанельные дома, веревочки уличных фонарей, узкоколейка. В центре города, голубой от лунного света, блестел каток.

Скатились мы, значит, в этот «крупный промышленный и культурный центр», в котором жителей как-никак пять тысяч человек, и Чудаков на полной скорости начал крутить по совершенно одинаковым улицам среди совершенно одинаковых четырехэтажных домов. Может, и мне придется жить в одном из этих домов, если товарищ Кравченко найдет время оторваться от своей общественной деятельности и ответить на мои

серьезные намерения. Не знаю уж, как я свой дом отыщу, если малость выпью с получки. Придется мету какую-нибудь ставить или надпись: «Жилплощадь занята. Глава семьи — Виктор Колтыга».

Вырвались мы на шоссе и жмем по нему. Здесь гладко: грейдеры поработали. Юра мечтает:

— Разрежу его, посыплю песком и съем…

— Чудак, — говорит Базаревич, — посыпать апельсины сахаром — это дурной тон.

— Витька, — обратился ко мне Миша, — а правда, что в апельсинах солнечная энергия?

— Точно, — говорю, — в каждом по три киловатта.

— Вить, так я на тебя надеюсь, — говорит Юра.

— Кончай, — говорю, — резину тянуть. Надеешься, так и молчи… Надеяться надо молча.

В это время нагоняет нас самосвал «язик», а в нем вместо грунта или там щебенки полным-полно ребят. Веселые, смеются. Самосвал идет наравне с нами, на обгон норовит.

— Эй! — кричим. — Куда, ребята, катаетесь?

— В Талый, за апельсинами!

Мы заколотили по крышке кабины: обидно было, что обогнал нас дряхлый «язик».

— Чудаков! — кричим. — Покажи класс!

Чудаков сообразил, в чем дело, и стал было показывать, но самосвал в это время вильнул, и мы увидели грейдер, весь облепленный ребятами в черных городских пальто. Через секунду и мы стали обходить грейдер, но Чудаков сбросил скорость. Ребята на грейдере сидят, как галки, синие носы трут.

— Куда, — спрашиваем, — торопитесь?

— В Талый, — говорят, — за апельсинами.

Ну, взяли мы этих парней к себе в кузов, а то ведь они на своем грейдере поспеют в Талый к одним только разговорам о том, кто больше съел. Да и ребята к тому же были знакомые, из авторемонтных мастерских.

Тогда Чудаков стал показывать класс. Мы скорчились на дне кузова и только слушали, как гудит, ревет воздух вокруг нашей машины. Смотрим, самосвал уже сзади нас. Ребята там встали, стучат по кабине.

— Приветик! — кричим мы им.

— Эй! — кричат они. — Нам-то оставьте малость!

— Все сожрем! — кричим мы.

Дорога начала уходить в гору, потом пошла по склону сопки, а мы увидели внизу, в густой синеве распадка, длинную вереницу красных огоньков, стоп-сигналов машин, идущих впереди нас на Талый.

— Похоже на то, что в Талом сегодня будет карнавал, — сказал Леня Базаревич.

На развилке главного шоссе и дороги, ведущей в зверосовхоз, стояла под фонарем плотная группа людей. Они «голосовали». Видно было, что это моряки. Чудаков притормозил, и они попрыгали в кузов. Теперь наша машина была набита битком.

— Куда, — спрашиваем, — путь держите, моряки?

— В Талый, — говорят, — за апельсинами.

Они, оказывается, мчались из Петровского порта на попутных. Это был экипаж сейнера «Зюйд» в полном составе, за исключением вахтенного. Смотрю, а среди них сидит тот самый парнишка, который на танцах приударял за Люсей. Сидит, мичманку на уши надвинул, воротник поднял, печальный такой паренек.

— О, — говорю, — Гера! Привет!

— А, — говорит, — здорово, Витя!

— Ну, как, — спрашиваю, — рыбка ловится?

— В порядке, — отвечает.

Так, значит, перекинулись, вроде мы с ним добрые знакомые, не то что дружки, а так.

Едем мы, мчимся, Чудаков класс показывает, обгоняем разную самодвигающуюся технику: машины, бортовые и «ГАЗ-69», тракторы с прицепами, грейдеры, бульдозеры, мотоциклы. Черт, видно, вся техника в радиусе ста километров поставлена на ноги! Господи ты Боже, смотрим: собачья упряжка шпарит по обочине! Одна, другая… Нанайцы, значит, тоже решили повитаминиться.

Сидим мы, покуриваем. Я ребятам рассказываю все, что знаю про цитрусовые культуры, и иногда на Геру посматриваю. И он тоже на меня нет-нет да взглянет.

Тут я увидел, что нас нагоняет мотоцикл с коляской, а за рулем Сергей Орлов, весь в коже, и в очках, и в мотоциклетном шлеме. Сидит прямо, руки в крагах расставил, как какой-нибудь гвардейский эскорт. Сзади, вижу, сидит бородатый парень — ага, Николай Калчанов. А в коляске у них девушка, тоже в мотоциклетных очках. Это парни из Фосфатогорска, интеллектуалы, а вот девчонка что-то незнакомая.

Взяли они на обгон, идут с нами вровень.

— Привет, Сережа! — крикнул я им. — Ник, здорово!

— А, Витя, — сказали они, — ты тоже за марокканской картошкой спешишь?

— Точно, — говорю. — Угадали.

— Закурить есть? — спрашивает Калчанов.

Я бросил ему пачку, а он сразу сунул ее девчонке в коляску. Смотрю, девчонка спрятала голову за щиток и закуривает за щитком. Тут я ее узнал — это была Катя, жена нашего Айрапета Кичекьяна, учительница из Фосфатки. Катя закурила, помахала мне рукавицей и

улыбнулась, показала все-таки свои зубки. Когда они с мужем приехали к нам с материка, самого Айрапета никто не замечал — так была красива его жена. Такая блондинка, прямо Барбара Квятковская из журнала «Экран». Тоже паника у нас тогда началась, вроде как сейчас, с апельсинами. Все норовили съездить в Фосфатогорск посмотреть на нее. Ну, потом привыкли.

Зверь, а не машина у Орлова! Он легко обогнал нас и стал уходить. Чудаков пытался его достать, но дудки. Мы их догнали на семьдесят третьем километре, они вытаскивали машину из кювета. Коля Калчанов хромал, а Катя, смеясь, рассказывала, как она вылетела из коляски, пролетела в воздухе метров десять — нет, двадцать, ну, не двадцать, а пятнадцать, в общем, метров пять она летела, ну ладно, пять — и зарылась головой в снег. Орлов в своем шлеме и по пояс в снегу выглядел прямо молодцом. Мы помогли им вытащить машину, и они поехали теперь уже потише, держась за нами.

В общем, дорога была веселая, все шоссе грохотало десятками двигателей, а перед самыми Шлакоблоками мы встретили рейсовый автобус Талый — Фосфатогорск, из которого какой-то типчик бросил нам в кузов горсть оранжевой апельсиновой кожуры.

На большой скорости мы ворвались в Шлакоблоки, домики замелькали в глазах, я растерялся и даже не мог определить, в какой стороне Люсин барак, и понял, что через несколько секунд он уже останется сзади, этот поселочек, моя столица, как вдруг Чудаков затормозил. Я увидел Люсин барак, чуть ли не по крышу спрятанный в снег, и белый дым из трубы. Чудаков вышел из кабины и спросил меня:

— Зайдешь?

Я посмотрел на Геру. Он смотрел на меня. Я выпрыгнул из машины и зашагал к бараку.

— Только по-быстрому! — крикнул мне вслед Чудаков.

Я услышал за спиной, как ребята попрыгали из машины. Вовремя, значит, произошла остановка.

Небрежно, как бы мимоходом, я зашел в комнату и увидел, что она пуста. Все десять коек были аккуратно застелены, как это всегда бывает у девчат, а в углу на веревке сушилась разная там голубая и розовая мелочишка, которую я предпочел не разглядывать. Вот записки на столе я просмотрел.

«Шура, мы уехали в Талый. Роза», — прочел я.

«Игорь, мы уехали за апельсинами. Нина», — прочел я.

«Слава, продай билеты и приезжай в Талый. И.Р.», — прочел я.

«Эдик, я уехала в Талый за апельсинами. Извини. Люся», — прочел я.

«Какой же это Эдик? — подумал я. — Уж не Танака ли? Тогда мне хана».

Да, попробуй потягаться с таким орлом, как Эдуард Танака, чемпион Дальневосточной зоны по лыжному двоеборью — трамплин и равнина.

Я вынул свое письмо, положил его на стол и вышел. В дверях столкнулся с Герой.

— Ну, как там девчата? — промямлил он.

— Уехали в Талый, — сказал я. — Небось уже рубают апельсинчики.

Мы вместе пошли к машине.

— Ты, случаем, не знаком с Танакой? — спросил я.

— Это чемпион, что ли?

— Ага.

— Нет, не знаком. Видел только, как он прыгает. В кино.

— Он и не в кино здорово прыгает.

— Ага, хорошо прыгает.

Снег возле машины был весь разукрашен желтыми затейливыми узорами. Мы влезли в кузов и поехали дальше.

2. Николай Калчанов

На комсомольском собрании мне предложили сбрить бороду. Собрание было людное, несмотря на то что сегодня в тресте выдавали зарплату. Все знали, что речь будет идти о моей бороде, и каждый хотел принять участие в обсуждении этой жгучей проблемы или хотя бы посмеяться.

Ну, для порядка поговорили сначала о культурно-массовой и спортивной работе, а потом перешли к кардинальному вопросу повестки дня, который значился в протоколе под рубрикой «О внешнем виде комсомольца».

Ерофейцев сделал сообщение. Он говорил, что большинство комсомольцев в свободное от работы время имеет чистый, опрятный и подтянутый вид, однако (но… наряду с этим… к сожалению, следует заметить…) имеются еще комсомольцы, пренебрегающие… и к ним следует отнести молодого специалиста инженера Калчанова.

— Я понимаю, — сказал Ерофейцев, — если бы Коля — ты меня, Коля, прости (я покивал), — если бы он был геологом и зарос, так сказать, естественным порядком (смех), но ты, Коля, прости, ты даже не художник

какой-нибудь, и, извини, это пижонство, а у нас здесь не Москва и не Ленинград.

В зале начался шум. Ребята с моего участка кричали, что борода — это личное дело мастера и уж не будет ли Ерофейцев контролировать, кто как разными такими личными делами занимается, что это, дескать, зажим и все такое. Другие кричали другое. Особенно старались девушки из Шлакоблоков. Одна из них была определенно недурна. Она заявила, что внешний облик человека свидетельствует как-никак о его внутреннем мире. Такая, грубо говоря, смугляночка. Тип Сильваны Пампанини. Я подмигнул ей, и она встала и добавила мысль о том, что дурные примеры заразительны.

Проголосовали. Большинство было против бороды.

— Хорошо, сбрею, — сказал я.

— Может, хочешь что-нибудь сказать, Коля? — спросил Ерофейцев.

— Да нет уж, чего уж, — сказал я. — Решено, значит, так. Чего уж там…

Такую я произнес речь. Публика была разочарована.

— Мы ведь тебя не принуждаем, — сказал Ерофейцев. — Мы не приказываем, тут некоторые неправильно поняли, не осмыслили. Мы тебя знаем, ты хороший специалист и в быту, в общем, устойчив. Мы тебе ведь просто рекомендуем…

Он разговаривал со мной, как с больным.

Я встал и сказал:

— Да ладно уж, чего там. Сказано — сделано. Сбрею. Считайте, что ее уже нет. Была и сплыла.

На том и закончилось собрание.

В коридоре я встретил Сергея. Он шел с рулоном чертежей под мышкой. Я прислонился к стене и смо-

трел, как он идет, высокий, чуть-чуть отяжелевший за эти три года после института, элегантный, как какой-нибудь гид с французской выставки.

— Ну что, барбудос, плохи твои дела? — спросил он.

Вот это в нем сохранилось — дружеское, но немного снисходительное отношение старшекурсника к салаге.

Я подтянулся.

— Не то чтобы так, начальник, — сказал я. — Не то чтобы очень.

— Это тебе не кафе «Аэлита», — тепло усмехнулся он.

— Точно, начальник. Верно подмечено.

— А жалко? Сознайся, — подмигнул он и дернул меня за бородку.

— Да нет уж, чего уж, — засмущался я. — Ладно уж, чего там…

— Хватит-хватит, — засмеялся он. — Завелся. Вечером придешь?

— Очень даже охотно, — сказал я, — с нашим удовольствием.

— У нас сейчас совещание. — Он показал глазами на чертежи. — Говорильня минут на сорок — на час…

— Понятно, начальник, мы это дело понимаем, со всем уважением…

Он улыбнулся, хлопнул меня чертежами по голове и пошел дальше.

— Спроси его насчет цемента, мастер, — сказал мне мой тезка Коля Марков, бригадир.

Сергей обернулся уже в дверях директорского кабинета.

— А что с цементом? — невинно спросил он.

— Без ножа ведь режете, гады! — крикнул я с маленькой ноткой истерии.

За спиной Сергея мелькнуло испуганное лицо директорской секретарши.

— Завтра подбросим, — сказал Сергей и открыл дверь.

Я вышел из треста и посмотрел на огромные сопки, нависшие над нашим городом. Из-за одной сопки выглядывал краешек луны, и редкие деревья на вершине были отчетливо видны, каждое деревце в отдельности. Я зашел за угол здания, где не было никого, и стал смотреть, как луна поднимается над сопкой, довольно быстро, надо сказать, и как на сопки и на распадки ложатся резкие темно-синие тени и серебристо-голубые полосы света, и как получается Рокуэлл Кент. Я подумал о том, на сколько сотен километров к северу идет этот потрясающий рельеф и как там мало людей, да и зверей немного, и как на какой-нибудь метеостанции сидят двое и топят печь, два человека, которые никогда не надоедают друг другу.

За углом здания был топот и шум. Кто-то сговаривался насчет «выпить-закусить», кто-то заводил мотоцикл, смеялись девушки.

Из-за угла вышла группа девиц, казавшихся очень неуклюжими и бесформенными в тулупах и валенках, и направилась к автобусной остановке. Это были девицы из Шлакоблоков. Они прошли мимо, стрекоча, но одна обернулась и заметила меня.

Она вздрогнула и остановилась. Представляю, как я выглядел один на фоне белой, освещенной луной стены.

Она подошла и остановилась в нескольких шагах от меня. Это была та самая Сильвана Пампанини. Некоторое время мы молча смотрели друг на друга.

— Ну, чего это вы так стоите? — дрогнувшим голосом спросила она.

— Значит, из Шлакоблоков? — спросил я, не двигаясь.

— Переживаете, да? — уже другим тоном, насмешливо спросила она.

— А звать-то как? — спросил я.

— Ну, Люся, — сказала она, — но ведь критика была по существу.

— Законно, — сказал я. — Пошли в кино?

Она облегченно засмеялась:

— Сначала побрейтесь, а потом приглашайте. Ой, автобус!

И побежала прочь, неуклюже переваливаясь в своих больших валенках. Даже нельзя было представить, глядя на нее в этот момент, что у нее фигура Дианы. Высунулась еще раз из-за киоска и посмотрела на Николая Калчанова, от которого на стену падала огромная и уродливая тень.

Я вышел из-за угла и пошел в сторону фосфатогорского «Бродвея», где светились четыре наши знаменитые неоновые вывески: «Гастроном», «Кино», «Ресторан», «Книги» — предметы нашей всеобщей гордости. Городишко у нас гонористый, из кожи вон лезет, чтобы все было как у больших. Даже есть такси — семь машин.

Я прошел мимо кино. Шла картина «Мать Иоанна от ангелов», которую я уже смотрел два раза, позавчера и вчера. Прошел мимо ресторана, в котором было битком. Из-за шторы виднелась картина Айвазовского «Девятый вал» в богатой раме, а под ней голова барабанщика, сахалинского корейца Пак Дон Хи. Я остановился посмотреть на него. Он сиял. Я понял, что оркестр играет что-то громкое. Когда они играют что-

нибудь громкое и быстрое, например «Вишневый сад», Пак сияет, а когда что-нибудь тихое, вроде «Степь да степь кругом», он сникает — не любит он играть тихое. В этот раз Пак сиял, как луна. Я понял, что ему дали соло. И он сейчас руками и ногами выколачивает свой чудовищный брек, а ребята из нашего треста смотрят на него, раскрыв рты, толкают друг друга локтями и показывают большие пальцы. Нельзя сказать, что джаз в нашем ресторане старомодный, как нельзя сказать, что он моден, как нельзя подвести его ни под какую классификацию. Это совершенно самобытный коллектив. Лихие ребята. Просто диву даешься, когда они с неслыханным нахальством встают один за другим и солируют, а потом как грянут все вместе — хоть стой, хоть падай.

Насмотревшись на Пака и порадовавшись за него, я пошел дальше. У меня немного болело горло, видно, простудился сегодня на участке, когда лаялся с подсобниками.

В «Гастрономе» было полно народу. Наш трест штурмовал прилавки, а шахтеры, авторемонтники и геологи стреляли у наших трешки и пятерки. Дело в том, что нам сегодня выдали зарплату, а до других еще очередь не дошла.

У меня тоже стрельнул пятерку один знакомый парень. Шофер из партии Айрапета.

— За мной не заржавеет, — сказал он.

— Как там ваши? — спросил я.

— Все возятся, да толку мало.

— Привет Айрапету, — сказал я.

— Ага.

Он врезался в толпу, и я полез за ним.

«Подольше бы вы там чикались!» — подумал я.

Я люблю Айрапета и желаю ему удачи, но у меня просто нет сил смотреть на него и на Катю, когда они вместе.

Я взял две бутылки «Чечено-ингушского» и килограмм конфет под аппетитным названием «Зоологические». Засунул все это в карманы куртки и вышел на улицу.

«Бродвей» наш упирается в сопку, в заросли кустарника, над которыми круто поднимается прозрачный лес — черные стволы, синие тени, серебристо-голубые пятна света. Ветви деревьев переплелись. Все резко, страшновато. Я понимаю, почему графики любят рисовать деревья без листьев. Деревья без листьев — это вернее, чем с листьями.

А за спиной у меня была обыкновенная добропорядочная улица с четырьмя неоновыми вывесками, похожая на обыкновенную улицу в пригороде Москвы или Ленинграда, и трудно было поверить, что там, за сопкой, город не продолжается, что там уже на тысячи километров к северу нет крупноблочных домов и неоновых вывесок, что там необозримое, предельно выверенное и точное царство, где уж если нечего есть, так нечего есть, где уж если ты один, так один, где уж если тебе конец, так конец. Плохо там быть одному.

Я постоял немного на грани этих двух царств, повернул налево и подошел к своему дому. Наш дом последний в ряду и всегда будет последним, потому что дальше — сопка. Или первым, если считать отсюда.

Стаськи дома не было. Я поставил коньяк на стол, поел баклажанной икры и включил радио.

— В Турции непрерывно растет стоимость жизни, — сказало радио.

Это я слышал еще утром. Это была первая фраза, которую я услышал сегодня утром, а потом Стаська сказал:

— Куда эта бородатая сволочь спрятала мои гантели?

Он почти всегда так «нежно» меня величает, только когда не в духе, говорит «Коля», а если уж разозлится, то — «Николай».

Не люблю приходить домой, когда Стасика нет. Да, он очень шумный и рубашки носит на две стороны, удлиняет, так сказать, срок годности, а по ночам он жует пряники, запивая водопроводной водой, и чавкает, чавкает так, что я закрываюсь одеялом с головой и тихо, неслышно пою: «Га-а-дина, свинья-я, подавись ты своим пря-я-ником…» Но зато, если бы он сейчас был дома, он отбросил бы книжку и спросил: «Откуда заявилась эта бородатая сволочь?» А я ответил бы: «С комсомольского собрания».

А когда мы выпьем, я говорю с ним о Кате.

Я встал и плотно прикрыл скрипучие дверцы шкафа, придвинул еще стул, чтобы не открывались. Не люблю, когда дверцы шкафа открыты, и прямо весь содрогаюсь, когда они вдруг открываются сами по себе с тихим, щемящим сердце скрипом. Появляется странное ощущение: как будто из шкафа может вдруг выглянуть какая-нибудь рожа или просто случится что-нибудь нехорошее.

Я взял свой проект и расстелил на столе, приколол кнопками. Закурил и отошел немного от стола. Он лежал передо мной, будущий центр Фосфатогорска, стеклянный и стальной, гармоничный и неожиданный. Простите, но когда-то наступает пора, когда ты сам можешь судить о своей работе. Тебе могут говорить раз-

ное, умное, и глупое, и середка-наполовинку, но ты уже сам стоишь как столб и молчишь — сам знаешь.

Конечно, это не мое дело. Я мастер. В конце концов, я кончил всего только строительный институт. Мое дело — наряды, цемент, бетономешалка. Мое дело — сизый нос и щеки свекольного цвета, мое дело — «мастер, скинемся на полбанки», и, значит, туда, внутрь — «давай-давай, не обижу, ребята, фирма платит».

Мое дело — находить общий язык. Привет, мое дело — это мое дело. Мое дело — стоять как столб у стола, курить, и хвалить себя, и знать, что действительно добился успеха.

Я размазня, я никогда не показываю своей работы, даже Сергею. Все это потому, что я не хочу лезть вверх. Вот если бы мой проект приняли, а меня бы за это понизили в должности и начались бы всякие мытарства, тогда мне было бы спокойно. Я не могу, органически не могу лезть вверх. Ведь каждый будет смотреть на твою рожу и думать: «Ну, пошел парень, в гору идет!» Только Стаська и знает про эту штуку, больше никто, даже Катя.

Со мной дело плохо обстоит, уважаемый товарищ. Я влюблен. Чего там темнить — я влюблен в жену моего друга Айрапета Кичекьяна. Глупо, правда?

Я взял бутылку, двумя ударами по донышку выбил пробку и пару раз глотнул. Наверху завели радиолу.

«Купите фиалки, — пел женский голос, — вот фиалки лесные».

Вот фиалки лесные, и ты вся в лесных фиалках, лицо твое в лесных фиалках, а ножками ты мнешь ягоды. Босыми. Землянику.

Я выпил еще и повалился на кровать. Открыл тумбочку и достал письма, наспех просмотренные утром.

Мать у меня снова вышла замуж, на этот раз за режиссера. Инка все еще меня любит. Олег напечатался в альманахе, сообщает Пенкин. Сигареты с фильтром он мне вышлет на днях. «Старая шляпа, ты еще не сдох?» — спрашивает сам Олег, и дальше набор совершенно незаслуженных оскорблений.

Я бросил письма обратно в тумбочку и встал. Увидел свое лицо в зеркале. Сейчас, что ли, ее сбрить? А как ее брить, небось щеки все раздерешь. Я растянул себе уши и подмигнул тому, в зеркале.

— Калчанов, — сказал я. — Подонок.

— Хе-хе, — ответил тот.

— Катишься ведь по наклонной плоскости, — я его.

— Хе-хе, — ответил он и ухмыльнулся самой скверной из своих улыбок.

— Люблю тебя, подлеца, — сказал я ему.

Он потупился.

В это время постучали. Я открыл дверь, и мимо меня прямо в комнату прошла румяная Катя.

Она сняла свою парку и бросила ее на Стаськину постель. Потом подошла к зеркалу и стала причесываться. Конечно, начесала себе волосы на лоб так, что они почти закрывали правый глаз. Она была в толстой вязаной кофте и синих джинсиках, а на ногах, как у всех нас, огромные ботинки.

— Ага, — сказала она, заметив в зеркале бутылку, — пьешь в одиночку? Плохой симптом.

Я бросил ее парку со Стаськиной кровати на свою и подошел поближе. Мне нужно было убрать со стола проект, но я почему-то не сделал этого, просто заслонил его спиной.

Катя ходила по комнате и перетряхивала книги и разные вещи.

— Что читаешь? «Особняк»? Правда, здорово? Я ничего не поняла.

— Коньяк хороший? Можно попробовать?

— Это Стаськины гантели? Ого!

Не знаю, что ее занесло ко мне, не знаю, нервничала она или веселилась. Я смотрел, как она ходит по нашей убогой комнате, все еще румяная, тоненькая, и вспоминал из Блока: «Она пришла с мороза, раскрасневшаяся, и наполнила комнату…» Как там дальше? Потом она села на мою кровать и стала смотреть на меня. Сначала она улыбалась мне дружески-насмешливо, как улыбается мне Сергей Орлов, потом просто по-дружески, как ее муж Айрапет, потом как-то встревоженно, потом перестала улыбаться и смотрела на меня исподлобья.

А я смотрел на нее и думал: «Боже мой, как жалко, что я узнал ее только сейчас, что мы не жили в одном доме и не дружили семьями, что я не приглашал ее на каток и не предлагал ей дружбу, что мы не были вместе в пионерском лагере, что не я первый поцеловал ее и первые тревоги, связанные с близостью, она разделила не со мной».

Весь оборот этого дела был для меня странен, немыслим, потому что она всегда, в общем, была со мной. Еще тогда, когда я вечером цепенел на площадке в пионерском лагере, глядя на темную стену леса, словно вырезанную из жести, и на зеленое небо и первую звезду… Мы пели песню:

В стране далекой юга,
Там, где не свищет вьюга,
Жил-был когда-то
Джон Грэй богатый…
Джон был силач, повеса…

Я был еще, в общем, удивительным сопляком и не понимал, что такое повеса. Я пел: «Джон был силач по весу…» Такой был смешной мальчишка. А еще мы пели «У юнги Билла стиснутые зубы», и «В кейптаунском порту», и романтика этих смешных песенок безотказно действовала на наши сердца. И романтика эта была ею, Катей, которую я не знал тогда; а узнал только здесь. Катя, да, это бесконечная романтика, это самая ранняя юность, это… Ах ты, Боже мой, это: Да-да-да. Это всегда «да» и никогда «нет». И она это знает, и она пришла сюда, чтобы сказать мне «да», потому что она почувствовала, кто она такая для меня.

— Хоть бы вы абажур какой-нибудь купили на лампочку, — сказала она тревожно.

— А, абажур, — сказал я и посмотрел на лампочку, которая свисала с потолка на длинном шнурке и висела в комнате на уровне груди. Когда нам надо было работать за столом, мы ее подвязывали к форточке.

— Правда, Колька, вы бы хоть окна чем-нибудь завесили, — посмелее сказала она.

— А, окна! — Я бессмысленно посмотрел на темные голые окна, потом посмотрел Кате прямо в глаза. В глазах у нее появился страх, они стали темными и голыми, как окна. Я шагнул к ней и задел плечом лампочку. Катя быстро встала с кровати.

— Купили бы приемник, — пробормотала она, — все-таки надо жить по-челове…

Лампочка раскачивалась, и тени наши метались по стенам и по потолку, огромные и странные. Мы стояли и смотрели друг на друга. Нас разделял метр.

— Хорошо бы еще цветы, а? — пробормотал я. — А? Цветы бы еще сюда, ты не находишь? Бумажные, огромные…

— Бумажные — на похоронах, — прошептала она.

— Ну да, — сказал я. — Бумажных не надо. Лесные фиалки, да? Вот фиалки лесные. Считай, что они здесь. Вся комната полна ими. Считай, что это так.

Я поймал лампочку и, обжигая пальцы, вывернул ее. Несколько секунд в кромешной темноте прыгали и расплывались передо мной десятки ламп, и тени качались на стене. Потом темнота успокоилась. Потом появились синие окна и темная Катина фигура. Потом кофта ее выступила бледным пятном, и я увидел ее глаза. Я шагнул к ней и обнял ее.

— Нет, — отчаянно вырываясь, сказала она.

— Это неправильно, — шептал я, целуя ее волосы, щеки, шею, — это не по правилам. Твой девиз — «да». Мне ты должна говорить только «да». Ты же это знаешь.

Она сильно, резко отворачивала свое лицо. Она вся стала в моих руках сильной, твердой, упругой, уходящей. Мне казалось, что я ошибся, что я поймал в темноте какое-то лесное животное, козу или лань.

— Калчанов, ты подонок! — крикнула она, и я ее тут же отпустил. Я понял, что она имела в виду.

— Да-да, я подонок, — пробормотал я. — Я все понимаю. Как же, конечно… Прости…

Она не отошла от меня. Глаза ее блестели. Она положила мне руку на плечо:

— Нет, Колька, ты не понимаешь… ты не подонок…

— Не подонок, правильно, — сказал я, — сорванец. Колька-удалец, голубоглазый сорванец, прекрасный друг моих забав… Отодрать его за уши…

— Ах! — прошептала она и вдруг прижалась ко мне, прильнула, прилепилась, обхватила мою голову, и была она вовсе не сильной, совершенно беспомощной и в то же время властной.

Вдруг она отшатнулась и, упираясь руками мне в грудь, прошептала таким голосом, словно плакала без перерыва несколько часов:

— Где ты раньше был, Колька? Где ты был год назад, черт?

В это время хлопнула дверь и в комнату кто-то вошел, споткнулся обо что-то, чертыхнулся. Это был Стаська. Он зажег спичку, и я увидел его лицо с открытым ртом. Он смотрел прямо на нас. Спичка погасла.

— Опять эта бородатая уродина куда-то смылась, — сказал Стаська и, громко стуча каблуками, вышел из комнаты.

— Зажги свет, — тихо сказала Катя.

Она села на кровать и стала поправлять прическу. Я пошел и долго искал лампочку, почему-то не находил. Потом нашел, взял ее в ладони. Она была еще теплой.

«Да, — подумал я. — Катя, Катя, Катя! Нет, несмотря ни на что, невзирая и не озираясь, и какое бы у тебя ни было лицо, когда я зажгу свет…»

— Что ты стоишь? — спокойно сказала она. — Вверни лампочку.

Лицо у нее было спокойное и ироническое. Она вдруг посмотрела на меня искоса и снизу так, как будто влюбилась в меня с этого, как бы первого взгляда, как будто я какой-нибудь ковбой и только что с дороги вошел сюда в пыльных сапогах, загорелый, видавший виды.

— Катя, — сказал я, но она уже надевала парку.

Она подняла капюшон, задернула «молнию», надела перчатки и вдруг увидела проект.

— Что это?! — воскликнула она. — Ой, как здорово!

— Катя, — сказал я. — Ну хорошо… Ну Боже мой… Ну что же дальше?

Но она рассмотрела проект.

— Какой дом! — воскликнула она. — Потрясающе!

Я ненавидел свой проект.

— Топ-топ-топ, — засмеялась она. — Это я иду по лестнице…

— Там будет лифт, — сказал я.

— Это твоя работа? — спросила она.

— Нет, это Корбюзье.

Я закурил и сел на кровать.

— Послушай, — сказал я. — Ну хорошо… Я не могу говорить. Иди ко мне.

— Перестань! — резко сказала она и подошла к двери. — Ты что, с ума сошел? Не сходи с ума!

— Для тебя у меня нет ума, — сказал я.

— Ты идешь к Сергею? — спросила она.

— Я иду к Сергею, — сказал я.

— Ну? — И она вдруг опять, опять так на меня посмотрела.

— Считаю до трех, Колька, — по-дружески засмеялась она.

— Считай до нуля, — сказал я и встал.

«Ну хорошо, разыграем еще один вечер, — думал я. — Еще один фарс. Поиграем в «дочки-матери», прекрасно. Какая ты жалкая, ведь ты же знаешь, что наш пароль — «да»!»

Мы вышли из дому. Она взяла меня под руку. Она ничего не говорила и смотрела себе под ноги. Я тоже молчал. Скрипел снег, и булькал коньяк у меня в карманах.

На углу главной улицы мы увидели Стаську. Он стоял, покачиваясь с пятки на носок, и читал газету, на-

клеенную прямо на стену. В руках у него был его докторский чемоданчик.

— Привет, ребята, — сказал он, заметив нас, и ткнул пальцем в газету. — Как тебе нравится Фишер? Силен, бродяга!

— Ты с вызовов, да? — спросил я его.

— Да, по вызовам ходил, — ответил он, глядя в сторону. — Одна скарлатина, три катара, обострение язвы…

— Пошли к Сергею?

— Пошли.

Он взял Катю под руку с другой стороны, и мы пошли втроем. С минуту мы шли молча, и я чувствовал, как дрожит Катина рука. Потом Катя заговорила со Стаськой. Я слушал, как они болтают, и окончательно уже терял все нити, и меня заполняла похожая на изжогу, на сильное похмелье пустота.

— Просто не представляю себе, что ты врач, — как сто раз раньше, посмеивалась над Стасиком Катя. — Я бы к тебе не пошла лечиться.

— Тебе у психиатра надо лечиться, а не у меня, — как всегда, отшучивался Стаська.

Мы вошли в дом Сергея и стали подниматься по лестнице. Стаська пошел впереди и обогнал нас на целый марш. Катя остановилась, обняла меня за шею и прижалась щекой к моей бороде.

— Коленька, — прошептала она, — мне так тошно. Сегодня у меня был Чудаков, и я послала с ним Айрапету белье и варенье. Ты понимаешь, я…

Я молчал. Проклятое косноязычие! Я мог бы ей сказать, что всю мою нежность к ней, всю жестокость, которую я могу себе позволить, я отдаю в ее распоряжение, что все удары я готов принять на себя, если бы это было возможно. Да, я знаю, что все будет распре-

делено поровну, но пусть она свою долю попробует отдать мне, если может…

— Мне никогда не было так тяжело, — прошептала она. — Я даже не думала, что так может быть.

Наверху открылась дверь, послышались громкие голоса Сергея и Стаськи и голос Гарри Беллафонте из магнитофона. Он пел «Когда святые маршируют».

— Катя! — крикнул Сергей. — Коля! Все наверх!

Она поспешно вытирала глаза.

— Пойдем, — сказал я. — Я тебя сейчас развеселю.

— Развеселишь, правда? — улыбнулась она.

— Ты слышишь Беллафонте? — спросил я. — Сейчас мы с ним вдвоем возьмемся за дело.

Мы побежали вверх по лестнице и ворвались в прекрасную квартиру заместителя главного инженера треста Сергея Юрьевича Орлова. Я сразу прошел в комнату и грохнул на стол свои бутылки. Я привык вести себя в этой квартире немного по-хамски, наследить, например, своими огромными ботинками, развалиться в кресле и вытянуть ноги, шумно сморкаться. Вот и сейчас я прошагал по навощенному, не типовому, а индивидуальному паркету, прибавил громкости в магнитофоне и стал выкаблучивать. С ботинок у меня слетали ошметки снега. Стасик не обращал на меня внимания. Он сидел в кресле возле журнального столика и просматривал прессу. Катя и Сергей что-то задержались в передней. Я заглянул туда. Они стояли очень близко друг к другу. Сергей держал в руках Катину парку.

— Ты плакала? — строго спросил он.

— Нет. — Она покачала головой и увидела меня. — Отчего мне плакать?

Сергей обернулся и внимательно посмотрел на меня.

— Пошли, ребята, выпьем! — сказал я.

Они вошли в комнату. Сергей увидел коньяк и сказал:

— Опять «Чечено-ингушский»? Похоже на то, что Дальний Восток становится филиалом Чечено-Ингушетии.

— Не забывают нас братья из возрожденной республики, — сказал я.

Сергей принес рюмки и разлил коньяк, потом опять ушел и вернулся с тремя бутылками нарзана. Скромно поставил их на стол.

— Господи, нарзан! — воскликнула Катя. — Где ты только это все достаешь?

— Не забывают добрые люди, — усмехнулся Сергей.

— Да у него и сигареты московские и самые дефицитные книжки. Устроил же себе человек уголок цивилизации! — Стаська выпил рюмку и сосредоточенно углубился в себя. — Идет, — сказал он, — пошел по пищеводу.

Это он о коньяке.

— Ты смотрела «Мать Иоанну»? — спросил Катю Сергей.

— Два раза, — сказала Катя, — вчера и позавчера.

— А ты? — повернулся ко мне Сергей.

— Мы вместе с Катей смотрели, — сказал я.

— Вот как? — Он опять внимательно посмотрел на меня. — Ну и что? Как Люцина Виницка?

— Потрясающе, — сказала Катя.

— Прошел в желудок, — меланхолически заметил Стасик.

— Вообще поляки работают без дураков…

— Да, кино у них сейчас…

— Я смотрел один фильм…

— Там есть такой момент…

— Всасывается, — сказал Стасик, — всасывается в стенки желудка.

— Помнишь колокола? Беззвучно…

— И женский плач…

— Масса находок…

— Неореализм трещит по швам…

— Но итальянцы…

— Если вспомнить «Сладкую жизнь»…

— А в крови-то, в крови, — ахнул Стаська, — Господи, в крови-то у меня что творится!

Так мы сидели и занимались своими обычными разговорчиками. Мы всегда собирались у Сергея. Здесь как-то все располагало к таким разговорам, но в последнее время эти сборища стали напоминать какую-то обязательную гимнастику для языка, и в этой болтовне появилась какая-то фальшь, так же как во всей обстановке, в модернистских гравюрах на стене. Все это, по-моему, уже чувствовали.

Я смотрел на Катю. Она печально смеялась и курила. Мне бы с ней быть не здесь, а где-нибудь на метеостанции. Топить печь.

— Может, тебе не стоит столько курить? — сказал ей Сергей.

И только в музыке не было фальши, в металлических звуках, в резком полубабьем голосе Пола Анка. Я вскочил:

— Катюша! Катька! Пойдем танцевать?

Катя побежала ко мне, грохоча ботинками.

— «Они ушли чуть свет, сегодня с ними Кэт»! — закричал я, подлаживаясь под Анка.

— Ну как же я буду танцевать в этих чеботах? — растерянно улыбнулась Катя.

— Одну минуточку, — сказал Сергей и полез под тахту.

Я выкаблучивал, как безумный, и вдруг увидел, что он вытаскивает из-под тахты лучшие Катины туфельки. Он встал с туфельками в руках и посмотрел на Катю. Он держал туфельки как-то по-особенному и смотрел на Катю с каким-то новым, удивившим меня, дурацки-печальным выражением.

Катя насмешливо улыбнулась ему и выхватила туфельки.

Да, мы танцевали. Я показал, на что я способен.

— Ну, даешь, бородатая бестия! — кричал Стасик и хлопал в ладоши.

— Осторожно, Колька! — кричал Сергей, тоже хлопая.

Я крутил Катю и подбрасывал ее, мне это было легко, у меня хорошие мускулы, и чувство ритма, и злости достаточно. И танец был немыслим и фальшив, потому что не так мне надо с ней танцевать.

Когда кончилась эта свистопляска, мы с Катей упали на тахту. Мы лежали рядом и шумно дышали.

— Скоро мне уже нельзя будет танцевать такие танцы, — тихо сказала она.

— Почему? — удивился я, чувствуя приближение чего-то недоброго.

— Я беременна, — сказала Катя. — Начало второго месяца… — Мне показалось, что я сейчас задохнусь, что тахта поехала из-под меня и я уже качаюсь на одной спице и вот-вот сорвусь. — Да, — прошептала она, — вот видишь… Все и еще это. — И она погладила меня по голове, а я взял ее за руку.

Мы не обращали внимания на то, что на нас смотрят Сергей и Стаська. «Так и жизнь пройдет, как прош-

ли Азорские острова, так и жизнь пройдет»… — вертелось у меня в голове.

— Ну, будь веселым, — сказала Катя, — давай, весели меня.

— Давай повеселю, — сказал я.

Мы снова начали танцевать, но уже не так, да и музыка была другая.

В это время раздался звонок. Сергей пошел открывать и вернулся с Эдиком Танакой. Эдик весь заиндевел, видно, долго болтался по морозу.

— Танцуете? — угрожающе сказал он. — Танцуйте, танцуйте. Так вы все на свете протанцуете.

Катя заулыбалась, глядя на Танаку, и у меня почему-то немного отлегло от души с его приходом. Он всегда заявлялся из какого-то особого, спортивного, крепкого мира. Он был очень забавный, коренастый, ладненький такой, с горячими коричневыми глазами. Отец у него японец. Наш простой советский японец, а сам Эдик — чемпион по лыжному двоеборью.

— А ну-ка, смотрите сюда, ребятки! — закричал он и вдруг выхватил из-за пазухи что-то круглое и оранжевое.

Он выхватил это, как бомбу, размахнулся в нас, но не бросил, а поднял над головой. Это был апельсин.

Катя всплеснула руками. Стаська замер с открытым ртом, прервав наблюдения над своим организмом. Сергей оценивающе уставился на апельсин. А я, я не знаю, что делал в этот момент.

— Держи, Катька! — восторженно крикнул Эдик и бросил Кате апельсин.

— Ну что ты, что ты! — испуганно сказала она и бросила ему обратно.

— Держи, говорю! — И Эдик опять бросил ей этот плод.

Катя вертела в руках апельсин и вся светилась, как солнышко.

— Ешь! — крикнул Эдик.

— Ну что ты! Разве его можно есть? — сказала она. — Его надо подвесить под потолок и плясать вокруг, как идолопоклонники.

— Ешь, Катя, — сказал Сергей. — Тебе это нужно сейчас.

И он посмотрел на меня. Что такое? Он знает? Что такое? Я посмотрел на Катю, но она подбрасывала апельсин в ладошках и забыла обо всем на свете.

— Мужчины, быстро собирайтесь, — сказал Эдик. — Предстоит великая гонка. В Талый пришел пароход, битком набитый этим добром.

— Это что, новый японский анекдот? — спросил Стасик.

Сергей, ни слова не говоря, ушел в другую комнату.

— Скептики останутся без апельсинов, — сказал Эдик.

Тут Стаська, видно, понял, что Эдик не врет, и бросился в переднюю. Чуть-чуть не грохнулся на паркете. Катя тоже побежала было за ним, но я схватил ее за руку.

— Тебе нельзя ехать, — сказал я. — Тебе же нельзя. Ты забыла?

— Ерунда, — шепнула она. — Мне еще можно.

Открылась дверь, и показался во всех своих мотоциклетных доспехах Сергей Орлов. Он был в кожаных штанах, в кожаной куртке с меховым воротником и в шлеме. Он застегивал краги. В другое время я бы устроил целый цирк вокруг этой кожаной статуи.

— Мы на мотоцикле поедем, Сережа? — спросила Катя, прямо как маленькая.

— Ты что, с ума сошла? — спросил он откуда-то сверху. — Тебе же нельзя ехать. Неужели ты не понимаешь?

Катя сбросила туфельки, влезла в свои ботинки.

— Ладно, — сказал он и кивнул мне. — Пойдем, поможешь мне выкатить машину.

Он удалился, блестя кожаным задом. Эдик сказал, что они со Стаськой поедут на его мотоцикле, только позже. К тому же ему надо заехать в Шлакоблоки, так что мы должны занять на них очередь. Катя дернула меня за рукав:

— Ну что ты стоишь? Скорей!

— Иди-ка сюда, — сказал я, схватил ее за руку и вывел в переднюю. — От кого ты беременна? — спросил я ее в упор. — От него? — И я кивнул на лестницу.

— Идиот! — воскликнула она и в ужасе приложила к щекам ладони. — Ты с ума сошел! Как тебе в голову могло прийти такое?

— Откуда он знает? Почему у него были твои туфли?

Она ударила меня по щеке не ладошкой, а кулачком, неловко и больно.

— Кретин! Порочный тип! Подонок! — горячо шептала она. — Уйди с глаз моих долой!

Конечно, разревелась. Эдик заглянул было в переднюю, но Стаська втянул его в комнату.

Я готов был задушить себя собственными руками. Я никогда не думал, что я способен на такие чувства. У меня разрывалось сердце от жалости к ней и от такой любви, что… Я чувствовал, что сейчас расползусь здесь на месте, как студень, и от меня останется только мерзкая сентиментальная лужица.

— Ты… ты… — шептала она, — тебе бы только мучить… Я так обрадовалась из-за апельсина, а ты… С тобой нельзя… И очень хорошо, что у нас ничего не будет. Иди к черту!

Я поцеловал ее в лоб, получил еще раз по щеке и стал спускаться. Идиот, вспомнил про туфельки! Это было в тот вечер, когда к нам приезжала эстрада. Я крутился тогда вокруг певицы, а Катя пошла к Сергею танцевать. Кретин, как я мог подумать такое?

Во дворе я увидел, что Сергей уже вывел мотоцикл и стоит возле него, огромный и молчаливый, как статуя командора.

3. Герман Ковалев

Кают-компания была завалена мешками с картошкой. Их еще не успели перенести в трюм. Мы сидели на мешках и ели гуляш. Дед рассказывал о том случае со сто седьмым, когда он в Олюторском заливе ушел от отряда, взял больше всех сельди, а потом сел на камни. Деда ловили на каждом слове и смеялись.

— Когда же это было? — почесал в затылке чиф.

— В пятьдесят восьмом, по-моему, — сказал Боря. — Точно, в пятьдесят восьмом. Или в пятьдесят девятом.

— Это было в тот год, когда в Северо-Курильск привозили арбузы, — сказал боцман.

— Значит, в пятьдесят восьмом, — сказал Иван.

— Нет, арбузы были в пятьдесят девятом.

— Помню, я съел сразу два, — мечтательно сказал Боря, — а парочку еще оставил на утро, увесистых.

— Арбузы утром — это хорошо. Прочищает, — сказал боцман.

— А я, товарищи, не поверите, восемь штук тогда умял… — Иван бессовестно вытаращил глаза. Чиф толкнул лампу, и она закачалась. У нас всегда начинают раскачивать лампу, когда кто-нибудь «травит».

Качающаяся по стенам тень Ивана с открытым ртом и всклокоченными вихрами была очень смешной.

— Имел бы совесть, Иван, — сказал стармех, — всем ведь только по четыре штучки давали.

— Не знаете, дед, так и не смейтесь, — обиженно засопел Иван. — Если хотите знать, мне Зина с заднего хода четыре штуки вынесла.

— Да, арбузы были неплохие, — сказал Боря. — Сахаристые.

— Разве то были арбузы! — воскликнул чиф. — Не знаете вы, мальчики, настоящих арбузов! Вот у нас в Саратове арбузы — это арбузы.

— Сто седьмой в пятьдесят девятом сел на камни, — сказал я.

Все непонимающе посмотрели на меня, а потом вспомнили, с чего начался спор.

— Почему ты так решил, Гера? — спросил боцман.

— Это было в тот год, когда я к вам попал.

Да, это было в тот год, когда я срезался в авиационный техникум и пошел по жаркому и сухому городу куда глаза глядят, не представляя себе, что я могу вернуться домой к тетиным утешениям, и на стене огромного старинного здания, которое у нас в Казани называют «бегемот», увидел объявление об оргнаборе рабочей силы. Да, это было в тот год, когда я сел на жесткую серую траву возле кремлевской стены и понял, что теперь не скоро увижу Казань, что мальчики и девочки могут на меня не рассчитывать, что я, возможно, увижу моря посильнее, чем Куйбышевское. А за

рекой виднелся наш Кировский район, и там, вблизи больших корпусов, моя улица, заросшая подорожником, турник во дворе, тетин палисадник и ее бормотание: «Наш сад уж давно увядает, помят он, заброшен и пуст, лишь пышно еще доцветает настурции огненный куст». И возле старого дощатого, облупившегося забора, который почему-то иногда вызывал целую бурю воспоминаний неизвестно о чем, я, задыхаясь от волнения, читал Ляле свой перевод стихотворения из учебника немецкого языка: «В тихий час, когда солнце бежит по волнам, я думаю о тебе. И тогда, когда, в лунных блестя лучах, огонек бежит…» А Ляля спросила, побагровев: «Это касается меня?» А я сказал: «Ну что ты! Это просто перевод». И она засмеялась: «Старомодная чушь!» Да, это было в тот год, когда я впервые увидел море, такое настоящее, такое зеленое, пахнущее снегом, и понял, что я отдам морю всю свою жизнь. А Корень, который тогда еще служил на «Зюйде», засунул мне за шиворот селедку, и ночью в кубрике я ему дал «под ложечку», и он меня очень сильно избил. Да, это было в тот год, когда на сейнер был назначен наш нынешний капитан Володя Сакуненко, который не стал возиться с Корнем. Корень пытался взять его на горло и хватался за нож, но капитан списал его после первого же рейса. Да, это было в тот год, когда я тайком плакал в кубрике от усталости и от стыда за свое неумение. Это было в тот год, когда окончательно подобрался экипаж «Зюйда». А арбузы, значит, были в пятьдесят восьмом, потому что при мне в Северо-Курильск не привозили арбузов.

На палубе застучали сапоги, в кают-компанию вошел вахтенный и сообщил, что привезли муку и мясо

и что капитан велел передать: он пошел в управление выбивать киноленты.

— Иван, Боря, Гера, — сказал чиф, — кончайте вашу трапезу и идите принимать провиант, а остальные пусть занимаются своим делом.

— Черт, — сказал боцман, — выйдем мы завтра или нет?

— А кто их знает, — проворчал чиф, — ты же знаешь, чем они там думают.

Дело в том, что мы уже неделю назад кончили малый ремонт, завтра мы должны выходить в море, а из управления еще не сообщили, куда нам идти — на минтая ли к Приморью, на сельдь ли в Алюторку или опять на сайру к острову Шикотан. Мы с Иваном и Борей вышли на палубу и начали таскать с причала мешки с мукой и бараньи туши. Я старался таскать мешки с мукой. Нет, я не чистоплюй какой-нибудь, но мне всегда становится немного не по себе, когда я вижу эти красные с белыми жилами туши, промерзшие и твердые.

Солнце село, и круглые верхушки сопок стали отчетливо видны под розовым небом. В Петрове уже зажигались огни на улицах. За волноломом быстро сгущались сумерки, но все еще была видна проломанная во льду буксирами дорога в порт, льдины и разводы, похожие на причудливый кафельный орнамент. Завтра и мы уйдем по этой дороге, и снова — пять месяцев качки, ежедневных ледяных бань, тяжелых снов в кубрике, тоски о ней. Так я ее и не увидел за эту неделю после ремонта. Сегодня я отправлю ей последнее письмо, и в нем стихи, которые написал вчера:

Ветерок листву едва колышет
и, шурша, сбегает с крутизны.
Солнце, где-то спрятавшись за крыши,
загляделось в зеркальце луны.
Вот и мне никак не оторваться
от больших печальных глаз…

Вчера я читал эти стихи в кубрике, и ребята ужасно растрогались. Иван вскрыл банку компота и сказал: «Давай, поэт, рубай, таланту нужны соки».

Интересно, что она мне ответит. На все мои письма она ответила только один раз. «Здравствуйте, Гера! Извините, что долго не отвечала, очень была занята. У нас в Шлакоблоках дела идут ничего, недавно сдали целый комплекс жилых зданий. Живем мы ничего, много сил отдаем художественной самодеятельности…» — и что-то еще. И ни слова о стихах и без ответа на мой вопрос. Она плясунья. Я видел однажды, как она плясала, звенела монистами, словно забыв обо всем на свете. Так она и пляшет передо мной все ночи в море, поворачивается, вся звеня, мелко-мелко перебирая сафьяновыми сапожками. А глаза у нее не печальные. Это мне бы хотелось, чтобы они были печальными.

У нее глаза рассеянные, а иногда какие-то странные, сумасшедшие.

— Эй, Герка, держи! — крикнул Иван и бросил мне с пирса баранью тушу.

Я еле поймал ее. Она была холодная и липкая. Где-то далеко, за краем припая, ревело открытое море.

Из-за угла склада прямо на причал выехал зеленый газик. Кто же это к нам пожаловал, регистр, что ли? Мы продолжали свою работу, как бы не обращая внимания на машину, а она остановилась возле нашего

судна, и из нее вышли и спрыгнули к нам на палубу паренек с кожаной сумкой через плечо и женщина в шубе и брюках.

— Привет! — сказал паренек.

— Здравствуйте, — ответили мы, присели на планшир и закурили.

— Вот это, значит, знаменитый «Зюйд»? — спросила женщина.

А, это корреспонденты, понятно, они нас не забывают. Мы привыкли к этой публике. Забавное дело, когда поднимаешь ловушку для сайры и тебя обливает с ног до головы, а в лицо сечет разная снежная гадость, в этот момент ты ни о чем не думаешь или думаешь о том, что скоро сменишься, выпьешь кофе — и набок, а оказывается, что в это время ты «в обстановке единого трудового подъема» и так далее. И в любом порту обязательно встретишь корреспондента. Зачем они ездят, не понимаю. Как будто надо специально приезжать, чтобы написать про «обстановку единого трудового подъема». Писатели — другое дело. Писателю нужны разные шуточки. Одно время повадились к нам в сейнерский флот писатели. Ребята смеялись, что скоро придется на каждом судне оборудовать специальную писательскую каюту. Чего их потянуло на рыбу, не знаю. С нами тоже плавал месяц один писатель из Москвы. Неделю блевал в своей каюте, потом отошел, перебрался к нам в кубрик, помогал на палубе и в камбузе. Он был неплохой парень, и мы все к нему быстро привыкли, только неприятно было, что он все берет на карандаш. Особенно это раздражало Ивана. Как-то он сказал писателю, чтобы тот перестал записывать и держал бы в уме свои жизненные наблюдения. Но тот ответил, что все равно будет записывать, что бы Иван

с ним ни сделал, пусть он его хоть побьет, но он писатель и будет записывать, невзирая ни на что. Тогда Иван примирился.

Потом мы даже забыли, что он писатель, потому что он вставал на вахту вместе с нами и вместе ложился. Когда он появился на нашем сейнере, я перестал читать ребятам свои стихи, немного стеснялся — все же писатель, а потом снова начал, потому что забыл, что он писатель, да, честно говоря, и не верилось, что он настоящий писатель. И он, как все, говорил: «Здоров, Гера», «Талант», «Рубай компот» и так далее. Но однажды я заметил, что он быстро наклонил голову, и улыбнулся, и взялся двумя пальцами за переносицу.

Вечером, когда он в силу своей привычки сидел на корме, съежившись и уставившись стеклянными глазами в какую-то точку за горизонтом, я подошел к нему и сказал:

— Послушай, то, что я сочиняю, — это дрянь, да?

Он вздохнул и посмотрел на меня.

— Садись, — сказал он, — хочешь, я тебе почитаю стихи настоящих поэтов?

Он стал читать и читал долго. Он как-то строго, как будто со сцены, объявлял фамилию поэта, а потом читал стихи. Кажется, он забыл про меня. Мне было холодно от стихов. Все путалось от них у меня в голове.

Жилось мне весело и шибко,
Ты шел в заснеженном плаще,
И вдруг зеленый ветер шипра
Вздымал косынку на плече.

Нет, я никогда не смогу так писать. И не понимаю, что такое «зеленый ветер шипра». Может быть, стихи можно писать только тогда, когда поверишь во все невоз-

можное, когда все тебе будет просто и в то же время каждый предмет будет казаться загадкой, даже спичечный коробок? Или во сне? Иногда я во сне сочиняю какие-то странные стихи.

— А вообще ты молодец, — сказал мне тогда писатель, — молодец, что пишешь и что читаешь ребятам, не стесняешься. Им это нужно.

На прощание он записал мне свой адрес и сказал, что, когда я буду в Москве, я смогу прийти к нему в любое время, смогу у него жить столько, сколько захочу, и он познакомит меня с настоящими поэтами. Он сказал нам всем, что пришлет свою книжку, но пока еще не прислал…

Мы спустились с корреспондентами в кубрик. Парень положил свою сумку на стол и открыл ее. Внутри был портативный магнитофон «Репортер».

— Мы из радио, — объяснил он. — Центральное радио.

— Издалека, значит, — посочувствовал Иван.

— Неужели в этом крошечном помещении живут шесть человек? — изумилась женщина. — Как же вы здесь помещаетесь?

— Ничего, — сказал Боря, — мы такие, портативные, так сказать.

Женщина засмеялась и навострила карандаш, как будто Боря преподнес уж такую прекрасную шутку. Наш писатель не записал бы такую шутку. Она, эта женщина, очень суетилась и как будто заискивала перед нами. А мы стеснялись, нам было как-то странно, как бывает всегда, когда в кубрик, где все мы притерлись друг к другу, проникают какие-то другие люди, удивительно незнакомые. Поэтому Иван насмешливо

улыбался, а Боря все шутил, а я сидел на рундуке со стиснутыми зубами.

— Ну хорошо, к делу, — сказал парень-корреспондент, пустил магнитофон и поднял маленький микрофончик. — Расскажите нам, товарищи, о вашей последней экспедиции на сайру, в которой вам удалось добиться таких высоких показателей. Расскажите вы, — сказал он Ивану.

Иван откашлялся.

— Трудности, конечно, были, — неестественно высоким голосом произнес он.

— Но трудности нас не страшат, — бодро добавил Боря.

Женщина с удивлением посмотрела на него, и мы все с удивлением переглянулись.

— Можно немного поподробнее? — веселеньким радиоголосом сказала женщина.

Иван и Борька стали толкать меня в бока: давай, мол, рассказывай.

— Ревела буря, дождь шумел, — сказал я. — В общем, действительно, была предштормовая обстановка ну, а мы… а мы, значит… ловили сайру… и это…

— Ладно, — мрачно сказал корреспондент, — хватит пленку переводить. Не хотите, значит, рассказывать?

Нам было очень неудобно перед корреспондентами. Действительно, мы вели себя как скоты. Люди ехали к нам издалека на своем газике, промерзли, наверное, до костей, а мы не мычим, не телимся. Но что, в самом деле, можно рассказать? То, как спускают в воду ловушки для сайры и зажигают красный свет, а потом выбирают трос, и тут лебедку пустить нельзя — приходится все вручную, и трос сквозь рукавицы жжет тебе ладони, а потом дают синий свет, и сайра начинает

биться, как бешеная, вспучивает воду, а на горизонте темное небо прорезано холодной желтой полосой, и там, за ней, бескрайняя поверхность океана, а в середине океана Гавайские острова, а дальше, на юг, встают грибы водородных взрывов, и эту желтую полосу медленно пересекают странные тени японских шхун, — про это, что ли, рассказывать? Но ведь про это нельзя рассказать, для этого нужен какой-то другой магнитофон и другая пленка, а таких еще нет.

— Вам надо капитана дождаться, — сказал Иван, — он все знает, у него цифры на руках…

— Ладно, дождемся, — сказал парень-корреспондент.

— Но вы, товарищи, — воскликнула женщина, — неужели вы ничего не можете рассказать о своей жизни? Просто так, не для радио. Ведь это же так интересно! Вы на полгода уходите в море…

— Наше дело маленькое, хе-хе, — сказал Боря, — рыбу стране, деньги жене, нос по волне.

— Прекрасно! — воскликнула женщина. — Можно записать?

— Вы что, писатель? — спросил Иван подозрительно.

Женщина покраснела.

— Да, она писатель, — мрачно сказал парень-корреспондент.

— Перестаньте, — сердито сказала она ему. — Вот что, товарищи, — сказала женщина сурово, — нам говорили, что среди вас есть поэт.

Иван и Боря просияли.

— Точно, — сказали они. — Есть такой.

Вскоре выяснилось, что поэт — это я. Парень снова включил магнитофон.

— Прочтите что-нибудь свое.

Он сунул мне в нос микрофон, и я прочел с выражением:

Люблю я в жизни штормы, шквалы,
Когда она бурлит, течет,
Она не тихие причалы,
Она сплошной водоворот.

«Это стихотворение, — подумал я, — больше всего подойдет для радио. Штормы, шквалы — романтика рыбацких будней».

Я читал, и Иван и Боря смотрели на меня, раскрыв рты, и женщина тоже открыла рот, а парень-корреспондент вдруг наклонил голову и улыбнулся так же, как тот мой друг, писатель, и потрогал пальцами переносицу.

— А вам нравятся стихи вашего товарища? — спросила женщина у ребят.

— Очень даже нравятся, — сказал Боря.

— Гера у нас способный паренек, — улыбнулся мне Иван. — Так быстренько все схватывает, на работе, да? Раз-два — смотришь, стих сложил…

— Прекрасный текст, — сказал парень женщине. — Я записал. Шикарно!

— Вы думаете, он пойдет? — спросила она.

— Я вам говорю. То, что надо.

В это время сверху, с палубы, донесся шум.

— Вот капитан вернулся.

Корреспонденты собрали свое добро и полезли наверх, а мы за ними.

Капитан наш Володя Сакуненко стоял с судовыми документами под мышкой и разговаривал с чифом. Одновременно с нами к нему подошел боцман. Боцман очень устал за эти дни подготовки к выходу и да-

же на вид потерял энное количество веса. Корреспонденты поздоровались с капитаном, и в это время боцман сказал:

— Хочешь не хочешь, Васильич, а я свое дело сделал и сейчас пойду газку подолью.

Володя, наш Сакуненко, покраснел и тайком показал боцману кулак.

— А что такое «газку подолью»? — спросила любознательная женщина.

Мы все закашлялись, но расторопный чиф пояснил:

— Такой термин, мадам. Проверка двигателя, отгазовочка, так сказать…

Женщина понятливо закивала, а парень-корреспондент подмигнул чифу: знаем, мол, мы эти отгазовочки — и выразительно пощелкал себя по горлу. А Володя, наш Сакуненко, все больше краснел, снял для чего-то шапку, развесил свои кудри, потом спохватился, шапку надел.

— Скажите, капитан, — спросила женщина, — вы завтра уходите в море?

— Да, — сказал Володя, — только еще не знаем куда.

— Почему же?

— Да, понимаете, — залепетал Володя, — начальство у нас какое-то не пунктуальное, не принципиальное, короче… не актуальное…

И совсем ему жарко стало.

— Ну, мы пойдем, Васильич, — сказали мы ему, — пойдем погуляем.

Мы спустились в кубрик, переоделись в чистое и отправились на берег, в город Петрово, в наш очередной Марсель.

Не сговариваясь, мы проследовали к почте. Ребята знали, что я жду письма от Люси. Ребята знают обо

мне все, как я знаю все о каждом из них. Такая уж у нас служба.

В Петрово на главной улице было людно. Свет из магазинов ложился на скользкие, обледенелые доски тротуаров. В блинном зале «Утеса» уже сидел наш боцман, а вокруг него какие-то бичи. Корня среди них не было. Возле клуба мы встретили ребят с «Норда», который стоял с нами борт о борт. Они торопились на свою посудину.

На почте я смотрел, как Лидия Николаевна перебирает письма в ящичке «До востребования», и страшно волновался, а Иван и Боря поглядывали на меня исподлобья, тоже переживали.

— Вам пишут, — сказала Лидия Николаевна.

И мы пошли к выходу.

— Не переживай, Гера, — сказал Иван. — Плюнь!

Конечно, можно было бы сейчас успеть к автобусу на Фосфатогорск, а оттуда попутными добраться до Шлакоблоков и там все выяснить, поставить все точки над «и», но я не буду этого делать. Мне мешает мужская гордость, и потом я не хочу ставить точки над «и», потому что завтра мы снова надолго уходим в море. Пусть уж она останется для меня такой — в перезвоне монист, плясуньей. Может, ей действительно художественная самодеятельность мешает написать письмо.

Я шел по мосткам, подняв воротник своей кожаной куртки и надвинув на глаза шапку, шел со стиснутыми зубами, и в ногу со мной вышагивали по бокам Иван и Боря, тоже с поднятыми воротниками и в нахлобученных на глаза шапках. Мы шли независимые и молчаливые.

На углу я увидел Корня. Долговязая его фигура отбрасывала в разные стороны несколько качающихся

теней. Меньше всего мне хотелось сейчас видеть его. Я знал, что он остановит меня и спросит, скрипя зубами: «Герка, ты на меня зуб имеешь?» Так он спросил меня, когда мы встретились осенью на вечере в Доме моряка в Талом, на том вечере, где я познакомился с Люсей. Тогда мы впервые встретились после того, как Володя Сакуненко списал его с «Зюйда» на берег. Я думал, что он будет прихватывать, но он был в тот вечер удивительно трезвый и чистый, в галстуке и полуботинках, и, отведя меня в сторону, он спросил: «Гера, ты на меня зуб имеешь?» Плохой у меня характер: стоит только ко мне по-человечески обратиться, и я все зло забываю. Так и в тот раз с Корнем. Мне почему-то жалко его стало, и весь вечер мы с ним были взаимно вежливы, как будто он никогда не засовывал мне за шиворот селедку, а я никогда не бил его «поддых». Мы не поссорились даже из-за Люси, хотя приглашали ее напропалую. Кажется, мы даже почувствовали друг к другу какую-то симпатию, когда ее увел с вечера стильный, веселый малый бурильщик Виктор Колтыга.

— В другое время я бы этому Витьке устроил темную, — сказал тогда Корень, — но сегодня не буду: настроение не позволяет. Пойдем, Гера, товарищ по несчастью, есть у меня тут две знакомые красули.

И я, толком не разобрав, что он сказал, пошел с ним, а утром вернулся на сейнер с таким чувством, словно вывалялся в грязи.

С тех пор с Корнем мы встречаемся мирно, но я стараюсь держаться от него подальше: эта ночь не выходит у меня из головы. А он снова оборвался, и вечно пьян, и каждый раз, скрипя зубами, спрашивает: «Ты на меня зуб имеешь?» Видно, все перепуталось в его бедной башке.

Увидев нас, Корень покачнулся и сделал неверный шаг.

— Здорово, матросы, — проскрипел он. — Гера, ты на меня зуб имеешь?

— Иди-иди, Корень, — сказал Иван.

Корень потер себе варежкой физиономию и глянул на нас неожиданно ясными глазами.

— С Люськой встречаешься? — спросил он.

— Ступай, Корень, — сказал Боря. — Иди своей дорогой.

— Иду, матросы, иду. На камни тянусь. Прямым курсом на камни.

Мы пошли дальше молча и твердо. Мы знали, куда идем. Ведь это, наверное, каждому известно, что надо делать, когда любимая девушка тебе не пишет.

Мы перешли улицу и увидели нашего капитана и женщину-корреспондента. Володя наш, Сакуненко, будто и не остывал, шел красный как рак и смотрел перед собой прямо по курсу.

— Скажите, а что такое бичи? — спрашивала женщина.

— Бичи — это как бы… как бы, — бубнил капитан, — вроде бы морские тунеядцы, вот как.

Женщина воскликнула:

— Ох, как интересно!..

Изучает жизнь, понимаете ли, а Володя наш, Сакуненко, страдает.

Мы заняли столик в «Утесе» и заказали «Чечено-ингушского» и закуски.

— Не переживай, Гера, — сказал Иван. — Не надо!

Я махнул рукой и поймал на себе сочувственный взгляд Бори. Ребята сочувствовали мне изо всех сил, и мне это было приятно. Смешно, но я иногда ловлю

себя на том, что мне бывает приятно оттого, что все на сейнере знают о моей сердечной ране. Наверное, я немного пошляк.

Оркестр заиграл «Каррамба, синьоре».

— Вот, может быть, пойдем в Приморье, тогда зайдем во Владик, а там, знаешь, Иван, какие девочки!.. — сказал Боря, глядя на меня.

В зал вошел парень-корреспондент. Он огляделся и, засунув руки в карманы, медленно направился к нам. В правом кармане у него лежало что-то большое и круглое, похожее на бомбу.

— Не переживай, Гера, — умоляюще сказал Иван, — прямо сил моих нет смотреть на тебя.

— Можно к вам присесть, ребятишки? — спросил корреспондент.

Иван подвинул ему стул.

— Слушай, корреспондент, скажи ты этому дураку, какие на свете есть девчонки. Расскажи ему про Брижит Бардо.

— А, — сказал корреспондент, — «Чечено-ингушский»?

— Прямо сил моих нет смотреть, как он мается! — стонущим голосом продолжал Иван. — Дурак ты, Герка, ведь их же больше, чем нас. Нам надо выбирать, а не им. Правильно я говорю?

— Точно, — сказал корреспондент. — Перепись доказала.

— А я ему что говорю? С цифрами на руках тебе доказывают, дурень…

— Для поэта любая цифра — это ноль, — улыбнулся мне корреспондент. — Ребята, передайте-ка мне нож.

Боря передал ему нож, и он вдруг вынул из кармана свою бомбу. Это был апельсин.

— Батюшки мои! — ахнул Боря.

Парень крутанул апельсин, и он покатился по столу, по скатерти, по пятнам от винегрета, сбил рюмку и, стукнувшись о тарелку с бараньей отбивной, остановился, сияя, словно солнышко.

— Это что, с материка, что ли, подарочек? — осторожно спросил Иван.

— Да нет, — ответил парень, — ведь мы на «Кильдине» сюда приплыли, верней, не сюда, а в Талый.

— А «Кильдин», простите, что же, пришел в Талый с острова Фиджи?

— Прямым курсом из Марокко, — захохотал корреспондент. — Да вы что, ребята, с неба свалились? «Кильдин» пришел битком набитый этим добром. Знаете, как я наелся.

— Эй, девушка, получите! — заорал Иван.

От «Утеса» до причала мы бежали, как спринтеры. Подняли на сейнере аврал. Мальчики в панике стаскивали с себя робы и натягивали чистое. Через несколько минут вся команда выскочила на палубу. Вахтенный Динмухамед проклинал свое невезение. Боря сказал ему, чтоб он зорче нес вахту, тогда мы его не забудем. Ребята с «Норда», узнав, куда мы собираемся, завыли, как безумные. Им надо было еще принимать соль и продукты и чистить посудину к инспекторскому смотру. Мы обещали занять на них очередь.

На окраине города, возле шлагбаума, мы провели голосование. Дело было трудное: машины шли переполненные людьми. Слух об апельсинах уже докатился до Петрова.

Наконец подошел «МАЗ» с прицепом, на котором были укреплены огромные панели, доставленные с материка. «МАЗ» шел в Фосфатогорск. Мы облепили прицеп, словно десантники.

Я держался за какую-то железяку. Рядом со мной висели Боря и Иван. Прицеп дико трясло, а иногда заносило вбок, и мы гроздьями повисали над кюветом. Пальцы у меня одеревенели от холода, и иногда мне казалось, что я вот-вот сорвусь.

В Фосфатогорске мы пересели в бортовую машину. Мимо неслись сопки, освещенные луной, покрытые редким лесом. Сопки были диковинные, и деревья покрывали их так разнообразно, что мне в голову все время лезли разные поэтические образы. Вот сопка, похожая на короля в горностаевой мантии, а вот кругленькая сопочка, словно постриженная под бокс… Иногда в падях в густой синей тени мелькали одинокие огоньки. Кто же это живет в таких заброшенных падях? Я смотрел на эти одинокие огоньки, и мне вдруг захотелось избавиться от своего любимого ремесла, перестать плавать, и стать каким-нибудь бурильщиком, и жить в такой вот халупе на дне распадка вдвоем с Люсей Кравченко. Она перестанет относиться ко мне как к маленькому. Она поймет, что я ее постарше, там она поймет меня. Я буду читать ей свои стихи, и Люся поймет то, что я не могу в них сказать. И вообще она будет понимать меня с полуслова, а то и совсем без слов, потому что слова бедны и мало что выражают. Может быть, и есть такие слова, которых я не знаю, которые все выражают безошибочно, может быть, они где-нибудь и есть, только вряд ли.

Машина довезла нас до развилки на зверосовхоз. Здесь мы снова стали голосовать, но грузовики проходили мимо, и с них кричали:

— Извините, ребята, у нас битком!

Красные стоп-сигналы удалялись, но сверху, с сопок, к нам неслись новые фары, и мы ждали. Крутя-

щийся на скатерти апельсин вселил в меня надежду. Путь на Талый лежит через Шлакоблоки. Может быть, мы там остановимся, и, может быть, я зайду к ней в общежитие, если, конечно, мне позволит мужская гордость. Все может быть.

4. Людмила Кравченко

Какой-то выдался пустой вечер. Заседание культурно-бытовой комиссии отложили, репетиция только завтра. Скучно.

— Девки, кипяточек-то вас дожидается, — сказала И. Р., — скажите мне спасибо, все вам приготовила для постирушек.

Ох, уж эта И. Р., вечно она напоминает о разных неприятностях и скучных обязанностях.

— Я не буду стирать, — сказала Маруся, — все равно не успею. У Степы сегодня увольнительная.

— Может, пятая комната завтрашний день нам уступит? — предположила Нина.

— Как же, уступит, дожидайтесь, — сказала И. Р.

Стирать никому не хотелось, и все замолчали. Нинка вытащила свое парадное — шерстяную кофточку и вельветовую юбку с огромными карманами, капроны и туфельки — и разложила все это на кровати. Конечно, собираться на вечер гораздо приятнее, чем стирать.

— Нет уж, девушки, — сказала я, — давайте постираем хотя бы носильное.

Мне, может быть, больше всех не хотелось стирать, но я сказала это потому, что была убеждена: человек должен научиться разумно управлять своими желаниями.

— Да ну тебя, Люська! — надула губы Нинка, но все же встала.

Мы переоделись в халатики и пошли в кубовую. И. Р. действительно все заготовила: титан был горячий, корыта и тазы стояли на столах. Мы закрыли дверь на крючок, чтобы ребята не лезли в кубовую со своими грубыми шутками, и принялись за работу.

Клубы пара сразу заполнили комнату. Лампочка под потолком казалась расплывшимся желтым пятном. Девочки смеялись, и мне казалось, что смех их доносится откуда-то издалека, потому что сквозь густой желтый пар они были почти не видны. Отчетливо я видела только голые худенькие плечи Нины. Она посматривала на меня. Она всегда посматривает на меня в кубовой или в бане, словно сравнивает. У меня красивые плечи, и меня смешат Нинкины взгляды, но я никогда не подам виду, потому что знаю: человека характеризует не столько внешняя, сколько внутренняя красота.

Мимо меня проплыла розовая полуголая и огромная Сима. Она поставила таз под кран и стала полоскать что-то полосатое, я не сразу догадалась — это были матросские тельняшки. Значит, Сима завела себе кавалера, поняла я. Странная девушка эта Сима: об ее, мягко говоря, увлечениях мы узнаем только в кубовой во время стирки. В ней, в Симе, гнездятся пережитки домостроя. Она унижается перед мужчинами и считает своим долгом стирать их белье. Она находит в этом даже какое-то удовольствие, а я… Недавно я читала, что в скором времени будет изобретено и внедрено все необходимое для раскрепощения женщины от бытовых забот и женщина сможет играть большую роль в общественной жизни. Скорее бы пришли эти времена! Если я когда-нибудь выйду замуж…

Сима растянула тельняшку.

— Ну и ручки у твоего дружка! — воскликнула Маруся.

— Такой обнимет — закачаешься! — засмеялся кто-то, и все засмеялись.

Началось. Сейчас девушки будут болтать такое… Прямо не знаю, что с ними делать.

На этот раз я решила смолчать, и, пока девушки болтали такое-растакое, я молчала, и под моими руками, как живое, шевелилось, чавкало, пищало бело-розово-голубое белье, клокотала вода и радужными пузырями вставала мыльная пена, а голова моя кружилась, и в глазах было темно. Мне было нехорошо.

Я вспомнила тот случай в Краснодаре, когда Владимир снял свой синий торгашеский халат и стал приставать ко мне. Чего он только не выделывал, как не ломал мне руки и не сгибал меня! Можно было закричать, но я не закричала, это было унизительно — кричать из-за такого скота. Я боролась с ним, и меня душило такое возмущение и такая злоба, что, попадись мне в руку кинжал, я могла бы убить его, словно испанка. И только в один момент мне стало нехорошо, как вот сейчас, и потемнело в глазах, подогнулись ноги, но через секунду я снова взяла себя в руки. Я выбежала из конторки. Света и Валентина Ивановна ничего не поняли, столики все уже были накрыты. Как раз за окнами шел поезд, и фужеры дребезжали, и солнечные пятнышки прыгали на потолке, а приборы блестели в идеальном порядке. Но стоит только открыть вон ту дверь — и сюда хлынет толпа из зала ожидания, и солнечные пятнышки запрыгают на потолке, словно в панике, а по скатертям поползут темные пятна пива, а к концу дня — Господи! — мерзкие кучки винегрета с натыканными в него окур-

ками… Я вздрогнула, мне показалось, что я с ног до головы облеплена этим гнусным ночным винегретом, а сзади скрипнула дверь — это, видимо, вошел Владимир, еще не успевший отдышаться, и я сорвала наколку и фартук и, ничего не говоря Свете и Валентине Ивановне, прошла через зал и смылась. Больше они меня не увидят, Света и Валентина Ивановна, и я их больше не увижу. Жалко: они хорошие. Но зато я больше не увижу масленую рожу Владимира, этого спившегося, обожравшегося и обворовавшегося по мелочам человека. Надо начинать жизнь сначала, думала я, пока шла по городу. Право, не для того я кончала десятилетку, чтобы служить в буфете. Заработки, конечно, там большие, но зато каждый пижон норовит к тебе пристать.

— Ну-ну, зачем же реветь? — сказал кто-то прямо над ухом.

Я увидела мужчину и шарахнулась от него, побежала как сумасшедшая. На углу оглянулась. Он был молод и высок, он удивленно смотрел на меня и крутил пальцем у виска. Может быть, с ним мне и стоит связать свою судьбу, подумала я, но, может быть, он такой же, как Владимир? Я завернула за угол, и этот высокий светлоглазый парень навсегда исчез из моей жизни.

По радио шла передача для молодежи. Пели мою любимую песню:

Если хочешь ты найти друзей,
Собирайся в путь скорей.
Собирайся с нами в дальний путь,
Только песню не забудь…

В дорогу! В дорогу! Есть целина, и Братск, и стройка Абакан — Тайшет, а можно уехать и дальше, на Дальний Восток, вот объявление — требуются сезонницы

для работы на рыбокомбинате. Я вспомнила множество фильмов, и песен, и радиопередач о том, как уезжает молодежь и как там, на Востоке, вдалеке от насиженных мест, делает большие дела, и окончательное решение созрело во мне.

Да, там, на Востоке, жизнь моя пойдет иначе, и я найду там применение своим силам и энергии. И там, возможно, я вдруг увижу высокого светлоглазого моряка, и он долго не будет решаться подойти ко мне, а потом подойдет, познакомится, будет робеть и краснеть и по ночам сидеть под моими окнами, а я буду совмещать работу с учебой и комсомольской работой и как-нибудь сама задам ему один важный вопрос и сама поцелую его…

— Ничего! — закричала Сима. — Я на своего Мишеньку не обижаюсь!

И я увидела в тумане, как потянулось ее большое розовое тело.

— Тьфу ты! — не выдержала я. — И как тебе только не совестно, Серафима? Сегодня Миша, вчера Толя, и всем ты белье стираешь.

— А ты бы помолчала, Люська! — Сима, обвязанная по пояс тельняшкой, подошла ко мне и уперла руки в бока. — Ты бы уж лучше не чирикала, а то вот расскажу твоему Эдику про твоего Витеньку, а твоему Витеньке про твоего Герочку, а про длинного из Петровского порта забыла?

— Да уж, Люся, ты лучше не притворяйся, — продолжала Нинка, — ты со всеми кокетничаешь, ты даже с Колей Калчановым на собрании кокетничала.

— Неправда! — воскликнула я. — Я не кокетничала, а я его критиковала за внешний вид. И если тебе, Нина, нравится этот стиляга Калчанов, то это не дает

тебе права выдумывать. К тому же одно дело кокетничать, а другое дело… белье для них стирать. У меня с мальчиками только товарищеские отношения. Я не виновата, что я им нравлюсь.

— А тебе разве никто не нравится, Людмила? — спросила Маруся.

— Я не для этого сюда приехала! — крикнула я. — Мальчиков и на материке полно!

Правда, я не для этого сюда приехала.

Еще с парохода я увидела на берегу много ребят, но, честное слово, я меньше всего о них думала. Я думала тогда, что поработаю здесь, осмотрюсь и, может быть, останусь не на сезон, а подольше и, может быть, приобрету здесь хорошую специальность, ну, и немного, очень отвлеченно, думала о том высоком светлоглазом парне, который, наверное, решил, что я сумасшедшая, который исчез для меня навсегда. В тот же день вечером со мной познакомился бурильщик Виктор Колтыга. Оказалось, что он тоже из Краснодара. Это очень было странно, и я провела с ним целый вечер. Он очень веселый и эрудированный, только немного несобранный.

— Чего вы на меня набросились? — крикнула я. — У вас только мальчишки и на уме! Никакого самолюбия!

— Дура ты, Люська, — засмеялась Сима, — эдак ты даже при своей красоте в девках останешься. Этот несобранный, другой несобранный. Чем, скажи, японец плох? И чемпион, и одевается стильно, и специальность хорошая — радиотехник.

— Ой, да ну вас! — чуть не плача, сказала я и ушла из кубовой.

Довели меня эти проклятые девчонки. Я вошла в комнату и стала развешивать белье. Кажется, я пла-

кала. Может быть. Ну, что делать, если парни все действительно какие-то несобранные. Вместо того чтобы поговорить о чем-нибудь интересном, им бы только хватать руками.

Я зацепляла прищепками лифчики и трико и чувствовала, что по щекам у меня текут слезы. Отчего я плакала? От того, что Сима сказала? Нет, для меня это не проблема, вернее, для меня это второстепенная проблема.

Я вытерла лицо, потом подошла к тумбочке и намазала ладони кремом «Янтарь» (мажь не мажь, все равно ладошками орехи можно колоть), причесалась, губы я не мажу принципиально, вынула томик Горького и села к столу.

Я не знаю, что это за странный был вечер: началось с того, что я чуть не заплакала, увидев Калчанова одного за углом дома. Это было странно, мне хотелось оказать ему помощь, я была готова сделать для него все, несмотря на его подмигивания; а потом разговоры в кубовой, я не знаю, может быть, пар, жара и желтый свет действуют так, или сопки, синие и серебряные, выгнутые и как будто спокойные, действуют так, но мне все время хочется совершить что-то необычное, может быть, дикое, я еле держу себя в руках; а сейчас я посмотрела на свое висящее белье — небольшая кучка, всего ничего — и снова заплакала: мне стало страшно оттого, что я такая маленькая, вот я, вот белье, а вот тумбочка и койка, и одна-одинешенька, Бог ты мой, как далеко, и что это за странный вечер, и тень от Калчанова на белой стене. Он бы понял меня, этот бородатый Коля, но сопки, сопки, сопки, что в них таится и на что они толкают? Скоро приедет Эдик, и опять разговоры о любви и хватание руками, мучение да и только, и все ребята какие-то несобранные. Я не пишу

ни Вите, ни Гере, ни Вале, я дрянь порядочная, и никого у меня нет, в девках останусь. И еще, как там моя сестра со своими ребятишками? Ой! Я ревела.

Уже слышались шаги по коридору и смех девчат, и я усилием воли взяла себя в руки. Я вытерла глаза и открыла Горького. Девочки вошли с шумом-гамом, но, увидев, что я читаю художественную литературу, стали говорить потише.

На счастье, мне сразу попалась хорошая цитата. Я подошла к тумбочке, вынула свой дневник и записала туда эту цитату: «Если я только для себя, то зачем я?» Неплохая, по-моему, цитата, помогающая понять смысл жизни.

Тут я заметила, что Нинка на меня смотрит. Стоит, дурочка, в своей вельветовой юбке, а кофточка на одном плече. Смотрит на мой дневник. Недавно она сожгла свой дневник. Перед этим приключилась история. Она оставила дневник на тумбочке, и девчата стали его читать. Дневник Нины, в общем, был интересным, но у него был крупный недостаток — там были только мелкие, личные переживания. Девчата все растрогались и поражались, какая наша Нинка умница и какой у нее красивый слог. Особенно им понравились Нинины стихи:

Восемнадцать! Чего не бывает
В эти годы с девичьей душой,
Все нутро по любви изнывает,
Да и взгляд мой играет мечтой.

Я сказала, что, хотя стихи и хороши по рифме, все же они узколичные и не отражают настроений нашего поколения. Девочки стали спорить со мной. Спори-

ли мы очень шумно и вдруг заметили, что в дверях стоит Нина.

Нина, как только мы к ней повернулись, сразу разревелась и побежала через всю комнату к столу, выхватила дневник из рук И. Р. и побежала, прижав его к груди, назад к двери. Она бежала и громко ревела.

Она сожгла свой дневник в топке титана. Я заглянула в кубовую и увидела, что она сидит прямо на полу перед топкой и смотрит, как коробятся в огне картонные корки дневника, а промокашка на голубой шелковой ленточке свисала из топки.

Сима сварила для Нины варенье из брусники, поила ее чаем, а мы все в ту ночь не спали и потихоньку смотрели с кроватей, как Нина и Сима при свете ночника пьют чай и шепчутся, прижавшись друг к другу.

Скоро все это забылось и все стало, как и раньше, — над Ниной подшучивали, над ее юбкой тоже, а вот сейчас, поймав ее взгляд, я вспомнила, как она бежала и какая она была прекрасная. Я пригласила ее сесть рядом, и прочла ей эту чудесную цитату Алексея Максимовича Горького, и показала ей другие цитаты, и дала ей немного почитать свой дневник. Я бы не стала реветь, если бы мой дневник прочли все, потому что я не стыжусь своего дневника: это типичный дневник молодой девушки наших дней, не какой-нибудь узколичный дневник.

— Хороший у тебя дневник, — вздохнула Нина и обняла меня за плечи. Она положила свою руку мне на плечи неуверенно, наверное, думала, что я отодвинусь, но я знала, как хочется ей со мной подружиться, и почему-то сегодня мне захотелось ей сделать что-нибудь приятное, и я тоже ее обняла за ее худенькие плечи.

Мы сидели, обнявшись, на моей койке, и Нина тихонько рассказывала мне про Ленинград, откуда она приехала и где прожила все свои восемнадцать лет, про Васильевский остров, про Мраморный зал, куда она ходила танцевать, и как после танцев зазевавшиеся мальчики густой толпой стоят возле дворца и разглядывают выходящих девочек, и в темноте белеют их нейлоновые рубашки. И, как ни странно, вот таким образом к ней подошел он, и они пять раз встречались, ели мороженое в «Лягушатнике» на Невском и даже один раз пили коктейль «Привет», после чего два часа целовались в парадном, а потом он куда-то исчез; его товарищи сказали, что его за что-то выгнали из университета и он уехал на Дальний Восток, работает коллектором в геологической партии, а она уехала сюда, а почему именно сюда: может быть, он бродит по Сахалину или в Приморье?

— Гора с горой не сходится, — сказала я ей, — а человек с чело…

— Можно к вам, девчата? — послышался резкий голос, и в комнату к нам вошел Марусин Степа, старший сержант.

Мы засмотрелись на него. Он шел по проходу между койками, подтянутый, как всегда, туго перетянутый ремнем, и, как всегда, шутил:

— Встать! Поверка личного состава!

— Как успехи на фронте боевой и политической подготовочки?

— Претензии? Личные просьбы?

Как всегда, он изображал генерала.

Маруся из своего угла молча смотрела на него. Глаза ее, как всегда, заблестели, и губы, как всегда, складывались в улыбку.

— Ефрейтор Рукавишникова, — сказал ей Степа, — подготовиться к выполнению особого задания. Форма одежды зимняя парадная. Поняли? Повторите!

Но Маруся ничего не сказала и ушла за ширму переодеваться.

Пока она возилась за ширмой, Степа разгуливал по комнате, блестели, как ножки рояля, его сапоги и ременная бляха. На нем сегодня была какая-то новая форма — короткая теплая куртка с откинутым назад капюшоном из синего искусственного меха.

— Какой ты, Степа, сегодня красивый, — сказала И. Р.

— Новая форма, — сказал Степа и оправил складки под ремнем. — Между прочим, девчата, завтра на материк лечу.

— Больно ты здорово врать стал, — сказала Сима.

Она презирала таких, как Степа, невысоких стройненьких крепышей.

— Точно, девчата, лечу. Из Фосфатки до Хабаровска на «ИЛ-14», а оттуда на реактивном до столицы, а там уж…

— Что ты говоришь? — тихо сказала Маруся, выходя из-за ширмы.

Она уже успела надеть выходное платье и все свои стекляшки. Это была ее слабость — разные стекляшечки, огромные клипсы, бусы, броши.

— Так точно, лечу, — щелкнул каблуком Степа и осмотрел всю комнату. — Мамаша у меня померла. Скончалась, в общем. Третьего дня телеграмма была. Вот, отпускает командование. Литер выписали, суточные. Все как положено.

Маруся села на стул.

— Что ты говоришь? — опять сказал она. — Будет тебе…

Степа достал портсигар.

— Разрешите курить? — Щелкнул портсигаром и посмотрел на часы. — Через два дня буду на месте. Вчера родичам телеграмму дал, чтоб без меня не хоронили. Ничего, подождать могут. А, девчата? Даже если нелетная погода будет, все равно. Как считаете, девчата? Время-то зимнее, можно и подождать с этим делом, а?

Маруся вскочила, схватила свою шубу и потащила сержанта за рукав.

— Пойдем, Степа, пойдем!..

Она первая вышла из комнаты, а Степа, задержавшись в дверях, взял под козырек:

— Счастливо оставаться, девчата! Значит, передам от вас привет столице.

Мы все молчали. Дежурная И. Р. накрывала на стол, было время ужина. На кровати у нее, заваленная горой подушек, стояла кастрюля. И. Р. сняла подушки и поставила кастрюлю на стол.

— Ничего, успеет, — сказала Сима, — время-то действительно зимнее, могут подождать.

— Конечно, могут, — сказала И. Р. — летом другое дело, а зимой могут.

— Как вы можете так говорить? — чуть не закричала Нинка. — Как вы все так можете говорить?

Я молчала. Меня поразил Степа, поразила на этот раз его привычная подтянутость и ладность, весь его вид «на изготовку», его пронзительный, немного даже визгливый голос, и весь его блеск, и стук подкованных каблуков, и портсигар, и часы, и новая форма, а Марусины стекляшки показались мне сейчас не смешными, а странными, когда она стояла перед своим женихом, а желтый лучик от броши уходил вверх, к потолку.

— Масло кончилось, — сказала И. Р., — надо, девки, сходить за маслом.

— Сходишь, Розочка? — ласково спросила Сима.

— Ага, — сказала Роза и встала.

— Розка вчера бегала за подушечками, — пробасила И. Р.

— Ну, я схожу, — сказала Сима.

— Давайте, я быстро сбегаю, — предложила Нина.

Я оделась быстрее всех и вышла. В конце коридора танцевали друг с другом два подвыпивших бетонщика.

Дверь в одну комнату была открыта, из нее валили клубы табачного дыма, слышались музыка и громкие голоса парней. Они отмечали получку.

— Людмила, королева! — закричал один бетонщик. — Иди сюда!

— Эй, культурная комиссия! Даешь культуру! — крикнул второй.

Я распахнула дверь на крыльцо и выскочила на обжигающий мороз. Дверь за мной захлопнулась, и сразу наступила тишина. Это был как будто совсем другой мир после духоты и шума нашего общежития. Луна стояла высоко над сопками в огромном черном небе. Над низкими крышами поселка белели под луной квадратные колонны клуба. Где-то скрипели по наезженному снегу тихие шаги.

Я пошла по тропинке и вдруг услышала плач. Спиной ко мне на заснеженном бревне сидели Степа и Маруся. Они сидели не рядом, а на расстоянии, две совсем маленькие фигурки под луной, а от них чуть покачивались длинные тени. Маруся всхлипывала, плечи Степы тряслись. Мне нужно было пройти мимо них, другого пути к магазину не было.

— Не плачь, — сказал Степа сквозь слезы. — Ну че ты плачешь? Я ей писал о тебе, она о тебе знала.

— И ты не плачь. Не плачь, Степушка, — причитала Маруся, — успеешь доехать. Время зимнее, не убивайся.

А я не помню своей мамы, вернее, почти не помню. Помню только, как она отшлепала меня за что-то. Не больно было, но обидно. Когда два года назад умерла наша тетя, я очень сильно горевала и плакала. Тетю я помню отлично, тетя для нас с сестрой была, как мама. А где сейчас наш отец? Где он бродит, как работает? Кто-то видел его в Казахстане. Как его разыскать? Его необходимо разыскать, думала я, мало ли что, авария или болезнь.

Я шла быстро: я знала кратчайшую дорогу через всю путаницу переулков, улиц и тупиков — и вскоре вышла на площадь.

Огромная белая горбатая площадь лежала передо мной. Когда-нибудь, и, может быть, скоро, эта площадь станет ровной, и ветер будет завивать снег на ее асфальте, красивые высокие дома окружат ее, а в центре будет стоять большой гранитный памятник Ильичу, а пока что эта площадь не имеет названия, она горбата, как край земли, и пустынна.

Только где-то далеко маячили фигурки людей, а на другой стороне светились окна продуктового магазина и закусочной. Я почти бежала по тракторной колее, мне хотелось скорее пересечь площадь. В центре, где из снега торчало несколько саженцев и фигура пионера-горниста из серого цемента, я остановилась и посмотрела на гряду сопок. Отсюда можно видеть Муравьевскую падь и огоньки машин, спускающихся по шоссе к поселку.

На этот раз по шоссе вниз двигалась целая вереница огней, какой-то, видимо дальний, караван шел к нашему поселку. Я люблю смотреть, как оттуда, из мерцающей темноты гор, спускаются к нам огоньки машин. А в непогоду, в метель, когда сопки сливаются с небом, они появляются оттуда, как самолеты.

На краю площади из снега торчат почернелые столбы. Говорят, что раньше эти столбы подпирали сторожевую вышку. Говорят, что когда-то давно, еще во времена Сталина, на месте нашего поселка был лагерь заключенных. Просто трудно себе представить, что здесь, где мы сейчас работаем, танцуем, ходим в кино, смеемся друг над другом и ревем, когда-то был лагерь заключенных. Я стараюсь не думать о тех временах, уж очень это непонятные для меня времена.

В магазине было много народу: день получки. Все брали помногу и самое лучшее. Я заняла очередь за маслом и пошла в кондитерский отдел посмотреть, чего бы купить девочкам к чаю, все-таки сегодня получка. И никаких складчин. Это я их сегодня угощаю на свои деньги. Пусть удивятся.

— Разрешите? — тронула меня за плечо какая-то пожилая, лет тридцати пяти, женщина. — Можно посмотреть? Сколько это стоит? Я плохо вижу. А это? А это?

Она совалась то туда, то сюда, водила носом прямо по стеклу витрины. Какая-то странная женщина: в платке, а сверху на платке городская шляпка, старенькая, но фасонистая. Она так вокруг меня мельтешила, что я прямо выбрать ничего не могла.

— Хочешь компоту? Ты любишь компот? — спросила она, нагнувшись, и я увидела, что она держит за руку маленького закутанного то ли мальчика, то ли девочку, только нос торчит да красные щеки.

— Ага, — сказал ребенок.

— Дайте нам компоту триста граммов, — обратилась женщина к продавщице.

Продавщица стала взвешивать компот, пересыпала в совке урюк, сушеные яблочки и чернослив, а женщина нетерпеливо топталась на месте, взглядывала на продавщицу, на весы, на витрину, на меня, на ребенка.

— Сейчас придем домой, Боренька, — приговаривала она. — Отварим компоту и съедим, да? Сейчас нам тетя отпустит, и мы пойдем домой… — И улыбнулась какой-то неуверенной близорукой улыбкой.

У меня вдруг защемило все внутри от жалости к этой женщине и мальчику, просто так, не знаю почему, наверное, нечего было ее и жалеть, может, она вовсе и не несчастная, а, наоборот, просто мечтает о своей теплой комнате, о том, как будет есть горячий компот вместе с Борей, а Боря скоро вырастет и пойдет в школу, а там — время-то летит — глядишь, и школу кончит… Я раньше не понимала, почему люди с таким значением говорят: «Как время-то летит», — почему это всегда не пустые слова, а всегда в них или грусть, или неукротимые желания, или бог весть что, а сейчас мне вдруг показалось, что мне открылось что-то в этой щемящей жалости к смешной закутанной парочке, мечтающей о компоте.

Прямо не знаю, что сегодня со мной происходит. Может, это потому, что у меня сегодня оказалось столько пустого времени: заседание комиссии отложили, репетиция только завтра. Эдик еще не приехал. Прямо не знаю, какая-то я стала рева и размазня. Мне вдруг захотелось такого Бореньку, и идти с ним домой, и нести в маленьком кулечке триста граммов компота.

Нагруженная покупками, я вышла из магазина. Мимо шла машина, полная каких-то веселых парней. Я ус-

лышала, как в кузове заколотили кулаками по крыше кабины. Машина притормозила, в воздухе мелькнули меховые унты, и передо мной вырос улыбающийся — рот до ушей — высокий парень.

— Привет! — сказал он. — Дорогая прима, не бойсь! Подарочек от восторженных поклонников вашего уважаемого таланта.

И протянул мне — господи! — огромный-преогромный, оранжевый-преоранжевый, самый что ни на есть настоящий, всамделишный апельсин.

5. Корень

С утра я прихватил с собой пару банок тресковой печени: чувствовали мои кишки, чем все это дело кончится.

Пятый склад был у черта на рогах, за лесной биржей, возле заброшенных причалов. Неприятная местность для глаза, надо сказать. Иной раз забредешь сюда, так прямо выть хочется: ни души, ни человека, ни собаки, только кучи ржавого железа да косые столбы. Болтали, что намечена модернизация этих причалов. И впрямь: недалеко от склада сейчас стоял кран с чугунной бабой, четырехкубовый экскаватор и два бульдозера. Но работы, видно, еще не начались, и пока что здесь все было по-прежнему, за исключением этой техники. Пока что сюда направили нас для расчистки пятого склада от металлолома и мусора.

Умница я. Не просчитался я с этими банками. Часам к трем Вовик, вроде бы наш бригадир, сказал:

— Шабашьте, матросы! Айда погреемся! У меня для вас есть сюрприз.

И достает из своего рюкзака двух «гусей», две таких симпатичных черных бутылочки по ноль семьдесят пять. Широкий человек Вовик. Откуда только у него гроши берутся?

Сыграли мы отбой, притащили в угол какие-то старые тюфяки и драное автомобильное сиденье, забаррикадировались ящиками, в общем, получилось купе первого класса.

Вовик открыл свои бутылочки, я выставил свои банки, а Петька Сарахан вытащил из штанов измятый плавленый сыр «Новый».

— Законно, — сказал он. — Не дует.

Короче, устроились мы втроем очень замечательно, прямо получился итээровский костер. Сидим себе, выпиваем, закусываем. Вовик, понятно, чувствует себя королем.

— Да, матросы, — говорит, — вот было времечко, когда я из Сан-Франциско «либертосы» водил, яичный порошок для вас, сопляки, таскал.

— Давай, — говорим мы с Петькой, — рассказывай.

Сто пять раз мы уже слышали про то времечко, когда Вовик «либертосы» водил, но почему еще раз не доставить человеку удовольствие? К тому же травит Вовик шикарно. Был у нас в лесной командировке на Нере один хлопчик, он нам по ночам романы тискал про шпионов и артисток. Ну, так Вовик ему не уступит, честно. Прямо видишь, как Вовик гуляет по Сан-Франциско с двумя бабами — одна брюнетка, другая еще черней, — прямо видишь, понял, как эти самые «либертосы» идут без огней по проливу Лаперуза, а япошки-самураи им мины подкладывают под бока.

Не знаю, ходил ли Вовик в самом деле через океан, может, и не ходил, но рассказывает он здорово, мне бы так уметь.

— …и страшной силы взрыв потряс наше судно от киля до клотиков. В зловещей темноте завыли сирены. — Глаза у Вовика засверкали, как фонари, а руки задрожали. Он всегда начинал нервничать к концу рассказа и сильно действовал на Петьку, да и на меня, ей-ей.

— Суки! — закричал Петька по адресу самураев.

— Суки они и есть, — зашипел Вовик. — Понял, как они нейтралитет держали, дешевки!

— Давай дальше, — еще сдерживаясь, сказал я, хотя знал, что будет дальше: Вовик бросится в трюм и своим телом закроет пробоину.

— Дальше, значит, было так, — мужественным голосом сказал Вовик и стал закуривать. Тут, в этом месте, он закуривает долго-долго, прямо все нервы из тебя выматывает.

— Вот они где, полюбуйтесь, — услышали мы голос и увидели прямо над нами Осташенко, инспектора из портового управления. С ним подошел тот инженер, что выписывал нам наряд в этот склад.

— Так, значит, да? — спросил Осташенко. — Вот так, значит? Таким, значит, образом?

Не люблю типов, что задают глупые вопросы. Что он, сам не видит, каким, значит, образом?

— Перекур у нас, — сказал я.

— Водочкой, значит, балуетесь, богодулы? Кают-компанию себе устроили?

— Кончайте вопросы задавать, — сказал я. — Чего надо?

— Вам, значит, доверие, да? А вы, значит, так?

Тогда я встал.

— Или это работа для моряков? — закричал я, перебираясь через ящики поближе к Осташенко. — Мать вашу так, как используете квалифицированные кадры?!

Инженер побледнел, а Осташенко побагровел.

— Ты меня за горло не бери, Костюковский! — заорал он на меня. — Ты тут демагогией не занимайся, тунеядец!

И пошел:

— На судно захотел, да? На сейнерах у нас сейчас таким, как ты, места нет, понял? На сейнерах у нас сейчас только передовые товарищи. А твои безобразия, Костюковский, всем уже надоели. Так, смотри, и из резерва спишем…

— Чуткости у вас нет, — попытался взять я его на понт.

Ух ты, как взвился!

— Чуткость к тебе проявляли достаточно, а что толку? Не понимаешь ты человеческого отношения. Тебе что — абы зенки пялить! С «Зюйда» тебя списали, с плавбазы тоже, на шхуне «Пламя» и трех месяцев не проплавал…

— Ну ладно, ладно, — сказал я, — спокойно, начальник.

Мне не хотелось вспоминать о шхуне «Пламя».

— Ты думаешь, так тебе просто и пройдет эта история с каланами? — понизил голос Осташенко, и глаза у него стали узкими.

— Эка, вспомнили, — свистнул я, но, честно говоря, стало мне вдруг кисло от этих его слов.

— Мы все помним, Костюковский, решительно все, имей это в виду.

Подошел Вовик.

— Простите, — сказал он инженеру, — вы нам дали на очистку этих авгиевых конюшен три дня и три ночи, да? Кажется, так?

— Да-да, — занервничал инженер. — Три рабочих смены, вот и все. Да я и не сомневаюсь, что вы… это товарищ Осташенко решил проверить…

— Завтра к концу дня здесь будет чисто, — картинно повел рукой Вовик. — Все. Повестка дня исчерпана, можете идти.

Когда начальники ушли, мы вернулись в свое «купе», но настроение уже было испорчено начисто. Выпили мы и закусили по следующему кругу, но без всякого вдохновения.

— А чего это он тебя каланами пугал? — скучно спросил Вовик.

— Да там была одна история у нас на шхуне «Пламя», — промямлил я.

— А чего это такое — каланы? — спросил Петька.

— Зверек такой морской, понял? Не котик и не тюлень. Самый дорогой зверь, если хочешь знать. Воротник из калана восемь тыщ стоит на старые деньги, понял? Ну, стрельнули мы с одним татарином несколько штучек этой твари. Думали во Владике барыгам забодать.

— А вас, значит, на крючок? — усмехнулся Вовик.

Вот оно, подошло. Шибануло. Мне стало горячо, и в сердце вошел восторг.

— Хотите, ребята, расскажу вам про этот случай?

Мне показалось, что я все смогу рассказать, подробно и точно, и во всех выражениях, как Вовик. Как ночью в кубрике мы сговаривались с татарином, а его глазки блестели в темноте, как будто в голове у него вращалась луна. Потом — как утром шхуна стояла вся в тумане, и только поверху был виден розовый пик

острова. Как мы отвязывали ялик и так далее, и как плавают эти каланчики, лапки кверху, и какие у них глаза, когда мелкокалиберку засовываешь в ухо.

— Хотите, ребята, я вам всю свою жизнь расскажу? — закричал я. — С начала? Законно?

— Пошли, Корень, — сказал Вовик, — по дороге расскажешь.

Он встал.

Своих я не бью даже за мелкое хамство. За крупное уже получают по мордам, а мелкое я им спускаю. В общем, я добрый, меня, наверное, потому и зовут Корнем. Корни ведь добрые и скромные, а?

— Ну, пошли, пошли, матросы! Потянемся на камни, храбрецы! Рассказывать, да? Ну ладно… Родился я, Валентин Костюковский, в одна тысяча девятьсот тридцать втором году, представьте себе, матросы, в Саратове…

Мы вышли из склада и, взявшись под руки, зашагали мимо склада к шоссе. Было уже темно и так морозно, что весь мой восторг улетучился без звука.

В городе Вовик от нас отстал, побежал куда-то по своим адмиральским делам, а мы с Петькой, недолго думая, сделали поворот «все вдруг» на Стешу. У Стешиной палатки стояли несколько знакомых, но контингент был такой, что мы сразу поняли: здесь нам не обломится. Тогда мы пошли вдоль забора, вроде бы мы и не к Стеше, чтоб эти ханурики видели, что мы вовсе не к Стеше, а просто у нас легкий променад с похмелья, а может, мы и при деньгах.

За углом мы перелезли через забор и задами прошли к палатке. Стеша открыла на стук, и я первый протиснулся в палатку и обхватил ее за спину.

— Валька, — прошептала она и, значит, ко мне целоваться. — Придешь сегодня? Придешь?

Уже с минуту мальчики снаружи стучали мелочью в стекло, а потом кто-то забарабанил кулаком.

— Эй, Стеша! — кричали оттуда.

А мой Петька скрипел дверью, совал свой нос, хихикал.

Стеша отогнула занавеску и крикнула:

— Подождите, моряки! Тару сдаю!

И опять ко мне. Тут Петька не выдержал и влез в палатку.

— Прошу прощения! Товарищ Корень не имел честь сюда зайти? А, Валя, это ты, друг? Какая встреча!

Стеша отошла от меня. Мы сели на ящики и посмотрели на нее.

— Стеша, захмели нас с товарищем, — попросил я.

— Эх ты! — сказала она.

— Честно, Стеша, захмели, а?

Она вынула платочек, вытерла свое красное от поцелуев, что ли, лицо и как будто отошла. Как говорит Вовик, спустилась на грешную землю. Засмеялась:

— Да у меня сегодня только «Яблочное».

— Мечи что ни есть из печи! — сказал я.

И Петька повеселел.

— Я лично «Яблочное» принимаю, — заявил он категорически.

«Колыма ты, Колыма, чудная планета».

Что ты понимаешь, салага? Где ты был, кроме этого побережья? Греешься у теплого течения, да? Куросиво — сам ты Куросиво. Хочешь, я расскажу тебе про трассу, про шалаш в Мяките? Хочешь, я тебе расскажу всю свою жизнь с самого начала? Ну, пошли? Стеша, малютка, ручки твои крючки. Ариведерчирома! Мороз,

это ты считаешь — мороз? Что ты видел, кроме этого тухлого берега? А, вон он, «Зюйд», стоит… Понял, Петь, передовые товарищи на нем промышляют, а нам ни-ни… Герка там есть такой, сопляк вроде бы, но человек. Как даст мне один раз «поддых»! Такой паренек… Зуб на меня имеет, и правильно. В общем, ранний мой младенческий возраст прошел, представь, в городе Саратове, на великой русской артерии, матушке Волге… Что там, а? Шоколадом один раз обожрался. Из окна сад было видно, деревья густые (а под ними желтый песок), как облака, когда на самолете летишь, только зеленые. Понял, Петь? Игра такая была — «скотный двор», да? И клоун на качелях, заводной, и ружье с резиновой блямбочкой: Стрелишь в потолок, а блямбочка прилипает, и тогда кто-то вытаскивал стол, ставил на него стул, сам залезал на стул и снимал резинку. Может, это и был отец, а? А может, этого и не было, может, чистый сон: Кончено, Петь, хватит мне с тобой время бить, я, кореш, сейчас поеду:

— Куда ты, Корень? — спросил Петька.

— В Шлакоблоки поехал, вот куда.

— Не ездий, Корень. Не ездий ты сегодня в Шлакоблоки, — затянул Петька. — Ну, куда ты поедешь такой: ни штиблет у тебя, ни галстука, ни кашне. Не ездий ты в Шлакоблоки, Валька.

— Когда ж мне ездить-то туда, а?! — закричал я. — Когда ж мне туда поехать, Петь?

— Потом поедешь. Только не сейчас, верно тебе говорю. Прибарахлишься немного и поедешь. А так что ехать, впустую? Без штиблет, без кашне… Пойдем домой, соснем до вечера.

«Мы на коечках лежим, во все стороны глядим!» Петька, ты пил когда-нибудь пантокрин? Это лекарство

такое, от всех болезней. Мы пили его в пятьдесят третьем году в Магадане перед пароходом. Кемарили тогда в люках парового отопления и, значит, прохлаждались пантокрином. Это из оленьих рогов, спиртовая настойка. Ты оленей видел, нет? Ни фига ты не видел, собачьи упряжки ты видел, а вот оленей тебе не пришлось наблюдать. Ты бы видел, как чукча на олене шпарит, а снег из-под него веером летит. Что ты! Конечно, я «либертосы» не водил по океану, но я тебе скажу, морозы на Нере были не то, что здесь. Завтра у меня день рождения, если хочешь знать — тридцатка ровно, понял? Завтра я поеду в Шлакоблоки. А чего мне, старому хрену, туда ездить? Мне теперь какая-нибудь вдова нужна в жены, какая-нибудь Стеша. Это только гордость моя польская туда тянет. Ты знаешь, что я поляк, нет? Потеха, да? Я — и вдруг поляк. Корень — польский пан. Пан Костюковский. Это мне пахан сказал, что я поляк, я и не знал, в детдоме меня русским записали. А рассказать вам, пан Петя, как я в тюрягу попал? Рассказать или нет? Я, конечно, «либертосы» не водил… Так рассказать? А, задрыхал уже… Ну и спи…

Это было году в пятидесятом в Питере, я там в ФЗО обучался. Я все равно не смогу рассказать про это как следует. Ну и ночка была — бал-маскарад! Кому пришла в голову эта идея, может, мне? Когда мы налаживали сантехнику в подвале на Малой Садовой, вечером, после работы, перед нами за огромными стеклами прямо горел миллионом огней Елисеевский магазин. Наверное, мне пришла в голову эта идейка, потому что каждый раз, проходя мимо Елисеевского, я воображал себя ночью там, внутри. Наверно, я кинул эту идею, потому что из всех наших фэзэошников я был самый приблатненный. В общем, стали мы ко-

пать из соседнего дома, из подвала, подземный ход и подошли под самый настил магазина. Мы сняли кафельные плитки и заползли внутрь, все шесть человек. Ух ты, черт, это невозможно рассказать: светилось несколько ламп в этой огромной люстре, и отсвечивала гора разноцветных бутылок, а в дальнем углу желтела пирамида лимонов, и колбасы, тонкие и толстые, свисали с крюков, и мы сидели на полу в этой тишине и молчали, как будто в церкви.

Ребята маленькие, все почти были с тридцать шестого года, а я-то лоб, балда, надо было чисто сработать, а я со страху прямо к бутылкам полез, и ребята за мной.

Все равно другой такой ночки у меня в жизни не было, да и не будет. Мы лежали на полу, и хлестали шоколадный ликер, и прямо руками хватали икру, и все было липким вокруг и сладким, и прямо была сказка, а не ночь, и так мы все и заснули там на полу, а утром нас там и взяли, прямо тепленьких.

И поехал я, Петя, из Питера осваивать Дальний Север. Жизнь моя была полна приключений с тех пор, как я себя помню, а с каких пор я себя помню, я и сам не знаю. Иногда мне кажется, что тот, кого я помню, это был не я. И вообще, что такое, вот выпили мы сегодня в складе, и этого уже нет; вот я сигаретку гашу, и этого уже нет, а впереди темнота, а где же я-то?

Тут такой сон находит, что просыпаешься от стука, будто чокнутый, будто тебя пыльным мешком из-за угла хлопнули, страх какой-то, хочется бежать.

— Эй, Корень, тебе повестка пришла, — сказали из коридора. Понятно, шуточки, значит. Так надо понимать, что в парикмахерскую мне пришла повестка. — Слышь, Корень, повестка тебе!

— Сходи с этой повесткой куда-нибудь, — ответил я, — и поменьше ори: тут Петечка спит.

А может, в милицию повестка? Вроде бы не за что.

Я встал и взял повестку. Это был вызов на телефонную станцию, междугородный разговор. Ничего не понимаю, что за чудеса?

Я пошел в умывалку и сунул голову под кран. Струя била мне по темени, волосы нависли над глазами, мне было знобко и хорошо, так бы весь вечер и просидел здесь, под краном.

Потом снова прочел повестку. «Приглашаетесь для разговора с Москвой». И тут я понял — это штучки моего папаши. Ишь ты, профессор, что выдумал! Мало ему писем и телеграмм, так он еще вот что придумал — телефонный переговор.

Папаша мой нашелся год назад, верней, он сам нашел меня. Честно, Петька, я раньше даже в мыслях не держал, что у меня где-то есть пахан. Просто даже не представлял себе, что у меня кто-нибудь есть, папа там или кто-нибудь еще.

Оказывается, жив он, мой папаша, профессор по званию, член общества какого-то, квартира в Москве, понял? Он у меня в тридцать седьмом году загремел и шестнадцать лет, значит, на Колыме припухал. Рядом мы, значит, с ним были три года — я на Нере, а он где-то возле Сеймчана. Не любил я тогда этих контриков. Вот суки, думал, Родину, гады, хотели распродать япошкам и фрицам. Оказывается, ошибочка получилась, Петь. Чистую ошибочку допустил культ личности. С батей моим тоже, значит, чистый прокол получился. Юриспруденция не сработала, так ее растак.

Петька спал. Я оделся и отправился на почту. В коридоре пришлось остановиться — встретил охотника

со шхуны «Пламя». Он завел меня в свою комнату и поднес стаканчик.

— Ну как там у вас, на шхуне? — спросил я.

— Премию получили, — ответил охотник. — Жалко, что тебя не было, Корень, ты бы тоже получил.

— Черт меня попутал с этими каланами.

— Да, это ты зря.

И поднес мне еще стаканчик.

— Понял, на почту иду. Отец вызывает меня на междугородный переговор.

— Будет тебе, Корень!

— Папаша у меня — профессор кислых щей.

— Здоров ты брехать, ну и здоров!

— Ну, пока! Привет там, на шхуне.

— Пока!

— Слушай, ты что, не веришь, да? Хочешь, я тебе всю свою жизнь расскажу? Всю, с самого начала? Я, конечно, «либертосы» не водил…

— Извини, Валя, я тут в шахматы с геологом играю. Потом поговорим, ладно?

Луна плыла над сопками, как чистенький кораблик под золотыми парусами. Мимо острова Буяна в царство славного Салтана. Сказочка какая-то такая есть в стихах, кто ее мне рассказал? Говорят, завелись какие-то летающие тарелки и летают они по небу со страшной силой. Мне бы сейчас верхом на такую тарелочку, и чтобы мигом быть в Москве, и чтобы батя мой не надрывался в трубку, чтоб руки у него не тряслись, а прямо чтоб сесть с ним за стол и за поллитровочкой «Столицы» разобрать текущий вопрос.

Эх, охотник, тебе бы только в шахматы играть, не знаешь ты ничего про мою увлекательную жизнь. Попробовал бы ты к тридцати годам заиметь себе папоч-

ку, профессора кислых щей. И кучу теток. И двоюродную сестренку, красотку первого класса. Попробовал бы ты посидеть с ними за одним столом. Попробовал бы ты весь вечер заливать им про свои героические дела и про производственные успехи. Впрочем, тебе-то что, ведь ты охотник с передовой шхуны «Пламя», ты премии получаешь!

А знаешь, как ночью остаться в квартире вдвоем с таким профессором, с таким, понимаешь, членом общества по распространению разных знаний. Вот ты меня называешь бичом, а он небось и слова-то такого не знает. Я бы тебе рассказал, охотник, как он меня спросил: «Значит, ты моряк, Валя? Выходит, что ты стал моряком?»

Да, я моряк, я рыбак, балда я порядочная. Что ты хочешь, чтоб я ему рассказал, кто я такой, да? Как меня с «Зюйда» выперли и как с плавбазы меня выперли, да? Может, мне про Елисеевский магазин ему рассказать?

«Ах, Валька, Валька, что такое счастье?» — спрашивает мой отец и читает какие-то стихи.

А для меня, охотник, что такое счастье? Ликером налиться до ушей и безобразничать с икрой, да?

«Неужели ты ничего не помнишь? — спрашивает отец. — Нашей квартиры в Саратове? Меня совсем не помнишь? А маму?»

Что я помню? Кто-то вытаскивал стол и ставил на него стул, влезал и снимал мою резинку. Потолки были высокие, это я помню. Подожди, охотник, вот что я еще помню — патефон. «Каховка, Каховка, родная винтовка, горячая пуля, лети…» А маму я не помню. Помню милиционера в белом шлеме и мороженое, которое накручивали на такой барабанчик, а сверху

клали круглую вафлю. И помню, как в детском доме дрались подушками, как в спальне летали во все стороны подушки, как гуси на даче. Вот еще дачу немного помню и озеро. А гуси не летают. Ты небось и не видел никогда, охотник, материковых гусей, белых и толстых, как подушки.

«Когда ты еще приедешь, Валентин? — спрашивает отец. — Переезжай ко мне. Ты моторы знаешь, технику, устроишься на работу. Женишься…»

И сейчас он все мне пишет без конца — приезжай. А как я приеду, когда у меня ни галстука, ни штиблет и грошей ни фига?

Мне бы чемодана два барахла, и сберкнижку, и невесту, девочку такую вроде Люськи Кравченко, тогда бы я приехал, охотник.

Господи, и чего он меня нашел, на кой он меня, такое добро, нашел, этот профессор?

Вот кого бы ему найти, так вот Герку, такого симпатичного сопляка, поэта, чтоб ему! Ишь ты, шагают, орлы! Экипаж коммунистического труда.

— Здорово, матросы, — сказал я.

Черт-те что, какие чудеса! Сколько отсюда до Москвы — десять тысяч километров, не меньше, и вот я слышу голос своего бати и хрипну сразу, неизвестно отчего.

— Здравствуй, Валентин, — говорит он. — С днем рождения!

— Здравствуйте, папа, — говорю я.

— Получай сюрприз. Скоро буду у вас.

— Чего? — поперхнулся я и подумал: «Опять, что ли, его замели?» Прямо весь потом покрылся.

— Получил командировку от общества и от журнала. Завтра вылетаю.

— Да что вы, папа!

— Не зови меня на «вы»! Что за глупости!

— Не летите, папа! Чего вы? Вы же старый.

— Ты недооцениваешь моих способностей, — смеется он.

— Да мы в море уходим, папа. Чего вам лететь? Я в море ухожу.

Замолчал.

— А задержаться ты можешь? — спрашивает. — Отпроситься у начальства.

— Нет, — говорю. — Никак.

— Печально.

И опять замолчал.

— Все-таки нужно лететь, — говорит.

Ах ты, профессор кислых щей! Ах ты, чтоб тебя! Что же это такое?

— Ладно, — говорю, — папа, попробую. Может быть, отпрошусь.

Луна плыла под всеми парусами, как зверобойная шхуна «Пламя». Будто она уносила меня от всех забот и от передряг туда, где непыльно.

Дико хотелось выпить, а в кармане у меня был рубль.

Ну вот, приедете, папа, и узнаете обо всем. Советую еще обратиться в отдел кадров, к товарищу Осташенко. Черт меня дернул пойти тогда на каланов с этим татарином! Почти ведь человеком стал, прибарахлился, не пил…

Рубль — это по-старому десятка, сообразил я.

В «Утесе» гулял боцман с «Зюйда». Он захмелил уже четырех пареньков, а к нему все подсаживались.

— Иди туда, Корень, — сказала мне официантка. — Доволен будешь.

Я вынул свой рубль и положил его на стол.

— Вот, — сказал я, — обслужи, Раиса, на эту сумму.

Она принесла мне сто граммов водки и салат из морской капусты.

«Все, — думал я. — Хватит позориться».

Смотрю, в ресторан шустро так заходит Вовик, не раздетый, в тулупе и шапке. Топает ко мне.

— Корень, — говорит, — аврал. Собирай всех ребят, кого знаешь, едем в Талый.

— Иди сходи куда-нибудь, — говорю. — Видишь, человек ужинает.

— Аврал, — шепчет Вовик. — В Талый пароход пришел с марокканскими апельсинами.

— Иди сходи куда-нибудь!

— На, посмотри.

И показывает Вовик из-за пазухи чудо-юдо — апельсин.

— Можешь потрогать.

Трогаю — апельсин. Елки-моталки, апельсин!

— А на кой мне апельсины? — говорю. — У меня сейчас с финансами туго.

А Вовка прямо ходит вокруг меня вьюном.

— Фирма, — говорит, — платит. Давай, — говорит, — собирай ребят.

6. Николай Калчанов

— Где Катя? — спросил он.

— Спускается.

Он нагнулся к мотоциклу. Я подошел поближе, и вдруг он прямо бросился ко мне, схватил меня за куртку, за грудки.

— Слушай, ты, Калчанов, — зашептал он, и если даже ярость его и злость были поддельными, то все-таки это было сделано здорово, — слушай, оставь ее в покое. Я тебя знаю, битничек! Брось свои институтские штучки. Я тебе не позволю, я тебе дам по рукам!

И так же неожиданно он оставил меня, склонился над мотоциклом. Подбежала Катя.

— Я готова, товарищ капитан, — откозыряла она Сергею, — колясочник Пирогова готова к старту.

Он закутал ее в коляске своим полушубком, своим походным «рабочим» полушубком, в котором он обычно выезжал на объекты, в котором он появлялся и на нашей площадке. Все стройплощадки Фосфатки, Шлакоблоков, Петрова и Талого знают полушубок товарища Орлова. Всему побережью он знаком, и даже к северу, даже в Улейконе он известен.

— Благородство, — сказал я, когда он обходил мотоцикл и коснулся меня своей скрипучей кожей, — благородство плюс благородство и еще раз благородство.

Он даже не взглянул на меня, сел в седло. Раздался грохот, мотоцикл окутался синим выхлопным дымом. Меня вдруг охватил страх, я не мог сдвинуться с места. Я смотрел, как медленно отъезжает от меня моторизованный и вооруженный всеми логическими преимуществами Сергей, как матово отсвечивает его яйцеобразная голова, как он при помощи неопровержимых доказательств увозит от меня Катю.

Катя не успела оглянуться, как я подбежал и прыгнул на заднее сиденье. Мы выехали из ворот. Она оглянулась — я уже сидел за спиной Сергея, словно его верный паж.

— Вы благородны, сэр, — шепнул я Сергею на ухо, — вы джентльмен до мозга костей. И прекрасный

друг. Хоть сто верст кругом пройдешь, лучше друга не найдешь.

Не знаю уж, слышал ли он это в своем шлеме. Он сделал резкий разворот и уже на хорошей скорости промчался мимо своего дома. Я еле успел махнуть Стасику и Эдьке, которые стояли в подъезде.

Через несколько минут мы были на шоссе. Сергей показывал класс — скорость была что надо! Луна дрожала над нами, и, когда мы вылетали из очередной пади на очередной перевал, она подпрыгивала от восторга, а когда мы, не сбавляя скорости, устремлялись вниз, она в ужасе падала за сопки.

Грохот, свист и страшный ветер в лицо. Я держался за петлю и корчился за широкой кожаной спиной. Все равно меня просвистывало насквозь.

— Чудо! — кричал я на ухо Сергею. — Скорость! Двадцатый век, Сережа! Жми-дави, деревня близко! Ты гордость нашей эпохи! Суровый мужчина и джентльмен! И даже здесь, в дебрях Дальнего Востока, мы не обрываем связи с цивилизацией! Все для самоуважения. У тебя есть все, что нужно современному бюргеру! Скорость и карманная музыка! И под водой ты не растеряешься — акваланг! Магнитофон, шейкер, весь модерн! И сам ты неплох на вид!

— И с-а-ам непло-ох на ви-ид! — распевал я.

Конечно, он не слышал ничего в своем шлеме да еще на такой скорости. Все-таки не хватило бы у меня совести говорить ему такое, если бы он слышал. Катя съежилась за щитком. Вдруг она обернулась и посмотрела на меня. Засмеялась, сверкнули ее зубки. Глаз ее не было видно — отсвечивали очки-консервы. Она сняла очки и протянула их мне: заметила, должно быть, что я весь заиндевел. Я хлопнул ее по руке. Она опять

с сердитым выражением протянула мне очки. Сергей снял руку с руля и оттолкнул очки от меня, ткнул кожаным пальцем в Катю: надень!

— Ты наша гордость! — закричал я ему на ухо.

Конечно, он не слышал.

Катя надела очки и показала мне рукой: хочу курить. Я похлопал себя по карманам: нету, забыл. Она чуть не встала в коляске и полезла к Сергею в карманы. Тогда уж мы оба перепугались и затолкали ее в коляску.

— Совместными усилиями, Сережа! — крикнул я. — Совместные усилия приносят успех.

Но он, конечно, не слышал. Он возвышался надо мной, как башня, он защищал меня от ветра, он мчал меня в неведомое будущее, в страну Апельсинию.

Мы обгоняли одну за другой машины, набитые людьми, а впереди все маячили красные стоп-сигналы.

Из одной машины кто-то махнул нам рукой. Когда мы поравнялись с ними, я узнал Витьку Колтыгу, бурильщика из партии Айрапета.

— Привет, Витя! Ты тоже за марокканской картошкой спешишь?! — крикнул я ему.

Он кивнул, сияя. Он вечно сияет и отпускает разные шуточки. Когда он приходит из экспедиции и появляется в городе, он корчит из себя страшного стилягу. Называет себя Вик, а меня Ник. Веселый паренек.

— Курево есть? — спросил я.

Он бросил мне пачку сигарет. Сергей дал газу, и мы сразу ушли вперед. Я протянул пачку Кате. По тому, как она смотрела на Виктора, я понял, что она не знает, что он сейчас работает у Айрапета. А Чудакова в кабине она не заметила.

Катя долго возилась за щитком с сигаретами. Спички все гасли. Наконец она закурила, но неосторожно

высунулась из-за щитка, и сигарета сразу размочалилась на ветру, от нее полетели назад крупные искры. Пришлось ей опять закуривать.

Мы взяли крутой подъем и сейчас мчались вниз, в Муравьевскую падь. Уже виднелись внизу пунктиры уличных фонарей в Шлакоблоках.

Катя сидела как-то бочком, взглядывала то на меня, то на Сергея, очки отсвечивали, глаз не было видно, а губы усмехались, и в них торчала сигарета, и от этого Катя казалась мне какой-то чужой и вообще какой-то нереальной, придуманной, героиней каких-то придуманных альпийских торжеств, она была за семью замками, и только кончик носа и подбородок были моими. Моими, ха-ха, моими… что же это такое получается и как тут найти выход? Говорят, кибернетическая крыса безошибочно проходит по лабиринту. Мальчики кибернетики, запрограммируйте меня, может, я найду выход? Может, броситься сейчас спиной назад — и делу конец? Я увидел, как протянулась кожаная рука, вырвала у Кати изо рта сигаретку и бросила ее на шоссе.

— Радость моя! — закричал я Сергею. — Друг беременных женщин!

Он резко повернул ко мне лицо в огромных очках. Они не отсвечивали, и я увидел, как там, в глубине, остекленел от бешенства его глаз.

— Ты замолчишь или нет?! — заорал Сергей.

Мотоцикл дернулся, полетел куда-то вбок. Толчок — и, ничего еще не понимая, я увидел над собой летящие ботинки и сам почувствовал, что лечу, и сразу меня обжег снег, а на лицо мне навалился кожаный зад Сергея.

Я отбросил Сергея, мы оба мгновенно вскочили на ноги — по пояс в снегу — и, еще не успев перепугаться, увидели возящуюся в снегу и смеющуюся Катю.

Мотоцикл лежал на боку — в кювете, коляской кверху — и дрожал от еле сдерживаемой ярости. Сергей мрачно подтягивал краги.

— Идиот, кретин, — сказал я ему, — ты зачем взял Катю в коляску?

— А ты чего молчал? — хмуро, но без злобы сказал он. — Когда не надо, у тебя язык работает.

— Ох, дал бы я тебе!

— А я бы тебе с каким удовольствием!..

Он пошел к мотоциклу.

Катя шла ко мне, разгребая снег руками так, как разгребают воду, когда идут купаться.

— А я только что привстала, чтобы дать Сережке по башке, и вдруг чувствую — лечу! — смеялась она.

— Смешно, да? — спросил я.

— Чудесно!

Это идиллическое приключение под безветренным глубоким небом на фоне живописных сопок и впрямь настраивало на какой-то альпийский, курортный лад.

«Почему мы быстро так схватились, почему мы так быстро и решительно поехали куда-то к черту на рога? — думал я. — За апельсинами, да? Ну конечно, нам надо было куда-то поехать, вырваться в этот морозный простор, вылететь из сидений, почувствовать себя безумными путниками на большой дороге».

Я стал стряхивать с Кати снег, хлопал ее по спине, а она вертелась передо мной и вдруг, оглянувшись на Сергея, прижалась ко мне щекой. Мы постояли так секунду — не больше. Я смотрел, как за пленкой очков гаснут ее глаза.

— Колька, иди сюда! — крикнул Сергей.

Мы стали вытаскивать из кювета мотоцикл. Подъехала и остановилась рядом машина Чудакова. Вить-

ка Колтыга и еще несколько ребят выскочили и помогли нам.

— Ну как там у вас? — спросил я Витьку. — Будет нефть?

— Ни черта! — махнул он рукой. — Джан Айрапет уперся. Третью скважину уже бурим в этом проклятом распадке.

— А вообще-то здесь есть нефть?

— По науке, вроде должна быть.

— Наука, старик, умеет много гитик.

— А я о чем говорю?

Сергей уже сидел за рулем, а Катя в коляске. Я подбежал и сел сзади.

— Ты уж держись за ними, орел, — сказал я Сергею, — всем ведь уже ясно, какой ты орел. Орлов — твоя фамилия.

— Глупеешь, Калчанов, — сказал Сергей, нажимая на стартер и исторгая из своего мотоцикла звуки, подобные грому.

— Держись за грузовиком, — сказал я. — Проявляй заботу о детях.

— Учти, — сказал он, — наш разговор еще не окончен.

Я доверчиво положил голову на его плечо.

Все-таки он держался за грузовиком, и до самого моря перед нами маячил кузов, полный какой-то разношерстной публики, среди которой Виктор Колтыга, видимо, чувствовал себя звездой, певцом миланской оперы.

Море здесь открывается неожиданно, в десяти километрах от Талого. Летом или осенью оно ослепляет своим зеленым светом, неожиданным после горной дороги. Оно никогда не бывает спокойным, море, в наших краях. Волнующаяся тяжелая масса зеленой воды и грохот, сквозь который доносятся крики птиц,

вечный сильный ветер — это настоящее море, не какая-нибудь там лагуна. Из такого моря может спокойно вылезти динозавр.

Сейчас моря видно не было. В темноте белел ледяной припай, но его линия гасла гораздо ниже горизонта, и там, в кромешной тьме, все-таки слышался глухой шум волн.

Сюда, прямо к порту Талый, подходит веточка теплого течения. Навигация здесь продолжается почти круглый год, правда, с помощью маленьких ледоколов.

Вот мы уже въехали в Талый и катим по его главной, собственно говоря, и единственной улице. Оригинальный городишко, ничего не скажешь. С одной стороны трехэтажные дома, с другой — за низкими складами тянется линия причалов, стоят освещенные суда, большие и маленькие. Улица эта вечно полным-полна народа.

Публика прогуливается и снует туда-сюда по каким-то своим таинственным делам. Когда приезжаешь сюда поздно вечером, кажется, что это какой-нибудь Лисс или Зурбаган, а может быть, даже и Гель-Гью. Я был здесь раньше два раза, и всегда мне казалось, что здесь со мной произойдет что-то удивительное и неожиданное. Уезжал же я отсюда оба раза с таким чувством, словно что-то прошло мимо меня.

7. Виктор Колтыга

В Талом, кажется, вся улица пропахла апельсинами. В толпе то тут, то там мелькали граждане, с бесстрастным видом лупившие эти роскошные, как сказал Кичекьян, плоды. Видно, терпения у них не хватало донести до дома.

Мы медленно пробирались по заставленной машинами улице. Мальчики в кузове у нас нетерпеливо приплясывали. С Юрой прямо неизвестно что творилось. Подозреваю, что он вообще ни разу раньше не пробовал апельсинчиков. А я внимательно разглядывал прохожих, нет ли среди них Люськи. Гера тоже смотрел. Соперники мы с ним, значит. Вроде бы какие-нибудь испанцы, не хватает только плащей и шпаг.

Возле детсада разгружалась машина. В детсад вносили оклеенные яркими бумажками ящики, в которых рядком, один к одному, лежали эти самые. Все нянечки, в халатах, стояли на крыльце и, скрестив руки на груди, торжественно следили за этой процедурой. Окна в детсаде были темные; ребятня, которая на круглосуточном режиме, спокойно дрыхла, не подозревая, что их ждет завтра.

Улица была ярко освещена, как будто в праздник. Впрочем, в Талом всегда светло, потому что с одной стороны улицы стоят суда, а там круглые сутки идет работа и светятся яркие лампы.

— Мальчики, равнение направо! — крикнул я. — Вот он!

Над крышей какого-то склада виднелись надстройки и мачты, а из-за угла высовывался нос виновника торжества, скромного парохода «Кильдин».

— Ура! — закричали наши ребята. — Да здравствует это судно!

Моряки с «Зюйда» иронически усмехнулись. К продмагу мы подъехали в самый подходящий момент. Как раз в тот момент, когда при помощи милиции он закрывался на законный ночной перерыв. Публика возле магазина шумела, но не очень сильно. Видно, боль-

шинство уже удовлетворило свои разумные потребности в цитрусовых.

На Юру просто страшно было смотреть. Он весь побелел и впился лапами мне в плечо.

— Спокойно, Юра. Не делай из еды культа, — сказал я ему. Я слышал, так говорил Сергей Орлов — остроумный парень. — Подумаешь, — успокаивал я Юру, — какие-то жалкие апельсины. Вот арбузы — это да! Ты кушал когда-нибудь арбузы, Юра?

— Я пробовал арбузы, — сказал какой-то детина из моряков.

В общем, мы приуныли.

Открылись двери кабины, и с двух сторон над кузовом замотались головы Чудакова и Евдощука.

— Прокатились, да? — сказал Чудаков.

— Прокатились, — подвел итог Евдощук и кое-что еще добавил.

— Паника на борту? — удивился я. — По местам стоять, слушай команду. Курс туда, — показал я рукой, — столовая ресторанного типа «Маяк»!

— Гений ты, Виктор! — крикнул Чудаков.

— ….! — крикнул Евдощук.

И оба они сразу юркнули в кабину.

Взревел мотор.

Я угадал: столовая ресторанного типа «Маяк» торговала апельсинами навынос. Длинное одноэтажное здание окружала довольно подвижная очередь. Кто-то шпарил на гармошке, на вытоптанном снегу отбивали ботами дробь несколько девчат. Понятно, это не Люся. Люся не станет плясать перед столовой, она у нас не из этаких. Но, может быть, она где-нибудь здесь?

Торговля шла где-то за зданием, продавщицы и весов не было видно, но, когда мы подъехали к хвосту

очереди, из-за угла выскочил парень с двумя пакетами апельсинов и на рысях помчался к парадному входу — обмывать, значит, это дело.

Мы попрыгали из машины и удлинили очередь еще метров на шесть-семь. Ну, братцы, тут был чистый фестиваль песни и пляски!

— «А путь наш далек и долог…» — голосили какие-то ребята с теодолитами. Шпарила гармошка. Девчата плясали с синими от луны и мороза каменными лицами. Галдеж стоял страшный. Шоферы то и дело выбегали из очереди прогревать моторы. Понятно, там и сям играли в «муху». Какие-то умники гоняли в футбол сразу тремя консервными банками. Лаяли собаки нанайцев. Нанайцы, действительно умные люди, разводили костер. Там уже пошел хоровод вокруг костра и вокруг задумчивых нанайцев. Подъехали интеллектуалы. Катя давай плясать, и Колька Калчанов туда же.

— Заведи, Сережа, свою шарманку, — попросил я.

На груди у товарища Орлова висел полупроводниковый приемник. Какой-то пьянчуга бродил вдоль очереди и скрипел зубами, словно калитка на ветру. Иногда он останавливался, покачивался в своем длинном, до земли, драном тулупе, смотрел на нас мохнатыми глазами и рычал:

— Рюрики, поднесите старичку!

Сергей пустил свою музыку. Сначала это было шипение, шорох, писк морзянки (люблю я эту музыку), потом пробормотали что-то японцы, и сильный мужской голос запел «Ду ю…» и так далее. Он пел то быстро, то медленно, то замолкал, а потом снова сладкозвучно мычал «Ду ю…» и так далее.

— «Ду ю…» — протянул Сергей и отвернулся, поднял голову к луне.

А Катя с Колей отплясывали рядом, не поймешь, то ли под гармошку, то ли под этого «Ду ю…». Что-то у них, кажется, произошло.

— Что-то Катрин расплясалась с Калчановым, — шепнул мне Базаревич, — что-то мне это не нравится, Вить. Что-то Кичекьяныч-то наш…

— Молчи, Леня, — сказал я ему. — Пусть пляшут, это — дело невредное.

Пойду искать Люсю. Чувствую, что где-то она здесь. Почему бы и мне не поплясать с ней по морозцу? Я уж было отправился, но в это время к очереди подъехала машина «ГАЗ-69», и из нее вылезли несколько новых любителей полакомиться.

— Кто последний? — спросил один из них.

— Мы с краю, — сказал я, — только учтите, ребята, что за нами тут еще кое-кто занимал. Учтите на всякий случай. Возможно, еще одна когорта подвалит.

— Нас тоже просили очередь занять, — сказал один моряк, — сейнер «Норд» приедет.

— Понятно, — сказали новые, — а товару хватит?

— Это вопрос вопросов, — сказал я. — А вы сами-то откуда?

— С Улейкона, — ответили они.

— Ну, братцы… — только и сказал я.

С Улейкона пожаловали, надо же! Знаю я эти места, бывал и там. Сейчас там небось носа не высунешь, метет! По утрам откапываются и роют в снегу траншею. Здесь тоже частенько бывает такое и всякое другое, но разве сравнишь побережье с Улейконом?

— Мы тут новую технику принимали, — говорят ребята, — смотрим, апельсины…

Пьют там от цинги муть эту из стланика. Помогает. Кроме того, поливитаминами в драже балуются.

— Пошли, ребята, — говорю я им, — пошли, пошли…

Наши смекнули, в чем дело, и тоже их вперед толкают. За углом здания, прямо на снегу, стояли пустые ящики из-под апельсинов. Две тетки, обвязанные-перевязанные, орудовали возле весов. Одна отвешивала, а другая принимала деньги. Несколько здоровенных лбов наблюдали за порядком.

— Красавицы! — заорал я. — Товару всем хватит?

— Там сзади скажите, чтоб больше не вставали! — вместо ответа крикнула одна из продавщиц.

— Стойте здесь, братишки, — сказал я и врезался в толпу. — Слушайте, — сказал я очереди, когда оказался уже возле самых весов, — тут люди издалека приехали, с Улейкона…

Очередь напряженно молчала и покачивалась. Ясно, что тут уж не до песен-плясок, когда так близко подходишь. Все отводили глаза, когда я на них смотрел, но я все ж таки смотрел на них испепеляющим взором.

— Ну и че ты этим хочешь сказать? — не выдержал под моим пристальным, испепеляющим взором один слабохарактерный.

— С Улейкона, понял? Ты знаешь, что это такое?

— Ни с какого ты не с Улейкона! Ты с Фосфатки, я тебя знаю, — визгливо сказал слабохарактерный.

— Дура, я-то стою в хвосте, не бойся. Я ничего не беру, видишь? — Я вынул авторучку, снял с нее колпачок и сунул ему в нос. Таким типам всегда нужно сунуть в нос какое-нибудь вещественное доказательство, и тогда они успокаиваются.

— Улейконцы, идите сюда! — махнул я рукой.

Очередь загудела:

— Пусть берут… Чего там… Да ну их на фиг… Ты, молчи… Пусть берут…

Я отошел к пустым ящикам. На них были наклейки: на фоне черных пальм лежали оранжевые апельсины,

сбоку виднелся белый минарет и написано было по-английски «Продукт оф Марокко».

Я соскоблил ножом одну такую наклейку и сунул ее в карман.

Хватит не хватит апельсинов, а сувенирчик у меня останется.

Когда первый улейконец выбрался из толпы с пакетами в руках, я подошел к нему и вынул из пакета один апельсин.

— Мой гонорар, сеньор, — поклонился я улейконцу и посмотрел на него внимательно: не очень ли он огорчен?

— Берите два, — улыбнулся улейконец, — право, мы вам так благодарны…

— Ну что вы, сеньор, — возразил я, — это уже переходит границы.

Я подошел к нашим, отвел в сторону Юру и предложил ему пойти выпить пива. Через площадь от столовой «Маяк» находился сарай, который в Талом гордо называли «бар». Юра согласился, и мы с ним пошли.

По дороге Юра все волновался, хватит ли нам товару, наверное, нет, скорее всего, не хватит. А я ощупывал у себя в кармане небольшой улейконский апельсин.

— Похоже на то, парень, что ты их раньше и не пробовал.

— Что ты! Еще как пробовал. Помню…

— Брось! Знаю я твою биографию.

Я протянул ему апельсин:

— Рубай! Рубай, говорю, не сходя с места!

По тому, как он взялся за него, я сразу понял, что был прав.

Мы стояли на пригорке, и под нами была вся бухта Талого. Слабо мерцал размолотый ледоколами лед, дымилась под прожекторами черная вода. Низко-низко

шел над морем похожий отсюда на автобус самолет ледового патруля. В кромешной тьме работала мигалка, открывала свой красный глаз на счет «шестнадцать».

1, 2, 3, 4, 5, 6 (где же Люся?), 8, 9, 10 (где же она?), 12, 13, 14, 15, 16!

— Рубай-рубай, я уже ел, меня улейконцы угостили.

«Бар» напоминал старый вагон, снятый с колес. Сквозь окошечки было видно, что там шла прессовка человеческих тел. У входа «жала масло» сравнительно небольшая, но энергичная толпа портовых грузчиков.

— Ну и дела у вас в Талом! — сказал я пожилому крепышу.

— Сегодня еще ничего, шанс есть, — сказал он.

— А в Фосфатке с пивом свободно, — сказал Юра, от которого веяло ароматами знойного юга.

— Так это, видишь, почему, — хитро сощурился грузчик, — потому, ребята, что то Фосфатка, а то Талый, вот почему.

— Понятно.

— Вся битва здесь, — с законной гордостью сказал грузчик.

— Пойдем, Юра, выпьем лучше шампанского, оно доступней.

1, 2, 3 (где ее искать?), 5, 6, 7 (сейчас она появится), 9, 10, 11 (на счет шестнадцать), 13, 14, 15…

Вот она!

Это была действительно она. Она стояла среди других девчат и смотрела на меня искоса. Она была в белом платке и в валенках. Разве ей в валенках ходить?

16!

Она смотрела на меня как-то неуверенно и даже как будто со страхом, так она никогда на меня не смотрела. Может быть, она думала…

8. Людмила Кравченко

Когда я увидела Витю, я подумала: неужели это он? Он стоял, такой высокий и тонкий в талии и светлоглазый, и улыбался, глядя на меня. Он был очень похож на того, что стоял там, в Краснодаре, с листиком платана в зубах и крутил пальцем у виска, думая, что я сумасшедшая. Может быть, это и был он? Ведь он краснодарец. Нет, его не было там в то время. В то время он «болтался» (как он выражается) где-то на Колыме.

Может быть, это обман зрения, думала я, когда он шел ко мне. Может быть, это оттого, что он приближается сверху и от этого кажется выше? Может быть, это из-за того, что такая ночь? Может быть, я опьянела от апельсинов?

Как он обнимет меня, как прижмет к себе, как все вдруг пропадет и какая будет духота, а на потолке будут качаться тени платанов…

Он шел ко мне, было всего несколько шагов, но за эти секунды вдруг каким-то шквалом пронеслась вся моя будущая жизнь с ним.

Тик-так, тик-так, я буду слушать по ночам ход часов. Может быть, я буду плакать, вспоминая о чем-то потерянном, чего на самом деле и не жалко, но почему не поплакать, если ты счастлива. Тик-так, тик-так, и вдруг входит мой сын, огромный и светлоглазый, с листком платана в зубах.

Проваливаясь по колено в снегу ко мне подошел Виктор.

— Ну, как успехи, товарищ Кравченко?

— Спасибо, ничего. Скоро сдаем новую школу. А как ваши, Витя?

— Ни фига!

— Не стыдно, Витя, а? Что за выражения?

— Экскьюз ми, мисс!

— Вы начали заниматься английским?

— Всем понемногу, ха-ха! Английским и японским.

— Ну вас! А все-таки?

— Сидим в этом вши… В этом чудном распадке. Третью скважину бурим, и все без толку. Дай-ка твои ладошки. Ух ты, какие твердые!

— Вы что, с ума сошли? Уберите руки!

— А как учеба без отрыва от производства?

— Спасибо, ничего. Вам нравится ваша специальность?

— Мне кое-что другое нравится, кое-что другое, кое-что…

— Перестаньте! Прекратите! Вот вам!

— Вот это ручки, да! Вот это ручки… А как успехи в общественной работе?

— Спасибо, ничего. Какой вы несобранный, Витя…

— Значит, все в порядке? Да, а как там танчики? Клен зеленый, лист кудрявый, Ляна!

— Спасибо, ничего. Я хочу попробовать классические танцы.

— Фигурка для классики, это точно. Тебе бы, девочка моя, римско-греческую тунику. Тебе бы бегать в тунике по лесам и лугам…

— Что вы делаете! Я рассержусь. На нас смотрят.

— По лесам, по лугам и садам они вместе летают, ароматом тари-ра-рам, та-ри-ра-рам… Ты сердишься, да? Не сердись. Я серьезно. Я тебя люблю. Ты моя единственная. Когда будем свадьбу играть?

— Что вы говорите, Витя? Что вы говорите? Нина, Нинка, подожди меня, куда ты бежишь?

— А как у вас со спортом, товарищ Кравченко? Неужели вы не занимаетесь спортом? Всесторонне развитая комсомолка должна заниматься спортом, прыгать дальше всех, бегать быстрее всех…

— Это моя подруга Нина! Познакомьтесь!

— Очень приятно, Ниночка. Бурильщик товарищ Виктор Алексеевич Колтыга к вашим услугам. Вы, надеюсь, такая же, как ваша подруга, на все сто? Так как у вас, дочки, со спортом? Нельзя запускать этот участок работы.

— Я хочу заняться лыжами.

— Это мы слышали. Лыжным двоеборьем, да?

— Да, представьте себе!

— Не дело, товарищ Кравченко. Здесь вы не добьетесь успеха. Может, вам попробовать хоккей? Клюшку можете сделать сами. Или баскетбол? Это идея — баскетбол! Вопросы тактики я беру на себя. Личный друг Рэя Мейера из университета Де-Поль и…

Он стал нам рассказывать о каких-то спортивных очках и что-то еще. Можно было подумать, что он крупный специалист по спорту. В прошлую нашу встречу он весь вечер рассказывал мне о Румынии, как будто провел там полжизни, а в первую нашу встречу все говорил о космосе какие-то ужасно непонятные вещи. Он очень образованный, просто даже странно, что он бурильщик.

Мы медленно шли по площади к столовой «Маяк». Виктор размахивал руками, а Нинка смотрела на него вне себя от изумления, и вдруг я увидела Геру Ковалева.

Гера стоял с двумя другими моряками, и все они втроем в упор смотрели на меня.

— Здравствуйте, Гера!

— Привет!

— Вы давно пришли из плавания?

— Недавно.

— А что вы такой? Плохо себя чувствуете?

— Хорошо.

— Знакомьтесь, это Виктор…

— Мы знакомы.

— А это Нина, моя лучшая подруга. Ниночка, это Гера Ковалев, моряк и… можно сказать?

— Можно.

— И поэт.

— Ниночка, ты смотри, не уезжай без меня. Гера, мы еще увидимся.

Мы остались вдвоем с Виктором, и он вдруг замолчал, перестал рассказывать о спорте, засвистел тихонько, потом закурил и даже, кажется, покраснел.

— Виктор, что вы мне хотели сказать?

— Я уже сказал.

Я вдруг потеряла голову, потеряла голову, потеряла все. Унеси меня за леса и горы, за синие озера, в тридевятое царство, в некоторое государство. У меня подгибались ноги, и я схватила его за пуговицы.

— Скажи еще раз.

— Ну вот, еще раз.

— Теперь еще раз.

— Пожалуйста, еще раз.

— Ты… ты… ты…

— Где бы нам спрятаться?

— Иди сюда!

— Туда?

Я побежала, и он помчался за мной. Мы спрятались за какими-то елками, и он, конечно, сразу полез, но

я отошла и тут вспомнила про апельсины, вынула из сумки самый большой и протянула ему:

— Съедим вместе, да?

— Давай вместе.

— Ты умеешь их чистить?

— Да, — вдруг сказал кто-то рядом, — символическое съедение плода.

На нас смотрели Коля Калчанов и стоящая рядом с ним очень красивая девушка в брючках.

— Как там наша очередь, Николай? — спросил Виктор.

— Двигается, Адам.

А я не стыдилась. Я прижалась к Виктору и сказала:

— Коля, я была не права насчет бороды. Носите ее, пожалуйста, на здоровье.

— Благодарю тебя, Ева, — поклонился Калчанов.

Я даже не обиделась, что он назвал меня на «ты».

9. Герман Ковалев

Но глаза у нее все же были печальными. Только печаль эта была не моя. Она ко мне буквально никакого отношения не имела.

Я смотрел, как они приближались, как размахивал руками Виктор, как Люся печально взглядывала на него и как таращила на него глаза какая-то пигалица, идущая рядом.

— Вот она, — сказал я, — та, повыше.

— Эта? — выпятил нижнюю губу Боря. — Ну и что? Рядовой товарищ.

— Таких тыщи, — сказал Иван, — во Владике таких пруд пруди. Идешь по улице — одна, другая, третья… Жуткое дело.

Мои товарищи зафыркали, глядя на Люсю, но я-то видел, какое она на них произвела впечатление.

— Если хочешь, можно вмешаться, — тихо сказал мне Боря.

Конечно, можно вмешаться. Так бывает на танцах. Отзываешь его в сторону. «Простите, можно вас на минуточку? Слушай, друг, хорошо бы тебе отсюда отвалить. Чего ради? Прическа мне твоя не нравится. Давай греби отсюда!» А к нему уже бегут его ребята, и начинается. Глупости все это. К тому же, в общем-то, это нехорошее дело, хотя и спайка и «все за одного»… А Виктор Колтыга — парень на все сто. Разве он виноват, что ростом вышел лучше, чем я, и возрастом солидней, и профессия у него земная? Морякам в любви всегда не везло.

Люся подняла глаза, увидела меня и вздрогнула. Подошла и стала глупости какие-то говорить, как будто никогда и не получала десяти моих писем со стихами. Я отвечал независимо, цедил слова сквозь зубы. Ладно, думал я, точки над «и» поставлены, завтра мы выходим в море.

А она так ловко подсунула мне свою подружку, пигалицу какую-то, и отошла борт к борту с Виктором Колтыгой.

— Правда, вы поэт? — спросила пигалица.

— Еще какой, — сказал я.

Поэт я, поэт, кому нужен такой поэт?

Люся с Виктором мелькали за елками.

Боря с Иваном издали кивали мне на пигалицу и показывали большие пальцы: вот такая, мол, девочка, не теряйся, мол.

Я посмотрел на нее. Она боролась с ознобом — видно, холодно ей было в фасонистом пальтишке. Паль-

тишко такое, как мешок, книзу уже, а широкий хлястик болтается ниже спины. А личико у нее худенькое и синенькое, наверное, от луны. Наверное, у нас сейчас у всех физиономии синенькие, и она кусает губы, как будто сдерживается, чтобы не заплакать. Мне жалко ее стало, и я вдруг почувствовал, что вот с ней-то у меня есть что-то общее.

— Вы, видно, недавно из Европы? — спросил я.

— Осенью приехала, — пролепетала она.

— А откуда?

— Из Ленинграда.

Она посмотрела на меня снизу, закусив нижнюю губу, и я сразу понял, в чем дело. Я для нее не такой, какой я для Люси. Я для нее здоровый верзила в кожаной куртке, я для нее такой, какой для Люси Виктор, я — такой бывалый парень и сильный, как черт, и она меня ищет, прямо дрожит вся от страха, что не найдет.

Я подумал, что все мои стихи, если внести в них небольшие изменения, пригодятся и для нее и ей-то они уж понравятся, это точно.

— Как вас звать-то? Я не расслышал.

— Нина.

— А меня Гера.

— Я расслышала.

— Вы замерзли?

— Не-нет, н-ничего.

— Нина!

— Что, Гера?

— У меня здесь очередь за апельсинами.

— А я уж получила, хотите?

— Нет, я лучше сам вас угощу. Вы, Нина, не пропадайте, ладно?

— Ладно, я тут с девочками побегаю.

— Ладно. А потом мы пойдем в столовую, потанцуем.

— Потанцуем?

— Там есть радиола.

— Правда?

— Значит, договорились? Не исчезнете?

— Ну что вы, что вы!

Она побежала куда-то, а я смотрел ей вслед и думал, что она-то уж не исчезнет, это точно, что я сменю киноленту снов и, может быть, это будут веселые сны. Я подошел к столовой. Еще издали я заметил, что наша очередь сильно подвинулась вперед. Тут я наткнулся на парня-корреспондента. Он фотографировал сидящих у костра нанайцев и хоровод вокруг них. Я подождал, пока он кончит свое дело, и подошел к нему.

— Много впечатлений, корреспондент? — спросил я его.

— Вагон.

— Ну и как?

— Хорошо здесь у вас, — как-то застенчиво улыбнулся он. — Просто вот так!

— Хорошо? — удивился я. — Что тут хорошего?

— Ну, может, и не хорошо, но здорово. Может, хорошо — это не то слово. Летом приеду еще раз. Возьмете меня с собой в море?

Я засмеялся.

— Ты чего? — удивился он.

— Вы не писатель?

Он нахмурился.

— Я пока что маленький писатель, старик.

— Мало написали?

Он засмеялся:

— Мало. Всего ничего. Вы, Гера, небось больше меня написали, несмотря на возраст.

— А вы знакомы с поэтами?

— Кое с кем.

— А с Евтушенко? — спросил я для смеха.

— С Евтушенко знаком.

«Хватит травить», — хотел я сказать ему. Все они, что с Запада приезжают, «знакомые Евтушенко», смех да и только.

Тут я увидел Володю нашего, Сакуненко. Был он все с той же женщиной, она его так и не отпускала, все расспрашивала.

— Ну и дамочка! — ахнул я.

— Да, — помрачнел корреспондент, — она, знаешь, такая…

— Васильич! — крикнул я капитану. — Что слышно насчет рейса?

Он остановился, ничего не понимая, и не сразу заметил меня.

— Скажи ребятам, пусть не волнуются! — крикнул он. — Выходим только через два дня.

— А куда?

— На сайру.

— Ничего себе, — сказал я корреспонденту. — Опять на сайру.

— Опять к Шикотану? — спросил он.

Тут послышались какие-то крики, и мы увидели, что в очереди началась свалка.

— «Зюйд», сюда! — услышал я голос Бори и побежал туда, стаскивая перчатки.

10. Николай Калчанов

Танцы в стране Апельсинии, такими и должны быть танцы под луной, эх, тальяночка моя, разудалые танцы на Апельсиновом плато, у подножия Апельсиновых гор, у края той самой Апельсиновой планеты, а спутнички-апельсинчики свистят над головами нашими садовыми.

Если бы это было еще вчера! Как бы это было весело и естественно, Боже ты мой! Колька Калчанов, бородатый черт, в паре с Катенькой Кичекьян, урожденной Пироговой, друг мужа с женой друга, а еще один дружок исполняет соло на транзисторном приемнике. Ах, какое веселье!

Нет, нет, истерикой даже не пахло. Все было очень хорошо, но только лучше было бы, если бы это было вчера.

Вдруг кончились танцы. Катя увидела Чудакова.

— Чудаков! Чудаков! — закричала она.

Он подошел и пожал ей руку.

— Ну как? — спросила Катя.

— Да что там, — пробурчал Чудаков, — третью кончаем…

— Кончаете уже? — ахнула Катя и вдруг оглянулась на нас с Сергеем, взяла под руку Чудакова и отвела его на несколько шагов.

Она казалась маленькой рядом с высоким и нескладным Чудаковым, прямо за ними горел костер, они были очень красиво подсвечены. Она жестикулировала и серьезно кивала головой, видно, выспрашивала все досконально про своего Арика, как он ест, как он спит и так далее.

Мы были такими друзьями с Ариком, с Айрапетом — особой нужды друг в друге не испытывали, но когда случайно встречались, то уж расставаться не хотелось.

А как-то был случай, летом, ночью, когда все уже отшумело, но еще тянуло всякой гадостью от асфальта и из подъездов, а под ногами хлюпали липкие лужицы от газировочных автоматов, а в светлом небе висела забытая неоновая вывеска, тогда я стал говорить что-то такое о своих личных ощущениях, а Арик все угадывал, все понимал и был как-то очень по-хорошему невесел. И все мои друзья были с ним на короткой ноге, и я с его друзьями. Где и когда он нашел Катю, не знаю. Я увидел ее впервые только в самолете. Айрапет позвонил мне за день до отъезда и предложил: «Давай полетим вместе, втроем?» — «Втроем, да?» — спросил я. «Да, втроем, моя старуха летит со мной». — «Твоя старуха?» — «Ну да, жена». — «А свадьбу замотал, да?» — «А свадьба будет там. Мы еще не расписались».

И вот мы втроем совершили перелет в тринадцать тысяч километров, в трех самолетах различных систем: Ленинград — Москва «Ту-104», Москва — Хабаровск «Ту-114», Хабаровск — Фосфатка «Ил-14». Они учили меня играть в «канасту», и я так здорово обучился, что над Свердловском стал срывать все банки, и карта ко мне шла, и я был очень увлечен, и даже перестал подмигивать стюардессам и не удивлялся Катиным взглядам, а только выигрывал, выигрывал и выигрывал.

Над Читой Айрапет ушел в хвост самолета, мы отложили карты, и я сказал Кате:

— Ну и девушка вы!

— А что такое? — удивилась она.

— Высший класс! — сказал я ей. — Большая редкость.

И еще что-то сказал в этом же роде просто для того, чтобы что-нибудь сказать, пока Айрапет не вернется из хвоста. Она засмеялась, я ей понравился.

В общем, все это началось потом. Все, что кончилось сегодня.

Сергей стоял, прислонившись к стене столовой, засунув руки в карманы, изо рта у него торчала погасшая сигарета «Олень», он исподлобья с трагической мрачностью смотрел на Катю. Конечно, это был мужчина. Все в нем говорило: «Я мужчина, мне тяжело, но я не пророню ни звука, такие уж мы, мужчины». Жаль только, что транзистор в это время играл что-то неподходящее, какая-то жеманница пищала: «Алло! А-га! Ого! Но-но!» Странно, он не подобрал себе подходящую музыку. Сейчас бы ему очень подошло «Сикстин тонс» или что-нибудь в этом роде, что-нибудь такое мужское.

Я подошел к нему и стал крутить рычажок настройки.

— Так лучше? — спросил я, заглядывая ему в лицо.

«До чего же ехидный и неприятный тип, — подумал я о себе, — может быть, Сергею действительно нехорошо».

— Если хочешь, можем поговорить, — не двигаясь и не глядя на меня, проговорил он, — поговорим, пока ее нет.

— Уже поговорили, — сказал я, — все ясно…

— Я ее люблю, — пробормотал он, резко отвернув свое лицо.

У меня отлегло от души: все понятно, конечно, Сергей страдает, но как ему приятно его страдание, как это все отлично идет, словно по нотам.

— Ничего удивительного, — успокоил я его. — Пол Фосфатки ее любит и треть всего побережья, и даже на Улейконе я знаю нескольких парней, которые сразу же пускают слюни, как только речь заходит о ней.

— Ты тоже? — тихо спросил он.

— Ну, конечно же! — радостно воскликнул я.

Так. Ничего, проехало.

— Ты пойми, — сказал Сергей, повернулся и положил мне руки в кожаных перчатках на плечи, — ты пойми, Колька, у меня ведь это серьезно. Слишком серьезно, чтобы шутить.

Ах ты, какая досада — это уже что-то южное! Такие два друга с одного двора, а один такой силач, и вот надо же — приглянулась ему дивчина.

А между тем я чуть не задохнулся от злобы. Ты, хотелось мне крикнуть ему в лицо, ты — эскимо на палочке! У тебя это серьезно, а у половины Фосфатки, у трети всего побережья, у нескольких парней с Улейкона это несерьезно, да? А у меня уж и подавно, ведь ты же знаешь все мои институтские штучки, ведь я у тебя весь как на ладони, мне ведь что, мне ведь на Катю чихать, вот у тебя это серьезно…

— Да, я понимаю, — сказал я, — тебе, конечно, тяжело.

— Поэтому, старик, я тебе так, тогда… ты уж…

— Да ну, чего уж, ведь я понимаю… тебе тяжело…

— А она…

— А она любит только своего мужа, — чуть-чуть торопливее, чем надо было, сказал я.

— Не знаю, любит ли, но только она… ведь ты знаешь…

— Знаю, — потупил глаза я, — тебе, Сергей, тяжело…

Тут он протянул мне пачку сигарет, чиркнул своей великолепной, снабженной ветрогасителем зажигалкой «Zippo», пламя ее озарило наши печальные лица, лица двух парубков с одного двора, и мы закурили очень эффектно в самый подходящий для этого момент.

— А что в таких случаях делают, Колька? — спросил Сергей. — Спиваются, что ли?

— Или спиваются, или погружаются с головой в работу. Второе, как принято думать, приносит большую пользу.

Тут он включил свой приемник и посмотрел мне прямо в глаза. Видно, до него дошло, что мы мальчики не с одного двора и он не любимец публики, что он напрасно ищет во мне сочувствия и весь этот «мужской» разговор — глупый скетч, что я…

Я не отвел взгляда и не усмехнулся, понимая, что сейчас мы начнем говорить по-другому.

Когда смолкла музыка, вечно его сопровождавшая, его постоянный нелепый фон, синкопчики или грохот мотора, в эту секунду молчания мы, кажется, оба поняли, что наша «дружба» врозь, что дело тут вовсе не в Кате, не только в Кате, а может быть, и в ней, может быть, только в ней. В эту зону молчания доносились переборы гармошки, смех и топот ног, высокий голос Кати и треск костра.

— Шире грязь — навоз ползет! — воскликнул кто-то, и мимо нас сосредоточенно прошествовала группа тихих мужчин.

Следом за ними, выкидывая фортели, проследовал Коля Марков.

— Бичи пожаловали из Петровского порта, — сказал он мне. — Вот сейчас начнется цирк.

Бичи остановились возле весов и стали наблюдать за распродажей. Были они степенны, медленно курили маленькие «чинарики» и сплевывали в снег.

Очередь напряженно следила за ними. Я тоже следил и забыл о Сергее.

— Сергей Владимирович! — позвали его.

В нескольких шагах от нас стоял, заложив руки за спину, приветливо улыбающийся пожилой человек. Был он одет как обыкновенный московский служащий и поэтому выглядел в этой толпе необыкновенно. С лица Сергея исчезла жестокость. Он махнул этому человеку и, широко шагая, пошел к нему, а ко мне подошла Катя.

— Что там у Айрапета? — храбро спросил я ее.

— Сюда приехали несколько человек из их партии, а Арик остался там, — печально сказала Катя, глядя в сторону. — Чудаков говорит, что Арик не теряет надежды.

— Да?

— Они идут по этому распадку с юга на север. Пробурили уже две скважины и оба раза получили только сернистую воду.

— А сейчас?

— Третью бурят. — Она вздохнула. — Маршруты там тяжелые.

— Но зато это недалеко, — сказал я.

— Да, недалеко, — опять вздохнула она.

— Он может приезжать иногда.

— Конечно, он приезжает иногда. Помнишь, ведь он приезжал не так давно на три дня.

— Когда? — спросил я. — Что-то не помню.

— Как же ты не помнишь? — пробормотала она. — Он приезжал месяца полтора назад. Ты пом-

нишь все прекрасно. Помнишь! Помнишь! — почти крикнула она.

Я пролез к ней под варежку и сжал ее холодные тонкие пальцы. Конечно, я все помнил. Еще бы не запомнить — он ходил как пьяный, все три дня, хотя почти не пил. А она ходила, как с похмелья. Впрочем, она пила. В честь него были сборища у Сергея, наверное, он да Эдик Танака не замечали их фальши.

— Пальчики твои, пальчики… — прошептал я.

— Пять холодных сосисок, — засмеялась она, приближая ко мне свое лицо. Стоит нам дотронуться друг до друга, и мы теряем головы, и нам уже все нипочем. Это опасное сближение, сближение двух критических масс, что нам делать?

Словно бы пушечный выстрел потряс воздух. Через секунду второе сотрясение донеслось до нас. Это над нами, над любителями апельсинов, на чудовищной высоте перешло звуковой барьер звено самолетов.

Мы подняли головы, но их не было видно. Сохраняя свое, по меньшей мере, странное спокойствие, уверенное в своей допотопности и извечности, над нами стояло ночное небо, декоративно подсвеченное луной. У меня закружилась голова, и, если бы не Катина рука, я, может быть, упал бы.

Когда я думаю о реактивных самолетах, о том, как они, словно болиды, прочеркивают небо прямо под бородой у дядюшки Космоса, земля начинает качаться у меня под ногами, и я с особой остротой ощущаю себя жителем небольшой планеты. Раньше люди, хотя и знали, что земля — шар, что она — подумать только! — вращается вокруг Солнца, все же ощущали себя жителями необозримых пространств суши и воды, лесов и степей, и небо, голубое, темно-синее и облачное,

стояло над ними с оправданным спокойствием и тишиной. Но, право же, довольно этой иронии, ведь за океаном могут найтись бесноватые пареньки, способные нажать кнопочку и взорвать все это к чертям. Ведь они уже прокричали, что через несколько месяцев в океане, на берегу которого мы стоим, в теплых тропических водах, их мозговики дадут команду и начнутся очередные упражнения игрушечками класса «Земля — смерть».

А мы стоим в очереди за апельсинами. Да, мы стоим в очереди за апельсинами! Да, черт вас возьми, мы стоим в очереди за апельсинами! Да, кретины-мозговики, и вы, мальчики-умники, я, Колька Калчанов, хочу поесть апельсинчиков, и в моей руке холодные пальцы Кати! Да, я строю дома! Да, я мечтаю построить собственный город! Фиг вам! Вот мы перед вами все, мы строим дома, и ловим рыбу, и бурим скважины, и мы стоим в очереди за апельсинами!

У меня есть один приятель, он ученый, астроном. У него челюсти как у бульдога, а короткие волосы зачесаны на лоб. Колпак звездочета ему вряд ли пойдет. Однажды я был у него на Пулковских высотах. Мы сидели вечером в башне главного рефрактора. Небо было облачное, и поэтому мой дружок бездельничал. Вообще у них, у этих астрономов, работа, как мне показалось, не пыльная. Вот так мы сидели возле главного рефрактора, похожего на жюль-верновскую пушку, и Юрка тихонько насвистывал «Черного кота» и тихонько рассказывал мне о том, что биологическая жизнь, подобная нашей, земной, явление для Вселенной, для материи, в общем-то, чуждое.

В общем-то, старина, понимаешь ли, все это весьма зыбко, потому что такое стечение благоприятных ус-

ловий, как у нас на Земле, с точки зрения новейшей науки, понимаешь ли, маловероятно, кратковременное исключение из правил. Ну конечно, все это во вселенских масштабах, для нас-то это история, а может быть, и тысячи историй, миллион цивилизаций, в общем, все нормально.

— Ты давно об этом знаешь? — спросил я его.

— Не так давно, но уже порядочно, и не знаю, а предполагаю.

— Поэтому ты такой спокойный?

— Да, поэтому.

Боже ты мой, конечно, я знал, что наша Земля — песчинка в необъятных просторах Вселенной, и в свете этого походы Александра Македонского несколько смешили меня, но сознание того, что мы вообще явление «маловероятное», на какое-то время поразило меня, да и сейчас поражает, когда я об этом думаю. Стало быть, все это чудеса чудес? Бесчисленные исключения из правил, игра алогичности? Например, чудо апельсина. Случайные переплетения маловероятных обстоятельств, и на дереве вырастает именно апельсин, а не граната-лимонка. А человек? Подумайте об этом, умники. Вы же ученые, вы же знаете все это лучше меня, ну, так подумайте.

— Катя, ты чудо! — сказал я ей.

— А ты чудо-юдо, — засмеялась она.

— Я серьезно. Ты исключение из правил.

— Это я уже слышала, — улыбнулась она с облегчением, переходя к веселости и легкости наших прежних отношений.

— Ты есть случайное переплетение маловероятных обстоятельств, — с дрожью в голосе проговорил я.

— Отстань, Колька! Ты тоже переплетение.

— Конечно. Я тоже.

— Ого! Ты слишком много о себе возомнил.

— Пальчики твои, пальчики… — забормотал я, — маловероятные пальчики, ты моя милая… Я хочу тебя поцеловать.

— Ты, кажется, совсем того, заговариваешься, — слабо сопротивлялась она. — Колька, это нечестно, посмотри, сколько народу вокруг.

Боже ты мой, вот две случайности — я и Катя, и случайность свела нас вместе, и мы случайно подходим друг другу, как яблоко яблоне, как суша воде, но вот — мы не можем даже поцеловаться на глазах у людей, и, видно, это действует какой-то другой закон, не менее удивительный, чем закон случайностей.

Кто-то дернул меня за плечо.

— На минутку, Калчанов, — сказал мне потрясающего вида силач без шапки и без шарфа. — Ты полегче, Калчанов, — проговорил он, глядя в сторону и массируя свои предплечья, — кончай тут клинья подбивать, понял?

Тут я вспомнил его — это был Ленька Базаревич, моторист из партии Айрапета.

— Понятно, Леня, — сказал я ему, — ты только не задави меня, Леня.

Я увидел, что к нам приближается Сергей Орлов. Два таких силача на меня одного — это уж слишком. Я представил себе, как они вдвоем взяли бы меня в оборот, вот вид я бы имел!

— Можешь смеяться, но я тебе сказал, — предупредил меня Леня и отошел.

Чудаки, возможно, вы хорошие ребята, у каждого из вас свой джентльменский кодекс, но мне ведь только

бы с самим собой совладать, со своим кодексом, и тогда, силачи, приступайте к делу, мне не страшно.

Сергей подошел.

— Вот что, — сказал он, — тот человек, мой знакомый, — директор этой столовой.

— Потрясающий блат, так ты тогда займи столик, — сказала Катя. — Говорят, там есть даже коктейли.

— Точно, — сказал я, — я там как-то веселился. Коктейль «Загадка», мечта каботажника.

— Столик — это ерунда, — сказал Сергей, — он нам устраивает апельсины. Пойдем, — потянул он за руку Катю, — хватит тебе в очереди стоять.

Катя нерешительно посмотрела на меня.

— Идите, ребята, — сказал я, — идите, идите.

— Ты не идешь? — спросила Катя и освободилась от рук Сергея.

Сергей прямо сверкнул на меня очами, но сдержался.

— Пойми, — сказал он мне, — просто неудобно нам здесь стоять. Здесь много наших рабочих.

— Ага, — кивнул я, — авторитет руководителя, принцип единоначалия, кадры решают все.

Катя засмеялась.

— А о ней ты не думаешь? — спросил Сергей.

— Нет, я на нее чихать хотел.

Катя опять засмеялась.

— Иди, Сережа, а я тут с этой бородой расправлюсь.

— Тут матом ругаются, — как-то растерянно сказал Сергей.

Катя прямо покатилась со смеху.

— Ничего, — сказал я, — мы с ней и сами матершинники первостатейные.

Он все-таки ушел. Ему, видно, очень нужно было уйти. Я даже пожалел его, так ему не хотелось уходить.

— Смешной он у нас, правда? — сказала Катя, глядя вслед Сергею.

— Он в тебя влюблен.

— Господи, как будто я не знаю!

— Ты про всех знаешь?

— Про всех.

— Нелегко тебе.

— Конечно, нелегко.

— А туфельки? Ты их забыла в тот вечер, когда в клубе выступала владивостокская эстрада.

— А, вспомнил! Ведь ты в тот вечер увлекся «жанровыми песнями»…

— Должен же я иногда…

— Фу-ты, какой идиотизм! Конечно, ты должен. Мне-то что!

— Катя!

— Мы танцевали у Сергея. Все было так романтично и современно — освещение и все… Потом я влезла в свои чеботы, а туфли забыла. Он не такой нахальный, как ты.

— Я нахальный, да?

— Конечно, ты нахал. Запроси Владивосток, и тебе ответят, кто ты такой.

— А он душевный, да? Все свои горести ты ему поведала, правда? Такой добрый, благородный силач.

— Коленька! А как же дальше мне быть?..

— Пойдем погуляем.

Мы вышли из очереди и взобрались на бугор. Отсюда была видна вся бухта Талого и сам городок, до странности похожий на Гагру. Он тянулся узкой светящейся линией у подножия сопок. Обледенелая, дымящаяся, взявшаяся за ум Гагра.

— Ну и ну! — воскликнула Катя. — Действительно, он похож на Гагру, и даже железная дорога проходит точно так же.

— Только здесь узкоколейка.

— Да, здесь узкоколейка.

В сплошной черноте, далеко в море, работала мигалка, зажигалась на счет «шестнадцать».

— Встретились бы мы в Гагре два года назад.

— Что бы ты тогда сделал?

— Мы были бы с тобой…

— Ладно, молчи уж, — сердито сказала она.

Мы медленно шли, взявшись под руки. 1, 2, 3, хватит хихиканья, 5, 6, 7, она сжалась от страха, 9, 10, 11, я не могу об этом говорить, 13, я должен, не ей же говорить об этом, 15, нет, я не могу, вот сейчас…

Мы вошли за какие-то сараи, и она прижалась ко мне.

— Ты хочешь, чтобы я сама сказала? — сурово спросила она.

— Нет.

— Чего ты хочешь?

Впервые я сам отодвинулся от нее. Она понимающе кивнула, вытащила сигарету и стала мять ее в руках. Я дал ей огня.

За сарай, шумно дыша, забежали девушка и парень. Они сразу же бросились друг к другу и начали целоваться. Нас они не замечали, ничего они не замечали на свете. Я обнял Катю за плечи. Она через силу улыбнулась, глядя на целующихся. Тут я узнал их — это был Витька Колтыга и та девица из Шлакоблоков, что крыла меня на собрании.

Мы обменялись с ними какими-то шуточками, и я повел Катю прочь отсюда. Мы вышли из-за деревьев и медленно пошли к столовой; к очереди за апельсина-

ми. Там было шумно, очередь сбилась в толпу, кажется, начиналась свалка.

— Я это сказала просто так, — проговорила Катя, глядя себе под ноги. — Ты ведь понимаешь?

— Конечно.

— Ну вот и все.

— В чем призвание женщины? — еще через несколько шагов сказал я.

Свалилось же на меня такое, подумал я. Раньше я не обижал девочек, и они на меня не обижались. Все было просто и легко, немного романтики, немного слюнтяйства, приятные воспоминания. Свалилось же на меня такое. Что делать? Меня этому не научили. «Для любви нет преград» — читаем мы в книгах. Глупости это, тысячи неодолимых преград порой встают перед любовью, об этом тоже написано в книгах. Но ведь Катя — это не любовь, это часть меня самого, это моя юность, моя живая вода.

Толпа пришла в смутное движение. Размахивали руками. Кажется, кто-то уже получил по зубам. Несколько парней из нашего треста пробежали мимо, на ходу расстегивая полушубки.

— Что там такое, ребята?! — крикнул я им вслед.

— Там без очереди полезли!

— Вперед, Калчанов! — засмеялась Катя. — Вперед, в атаку! Труба зовет! Ты уже трепещешь, как боевой конь.

— Знаешь, как меня называли в школе? — сказал я ей. — Панч Жестокий Удар.

— В самом деле? — удивилась Катя. — Тогда вперед! Колька, не смей! Колька, куда ты?!

Но я уже бежал.

Ох, сейчас мне достанется, думал я. Ох, сейчас мне отскочит битка! Сейчас я получу то, что мне полагает-

ся за все сегодняшние фокусы. Я втерся в толпу. Пока еще не дрались. Пока еще напирали. Пока еще суровый разговор:

— Сознание у вас или нет?

— А ты мои гроши считал?

— Чего ты с ним разговариваешь, Лень? Чего ты с ним толковищу ведешь? Дай ему!..

— Трудящиеся в очереди стоят, а бичам подавай апельсинчик на блюдечке!

— А это не простые бичи, а королевские.

— Спекулянты!

— Я тебя съем и пуговицы не выплюну!

— Лень, че ты с ним разговариваешь?

— Пустите меня, я из инфекционной больницы выписался!

— Назад, кусочники!

— А тебе жалко, да? Жалко?

— Жалко у пчелки…

— Я тебя без соли съем, понял?

— Пустите меня, я заразный!

Косматый драный бич вдруг скрипнул зубами и закричал визгливо, заверещал:

— Всех нерусской нации вон из очереди!

На секунду наступило молчание, потом несколько парней насели на косматого.

— Дави фашиста! — кричали они.

— Давайте-ка, мальчики, вынесем их отсюда! — командовал Витька Колтыга.

Конечно, он был здесь и верховодил — прощай любовь в начале марта.

Засвистели кулачки, замолкли голоса, только кряхтели да ухали дерущиеся люди. Меня толкали, швыряли, сдавливали, несколько раз ненароком мне попадало по шее, и слышался голос: «Прости, обознался».

Никто толком не знал, кого бить, на бичах не было особой формы. Со всех сторон к нашей неистовой куче бежали люди.

— Делай, как я! — закричал какой-то летчик своим приятелям, и они врезались в гущу тел, отсекая дерущуюся толпу от весов, возле которых попрыгивали и дули себе на пальцы равнодушные продавщицы. Я полез вслед за летчиками и наконец-то получил прямой удар в челюсть.

Длинный бич, который меня стукнул, уже замахивался на другого. Я заметил растерянное лицо длинного, казалось, он действует словно спросонья. Двумя ударами я свалил его в снег.

Толпа откачнулась, а я остался стоять над ворочающимся в снегу телом.

— Дай руку, борода! — мирно сказал длинный.

Я помог ему встать и снова принял боксерскую стойку.

— Крепко бьешь, — сказал длинный.

Я ощупал свою челюсть.

— Ты тоже ничего.

Он отряхнулся.

— Пошли шампанского выпьем?

— Шампанского, да? — переспросил я. — Это идея.

11. Корень

В общем-то, никто из нашей компании апельсинами по-настоящему не интересовался, но Вовик обещал выставить каждому по банке за общее дело. Апельсинчики ему были нужны для какого-то шахер-махера.

Сначала он передал через головы деньги своему корешу, который уже очередь выстоял, и тот взял ему четыре кило. По четыре кило выдавали этого продукта. Потом к этому корешу подошел Петька и тоже взял четыре кило. Очередь стала напирать. Кореш Вовика лаялся с очередью и сдерживал напор. Когда к корешу подлез Полтора-Ивана, очередь расстроилась и окружила нас. Началось толковище. Вовик стал припадочного из себя изображать. Такой заводной мужик этот Вовик! Ведь гиблое дело, когда тебя окружает в десять раз больше, чем у тебя, народу, и начинается толковище. Ясно ведь, что тут керосином пахнет, небось уже какой-нибудь мил человек за милицией побежал, а он тут цирк разыгрывает.

Надо было сматываться, но не мог же я от своих уйти, а наши уже кидались на людей. Вовик их завел своей истерикой, и, значит, вот-вот должна была начаться «Варфоломеевская битва».

Значит, встречать мне своего папашку с хорошим фингалом на фотографии. Скажу, что за комингс зацепился. Навру чего-нибудь. А вдруг на пятнадцать суток загремлю?

Ну надо же, надо же! Всегда вот так: только начинаешь строить планы личного благоустройства, как моментально вляпываешься в милую историю. Стыд-позор на всю Европу. А еще и Люська здесь. Я ее видел с тем пареньком, с Витенькой Колтыгой.

Смотрю, Вовик берет кого-то за грудки, а Полтора-Ивана заразного из себя начинает изображать. Чувствую, лезу к кому-то. Чувствую, заехал кому-то. Чувствую, мне каким-то боком отскочило. Чувствую, дерусь, позорник, и отваливаю направо и налево. Прямо

страх меня берет, как будто какой-то другой человек пролез в мой организм.

Тут посыпались у меня искры из глаз, и я бухнулся в снег. Кто-то сшиб меня двойным боксерским ударом. Тут я очухался, и все зверство во мне мигом прошло, испарилось в два счета.

Сбил меня паренек, вроде даже щупленький с виду, но спортивный, бородатый такой, должно быть, геолог из столичных. Те, как в наши края приезжают, сразу запускают бороды. Вовремя он меня с копыт снял.

Наши уже драпали во все стороны, как зайцы. Вовик убежал, и Петька, и Полтора-Ивана, и другие.

— Пойдем шампанского выпьем, — предложил я бородатому.

Свой парень, сразу согласился.

— Пошли в «Маяк», — говорю, — угощаю.

Денег у меня, конечно, не было, но я решил Эсфирь Наумовну уломать. Пусть запишет на меня, должен же я угостить этого паренька за хороший и своевременный удар.

— Пошли, старик, — засмеялся он.

— А ты с какого года? — спросил я его.

— С тридцать восьмого.

Совсем пацан, ей-богу! Действительно, я старик.

— Небось десятилетка за плечами? — спрашиваю я его.

— Институт, — отвечает. — Я строитель. Инженер.

И тут подходит к нам девица, такая, братцы, красавица, такая-стиляга, прямо с картинки.

— Катя, знакомься, — говорит мой дружок, — это мой спарринг партнер. Пошли с нами шампанское пить.

— А мы очередь не прозеваем, Колька? — говорит девица и подает мне руку в варежке.

А я, дурак, свою рукавицу снимаю.

— Корень, — говорю я, — тьфу ты, Валькой меня зовут… Валентин Костюковский.

Пошли мы втроем, а Катюшка эта берет нас обоих под руки, понял? Нет, уговорю я Эсфирь Наумовну еще и на шоколадные конфеты.

— Крепко бьет ваш Колька, — говорю я Катюше. — Точно бьет и сильно.

— Он у меня такой, — смеется она.

А Колька, гляжу, темнеет. Такой ведь счастливый, гад, а хмурится еще. На его месте я бы забыл, что такое хмурость. Пацан ведь еще, а институт уже за плечами, специальность дефицитная на руках, жилплощадь небось есть и девушка такая, Господи Боже!

В хвосте очереди я заметил Петьку. Он пристраивался, а его гнали, как нарушителя порядка.

— Да я же честно хочу! — кричал Петька. — По очереди. Совесть у вас есть, ребята, аль съели вы ее? Валька, совесть у них есть?

— Кончай позориться, — шепнул я ему.

А Катя вдруг остановилась.

— Правда, товарищи, — говорила она, — что уж вы, он ведь осознал свои ошибки. Он ведь тоже апельсинов хочет.

— В жизни я этого продукта не употреблял, — захныкал Петька. — Совесть у вас есть или вас не мама родила?

— Ладно, — говорят ему в хвосте, — вставай, все равно не хватит.

— Однако надежда есть, — повеселел Петька.

В столовой был уют, народу немного. Проигрыватель выдавал легкую музыку. Все было так, как будто снаружи никто и не дрался, как будто там и очере-

ди нет никакой. С Эсфирь Наумовной я мигом договорился.

— Люблю шампанское я, братцы. Какое-то от него происходит легкое кружение головы и веселенькие мысли начинают прыгать в башке. Так бы весь век я провел под действием шампанского, а спирт, ребята, ничего, кроме мрачности, в общем итоге не дает.

— Это ты верно подметил, — говорит Колька, — давно бичуешь?

Так как-то он по-хорошему меня спросил, что сразу мне захотелось рассказать ему всю свою жизнь. Такое было впечатление, что он бы меня слушал. Только я не стал рассказывать: чего людям настроение портить?

Вдруг я увидел капитана «Зюйда», этого дьявола Володьку Сакуненко. Он стоял у буфета и покупал какой-то дамочке конфеты.

Я извинился перед обществом и сразу пошел к нему. Шампанское давало мне эту легкость.

— Привет, капитан! — говорю я.

— А, Корень! — удивляется он.

— Чтоб так сразу на будущее, — говорю, — не Корень, а Валя Костюковский, понятно?

— Понятно. — И кивает на меня дамочке: — Вот, познакомьтесь, любопытный экземпляр.

— Так чтобы на будущее, — сказал я, — никаких экземпляров, понятно? Матрос Костюковский — и все.

И протягиваю Сакуненко с дамой коробку «Герцеговины Флор», конечно, из лежалой партии, малость плесенью потягивают, но зато марка! Есть у меня, значит, такая слабость на этот табачок. Чуть я при деньгах или к Эсфирь Наумовне заворачиваю в «Маячок», сразу беру себе «Герцеговину Флор» и покуриваю.

— Слушай, капитан, — говорю я Сакуненко. — Когда в море уходите и куда?

— На сайру опять, — говорит капитан, а сам кашляет от «Герцеговины» и смотрит на меня сквозь дым пронзительным взглядом. — К Шикотану, через пару деньков.

— А что, Сакуненко, у вас сейчас комплект? — спрашиваю я.

— А что?

— А что, Сакуненко, — спрашиваю опять, — имеешь все еще на меня зуб?

— А ты как думаешь, Валя? — человечно так спрашивает Сакуненко.

— Законно, — говорю я. — Есть за что.

Он на меня смотрит и молчит. И вдруг я говорю ему:

— Васильич!

Так на «Зюйде» его зовут из-за возраста. «Товарищ капитан» — неудобно, для Владимира Васильевича молод, Володей звать по чину нельзя, а вот Васильич в самый раз, по-свойски вроде и с уважением.

— Конечно, — говорю, — Васильич, ты понимаешь, шампанское мне сейчас дает легкость, но, может, запишешь меня в судовую роль? Мне сейчас вот так надо в море.

— Пойдем поговорим, — хмурится Сакуненко.

12. Герман Ковалев

Мне даже подраться как следует не удалось — так быстро бичей разогнали. Очередь выровнялась. Снова заиграла гармошка. Девушки с равнодушными лицами снова пустились в пляс, а нанайцы уселись у своего

костра. На снегу лежал разорванный пакет. Несколько апельсинов выкатилось из него. Как будто пакет упал с неба, как будто его сбросили с самолета, как будто это подарок судьбы. Прекрасно, это будет темой моих новых стихов.

Мне стало вдруг весело и хорошо, словно и не произошло у меня только что крушения любви. Мне вдруг показалось, что весь этот вечер, вся эта история с апельсинами — любительский спектакль в Доме культуры моряков, и я в нем играю не последнюю роль, и все вокруг такие теплые, свои ребята, и бутафория сделана неплохо, только неправдоподобно, словно в детских книжках: луна, и серебристый снег, и сопки, и домики в сугробах, но скоро мой выход, скоро прибежит моя партнерша в модном пальтеце и в валенках.

А впереди у меня целых два дня, только через два дня мы выходим в море.

Я подобрал апельсины и понес их к весам.

— Чудик, — сказали мне ребята, — лопай сам. Твой трофей.

— Ешь, матрос, — сказала продавщица, — за них же плочено.

— Да что вы! — сказал я. — Этот пакет с неба упал.

— Тем более, — говорят.

Тогда стал я всех угощать, каждый желающий мог получить из моих рук апельсин, ведь с неба обычно сбрасывают не для одного, а для всех. Я был Дед Мороз, и вдруг я увидел Нину, она пробиралась ко мне.

— Гера, мы пойдем танцевать? — спросила она.

От нее веяло морозным апельсиновым ароматом, а на губах у нее смерзлись капли из апельсинового сока.

— Сейчас пойдем! — крикнул я. — Сейчас, наша очередь подходит.

Вскоре подошла наша очередь, и мы все, весь «Зюйд», повалили в столовую. Я вел Нину под руку, другой рукой я прижимал к телу пакет.

— Я все что угодно могу танцевать, — лепетала Нина, — вот увидите, все что угодно. И липси, и вальс-гавот, и даже, — она шепнула мне на ухо, — рок-н-ролл…

— За рок-н-ролл дают по шее, — сказал я, — да я все равно ничего не умею, кроме танго.

— Танго — мой любимый танец.

Я посмотрел на нее. Понятно, все мое любимое теперь станет всем твоим любимым, это понятно и так.

Мы сдвинули три столика и расселись всем экипажем. Верховодил, как всегда, чиф.

— Эсфирь Наумовна, — шутил он, — «Зюйд» вас ждет!

А апельсины уже красовались на столе маленькими кучками перед каждым. Потом мы смешали их в одну огромную светящуюся внутренним огнем кучу.

Подошла официантка и, следя за пальцами чифа, стала извиняться:

— Этого нет. И этого нет, Петрович. Старое меню. И этого нету, моряки.

— Тогда по два вторых и прочее и прочее! — весело вскричал чиф.

— Это вы будете иметь, — обрадовалась она.

Наш радист Женя встал из-за стола и пошел беспокоиться насчет освещения. Должен же был он сделать очередной исторический снимок.

Когда он навел аппарат, я положил руку на спинку Нининого стула. Я думал, Нина не заметила, но она повела своим остреньким носиком, заметила. Кажется, все это заметили. Чиф подмигнул стармеху. А Боря и Иван сделали вид, что не заметили. Заметила это Люся Кравченко, которая шла в этот момент мимо, она

улыбнулась не мне и не Нине, а так. Мне вдруг стало чертовски стыдно, потом прямо я весь покрылся. «Ветерок листву едва колышет», тьфу ты черт… На кой черт я писал стихи да еще посылал их по почте? Когда же я брошу это занятие, когда уж я стану настоящим парнем? Я положил Нине руку прямо на плечо, даже сжал плечо немного.

Ну и худенькое плечико!

Как только щелкнул затвор, Нина дернулась.

— Какой вы, Гера, — прошептала она.

— Какой же? — цинично усмехнулся я.

— Какой-то несобранный.

— Служба такая, — глупо ответил я и опять покраснел.

Официантка шла к нам. Она тащила огромный поднос, заставленный бутылками и тарелками. Это была такая гора, что голова официантки еле виднелась над ней, а на голых ее руках вздулись такие бицепсы, что дай бог любому мужику. Снизу руки были мягкие и колыхались, а сверху надулись бицепсами.

Чиф налил ей коньяку, она благодарно кивнула, спрятала рюмочку под фартук и отошла за шторку. Я видел, как она по-мужски опрокинула эту рюмку. Ну и официантка! Такая с виду домашняя тетушка, а так лихо пьет. Мне бы так! Я хмелею быстро. Не умею я пить, что ты будешь делать.

Иван и Боря закусывали и строго глядели на Нину. А Нина чувствовала их взгляды и ела очень деликатно.

— Ты ему письма-то пиши, — сказал Иван ей, — он у нас знаешь какой. Будешь писать?

Нина посмотрела на него и словно слезы проглотила. Кивнула.

— Ты лучше ему радиограммы посылай, — посоветовал Боря. — Очень бывает приятно в море получить радиограмму. Будешь?

— Ну, буду, буду! — сердито сказала она.

Ей, конечно, было странно, что ребята вмешиваются в наши интимные отношения. Заиграла музыка. Шипела, скрипела, спотыкалась игла на пластинке.

— Это танго, — сказала Нина в тарелку.

— Пойдем! — Я сжал ее локоть.

Мне сейчас все было нипочем. Мне сейчас казалось, что я и впрямь умею танцевать танго.

Мы танцевали, не знаю, кажется, неплохо, кажется, замечательно, кажется, лучше всех. Хриплый женский голос пел:

Говорите мне о любви,
Говорите мне снова и снова,
Я без устали слушать готова,
Там-нам-па-пи…

Этот припев повторялся несколько раз, а я никак не мог расслышать последнюю строчку.

Говорите мне о любви,
Говорите мне снова и снова,
Я без устали слушать готова,
Там-нам-па-пи…

Это раздражало меня. Слова все повторялись, и последняя строчка исчезала в шипении и скрежете заезженной пластинки.

— Что она там поет? Никак не могу разобрать.

— Поставьте еще раз, — прошептала Нина.

13. Корень

— Хочешь, Васильич, я тебе всю свою жизнь расскажу? И я рассказываю, понял, про свои дела, и про папашу своего, и про зверобойную шхуну «Пламя», и сам не пойму, откуда берется у меня складность, чешу прямо как Вовик, а капитан Сакуненко меня слушает, сигаретки курит, и дамочка притихла, гуляем мы вдоль очереди.

Вот ведь что шампанское сегодня со мной делает. Раньше я его пил, как воду. Брал на завтрак бутылку полусладкого, полбатона и котлетку. Не знаю, что такое, может, здоровьем качнулся.

— Боже мой, это же целый роман! — ахает дамочка.

— Я так понимаю, — говорит капитан, — что любая жизнь — это роман. Вот сколько в очереди людей, столько и романов. Может, неверно говорю, Ирина Николаевна?

— Может, и верно, Володя, но не зовите меня по отчеству, мы же договорились.

— Ну вот и напишите роман.

Задумалась дамочка.

— Нет, про Костюковского я бы не стала писать, я бы про вас, Володя, написала, вы положительный герой.

Ну и дамочки пошли, ребята! Ну что ты скажешь, а?

Володя прямо не знает куда деваться.

— Может, вы отойдете, а? — спрашивает он дамочку. — Мне надо с матросом конструктивно, что ли, вернее, коллегиально, конфиденциально надо бы с матросом поговорить.

— Хорошо, — говорит она. — Я вас в столовой обожду.

Отвалила наконец.

— Слушай, Валя, — говорит он мне, — я, конечно, понимаю твои тяжелые дела, и матрос ты, в общем, хороший… А место у нас есть: Кеша, знаешь, в армию уходит… Но только чтоб без заскоков! Понял? — заорал он в полный голос.

— Ладно, ладно, — говорю. — Ты меня на горло не бери. Знаю, что орать ты здоров, Васильич.

Он почесал в затылке.

— В отделе кадров как бы это провернуть? Скажу, что на исправление тебя берем. Будем, мол, влиять на него своим мощным коллективом.

— Ну ладно, давайте, — согласился я.

— Пошли, — говорит, — наши уже в «Маячке» заседают. Представлю тебя экипажу.

— Только знаешь, Васильич, спокойно давай, без церемоний. Вот, мол, товарищ Костюковский имеет честь влиться в наш славный трудовой экипаж, и все, тихонько так, без речей.

— Нахалюга ты, — смеется он. — Ну, смотри… Чуть чего — на Шикотане высадим.

В столовой первой, кого я встретил, была Люся Кравченко. Она танцевала в объятиях своего бурильщика.

— Че-то, Люся, вы сияете, как блин с маслом? — сказал я ей.

Характер у меня такой, чуть дела на лад пошли, становлюсь великосветским нахалом.

— Есть причины, — улыбнулась она и голову склонила к его плечу.

— Вижу, вижу.

Я вспомнил вкус ее щеки, разок мне все же удалось поцеловать ее в щеку, а дралась она, как чертенок, я вспомнил и улыбнулся ей, показывая, про что

я вспомнил. А она мне как будто ответила: «Ну и что? Мало ли что!»

Витька же ничего не видел и не слышал, завелся он, видно, по-страшному. Сакуненко уже сидел во главе стола и показывал мне: место есть. А меня кто-то за пуговицу потянул к другому столику. Смотрю — Вовик. Сидит, шустрюга, за столиком, кушает шашлык, вино плодово-ягодное употребляет, и даже пара апельсинчиков перед ним.

— Садись, Валька, — говорит. — Поешь, — говорит, — поешь, Корень, малость, и гребем отсюда. Дело есть.

— Поди ты со своими делами туда-то, вот туда-то и еще раз подальше.

— Ты что, рехнулся, дурака кусок?

— Катись, Вовик, по своим делам, а я здесь останусь.

— Забыл, подлюга, про моряцкую спайку?

Тогда я постучал ножичком по фужеру да как крикну:

— Официант, смените собеседника!

На том моя дружба с Вовиком и окончилась.

Я подходил к столу «Зюйда» и выглядывал, кто там новенький и кого я знаю.

Сел я рядом с Сакуненко, и на меня все уставились, потому что уж меня-то все знают, кто на Петрово базируется или на Талом, а также из Рыбкомбината и из всех прибрежных артелей, по всему побережью я успел побичевать.

— Привет, матросы! — сказал я.

Сразу ко мне Эсфирь Наумовна подплыла, жалеет она меня.

— Чего, Валечка, будете кушать? — спрашивает, а сама, бедная, уже хороша. Поцеловал я ее трудовую руку.

— Чем угостите, Эсфирь Наумовна, все приму.

— Вы будете это иметь, — сказала она и пошла враскачку, морская душа. Может, когда под ней пол качается, она воображает, что все еще на палубе «Чичерева»?

— Пьяная женщина, — говорит дамочка, что роман про Володю нашего Сакуненко собирается писать, — отвратительное зрелище.

— Помолчала бы, дама! — крикнул я. — Чего вы знаете про нее? Простите, — сказал я, подумав, — с языка сорвалось.

Но на «Зюйде» не обиделись на меня. Там все знали про Эсфирь Наумовну.

Ну вот, как будто отвернул я в последний момент, как будто прошел мимо камней, и радиола играет, и снова я матрос «Зюйда», и апельсинчики на столе теплой горой, а завтра, должно быть, прилетит папаша, профессор кислых щей, член общества разных знаний, наверное, завтра прилетит, если Хабаровск даст вылет. Только много ли будет радости от этой встречи?

14. Людмила Кравченко

Он познакомил меня со всеми своими друзьями. Я была рада, что у меня появились новые знакомые, разведчики наших недр. Мы заняли столик в столовой и расселись вокруг в тесноте, да не в обиде: Леня, Юра, Миша, Володя, Евдощук, Чудаков, мой Витя и я. Столовая уже была набита битком. Сквозь разноголосый шум чуть слышна была радиола, но танцующих было

много, каждый, наверное, танцевал под свою собственную музыку. Все наши девочки танцевали и улыбались мне, а Нинка, кажется, забыла обо всем на свете, забыла о Васильевском острове и о Мраморном зале. Хорошо я сделала, что познакомила ее с Герой Ковалевым. Кажется, они смогут найти общий язык.

А на столе у нас грудами лежали апельсины, стояли бутылки, дымилась горячая еда. Сервировка, конечно, была не на высоте, не то что у нас в вокзальном ресторане, но зато здесь никто не торопился, никто не стремился за тридцать минут получить все тридцать три удовольствия, все, по-моему, были счастливы в этот удивительный вечер. Сверху светили лампы, а снизу — апельсины. И Витина рука лежала на моем плече, и в папиросном дыму на меня смотрели его светлые сумасшедшие глаза, в которых будто бы все остановилось. Это было даже немного неприлично. Незаметно я сняла его руку со своего плеча, и в глазах у него что-то шевельнулось, замелькали смешные искорки, и он встал с бокалом в руках.

— Елки-моталки, ребята! — сказал он.

Придется его отучить от подобных выражений.

— Давайте выпьем за Кичекьяна и за наш поиск! Что-то кажется мне, что не зря мы болтались в этих Швейцарских Альпах. Честно, ребята, гремит сейчас фонтан на нашей буровой.

— В башке у тебя фонтан гремит! — сказал Леня.

Все засмеялись, а Виктор запальчиво закричал:

— Нытики! Мне моя индукция подсказывает! Я своей индукции верю! Хочешь, поспорим? — обратился он к Лене.

Но тот почему-то не стал спорить: видно, Виктор так на него подействовал, что он сам поверил в нефть.

Я сначала не поняла, что за индукция, а потом сообразила: наверное, интуиция — скажу ему потом.

— А нас там не будет, — сказал Юра, — обидно.

— Главное, там Айрапет будет, — сказал Леня, — пусть он первым руки в нефти помоет, это его право. Совсем он отощал на этом деле.

— И про жену даже забыл, — добавил Леня и посмотрел куда-то в угол. — Боком ему может выйти эта нефть.

— Да уж не знаешь, где найдешь, где потеряешь, — пробормотал Евдощук и поперхнулся, взглянув на меня.

— Пойдем танцевать, — пригласил меня Виктор.

Танцевать было трудно, со всех сторон толкали, лучше было бы просто обняться и раскачиваться на одном месте под музыку. Слева от нас танцевала наша Сима с огромным мужчиной в морской тужурке. Вот, значит, чьи это тельняшечки. Они были так огромны, Сима и ее кавалер, что просто казались какими-то нездешними людьми. Сима томно мне улыбнулась и склонила голову на плечо своему молодцу.

— Витя, тебе нравится твоя работа?

— Я тебе знаешь что скажу, материально я обеспечен…

— Я не о том. Тебе нравится искать нефть?

— Мне больше нравится ее находить.

— Это, наверное, здорово, да?

— Когда бьет фонтан? Да, это здорово. И газ — это тоже здорово, когда газ горит. Знаешь, пламя во все небо, а мы нагнетаем пульпу, чтобы его загасить, а оно не сдается, жарко вокруг, мы все мокрые, прямо война.

— Хорошо, когда такая война, да?

— Только такая. Любую другую к чертям собачьим.

Скрипела заезженная пластинка; вернее, даже не пластинка, а вставшая коробом рентгеновская пленка.

Говорите мне о любви,
Говорите мне снова и снова,
Я без устали слушать готова,
Там-пам-ра-ри…

— Знаешь, Виктор, здесь все изменится. Вы найдете нефть, а мы построим красивые города…

— Ну конечно, здесь все изменится, рай здесь будет, райские кущи…

— А правда, может, здесь и климат изменится. Может быть, здесь будут расти свои, наши апельсины.

— Законно.

— Ты не шути!

— А сейчас тебе здесь не нравится, дитя юга?

— Сейчас мне нравится… Витя! Витя, нельзя же так, ты с ума сошел…

Говорите мне о любви,
Говорите мне снова и снова,
Я без устали слушать готова,
Там-пам-ра-ри…

— Что она готова слушать без устали? Никак не могу расслышать.

Я тоже не слышала последних слов, но я знала, что можно слушать без устали.

Там-пам-ра-ри…

Я без устали слушать готова твое дыхание, стук твоего сердца, твои шутки.

— Иди поставь эту пластинку еще раз.

15. Виктор Колтыга

Не одобряю я ребят, которые любят фотографироваться в ресторанах или там в столовых ресторанного типа. В обычной столовой никому в голову не придет фотографироваться, но если есть наценка, и рытый бархат на окнах, и меню с твердой корочкой, тогда, значит, обязательно необходимо запечатлеть на веки вечные исторический момент посещения ресторана.

Как-то сидел я в Хабаровске в ресторане «Уссури», сидел себе, спокойно кушал, а вокруг черт-те что творилось. Можно было подумать, что собрались сплошные фотокорреспонденты и идет прием какого-нибудь африканского начальника.

Вообще-то ребят можно понять. Когда полгода загораешь в палатке или в кубрике, и кушаешь прямо из консервной банки, и вдруг видишь чистые скатерти, рюмочки и джаз-оркестр, ясно, что хочется увековечиться на этом фоне.

Но я этого не люблю, не придаю я большого значения этим событиям, ресторанов я на своем веку повидал достаточно. Правда, когда молодой был, собирал сувениры. Была у меня целая коллекция: меню на трех языках из московского «Савоя», вилка из «Золотого Рога» во Владивостоке, рюмка из магаданского «Севера»… Молодой был, не понимал. Все это ерунда на постном масле, но, конечно, приятно закусывать под музыку.

Ленька сделал шесть или семь снимков. В последний раз я плюнул на все и прямо обнял Люську, прижался лицом к ее лицу. Она не успела и вывернуться, а может быть, и не захотела. Честно говоря, я просто не понимал, что с ней стало в этот вечер. Она стала такой,

что у меня голова кругом шла, какие там серьезные намерения, я просто хотел ее любить всю свою жизнь и еще немного. Наверное, во всем апельсины виноваты.

— А вам я сделаю двойной портрет, — сказал Ленька. — Голубок и голубка. Люби меня, как я тебя, и будем вечные друзья.

Я только рот раскрыл, даже ничего не смог ему ответить. Окаянные апельсинчики, дары природы, что вы со мной делаете?

— Люська, — шепнул я ей на ухо.

Она только улыбнулась, делая вид, что смотрит на Юру.

— Люська, — снова шепнул я. — Нам комнату дадут в Фосфатке.

А Юра потребовал себе вазу. Он сложил свои апельсины в эту художественную вазу зеленого стекла, придвинул ее к себе и, закрываясь ладонью, искоса глядя на оранжевую гору апельсинов, пробормотал прямо с каким-то придыханием:

— Сейчас мы их будем кушать…

Наконец Эсфирь Наумовна вылезла к нам из трясущейся толпы танцоров. Она подала мне две бутылки «Чечено-ингушского» и, пока я их открывал, стояла рядом, заложив руки под передник.

— Какая у вас невеста, Витенька! — приговаривала она. — Очень замечательная девочка. Вы имеете лучшую невесту на берегу, Витя, это я вам говорю.

— Только последнюю, Эсфирь Наумовна, ладно?

— Да-да, Витя, что вы!

— Дайте слово, что больше не будете, Эсфирь Наумовна!

— Чтоб я так здорова была!

Я налил ей рюмочку, и она ушла, спрятав ее под фартук.

— Почему она пьет? — шепотом спросила Люся. — Что с ней?

— У нее сын утонул. Они вместе плавали на «Чичереве», она буфетчицей, а он механиком. Ну, она спаслась, а он утонул. Моих лет примерно паренек.

— Господи! — выдохнула Люся.

Она вся побелела и прикрыла глаза, закусила губы. Вот уж не думал…

— Хорошо, что ты не моряк, — зашептала она. — Я бы с ума сошла, если бы ты был моряком.

— Спокойно, — сказал я. — Я не моряк, на земле не тонут.

«На земле действительно не тонут», — подумал я. На земле другие штуки случаются, особенно на той земле, по которой мы прокладываем свои маршруты. Я вспомнил Чижикова — он сейчас мог бы сидеть вместе с нами и апельсинчики рубать.

Тут я заметил, что Леня, Чудаков и Евдощук шепчутся между собой и поглядывают куда-то довольно зловеще. Проследив направление их трассирующих взглядов, я понял, в чем дело. Далась же им эта Катя. Черт знает что в голову лезет этим парням! Они не знают, что Катька и при муже чаще всего танцует с Калчановым. Калчанов хорошо танцует, а наш Айрапет в этом деле не силен.

Но тут я заметил, что танцуют они не просто так, а так, как мы танцевали с Люськой, только физиономии мрачные что у него, что у нее. Что-то там неладное происходит, ясно. А где же Сергей?

А Сергей сидит в углу, как пулемет, направленный на них, прямо еле сдерживается парень. Только наших тут еще не хватало.

Я произнес какой-то тост и переключил внимание публики на Юру, который даже не смотрел в сторону мясного, да и выпивкой не очень интересовался, а только рубал свои апельсинчики так, что за ушами трещало.

— Ну, Юра! — смеялись ребята.

— Ну и навитаминился ты! Считай, что в отпуск на юг съездил.

— В эту самую Марокку, — сказал Евдощук.

— Эй, Юра, у тебя уже листики из ушей растут!

В зале было жарко и весело. Многих из присутствующих я знал, да, впрочем, и все остальные мне казались в этот вечер знакомыми. Какой это был пир в знойном апельсиновом воздухе. Отличный пир! Я выбрал самый большой апельсин и очистил его так, что он раскрылся как бутон.

— Пойдем танцевать, — сказала Люся.

Она встала и пошла вперед. Я нарочно помедлил и, когда она обернулась, заметил, какая она вся, и подумал, что жизнь Виктора Колтыги на текущий момент складывается неплохо, а если бы еще сегодня скважина дала нефть и началась бы обычная для этого дела сенсация, то я бы под шумок провел недельку с Люськой…

Почему-то я был уверен, что именно сегодня, именно в эту ночь в нашем миленьком распадке ударит фонтан.

— Тебе хорошо? — спросил я Люсю.

— Мне никогда не было так, — прошептала она. — Такой удивительный вечер! Апельсины… Правда, хорошо, когда апельсины? Я хотела бы, чтоб они были всегда. Нет, не нужно всегда, но хоть иногда, хотя бы раз в год…

Говорите мне о любви,
Говорите мне снова и снова,
Я без устали слушать готова,
Там-пам-ра-ри…

Опять я не мог разобрать последних слов.

— Пойду еще раз поставлю эту пластинку.

— Она уже всем надоела.

— Надо же разобрать слова.

Это была не пластинка, а покоробленная рентгеновская пленка. Звукосниматель еле справлялся с нею, а для того, чтобы она крутилась, в середине ее придавливали перевернутым фужером.

16. Николай Калчанов

Я громко читал меню:

— Шашлык из козлятины со сложным гарниром!

Конечно, кто-то уже нарисовал в меню козла и написал призыв: «Пожуй и передай другому».

— Коктейль «Загадка», — читал я.

— Конфеты «Зоологические».

Катя веселилась вовсю.

— Сережа, ты уже разрешил все загадки? — спрашивала она. — Наверное, ты уже съел целого козла. Я слышала, в сопках стреляли — наверное, специально для тебя загнали какого-нибудь архара. Колька, я правильно говорю: архара, да?

Сергей вяло улыбался и грел ее руки, взяв их в свои. Он был налитой и мрачный, должно быть, действительно много съел, да и выпил немало.

Когда мы заходили в столовую с галантным бичом, Костюковским, Сергей был еще свеж. Он ужинал вме-

сте с заведующим, они чокались, протягивали друг другу сигареты и смеялись. Приятно было смотреть на Сережу, как он орудует вилкой и ножом, прикладывает к губам салфетку. С таким человеком приятно сидеть за одним столом. Он махнул нам рукой, но мы чокнулись с Костюковским и пошли обратно в очередь.

Я, должно быть, еще мальчишка: меня удивляет, как Сергей может быть таким естественным и свойским в отношениях с пожилыми людьми традиционно начальственного вида. Я просто теряюсь перед каракулевыми воротниками, не знаю я, как с ними нужно разговаривать, и поэтому или помалкиваю, или начинаю хамить.

Кода мы втроем прилетели в Фосфатогорск, Сергей как раз справлял новоселье. Он был потрясен тем, что мы приехали сюда, я и Арик, и, конечно, был потрясен Катей. А меня потрясло то, что Сергей стал моим начальником, и, разумеется, все мы были поражены его квартирой, уголком модерна на этой бесхитростной земле.

Конечно, мы были приглашены на новоселье. Мы очень монтировались, как говорят киношники, со всем интерьером. Как ни странно, начальники и их жены тоже хорошо монтировались. Одну я сделал ошибку: пришел в пиджаке и галстуке. Сергей мне прямо об этом сказал: чего, мол, ты так церемонно, мог бы и в свитере прийти. Действительно, надо было мне прийти в моем толстом свитере.

Сергей обносил всех кофе и наливал какой-то изысканный коньячок, а начальники, в общем-то милые люди, вежливо всему удивлялись и говорили: вот она, молодежь, все у них по-новому, современные вкусы, но ничего, дельная все-таки молодежь. Ужасно меня смешат такие разговорчики.

Когда мы снова вошли в столовую уже с апельсинами в руках, Сергей сидел один. Мы подошли и сели к

нему за стол. Он был мрачен, курил сигарету «Олень», на столе перед ним стояла недопитая рюмка, рядом лежал тихо пиликающий приемник, а возле стола на полу валялись кожаная куртка и яйцевидный шлем. Бог его знает, что он думал о себе в этот момент, может быть, самые невероятные вещи.

Он дал нам возможность полюбоваться на него, а потом стал греть Катины руки.

— Доволен? — сказал он мне. — Доказал мне, да? Высек меня, да?

— Угости меня чем-нибудь, Сережа, — попросил я.

— Пей. — Он кивнул на бутылку.

Я выпил.

— Женщине сначала наливают.

— Моя ошибка, — сказал я. — Давай, значит, так: ты грей женщине руки, а я буду наливать женщине.

Он выпустил ее руки.

— Удивляешь ты меня, Калчанов.

Катя подняла рюмку и засмеялась, сузив глаза.

— Он тебя еще не так удивит, подожди только. Сегодня день Калчанова, он всех удивляет, а завтра он еще больше всех удивит.

— Катя, — сказал я.

— Ты ведь думаешь, он просто так, — продолжала она, — а он не просто так. Он талант, если хочешь знать. Он зодчий.

Я молчал, но мысленно я хватал ее за руки, я умолял ее не делать этой вивисекции, не надо так терзаться, молчи, молчи.

— Это ведь только так кажется, что ему все шуточки, — продолжала она. — У него есть серьезное дело, дело его жизни…

— Неужели в самом деле? — поразился Сергей, с удовольствием помогая Катиному самоистязанию.

— Конечно. Он дьявольски талантлив. Он талантливей тебя, Сережа.

Сергей вздрогнул.

— Пойдем-ка танцевать, — сказал я, встал и потащил ее за руку. — Ты зачем это делаешь? — спросил я, обнимая ее за талию.

Она усмехнулась.

— Пользуюсь напоследок правом красивой женщины. Скоро я стану такой, что вы все со мной и разговаривать не захотите.

От нее пахло апельсиновым соком, и вся она была румяная, юная, прямо пионервожатая из «Артека», и ей очень не шел этот тон «роковой женщины». Мы затерялись в толкучке танцующих, казалось, что нас никто не видит, казалось, что за нами никто не наблюдает, и мы снова неумолимо сближались.

Крутился перевернутый фужер на проигрывателе, края пластинки были загнуты вверх, как поля шляпы, но все-таки звукосниматель срывал какие-то хриплые, странные звуки. Я не мог различить ни мелодии, ни ритма, не разбирал ни слова, но мы все-таки танцевали.

— Успокоилась?

— Да.

— Больше этого не будет?

Я отодвинулся от нее, насколько позволяла толкучка.

— Давай, Катерина, расставим шашки по местам, вернемся к исходной позиции. Этот вариант не получается, все ясно.

— Тебе легко это сделать?

— Ну конечно. Все это ерунда по сравнению с теми задачами, которые… Точка. Ведь ты сама сказала: у меня есть большое дело, дело моей жизни.

— А у меня есть прекрасная формула: «Но я другому отдана и буду век ему верна». И кроме того, я преподавательница русского языка и литературы.

— Ну, вот и прекрасно!

— Обними меня покрепче!

Без конца повторялась эта загадочная пластинка, ее ставили снова и снова, как будто весь зал стремился к разгадке.

— Этот вечер наш, Колька, договорились? А завтра — все… Не каждый день приходят сюда пароходы с апельсинами.

Горит пламя — не чадит,
Надолго ли хватит?
Она меня не щадит,
Тратит меня, тратит…

Я вспомнил тихоголосого певца, спокойного, как астроном. Мне стало легче от этого воспоминания.

Жить не вечно молодым,
Скоро срок догонит,
Неразменным золотым
Покачусь с ладони…

Я построю города, и время утечет. Я сбрею бороду и стану красавцем, а потом заматерелым мужиком, а потом… Есть смысл строить на земле? Есть смысл?

Потемнят меня ветра,
Дождиком окатит.
А она щедра, щедра,
Надолго ли хватит…

А пока мы еще не знаем печали, не знаем усталости, и по темному узкому берегу летят наши слепящие фары, и наши пузатые самолеты, теряя высоту, опускаются на маленькие аэродромы, и в шорохе рассыпающихся

льдин, гудя сиренами, идут в Петрово и Талый ледоколы, и вот приходит «Кильдин», и мы с Катей танцуем в наш первый и последний вечер, а что здесь было раньше, при жизни Сталина, помни об этом, помни.

Катя была весела, как будто действительно поверила в эту условность. Она, смеясь, провела меня за руку к нашему столу, и я тоже начал смеяться, и мы очень удивили Сергея.

— Ты не джентльмен, — резко сказал он.

Пришлось встать и с благодарностью раскланяться. Какой уж я джентльмен? Сергей изолировался от нас, ушел в себя, и я, подстраиваясь под Катину игру, перестал его замечать, придвинулся к ней, взял ее за руку.

— Хочешь знать, что это такое?

— Да.

— Если хочешь знать, это вот что. Это — душное лето, а я почему-то застрял в городе. Я стою во дворе десятиэтажного дома, увешанного бельем. На зубах у меня хрустит песок, а ветер двигает под ногами стаканчики из-под мороженого. Мне сорок лет, а тебе семнадцать, ты выходишь из-под арки с первыми каплями дождя.

— Простите, керя, — кто-то тронул меня за плечо.

Я поднял голову. Надо мной стоял здоровый парень с пакетом апельсинов в руках. Это был один из дружков Виктора Колтыги, один из партии Айрапета.

— Вечер добрый, — сказал он и протянул Кате пакет, — это вам.

Она растерянно захлопала ресницами.

— Спасибо, но у меня есть. Зачем это?

— Для вашего мужа Айрапета Нара… Нара…

— Нарайровича, — машинально подсказала Катя.

Он поставил пакет на стол.

— Есть такая инту… инду… индукция — не индукция, что нефть сегодня ударит. Может, в город приедет

ваш муж, а ему фрукт нужен, как южному человеку. — Он помялся еще немного возле нас, но Катя молчала, и он пошел к своему столу. Я заметил, что с их стола на нас смотрят. Я увидел, что в Кате все взбаламучено, что в ней гремит сигнал тревоги, что ей нигде нет приюта, и я принял удар на себя. Я снова взял ее руку и сказал:

— Или наоборот — дожди, дожди, дожди, переходный вальс в дощатом клубе. Я пионер старшего отряда, меня ребята высмеивают за неумение играть в футбол, а ты старшая пионервожатая, ты приглашаешь меня танцевать…

Сергей ударил меня под столом. Я несколько опешил: что тут будешь делать, если человек начинает себя вести таким естественным образом?

В этот момент к нам протолкались с криками и шутками Стасик и Эдька Танака. Они свалили на стол апельсины, и Эдик стал жаловаться, что его девушка обманула, не ответила на чувство чемпиона, можешь себе представить, и, мало того, танцует здесь, на его глазах, с другим пареньком, танцует без конца под одну и ту же идиотскую пластинку.

— Понимаешь, я снимаю эту пластинку, а он подходит и снова ставит, я снимаю, а он опять ставит. Я его спрашиваю: нравится, да? А он говорит: слов не могу разобрать. А все остальные кричат: пусть играет, что тебе жалко, надо же слова разобрать! Дались им эти слова!

— Пейте, ребята, — сказал я, — коктейль «Загадка».

— Роковая загадка, — сказал Стасик, отхлебнув. — Жалею я, ребята, свой организм.

За столом воцарилось веселье. Пришла Эсфирь Наумовна и что-то такое принесла. Эдька и Стаська рассказывали, с какими приключениями они ехали и какой ценой достались им апельсины, а я им рассказывал о своей богатырской схватке с Костюковским. Сергей

все доказывал ребятам, что я сволочь, они с ним соглашались и только удивлялись, как он поведет назад свой мотоцикл.

А Катя тихо разговаривала с Эсфирь Наумовной. Я прислушался.

— Он был такой, — говорила Эсфирь Наумовна, — всякие эти танцы-шманцы его не интересовали. Он только книги читал, мой Лева, и не какие-нибудь романы, а всевозможные книги по технике. У него даже девочки не было никогда…

Я не знал, о чем идет речь, но понимал, что не о пустяках. Катя внимательно слушала подвыпившую официантку. Она была бледна, и пальцы ее были сжаты, не было сил у меня смотреть на нее, и в это время из толпы танцующих выплыло заросшее черной бородой лицо Айрапета.

Катя вскочила. Ее муж, медленно переставляя ноги, подошел к нам.

— Здравствуй, девочка, — сказал он и на секунду прижался щекой к ее щеке.

— Арик, дружище! — заорал Сергей, тяжело наваливаясь на стол и глядя, как ни странно, на меня.

— Привет, ребята! — весело сказал Айрапет и опустился на стул. — Дайте чего-нибудь выпить.

Я видел, что усталость его тяжела, как гора, что он прямо подламывается под своими улыбками.

— Коктейль «Загадка», — сказал я и подвинул ему бокал.

— Что я вам, Угадайка, что ли? — сострил он. — Дайте коньяку.

Сзади медленно, деликатно приближались люди из его партии. У них прямо скулы свело от нетерпения.

— Ну, Арик? — спросила Катя.

— Ни черта! — махнул он рукой. — Сернистая вода. Все напрасно. Завтра встанем на новый маршрут.

17. А завтра…

Кончился апельсиновый вечер. Будьте уверены, разговоров о нем хватит надолго. А завтра… Впереди пойдут бульдозеры, за ними тракторы-тягачи потащат оборудование — вышку, станок, трубы. Может быть, вертолет перебросит часть людей, и они займутся расчисткой тайги для буровой площадки. К вечеру люди влезут в спальные мешки и погрузятся в свои мечты. Может быть, Витя Колтыга найдет время полистать журнал «Знание — сила», а уж Базаревич-то наверняка повалятся в снегу, а Кичекьян закроет глаза и услышит гремящий фонтан нефти.

Синоптики предсказывают безветренную погоду.

— Больше верьте этим брехунам, — ворчат на «Зюйде».

Вслед за ледоколом в шорохе размолотого льда пойдет флотилия сейнеров. Ледокол выведет их к теплому течению и даст прощальный гудок. У Геры Ковалева руки как доски, трудно ему держать карандаш.

— Талант ты, Гера. Рубай компот, — скажут ему вечером в кубрике Иван, и Боря, и Валя Костюковский.

Может, кому-нибудь и помогает крем «Янтарь», но только не Люсе Кравченко. Поплывут по ленточному транспортеру кирпичи. Все выше и выше поднимаются этажи. Кран опускает контейнеры прямо в руки девчат.

Еще один контейнер, еще один контейнер, еще один этаж, еще один дом, магазин или детские ясли, и скоро вырастет город, и будет в нем памятник Ильичу, и Люся после работы со своим законным мужем Витей Колтыгой пойдет по проспекту Комсомола в свою квартиру на 4-м этаже крупноблочного дома. Вот о чем думает Люся.

— Эй, мастер, нос обморозишь! — крикнет Коля Марков задумавшемуся Калчанову, и тот вздрогнет, сбежит вниз по лесам, «прихватывая» подсобников.

— «Евгений Онегин — образ лишнего человека», — продиктует Катя Пирогова тему нового сочинения.

Кончился апельсиновый вечер.

Завтра все войдет в свою рабочую колею, но пока…

18. Виктор Колтыга

Все равно это был лучший вечер в моей жизни. Индукция меня подвела, шут с ней. Я сказал Люсе, что люблю находить, — наверное, наврал. Я больше люблю искать.

— Значит, завтра опять уходишь? — спросила она.

— Что же поделаешь.

— Надолго?

— На пару месяцев.

— Ой!

— Но я буду приезжать иногда. Здесь недалеко.

— Правда?

— Впрочем, лучше не жди. Будет тебе сюрприз. Люська, скажи, ты честная?

— Да, — прошептала она.

Мы вышли из столовой и секунду постояли на крыльце, обнявшись за плечи.

Луна висела высоко над нами в спокойном темном небе. На площади перед столовой «Маяк» люди пыхтя поедали апельсины. Оранжевые корки падали в голубой снег. Бичам тоже немного досталось.

1962

Литературно-художественное издание

НОВЫЙ СЛАДОСТНЫЙ СТИЛЬ

Проза Василия Аксенова

АКСЕНОВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ

ЗВЕЗДНЫЙ БИЛЕТ

Ответственный редактор О. Аминова
Ведущий редактор Ю. Качалкина
Младший редактор О. Крылова
Художественный редактор С. Власов
Технический редактор Г. Романова
Компьютерная верстка Г. Клочкова
Корректор А. Мартынова

В оформлении переплета использована иллюстрация:
Melpomene / Shutterstock.com
Используется по лицензии от Shutterstock.com

ООО «Издательство «Эксмо»
123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел. 8 (495) 411-68-86, 8 (495) 956-39-21.
Home page: **www.eksmo.ru** E-mail: **info@eksmo.ru**

Өндіруші: «ЭКСМО» АҚБ Баспасы, 123308, Мәскеу, Ресей, Зорге көшесі, 1 үй.
Тел. 8 (495) 411-68-86, 8 (495) 956-39-21
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru.
Тауар белгісі: «Эксмо»
Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім бойынша
арыз-талаптарды қабылдаушының
өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3«а», литер Б, офис 1.
Тел.: 8 (727) 2 51 59 89,90,91,92, факс: 8 (727) 251 58 12 вн. 107; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz
Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.
Сертификация туралы ақпарат сайтта: www.eksmo.ru/certification

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно
законодательству РФ о техническомрегулировании можно получить
по адресу: http://eksmo.ru/certification/

Өндірген мемлекет: Ресей
Сертификация қарастырылмаған

Подписано в печать 25.08.2014. Формат 84×108 1/32.
Гарнитура «Swift LightC». Печать офсетная. Усл. печ. л. 33,6.
Тираж экз. Заказ

ISBN 978-5-699-74991-1

9 785699 749911 >

16+

Оптовая торговля книгами «Эксмо»:
ООО «ТД «Эксмо». 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,
Белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел. 411-50-74.
E-mail: **reception@eksmo-sale.ru**

По вопросам приобретения книг «Эксмо» зарубежными оптовыми покупателями *обращаться в отдел зарубежных продаж ТД «Эксмо»*
E-mail: **international@eksmo-sale.ru**

International Sales: International wholesale customers should contact Foreign Sales Department of Trading House «Eksmo» for their orders.
international@eksmo-sale.ru

По вопросам заказа книг корпоративным клиентам, в том числе в специальном оформлении, *обращаться по тел. +7 (495) 411-68-59, доб. 2261, 1257.*
E-mail: **vipzakaz@eksmo.ru**

Оптовая торговля бумажно-беловыми и канцелярскими товарами для школы и офиса «Канц-Эксмо»:
Компания «Канц-Эксмо»: 142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное-2,
Белокаменное ш., д. 1, а/я 5. Тел./факс +7 (495) 745-28-87 (многоканальный).
e-mail: **kanc@eksmo-sale.ru**, сайт: www.**kanc-eksmo.ru**

В Санкт-Петербурге: в магазине «Парк Культуры и Чтения БУКВОЕД», Невский пр-т, д.46.
Тел.: +7(812)601-0-601, www.bookvoed.ru/

Полный ассортимент книг издательства «Эксмо» для оптовых покупателей:
В Санкт-Петербурге: ООО СЗКО, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е.
Тел. (812) 365-46-03/04.
В Нижнем Новгороде: ООО ТД «Эксмо НН», 603094, г. Нижний Новгород,
ул. Карпинского, д. 29, бизнес-парк «Грин Плаза». Тел. (831) 216-15-91 (92, 93, 94).
В Ростове-на-Дону: ООО «РДЦ-Ростов», пр. Стачки, 243А. Тел. (863) 220-19-34.
В Самаре: ООО «РДЦ-Самара», пр-т Кирова, д. 75/1, литера «Е». Тел. (846) 269-66-70.
В Екатеринбурге: ООО «РДЦ-Екатеринбург», ул. Прибалтийская, д. 24а.
Тел. +7 (343) 272-72-01/02/03/04/05/06/07/08.
В Новосибирске: ООО «РДЦ-Новосибирск», Комбинатский пер., д. 3.
Тел. +7 (383) 289-91-42. E-mail: **eksmo-nsk@yandex.ru**
В Киеве: ООО «РДЦ Эксмо-Украина», Московский пр-т, д. 9. Тел./факс: (044) 495-79-80/81.
В Донецке: ул. Артема, д. 160. Тел. +38 (032) 381-81-05.
В Харькове: ул. Гвардейцев Железнодорожников, д. 8. Тел. +38 (057) 724-11-56.
Во Львове: ТП ООО «Эксмо-Запад», ул. Бузкова, д. 2. Тел./факс (032) 245-00-19.
В Симферополе: ООО «Эксмо-Крым», ул. Киевская, д. 153.
Тел./факс (0652) 22-90-03, 54-32-99.
В Казахстане: ТОО «РДЦ-Алматы», ул. Домбровского, д. 3а.
Тел./факс (727) 251-59-90/91. **rdc-almaty@mail.ru**

Полный ассортимент продукции издательства «Эксмо»
можно приобрести в магазинах «Новый книжный» и «Читай-город».
Телефон единой справочной: 8 (800) 444-8-444. Звонок по России бесплатный.

Интернет-магазин ООО «Издательство «Эксмо»
www.fiction.eksmo.ru
Розничная продажа книг с доставкой по всему миру.
Тел.: +7 (495) 745-89-14. E-mail: **imarket@eksmo-sale.ru**